

ISSN 2958-499X

# ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

Журнал литературы и искусств русскоязычного мира

№ 4 (8)



Владимир ГОРБАЧЁВ  
Маргарита СПИРИЧЕВА  
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ  
Ян ПРОБШТЕЙН  
Анна БЕРСЕНЕВА  
Слава МАЛАХОВ  
Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ  
Максим Д. ШРАЕР  
Виктор ЕСИПОВ  
Михаил КОРОЛЬ  
Александр ШАПИРО  
Семён КРАЙТМАН  
Цветана ЯШИНА  
Анна РОЗЭ  
Алексей МАКУШИНСКИЙ  
Дмитрий ЗОТИКОВ  
Дмитрий РОМЕНДИК  
Элла МИТИНА  
Михаил ЭПШТЕЙН  
Игорь МАНДЕЛЬ  
Андрей ТЕМНОВ  
Эли БАР-ЯЛОМ  
Нелли ШУЛЬМАН  
Ольга ФИКС  
Сергей ФОМЕНКО  
Илья ЧЛАКИ  
Евгений ЕРМОЛИН  
Злата ЗАРЕЦКАЯ  
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ  
Саша ОКУНЬ  
Елена ШИПИЦЫНА

2024



# ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

Журнал литературы и искусств русскоязычного мира

№ 4 (8)

Журнал ТТ (Тайные тропы)  
ISSN 2958-499X

Живописный, графический образ  
номера определили работы  
Саши ОКУНЯ

**Учредитель и издатель**  
Барух-Александр Плохотенко

**Главный редактор**  
Барух-Александр Плохотенко

**Редакция**  
Владимир Горбачёв  
Борис Борухов

**Контакты**  
[www.secrettropes.com](http://www.secrettropes.com)  
secrettropes@gmail.com

Никакая часть данного издания не может  
быть воспроизведена без разрешения  
редакции

Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов

**Вниманию уважаемых авторов!**  
ТТ принимают к публикации только  
прежде не издававшиеся произведения,  
присланные, переданные самими авторами  
непосредственно в редакцию.  
Пожалуйста, обязательно используйте  
букву русского алфавита «ё»

Редакция не рецензирует присланные  
материалы и в переписку по их поводу  
не вступает

© ТТ. Все права защищены

Владимир ГОРБАЧЁВ  
Маргарита СПИРИЧЕВА  
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ  
Ян ПРОБШТЕЙН  
Анна БЕРСЕНЕВА  
Слава МАЛАХОВ  
Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ  
Максим Д. ШРАЕР  
Виктор ЕСИПОВ  
Михаил КОРОЛЬ  
Александр ШАПИРО  
Семён КРАЙТМАН  
Цветана ЯШИНА  
Анна РОЗЭ  
Алексей МАКУШИНСКИЙ  
Дмитрий ЗОТИКОВ  
Дмитрий РОМЕНДИК  
Элла МИТИНА  
Михаил ЭПШТЕЙН  
Игорь МАНДЕЛЬ  
Андрей ТЕМНОВ  
Эли БАР-ЯАЛОМ  
Нелли ШУЛЬМАН  
Ольга ФИКС  
Сергей ФОМЕНКО  
Илья ЧЛАКИ  
Евгений ЕРМОЛИН  
Злата ЗАРЕЦКАЯ  
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ  
Елена ШИПИЦЫНА

2024

<b>Памяти основателя журнала Владимира Горбачёва</b>	<b>4</b>
Владимир Горбачёв	6
Недостоверные сведения. Главы из романа. Продолжение. Начало в № 2 (6)	7
Магадан	7
Суд идёт	20
Молодые голоса	37
Маргарита Спиричева. Достоверно о «Недостоверных сведениях»	47
Маргарита Спиричева	53
хотят ли нелюди войны	55
<b>Татьяна ВОЛЬТСКАЯ</b>	<b>56</b>
«А что, так можно было?!», или Люди, вы звери?	57
<b>Ян ПРОБШТЕЙН</b>	<b>62</b>
Летние заметки о зимних тревогах. Поэма	63
<b>Анна БЕРСЕНЕВА (Татьяна СОТНИКОВА)</b>	<b>68</b>
Весы Справедливости. Четыре года спустя	69
Роман Арбитман	73
поэмы	75
<b>Слава МАЛАХОВ</b>	<b>76</b>
Курлы-курлы-курлы. Юмористическая поэма	77
<b>Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ</b>	<b>82</b>
Юрий Долгорукий	83
Максим Д. Шраер. Поэма «отказа» «Юрий Долгорукий»: 40 лет спустя	93
Максим Д. Шраер	95
<b>Виктор ЕСИПОВ</b>	<b>96</b>
Малеевка. Маленькая поэма	97
стихи	103
<b>Михаил КОРОЛЬ</b>	<b>104</b>
Жёны Ирода	105
<b>Александр ШАПИРО</b>	<b>114</b>
Язык ни в чём не виноват	115
<b>Семён КРАЙТМАН</b>	<b>122</b>
Освобождая жизнь от памяти и лжи	123
<b>Цветана ЯШИНА</b>	<b>128</b>
Я думаю нас	129
<b>Анна РОЗЭ</b>	<b>134</b>
Водораздел. Из книги «Военные тетради»	135
потаённые смыслы	141
<b>Алексей МАКУШИНСКИЙ</b>	<b>142</b>
Буква М. Фрагменты из книги фрагментов. Продолжение. Начало в № 4, 6–7	143
какбыпроза	177
<b>Дмитрий ЗОТИКОВ</b>	<b>178</b>
Серёга	179
Света	181
Глупые дети	184
Рыбалка на Средиземном море	186

<b>Дмитрий РОМЕНДИК</b>	<b>188</b>
Гальпериада	189
повесть	195
<b>Элла МИТИНА</b>	<b>196</b>
Золотые монеты	197
рассказы и рецензия	243
<b>Михаил ЭПШТЕЙН</b>	<b>244</b>
Нет слов	245
Ангел движения	249
Голоса из будущего	253
<b>Игорь МАНДЕЛЬ</b>	<b>256</b>
«Любовь, что движет...». По поводу книги «Память тела» Михаила Эпштейна	257
рассказы	265
<b>Андрей ТЕМНОВ</b>	<b>266</b>
Шляпник	267
<b>Эли БАР-ЯАЛОМ</b>	<b>274</b>
Среди таких, как все	275
Долгий месяц хвостябрь	277
Затмение	281
Папа купил школу	283
<b>Нелли ШУЛЬМАН</b>	<b>286</b>
Улица Пушкина	287
<b>Ольга ФИКС</b>	<b>294</b>
Бабушкино море	295
музейные очерки	299
<b>Сергей ФОМЕНКО</b>	<b>300</b>
«Волшебная лирика Эльсинора». Самарская поэтика и поэзия Эльдара Рязанова	301
пьеса и рецензия	311
<b>Илья ЧЛАКИ</b>	<b>312</b>
Скрипка	313
<b>Евгений ЕРМОЛИН</b>	<b>368</b>
Скрипка плачет	369
театральная критика	373
<b>Злата ЗАРЕЦКАЯ</b>	<b>374</b>
Библейский экзистенциалист. Александр Радовский – создатель духовной вселенной современного израильянина	375
рецензия	385
<b>Николай ПОДОСОКОРСКИЙ</b>	<b>386</b>
«Изменить мы этого не можем?»	387
изобразительное искусство	395
<b>Саша ОКУНЬ</b>	<b>396</b>
<b>Елена ШИПИЦЫНА</b>	<b>397</b>
Трагикомедия жизни – самый интересный жанр. Разговор Елены Шипицыной с Сашей Окунем о своей интонации в искусстве в эпоху «неопостизма»	398



5 октября 2024 года скоропостижно скончался Владимир ГОРБАЧЁВ, русский писатель, автор идеи журнала «Тайные тропы», его названия, его отец-основатель.

«А что если нам начать издавать собственный журнал? ... Журнал мыслится прежде всего как литературно-художественный, но также и общественно-политический. Хотя политика должна присутствовать в минимальном объёме. Если статьи, то достаточно глубокие. Аудитория, соответственно, довольно высоколобая. ...Мне кажется, здесь важно начать. Выйдет первый номер – авторы потянутся...»

«[О названии.] ...Сначала аргумент против: отсылает к знаменитым “Тёмным аллеям”. Но у нас не тёмные, а тайные. А они могут быть и светлыми. “Тайный” предполагает “глубокий”. Не всем доступный... Не то, что лежит на поверхности, донельзя истаскано. Но гораздо важнее второе слово “тропа”. (Кстати, возможно единственное число). Тропа обозначает движение. Не аллея – место для прогулок, а движение к цели. Какая цель? Мы не знаем. Но ищем, ждём, надеемся. То есть название можно перевести как “Глубокая надежда”. Для религиозного сознания это много говорит».

Из нашей переписки 27 июля 2021-го.

Мы были знакомы лет сорок. Я – корреспондент саратовской областной газеты «Заря молодёжи, он – корректор газеты «Железнодорожник Поволжья». Ежедневно пересекались в здании издательства «Коммунист». Потом встречи стали реже: он пошёл в корреспонденты «Железнодорожника» и реже появлялся в издательстве, а в 1990-м создал и возглавил газету «Сфера», издание социал-демократической направленности, которое существовало благодаря его огромной энергии. Такое издание не то что в «Коммунисте», но и в других типографиях области печатать отказывались, и Горбачёв печатал «Сферу» в Литве. Уточню для молодого поколения, тогда не только интернета не было, но и компьютеры были гораздо примитивнее и в издательском процессе не использовались, так что надо было ехать лично за тридевять земель и сопровождать весь процесс набора, вёрстки, печати, а потом доставлять тираж в Саратов.

Владимир Михайлович активно занимался политикой, был в числе организаторов саратовского отделения социал-демократической партии, участвовал в выборах в городской Совет, в своём округе опередил всех конкурентов. Вновь уточню для более молодого поколения, что в 1990 году выборы хоть и не были эталоном демократии, но были в большинстве своём конкурентными в отличие от предыдущей эпохи советских голосований и в отличие от махровых махинаций последнего двадцатипятилетия.

А осенью 1990-го мы с ним конкурировали на выборах редактора вновь создаваемой городским Советом газеты с названием «Саратов», потом он продолжил издавать «Сферу», а в ноябре 1991-го пришёл в «Саратов». Сначала был обозревателем, а через три с небольшим месяца стал заместителем редактора. Власть всё больше задавливала

средства массовой информации, превращая их в такие привычные для России со времён большевиков «органы партийной печати», и Горбачёв в 1997-м ушёл из «Саратова» в газету, с властью не связанную, «Богатей», главным редактором которой он был почти десять лет. Журналистский этап его жизни завершился в ноябре 2008 года в саратовском приложении «Российской газеты».

К этому моменту у него уже были опубликованы повесть «Долгое путешествие» (в «Митином журнале» в 1986-м) и роман «Тёмные пространства» (1998). В 2009-м в «АСТ» и в «Альфа-книге» под псевдонимом Владимир Зырянцев вышли романы «Люди края» и «Вернуться в Готан», на «Литресе» в 2017-м он опубликовал роман «Нефела», повесть «Сказки скрытней». В «Новом мире» были напечатаны его эссе «Набобовские чтения» (2019, № 4), рассказы «Птичка», «Тепловка» (2020, № 11).

В нашем журнале опубликованы роман «Погружение» (№№ 2–4), пьеса «Скажите, доктор» (№ 2, под псевдонимом Владимир Григорьев), в 6-м номере напечатаны первые главы из романа «Недостовверные сведения», к декабрю Владимир обещал продолжение. А в 1-м номере была подборка рассказов, первый из которых назывался «Буркин Буерак». Есть такое красивое место под Саратовом, совершать вылазки в которое любил герой рассказа – со своей девушкой, а потом женой, с сыновьями. Годы шли. Люди выросли, а место оставалось всё-таки притягательным, дарящим новые силы путешественникам, способным проникнуться им, его красотой.

В сентябре 1993 года мы с Владимиром оказались на Суре в компании коллег-журналистов, отправившихся на обязательный промысел советских горожан – закупку картошки на предстоящий год. Небольшая речка, крутые берега, редкие деревья по ним, вечер, костёр, лунная дорожка на воде. «Я дарю *это* вам», – он сделал широкий жест рукой. И не было в том патетики, игры, но искреннее чувство удовольствия, сопричастности этой красоте. Пешие путешествия, туризм были для него одним из смыслов жизни. Как и Литература.

«Какая нынче луна! Может, встать, пройтись? Дойти до мостика, постоять над ручьём. Но ведь я себя знаю: если дойду до мостика, обязательно захочется пройти дальше, подняться на пригорок – ведь оттуда открывается такой вид на лес, на деревню... А там уже и до пруда недалеко. Что может быть лучше, чем постоять в лунную ночь на берегу пруда? Да, но ведь потом назад пѣхать, а клешни уже заплетаются, глаза слипаются... И на обратном пути два подъѣма, а сердце уже не того... Нет, не пойду. Да, сердце... В последнее время что-то совсем стало отказывать. Надо бы сходить, пройти обследование. А то ведь иногда, когда вот так прихватит (я не про сейчас, сейчас всё прекрасно), начинаешь думать: доживу ли до утра?» («Буркин Буерак»).

В свою последнюю субботу он вѣл туристическую группу в Буркин Буерак...

Спасибо за тропы, за «Тайные тропы», Владимир Михайлович...

**Барух-Александр Плохотенко**

## Владимир ГОРБАЧЁВ

08.01.1950 – 05.10.2024

📍 Саратов, Россия



Фото: Маргарита Спиричева

Перед публикацией рассказов в № 1 Владимир представил себя так.

«Наш автор родился в положенном месте в положенное время. Местом была Колыма, время находилось на переломе, но наш автор об этом тогда не знал, находясь в состоянии младенчества. Позже, отчасти выйдя из этого состояния, был перенесён воздушным путём в трижды славный город Саратов, где прошёл положенные стадии образования, возмужания и поисков.

Итогом поисков стали три романа в жанре НФ (“Тёмные пространства”, “Вернуться из Готана”, “Люди Края”), опубликованные в издательствах АСТ и “Альфа-книга”. Гораздо больше имеется неопубликованного: книга сказок, роман, ещё две книги фантастики, пьесы... В последние годы автор пишет в основном рассказы.

Они публиковались в журналах “Новый мир” (2019, №4, 2020, №11) и “Новая Юность” (2021, №4). На портале “Проза.ру” выложена книга рассказов “Откровение Кукушкина”.

В дальнейших своих представлениях детализировал, что «родился в Магаданской области, с 1960-го живу в Саратове. После окончания университета работал учителем, затем журналистом.

В “Тайных тропах” были представлены цикл рассказов и роман “Погружение”.

О новом, ставшем последним его произведением написал:

«Хочу предложить вниманию читателей “Недостоверные сведения”, жанр которых я бы определил как “главы из романа”. Это произведение, которое в принципе не может считаться романом, то есть связным, логически развивающимся текстом, имеющим сюжет, начало и конец. То есть начало имеется, оно перед вашими глазами; будет и конец. Но точно ли это конец? Или возможно продолжение? Можно сказать, “Недостоверные сведения” – скорее, сборник рассказов, кое-где связанных общими героями. А где-то не связанных».

Вот оно – продолжение. Оборванное на полуфразе. Конец ли это?..

## Недостоверные сведения

Продолжение. Начало в № 2 (6)

Магадан

Жил-был мальчик, звали Володей, в честь сами знаете кого. А скорее не в честь, а просто родителям имя нравилось, смысл этого имени: владей, дескать. Мальчик жил в высоком – крышу просто так не увидишь, на другую сторону улицы перейти надо, чтобы разглядеть, вот какой высокий – доме, на Коммунарной, как помню, улице (а может, улицу как-то иначе звали?). Жил в высоком деревянном доме, на втором этаже, в большом уютном городе, где всё было близко, никуда ездить не нужно да и не на чем – транспорт в городе в те годы, кажется, не ходил. Или какие-то автобусы всё же курсировали? Не помню. А город назывался Магадан.

Время, столкнувшись с памятью, – утверждает поэт – узнаёт о своём бесправии. А мне кажется, ничего такого оно не узнаёт. Ничего не чувствует, столкнувшись, кроме лёгкого недоумения: что это, дескать, за обломки какие-то на пути встретились? Что это здесь такого понаставили, навалили, мешается? Задерживается на какое-то крошечное мгновение (у него их пруд пруди, этих мгновений), а затем катится дальше. И только если человек догадается скрепить обрывки дат, имён, впечатлений, оплеух, поцелуев, мыслей – скрепить всё это разношёрстное, разномастное, что составляет его память, его самого составляет, – скрепить всё это прочным раствором слов, добавив к сочащимся кровью, наваленным кучей обрывкам щепотку всё связующего вымысла – тогда этот кусок стены (той самой, «время, столкнувшись с...» которой) имеет шансы простоять какое-то время. Время, хе-хе...

Да, этот кусок будет стоять, какие бы шторма ни катились над ним, какие бы кальмары его ни опутывали своими щупальцами.

Итак, мальчик жил в городе на берегу океана (о чём узнал поздно, лет в шесть, наверно, ведь в центре города, где он жил, океаном и не пахло), учился в замечательной школе на площади, катался на санках с горы, а летом (точнее, в июле; в конце августа уже наступала осень) ходил с мамой на реку Каменушку – бегать там по берегу, строить крепость из камней, глядя, как прыгает по валунам быстрый, ледяной, прозрачный поток. Меж камнями росла слабая зелёная трава, кое-где можно было заметить мелкие голубые цветы. Обычно Володя играл на берегу один, пока мама Шура, постелив два одеяла (земля ледяная), загорала, беседуя с подругой Светланой. Но иногда Светлана брала с собой сына Рому, и тогда они играли вдвоём. Других детей на берегу реки я что-то не помню. В городе не было принято ходить на Каменушку или на более крупную реку Магаданку. Даже в нашей семье это не стало семейным обычаем, отец никогда с нами не ходил. А маму Шуру тянуло летом к реке, поскольку она выросла совсем в других местах, на берегу совсем другой реки, тёплой, приветливой, в которой мама Шура (когда ещё не была ничьей мамой, и в уме такого не держала) любила купаться; бывало, целыми днями из воды не вылезала. А в Каменушке никто не купался, даже в июле – сразу простудиться.

Да, Каменушка, игры во дворе, походы в городской парк, где были качели, а ещё живой уголок, в котором обитали лисы, песец и большой рогатый олень. Но в парке на оленя глядеть было неинтересно: стоит и стоит в своей загородке. Совсем другое дело под Новый год, когда в город приезжали невиданные повозки, впряжённые каждая в четвёрку быстрых, окутанных клубами пара от дыхания северных оленей. Повозки, которые назывались нарты, приезжали с севера, с берегов легендарной реки Колымы, где когда-то, в незапамятную эпоху родился Володя. А может, они начинали свой путь в город из ещё более отдалённых мест, из тундры, о которой нам рассказывали на уроках. В нартах сидели люди удивительного, даже пугающего вида, в меховых парках, унтах, рукавицах. Приезжали, оставивались на площадке перед школой, рядом с постаментом, на котором возвышался бюст усатого человека в кителе, Вождя, а мы толпились вокруг, слушая, как людивунта переговариваются меж собой на незнакомом языке; самые смелые подходили ближе, чтобы потрогать тёплый бок оленя. А потом начиналось веселье: приезжие катали всех желающих на нартах по городской площади, кругами, мимо театра, до конца квартала, а это вон как далеко! Скрипел снег под полозьями, ледяной – сколько там на термометре, 28 или 30? – ветер бил в лицо, на небе переливались красные, жёлтые, зелёные сполохи, и это был настоящий праздник.

Я сказал – термометр? Да, в те годы я уже хорошо знал, как выглядит этот прибор, как называется, что измеряет. Я и барометр видел, и другой, более сложный прибор – забыл, как называется – для измерения скорости ветра. Знал, какие бывают облака – кучевые, дождевые и перистые – и умел их различать. Я всё это знал, потому что мой папа был метеоролог, он отвечал за погоду в городе, да и на всей Колыме. А на Чукотке не отвечал, там своё Управление. Конечно, не он один занимался колымской погодой, были и другие, целая служба, но я этих других не знал, я знал только папу.

Папа Михаил Петрович был высокий, сильный, с крепкими крестьянскими руками, которыми он мог делать любую работу по дереву – пилить, строгать, что угодно. Табуретку мог сделать, стол, дом построить – вот что умел. Мальчика Володю он поднимал легко, словно пёрышко, подбрасывал вверх, а затем бережно ставил на землю. Ставил бережно, пылинки сдувал, игрушки покупал любые, какие в город завозили. Например, у меня был полный комплект оловянных солдатиков, несколько десятков – и пехота, и кавалерия, и несколько пушек, – и мы с Ромой, лёжа на ковре в комнате (когда они с мамой Светой приходили в гости), устраивали настоящие сражения. А ещё у меня был велосипед, и санки, и пружинное ружьё, стрелявшее пулями (а когда они все потерялись, мы стреляли карандашами). Также имелся диапроектор, через который можно было смотреть диафильмы – только простыню надо было на стену повесить.

Папа Миша покупал сыну всё, что мог достать, сдувал пылинки, водил гулять в парк, учил кататься на санках и ходить на лыжах (на велосипеде не он учил, не помню кто – сам Михаил Петрович ездить на велосипеде не умел, у него в детстве такого не было). Но больше всего папа Миша хотел научить сына двум вещам: ходить по тайге и охотиться. Потому что эти два занятия Михаил Петрович любил больше всего на свете. Метеорологию тоже любил, измерение миллиметров ртутного столба и составление прогнозов считал важнейшим делом, важнее всех прочих. И это было объяснимо: окончив после армии ленинградский рабфак по специальности «метеорология», Михаил Петрович сразу повысил свой социальный статус, перейдя из отсталого крестьянского состояния (в котором находился, проживая в деревушке Васильково на севере Ярославской губернии) в разряд специалистов, в которых ощущалась большая нужда.

Вместе с дипломом отец получил и направление на работу в другой конец страны, на Колыму, где предстояло создавать станции, с нуля налаживать службу погоды. Эта служба была важна и в мирное время, но совершенно особое значение получила после 1941 года, когда американские союзники начали перегонять через Чукотку самолёты для Красной Армии. Перегон должен был осуществляться бесперебойно, «дугласы» и «аэрокобры» не должны были попасть в ураган, сгинуть в тайге. Метеорологи стали нужнее шахтёров, о мобилизации не было и речи, но также не могло быть речи о жалобах на здоровье, на нехватку одежды и снаряжения, на невозможность быстро строить новые станции на вечной мерзлоте. Стремясь сделать прогнозы более точными, рядовые службы погоды уходили всё дальше на север, за Полярный круг, на Омолон, Аной, Анадырь, до самого океана. Продукты им доставляли когда получится, пищу надо было добывать здесь же, на месте – в тайге или в реках. Тут уж поневоле научишься выслеживать дичь и метко стрелять.

Вот так и получилось, что охота стала не только полезным, но и любимым занятием, подлинной страстью Михаила Петровича. Теперь этому важнейшему искусству, самому важному для мужчины, надо было научить сына. Но как научить мальчика ходить по тайге и стрелять, живя в городе? Чтобы полюбить тайгу, надо в ней побывать. И вот как-то раз папа Миша взял ружьё, собрал кое-какую снедь, прихватил тёплые вещи, сел с сыном в автобус и отправился по трассе до ближайшего урочища. Этот кусок тайги был не самый лучший –

так себе лес, но на первый раз, рассуждал Михаил Петрович, и этого довольно будет.

Они высадились из автобуса, отошли сколько-то метров в сторону – и мальчик Володя очутился в совершенно другом мире. Вершины деревьев смыкались над головой, порыжелая еловая хвоя устилала землю толстым ковром. Потом пошла лиственница, сразу стало светлее, и подстилка здесь была другая – рыжая, лёгкая, как пух, и шишки другие. А как здесь пахло! Чем-то этот запах напоминал аромат папиного одеколона, которым папа Миша пользовался после бритья, а ещё когда они всей семьёй собирались идти в гости, – острый такой, но, в общем, приятный запах.

По стволу ближайшей лиственницы пробежала белка, замерла на миг, поражённая видом незнакомых существ; ожила, легко взлетела вверх по стволу, потом на соседнее дерево, там укрылась. Кто-то мелкий, юркий пробежал между корней деревьев, тоже скрылся. В вершинах деревьев перекликались птицы. Михаил Петрович достал ружьё из чехла, переломил («Смотри, видишь – вот здесь нажмёшь, и магазин откроется»), загнал патроны («Вот так вставляешь, до конца, потом тянешь ствол на место – тяни, тяни! – и всё встаёт»). Дал ружьё сыну, подержать, приложить к плечу – вот так, так! – но ему самому уже не терпелось начать. Птицы было полно, она была совсем рядом, он слышал её крик, а вот и стайка куропаток взлетела из-за кустов. Можно было охотиться прямо здесь, ничего искать не нужно – но сын всё время отвлекал, спрашивал об одном, о другом, потом подобрал ветку, она стала для него ружьём; бегал с ней вокруг отца, иногда отбегая далеко в сторону. А вдруг отбежит чуть дальше, а я в это время как раз птицу выцеливать буду, увлекусь (Михаил Петрович знал за собой эту особенность – увлекаться, целиком стягивать всё внимание на что-то одно, забывая окружающие помехи) – и потеряю сына из вида? А ведь кругом не просто лес, кругом тайга, заблудиться здесь ничего не стоит, и что тогда? Михаил Петрович представил себе это «тогда», и сразу забыл и про куропаток, и про глухарей с гусями. Возникла идея: пристроить сына в каком-то определённом пункте, откуда мальчик не уйдёт, где не потеряется, и тогда уж самому идти охотиться. Тут же вспомнилось подходящее место неподалёку – озеро на большой прогалине, в низине. Оттуда, из низины, ребёнок вверх не побежит, дети не любят вверх бегать. Будет играть на берегу, а я тем временем... И они направились к озеру.

Насколько я помню – насколько можно что-то вспомнить, различить в такой дали, в тумане прожитых лет – озеро мне сразу понравилось. Каменистый берег полого спускался к воде, а в другую сторону, к лесу, наоборот, круто взбирался. Камней на берегу было много, из них можно было строить крепость, или замок, или... там видно будет, что. Я даже не заметил, как папа Миша ушёл. Ну, ушёл и ушёл, что такого? Дома, на улице Коммунарной, я тоже часто оставался один, меня это несколько не пугало. А здесь было гораздо интересней, чем дома. Налетел ветер, тайга глухо зашумела. Гулко ударил выстрел. Мальчик Володя сложил зámок, собрался строить второй, ближе к воде. Собирая камни, взглянул в озеро и удивился – там под водой, совсем неглубоко, близко к берегу лежал нож. Замечательный нож с широким лезвием, наверно, острый. Как он туда по-

пал? Вот бы его достать! С ним можно будет играть... например, в охотника играть. Мальчик подошёл к кромке воды. Да, совсем близко, можно дотянуться. На ногах у него были резиновые сапожки, можно войти в воду, ничего страшного; а там немного потянуться... Я потянулся, сунул руку в воду... Нет, не хватает, надо ещё зайти. Чистейшая, ничем не замутненная вода таёжного озера ничего не скрывала, видно было до самого дна. На Колыме взгляд может проникать в воду на глубину 50, даже 60 метров – никакого сравнения с теми местами, где выросли папа Миша и мама Шура.

Ну, ещё шаг... Чистейшая ледяная вода перелилась через край сапога, обожгла холодом – ой! Но теперь тем более нельзя отступить, надо идти дальше; сделаю ещё шаг и достану... Я сделал ещё шаг, совсем маленький, и вода вдруг поднялась выше колен, до пояса поднялась... Я испугался, хотел вернуться назад, на берег, но боялся сделать хотя бы шаг – чувствовал, что теряю опору под ногами. Плавать я, конечно, не умел – учиться было негде.

Сначала я услышал крик папы Миши – только крик, слов не разобрал. Возможно, он кричал «Стой!», или «Ты куда?!», или ещё что-то подходящее к случаю. Обернувшись, я увидел отца: он бежал из леса вниз, ко мне. Я никогда раньше не видел, чтобы он так бегал. Размахивал на бегу ненужным сейчас ружьём, подстреленная птица, привязанная к поясу, мешалась, била по ноге. Последние метры отец, кажется, преодолел одним прыжком, бросился в озеро, схватил сына, рванул вверх, назад... Чистейшая, ничем не замутненная таёжная западня не оказала сопротивления, легко отпустила добычу.

– Ты зачем туда полез?! Ты знаешь, какая тут глубина?!

– Я хотел нож...

Папа Миша бросил взгляд на замечательный продукт цивилизации, прельстивший сына. Нож лежал на глубине метров десять, а может, и двадцать – как уже было отмечено, глубину колымских озёр трудно оценить, вода слишком чистая.

Дальнейшие события запомнились не так хорошо. Кажется, отец метался между костром, который он старался скорей развести, и сыном, которого надо было срочно переодеть в сухое. Видимо, оба эти действия ему удалось. Во всяком случае, я не заработал не только воспаления лёгких, но даже приличной простуды. Однако в тайгу мы больше не ездили. И дальнейшие попытки приучить сына к охоте, научить пользоваться замечательным немецким ружьём фирмы «Зауэр» Михаил Петрович предпринял уже гораздо позже, совсем в другом месте и при других обстоятельствах. Но и в этих, более благоприятных обстоятельствах – скажу заранее – эти усилия не дали результата: мальчик Володя решительно не хотел брать в руки чудесное ружьё, заряжать, а затем искать добычу. Поездка в тайгу дала другой результат. Вершины деревьев, что мерно раскачиваются над головой, густая хвоя под ногами, острый запах этой хвои, белка, замершая на стволе, – вся эта картина глубоко проникла в кровь мальчика Володи, отравила её навсегда. С этого дня не было для него занятия слаще, чем шагать по лесным чащобам, отмеряя километр за километром, одолевая болота и бурелом, устраивать переправы через реки, а ночью лежать в палатке, слушая затихающую переключку птиц в ветвях и шум этих ветвей. Так что

в каком-то смысле таёжное озеро всё же удержало свою жертву. Хотя, возможно, лесной вирус достался ему по наследству, пришёл от отца, и первое свидание с тайгой просто разбудило спавшие в крови голоса.

Но почему я всё время говорю только об отце? Разве мама Шура не занималась мальчиком Володей? Не уделяла внимания? Конечно, занималась, уделяла! Можно сказать, всё свободное время уделяла. Водила сына в парк, заранее договаривалась со Светой, чтобы та с Ромой пришла, чтобы дети могли вдвоём поиграть. Вот мы все вместе на фото: мама, ещё молодая, весёлая, качается на качелях (вот как я могу!), а мы с Ромой выглядываем из кустов. Ну, а Светлана Марковна, наверно, снимает – она, как мне помнится, любила фотографировать.

Мама Шура была дипломированным инженером-химиком. Заканчивала не рабфак, как папа Миша, а университет в Сарматове – один из старейших в стране университетов, с хорошими традициями. Не знаю, как сложилась бы её жизнь после получения диплома (днём какая-то работа, вечером кино, танцы, как раз вошёл в моду фокстрот, и вокруг столько интересных ребят), но тут радио вдруг заговорило железным голосом, загудело моторами небо, задрожала земля – война. Александру Полушкину распределили на радиоприборный завод, который ещё до войны построили неподалёку, на улице Вишнёвой. И четыре года, с заездом в пятый, уже послевоенный, она проработала в гальваническом цеху, выпускавшем разного рода проводники и полупроводники, необходимые при изготовлении самолётов и локационного оборудования. Гальваническое производство считалось вредным для здоровья, и в мирное время за работу в таком цеху давали молоко, но в военных условиях было не до этого – хорошо бы продукты по карточке получить. Смена длилась двенадцать часов, и все эти двенадцать часов мечешься между лабораторией и цехом, то и дело окунаясь в пропитанный кислотами воздух – хорошего мало. Мне-то, думала Александра, ещё ничего, а вот техничке Наде Разуваевой не позавидуешь: маленький ребёнок на руках (а кто отец – не говорит), оставить его не с кем, так она придумала таскать мальчишку с собой на работу, и висит ребёнок все двенадцать часов в люльке в углу цеха. Хорошего мало!

Интересных ребят, что ходили на танцы в клуб, война поубивала, покалечила, и даже те, кто возвращались, были какие-то покорёженные, не узнаешь. Родной город, который в юности казался таким весёлым, зелёным, как-то усох и поскучнел. И потому, когда в 46-м (или уже в 47-м?) году внезапно появилась возможность завербоваться на север, на самый край земли, на повышенную зарплату с надбавками, Александра сразу этой возможностью воспользовалась. Так она оказалась на берегах неприветливой реки Колымы, в маленьком таёжном поселке Зырянка, в лаборатории при метеостанции, где встретила – ну, вы сами понимаете, кого.

Михаил Петрович, конечно, не был усатым красавцем из фильма «Кубанские казаки», или безусым, но совершенно неотразимым героем из трофейных фильмов, которые тогда крутили по всей стране. Он не имел никаких – ну, почти никаких – амбиций и планов на будущее, был готов довольствоваться малым – вот этим домиком с печкой в углу и туалетом на дворе (а на дворе-то минус сорок!), этим посёлком, где ни театра, ни школы, где единственное развлече-

ние – кино раз в неделю на мятой простыне, зато рядом – зона, и кругом, куда ни глянь – всё зеки да зеки. Да, Михаил Петрович не был похож на тех интересных ребят, что перед войной ходили на танцы в клуб, и провожали после танцев, и шептали на ухо слова признаний; он не блистал умом, не поражал знаниями, всем другим занятиям предпочитал охоту, а после удачной охоты любил сесть у стола с друзьями (коллеги по работе, двое геологов, оба бывшие зека, и инженер с прииска), в одной руке стакан, в другой кусок глухаря, насаженный на вилку – и рассуждать о том, о сём. Но, с другой стороны – высокий, сильный, плечи широкие, улыбка замечательная, новые знания на лету схватывает, продвигается по службе, вот начальником станции назначили, есть партийный стаж... И как-то получилось, что Михаил Петрович стал для Александры Полушкиной сначала Михаилом, потом Мишей, потом съездили в Магадан, узаконили отношения, а потом и сын родился. Назвали Володей – владей, дескать...

Мальчик Володя рос сначала в домике с печкой в углу и туалетом во дворе (позже ему рассказывали, что первой нянькой у него был кто-то из заключённых), затем – уже в городе, в двухэтажном доме на улице Коммунарной, где всё было рядом – и школа, и театр, и баня, и областное управление КГБ. Летом катался на велосипеде, зимой на санках, а если метель, ледяной ветер с моря, валялся на ковре и читал, читал... Родители не были заядлыми книголюбями, но время такое наступило, все вдруг бросились собирать домашние библиотеки, и на стенах нашей комнаты появилась сперва одна полка с книгами, потом отец приделал вторую. Полки заполняли чёрные томики Конан-Дойля, синие – Уэллса, серые – Гайдара, голубые – Чехова, а ещё были Мамин-Сибиряк, Носов, Жюль Верн, Мопассан... Метель выла за стеной, хлестала по стёклам снежной крупой, но батареи исправно грели, на крохотной кухоньке гудел керогаз – мама готовила ужин.

Да, хорошее, ровное тепло давала квартальная котельная, одна на целую улицу. Но гораздо больше тепла мальчик Володя получал от двух больших, замечательных, всё знающих, всё умеющих людей, что заботились о каждом его шаге. Это тепло нельзя было измерить термометром или каким-нибудь другим прибором, которыми пользовался на своей работе отец; для его измерения не годились и те анализы, которые умела делать мама. Оно было неощутимо, почти незаметно, и мальчик о нём знать не знал. Но именно этот незаметный, не измеряемый приборами жар и свет защищал его от кори и простуды, от ледяных ветров с океана и железных когтей и зубов заботливого государства. В конечном счёте, только этот жар, его присутствие в жизни и важно. Беда тому человеку, кто лишён этого нематериального, не измеряемого никакими приборами излучения. Он подобен ягнёнку среди волков, пловцу среди акул, белой вороне в стае серых, правильно окрашенных. И даже если по какой-то причине – специально приставленный волкодав следит за сохранностью молодняка или могучий орёл почему-то решил защитить неправильного обитателя стаи – такая ворона, овца, человек выживет, с руками и ногами останется, всё равно он всё время, все отмеренные ему годы будет ощущать некую зыбкость своего существования, чувствовать окружающий его космический холод.

Мальчик Володя не чувствовал холода. Правда, лучи родительской любви часто светили вразнобой, кто в лес (конечно, в лес!), кто по дрова, норовили друг



дружку оттолкнуть (я первый! нет, я! я больше забочусь!), но в целом тепло доходило до адресата. Володя рос справно, редко болел, а когда пошёл в школу, выяснилось, что он легко всё схватывает, помогать не нужно. Уроки готовит сам, книги с полок достаёт сам, и если в чём и надо помочь, так это зимой перед выходом в школу укутать получше. А ещё – защитить сына от уже упомянутых железных когтей государства, которое так и норовит вцепиться в каждого, кто попадёт в поле его зрения.

Такая родительская защита потребовалась мальчику Володе совсем рано, он ещё в школу не пошёл. Это была история, связанная с дворовой собакой Шариком и соседским мальчишкой... как же его звали – Колька? Славка? Не помню. И сколько лет было этому Кольке или Славке, не могу сказать, знаю только, что он был намного старше меня – лет 13 или 14. А ещё в этой истории участвовала девчонка из соседнего дома, которой было примерно столько же, как и Славке. Как же её звали? Нет, вот этого решительно не помню, и как выглядела, не знаю, не спрашивайте. А вот суть истории память сохранила. Пусть эта история называется «Шарик».

Говоря современным языком, имели место сексуальные домогательства со стороны означенного Сашки или Кольки к его ровеснице, а если конкретно – требование раздеться, подкреплённое угрозой спустить с поводка злобно-го Шарика, которого безымянная жертва страшно боялась. Память сохранила (зачем? на кой ляд мне всё это? это не я, я здесь ни при чём) следующую сцену: верхняя площадка лестницы, выше второго этажа, под самой крышей; жертва загнана в угол, прямо у её ног беснуется, рвётся с поводка Шарик, возмужавший, откусивший запретного плода Генка (может, Сашка) требует от жертвы немедленно обнажиться, а за спиной приставалы толпимся мы – ребята помельче. Был ли запрос выполнен? Кажется, нет – иначе, думаю, я бы это запомнил. Кажется, дело кончилось появлением на площадке второго этажа кого-то из взрослых, привлечённых собачьим лаем. Сначала из дома был изгнан Шарик, с ним Колька (Славка), а следом за ним посыпались наружу и мы, мелкая свита возмужавшего паршивца.

Милиции в городе, кажется, тогда ещё не было, её функции выполняло то самое вездесущее многорукое ведомство, частью которого был весь Дальстрой – одновременно и организация, и территориальное образование. Контора этого ведомства, как уже говорилось, располагалась недалеко от нашего дома, чуть ниже по улице. Туда и стали вызывать свидетелей (а может, участников?) описанного происшествия. Вот так мальчик Володя впервые побывал в грозном здании, в кабинете, где на стене висел портрет человека в гимнастёрке, с острой бородкой, а за столом сидел строгий человек в пиджаке, с галстуком. Человек задавал вопросы: кто держал собаку? что требовал от девочки? что та отвечала? кто ещё стоял на лестнице? Ну, и другие подобные. Мальчик Володя что-то лепетал, а сидевшая рядом мама Шура подсказывала, поправляла и направляла. Держалась она при этом – насколько помню – достаточно твёрдо, страха перед человеком в галстуке не выказывала. В общем, делала всё, чтобы отогнуть, один за другим, страшные железные когти, зацепившие её сына; отогнуть, освободить мальчика Володю и увести его назад, домой, где так замечательно греют батареи,

шелестят страницы книг и тускло мерцает на узкой полочке дивана чудесное изделие из оленьего рога: там, в специально сделанном углублении, помещались сделанные из рога нарты, на них погонщик и впряжённый в нарты олень.

Спустя полгода, зимой, маме Шуре снова нужно было позаботиться о сыне, совсем по другому поводу. Помню, как посреди какого-то урока чуть приоткрылась дверь класса; учительница, подошедшая к двери, провела переговоры с кем-то за дверью, после чего велела мальчику Володе спешно собрать портфель и выйти. В коридоре он увидел свою мать. «Идём скорей! – сказала она. – У нас на улице пожар!»

Прибежав на родную улицу Коммунарную, я увидел этот пожар. То было впечатляющее зрелище. Горел двухэтажный деревянный дом, такой же, как наш, но расположенный через один дом от нашего. Всего на улице размещались три или четыре одинаковых деревянных строения, и вот самое нижнее из них полыхало вовсю. Какой там стоял треск! Как высоко поднималось пламя!

Я тогда не знал и сейчас не знаю, зачем, собственно, мама Шура вызвала меня с уроков, зачем мы спешили домой. Возможно, она опасалась, что огонь перекинется на соседний дом, а с него и на наш, и хотела собрать вещи? Но я не помню, чтобы мы или наши соседи собирали вещи, готовились к эвакуации. Кажется, пожарные сделали своё дело, огонь быстро потушили. Получилось, что меня вызвали из школы, чтобы я смог увидеть пожар, осознать, какое это замечательное, грозное зрелище, как это здорово – смотреть на огонь.

Пожар случился зимой, когда я учился в первом классе. А спустя восемь месяцев, осенью, произошло другое событие, такое же памятное, как пожар, но гораздо, гораздо более важное. Впрочем, это уже моё сегодняшнее понимание, тогда я не мог осознать его значение.

Я уже упоминал, что во дворе нашей школы стоял постамент, на котором размещался бюст Вождя в кителе и фуражке, со строгими усами. Правда, в классных комнатах, в которых мы учились, портретов Вождя почему-то не было – там висел только Ленин с ласковым прищуром. Портретов уже не было, но бюст во дворе оставался. Но вот однажды нас всех вывели во двор – всех учеников, изо всех классов, с первого по десятый – и сказали, что бюст надо уничтожить. Ликвидировать. Разрушить.

Это было... даже сравнить не с чем, что это было! Что значит «надо разрушить»? Зачем отдавать приказ? «Можно» – вот правильное слово. Достаточно было разрешить. Мы всей толпой накинулись на памятник, изготовленный, как я теперь понимаю, из гипса с добавлением цемента. Кажется, ученикам старших классов даже раздали какой-то инструмент – молотки, ломы. Учителя тоже принимали участие. Мы били, били, отгалкивая друг друга, это был праздник, невозможный, непонятный для нас, детей, но оттого ещё более замечательный праздник. Конечно, мы ничего не знали ни о какой антипартийной группе и её разоблачении, о заседании Политбюро, обо всех этих вихрях в верхних слоях атмосферы. Мы жили на земле, в самом отдалённом, труднодоступном уголке этой земли, имя которого уже тогда стало нарицательным, пугающим. Мы жили в краю, где люди привыкли не раскрывать рта без особой причины, не откровенничать с соседями и сослуживцами. В этом краю вся жизнь про-

ходила в тени гигантской фигуры человека в кителе и фуражке. И вот теперь нам всем объявили, что этого человека больше не надо бояться, что его бьют можно разрушить. И мы его разрушили. Мы уничтожили и фуражку, и голову со строгими усами, и туловище. Только постамент было велено не трогать, и он остался.

Разумеется, дома я рассказал родителям об удивительном событии, случившемся в школьном дворе. Их реакцию на мой рассказ не помню. Видимо, реакция была сдержанная. Думаю, папа Миша и мама Шура, как и большинство их современников, не могли сразу осознать, как это могло случиться. Но постепенно что-то в жизни стало меняться. Например, к нам в гости стал ходить сосед, пожилой музыкант, работавший в театральном оркестре (кларнет или гобой, точно не помню). Он рассказывал, в частности, историю своей посадки, а также истории из лагерной жизни. И мамина подруга Света Фридланд тоже что-то рассказывала, а раньше помалкивала. Вообще люди стали охотнее вступать в беседы, свободней себя держать. Можно сказать, что жить стало чуточку легче.

Удивительный праздник, случившийся на школьном дворе, и рассказы соседа (кларнет или флейта), и книжка «Прописан на Колыме», которую чуть позже (насколько позже?) принёс домой папа Миша – всё это, конечно, должно было подействовать на мальчика Володю. Можно предположить, что этот праздник освобождения мог посеять в его душе семена критического мышления и даже бунтарства. Это будет обоснованное предположение; оно объяснит недоверие, которое Володя Григорьев в дальнейшем, в годы учёбы в школе и вузе проявлял к постулатам научного коммунизма и марксистской философии. Западные голоса слушал, «Ивана Денисовича» читал – помню обёрнутый в газету, уже рассыпающийся на отдельные страницы экземпляр «Роман-газеты» со знаменитой повестью, который он мне однажды дал почитать на сутки. В то же время следует заметить, что эти критические семена, видимо, были недостаточно жизнестойкие, всхожесть у них была низкая, урожайность нукудышная. Что вполне объяснимо: каменистая почва Колымы, пусть даже принявшая в себя десятки тысяч тел расстрелянных, замёрзших, умерших от голода и болезней, не позволяла взойти и укрепиться росткам подлинно свободного, не знающего преград духа. Семена, посеянные в каменистую почву, при дороге, хотя и всходили, но быстро сохли под ледяным ветром с океана. Подлинно свободный дух, способный объять даль и глубь, горячее и высокое, низкое и тёмное, объять, переработать и двинуться дальше, к новым открытиям, – такой дух вряд ли мог оформиться в тогдашних условиях. И это отчасти объясняет, почему Володя Григорьев, с детства проявлявший интерес к истории, после школы поступил не на исторический, а на механико-математический факультет, и почему в 1970 году, когда к нему после занятий внезапно подошёл (вынырнул из осеннего тумана) бывший школьный товарищ Саша Антонов и предложил проводить Володю до дома на Первой Дачной... Да, представьте – мы с ним до этого год, наверно, не виделись, и вдруг он возникает из тумана и предлагает проводить, пройтись вместе, и во время этой совместной прогулки начинает излагать такие вещи, которые... «брехня, – говорит, – всё сплошная брехня»... «номенклатура стремится укрепить свою власть»... в общем, начинает излагать примерно то же самое, что я слы-

шал сквозь рёв глушилок, прильнув к приёмнику – когда он всё это стал излагать, я сразу насторожился. И когда последовало завуалированное, осторожное предложение принять участие в какой-то деятельности, в совместной борьбе, примкнуть к некой группе, ответил отказом. Времени, дескать, заявил я своему бывшему товарищу Саше Антонову, совсем нет, голова не тем занята, интеграл надо брать, а он не даёт. И больше с бывшим однокашником не встречался.

Но эта встреча с Сашей Антоновым, и чтение «Ивана Денисовича», это всё случилось гораздо, гораздо позже. А тогда, в давние времена, о которых я здесь рассказываю, люди – повторюсь – стали охотнее вступать в беседы, делиться сокровенным. Ну, и жить стало немного легче.

Одной из примет этой полегчавшей жизни (словно ношу какую с плеч сбросили) были отпуска. Папе Мише и маме Шуре, как работающим в районах Крайнего Севера, полагался увеличенный по сравнению с обычным оплаченный отпуск – почти полтора месяца. А если удавалось присоединить проведённые на работе выходные и праздники, выходило ещё больше, до двух месяцев. И эти месяцы свободной жизни мои родители проводили, конечно, на Большой Земле. И меня туда возили. Эти поездки, случавшиеся каждый год, слились в моей памяти в нечто вроде фильма – нечто вроде яркой киноленты из какой-то другой жизни, увлекательной, весёлой жизни, иногда дарившей ощущение счастья (так было, когда я впервые вошёл в море, и оно оказалось тёплым, в нём можно было бултыхаться, нырять). Иногда эта увлекательная жизнь сопровождалась неприятностями, даже мучениями – меня укачивало в самолётах, а лететь приходилось через всю страну, я мучился от непривычной жары – но тут уж ничего не поделаешь. Москва, Ленинград, Сарматов, Кисловодск, Сочи, музеи, фуникулёры, горные дороги (на которых меня укачивало так же исправно, как в самолётах), незнакомые фрукты – персики, груши, яблоки, которых я как-то объелся и потом мучился желудком. Да, мрачные кадры тоже попадались в этой пёстрой ленте, но радость всё же перевешивала.

Но вот что удивительно: казалось бы, память должна была удержать каждый кадр этого замечательного фильма, хранить его в особом конвертике с пометкой в углу – хранить бережно, в полном порядке, чтобы можно было достать этот кусочек прошлого по первому требованию обладателя счастливых воспоминаний – на, любуйся. Память должна была сберечь все эти горные озёра, музейные залы, канатные дороги, галечные и песчаные пляжи – ведь они были такие особенные, так отличались от суровой магаданской жизни. Была должна – но не сберегла. Всё слиплось в один нераздираемый комок. Отдельно остался – вот странно! – только один эпизод, связанный с учёбой в сочинской школе. Почему именно он, почему запомнилась именно школа? Не знаю. Но факт налицо.

Отправившись в августе того года на полюбившийся им Кавказ, родители задержались там до сентября. И тут вдруг осознали, что в стране начался учебный год, что их сын, если не принять меры, уже завтра начнёт пропускать занятия и будет пропускать ещё не одну неделю – до Магадана быстро не доберёшься. А прерывать отпуск, отказываться от моря и горных озёр не хотелось. И тогда они устроили меня на время в какую-то школу славного города Сочи.

Я не помню её номера, хуже того – не помню её учителей. А надо бы – учи-

лось мне там весело, легко, это я помню. Что особенно хорошо врезалось в память – порядки, царившие в этой удивительной школе. Если у нас в Магадане на переменах ученикам строго запрещалось бегать по коридорам и даже быстро ходить, то здесь бегать можно было сколько угодно. Больше того, на переменах специально открывали спортзал, и если там не было занятий, можно было бегать по нему, лазать по канатам и шведским стенкам, прыгать на маты, лежавшие в углу. Даже на пианино, что стояло в актовом зале, разрешали играть! Это было какое-то царство свободы, похожее... да, пожалуй, похожее на тот день в школьном дворе в Магадане, когда мы уничтожили памятник человеку в кителе.

И так прошла большая часть первой четверти. Я и дальше был бы не прочь бегать на переменах по широким коридорам, лазать по шведским стенкам в спортзале и играть на пианино, но в начале октября меня забрали из этой замечательной школы, и мы пустились в долгий обратный путь, навстречу строгой дисциплине и ледяным ветрам из бухты Нагаева.

Мне осталось рассказать немного. Потому что вскоре после возвращения из этого затянувшегося отпуска наша жизнь на улице Коммунарной как-то перекосилась и пошла боком, словно машина на обледеневшей трассе, и тормоза не могут помочь. Почему так случилось, я не знаю. Кажется, тут сыграла свою роль приверженность папы Миши к застольям с друзьями (коллеги по работе, два инженера, оба бывшие зека, и геолог с прииска), после которых папа возвращался домой, прямо скажем, не рано. Имелись ли в этой мужской компании также и женщины? Не знаю. А у мамы на работе были какие-то застолья? Компании? Не ведаю. Знаю только, что между двумя большими, замечательными людьми, что заботились о мальчике Володе, почему-то прошла трещина, стали вспыхивать ссоры, говорились какие-то обидные слова. Ещё помню вот такое: меня попросили подождать в коридоре, пока родители обсудят что-то важное. И я стоял в тёмном коридоре, куда выходили двери трёх комнат (нашей и двух соседних), где стены были увешаны тазами, а вдоль стен стояли какие-то ящики. Стоял, не зная, зачем я здесь стою и сколько ещё надо ждать. А потом меня позвали назад в комнату, и мама спросила, с кем бы я хотел остаться из них двоих – с отцом или с матерью? Это был, конечно, странный вопрос. Всё равно как если бы меня спросили, чего бы я хотел лишиться – руки или ноги? Чего не жалко? Ведь такие вопросы можно задавать только в игре, когда во дворе в войну играют, правда?

Не помню, что я тогда ответил. Скорее всего, ничего. Кажется, я всё ещё думал, что всё это в шутку, что как-то срастётся и всё будет, как прежде. Но ничего не срослось и как прежде не стало. И в начале лета, когда я окончил третий класс, мы с мамой Шурой сели в самолёт (вдвоём сели, без папы Миши) и полетели на Большую Землю. Но, как вскоре выяснилось, полетели не в отпуск, не к морю, а к бабушке Наталье Александровне, в город Сарматов, родной город мамы Шуры. Полетели туда, чтобы там жить. И с тех пор я уже не возвращался в замечательный город моего детства, расположенный на берегу бухты Нагаева, уютный город, где всё было близко, где летом можно было кататься на велосипеде, а зимой на санках, где в небе вспыхивали разноцветные всполохи. Я уехал из города моего детства и не знаю, как он сейчас выглядит. Наверное, там многое измени-

лось. Всезнающая Википедия сообщает, что после нашего отъезда население города стало расти. Особенно бурный рост наблюдался в конце 80-х – начале 90-х, и в 1991 году в городе проживало свыше 154 тысяч человек – масса народа! Потом, правда, люди почему-то стали уезжать, но и сейчас там живёт почти вдвое больше людей, чем в моё время. Этим приехавшим издалека людям, конечно же, потребовались современные каменные дома – не такие, как мой родной дом. Да, наш дом на улице Коммунарной, конечно, давно снесли, как и другие, им подобные. Город вырос; вполне может быть, что застроили и берега реки Каменушки, где между камней пробивалась слабая трава, кое-где росли мелкие, еле заметные голубые цветы, а мы с Ромой Фридландом строили замки из камней. Очень может быть, что это место застроили, его нипочём не узнаешь.

Но мне кажется, что школа, в которой я когда-то учился, осталась прежней – ведь она входит в ансамбль зданий центра города, построенных в 1950-х годах ленинградскими архитекторами в стиле неоклассицизма. А значит, и то место, где когда-то стоял памятник усатому Вождю в кителе, тоже осталось. Правда, я нигде, ни в каких справочниках не нашёл упоминания о том, что этот памятник когда-то существовал в школьном дворе, а затем был разрушен. Может быть, автор выдумал весь этот эпизод? Ведь никаких доказательств нет, ни один обломок от того памятника не сохранился, стихия забвения поглотила и гипсовый, с добавлением цемента, бюст, и чувство праздника, которое испытывали в тот день все мы, находившиеся в школьном дворе. Поглотила и радость, и горе, и ощущение сброшенной с плеч ноши, и пожар, и потоп, и стоявшее на диванной полочке чудесное изделие из оленьего рога, где в специальном углублении помещались нарты, олень и погонщик.

Однако я уверен, что вода в колымских озёрах – там, на трассе, к северу от города – осталась такой же прозрачной, как и была, так что легко разглядеть любой предмет, упавший на дно. Вода таёжных озёр осталась незамутнённой, вершины елей всё так же шумят над головой, и это как-то... утешает, что ли.

## Суд идёт

О беде, постигшей Алексея, Иннокентий узнал от отца. «Должен сообщить тебе неприятную новость, – сказал он, войдя в комнату сына; дело было вечером, за окном тьма непроглядная. – Мне только что сказали, под большим секретом. Твой друг, Дружин, арестован сегодня утром. И ещё несколько человек».

Это был шок. Да, я предвидел такой исход, даже предупреждал Алексея о нём, но всё равно – шок. Такое чувство, что земля из-под ног ушла, падаешь в пустоту. «Скажи, – продолжал Григорий Константинович, – пылливо глядя на сына, – а ты участвовал в их деятельности? Бывал на собраниях? Выполнял какие-то поручения?» – «Нет, не участвовал, – отвечал я. – И поручений никаких не выполнял. На собрании, правда, был один раз. Но меня там не представили, меня там никто не знает, кроме...» – «Это неважно, что никто не знает. Важно, что они тебя видели. Будь уверен – там узнают. Очень скоро узнают. И тогда...» Григорий Константинович вздохнул, хрустнул пальцами, прошёлся по комнате. «У тебя будут неприятности? – догадался Иннокентий. – С этим новым назначением, да? И с постройкой корпуса?» – «К чёрту моё назначение! Не так уж и хотелось. Хотя, конечно, приятно, когда твоя работа получает признание. Это как для альпиниста взобраться не на Эльбрус, а на Эверест. Тоже высота, но другая. И с корпусом тоже – не получится, и ладно. Хотя институт должен развиваться, и новые помещения... Нет, я боюсь, что неприятности будут у тебя». – «Но... ты что, хочешь сказать, что меня будут судить? Посадят? Но за что? Ведь я не делал ничего такого, что...» – «Это ты репетируешь своё выступление перед следователем? Правильно делаешь. Тебя обязательно вызовут, чтобы снять показания. И очень важно, какими будут твои показания. В конце нужно добавить, что когда ты почувствовал что-то неладное, ты решил на эти сборища больше не ходить. После

этого тебя ещё десять раз спросят, что именно ты почувствовал, как, каким местом, в какой момент...» – «Ты что, считаешь, что нужно как-то готовиться? Прямо репетировать?» – «Да, нужно. Ведь тебе предстоит пройти между Сциллой и Харибдой. Или, если пользоваться более современным языком, между войной и позором. Это высказывание приписывают Черчиллю, хотя, насколько мне известно, он такого не говорил».

Григорий Константинович взял стул и сел напротив сына. Они частенько так беседовали по вечерам, сидя напротив друг друга, и оба ценили эти минуты.

«От тебя будут требовать, чтобы ты назвал каждого, кто был на этой встрече, что он говорил, в какой последовательности. И кого-то тебе придётся назвать, и какие-то темы, какие-то слова вспомнить. Конечно, ты постараешься сгладить острые углы, опустить самые криминальные высказывания. А следовательно, перед которым будут лежать показания участников этой сходки, будет тебе напоминать: а почему вы об этом не говорите? а об этом? И чтобы сохранить уважение к себе, чтобы потом тебе не было стыдно – и в то же время чтобы не дразнить следствие, чтобы избежать неблагоприятного развития событий – тебе нужно будет заранее продумать свои слова, взвесить каждое. Потому что в этот момент для тебя будет решаться многое». – «Ты так говоришь, словно у тебя уже опыт есть. Словно тебе приходилось... Тебя что – допрашивали?» – «Да, дважды. Даже трижды, если вспомнить тот эпизод, ещё на фронте...» – «Ты мне раньше не рассказывал...» – «Как-то повода не было. И потом... Мне нечего стыдиться... ну, особенно сильно стыдиться. Но всё равно, это были не самые приятные минуты. Даже так – самые отвратительные минуты в жизни. Вспоминать не хочется».

Да, самые противные минуты. Вспоминать о них – всё равно что ковыряться в клубке слипшихся червей... или даже не червей, а каких-то отвратительных, мерзких насекомых. Не думал я, что моему сыну тоже придётся испытать нечто подобное. Хотя, живя в нашей стране, всегда нужно быть готовым ко всему. В конце концов, что Кешка допустил? Самое естественное стремление любого человека, в котором есть что-то живое: стремление узнать суть происходящего вокруг тебя, понять, почему так, а не иначе. Да, простое желание разобраться. В конце концов, просто пообщаться с ровесниками. Ведь больше-то, я уверен, там ничего не было. Конечно, им будут приписывать всякие подрывные намерения, но я уверен, что больше там ничего... Хотя... За сына я могу ручаться, что там больше ничего, а за Алексея? Правда, я с ним говорил всего пару раз, но этого хватило, чтобы понять: этот мальчик готов проламывать стены, идти до конца. Умный мальчик, многим интересуется (а многого, наоборот, не знает и не хочет знать – например, литературы, музыки, вообще всей художественной стороны жизни). Я ещё тогда, при первом разговоре (помню, он интересовался Чайновым, Кондратьевым, идеей развития кооперации), почувствовал в нём некую непреклонность. Да, твёрдость, бесстрашие и готовность идти до конца. А ещё – явный догматизм, стремление жонглировать цитатами. Я тогда подумал: «Этот пороку не выдумает, но существующий порок использовать может». Человек действия, совсем не науки. Я тогда подумал: зачем ему истфак? Что он будет делать после окончания? Лекции в обществе «Знание» читать?

Или в школу пойдёт – детей учить? Смешно представить. Впрочем, теперь этот вопрос снят. Закончить университет ему не дадут ни в коем случае.

«Скажи, а эта девушка – кажется, Таня? – она тоже имела отношение к...» – «Да, я её впервые увидел у Алексея». – «И, насколько я понял, у вас...» – «Это замечательная девушка, я таких никогда не встречал». – «Если она оттуда, ваши отношения необходимо прекратить. На время, конечно». – «Но она именно теперь будет нуждаться в моей помощи! Особенно теперь!» – «Ты тоже будешь нуждаться в помощи. Это как со спасением утопающего: важно рассчитать свои силы и самому не утонуть. И потом, я ведь не говорю о полном разрыве. Речь идёт всего лишь о временной заморозке...»

На что они вообще рассчитывали, эти ребята? Степан Ермолаевич намекнул, что там, кроме Дружина, были и другие вожаки – из юридического института, кажется, даже из моего. На что они надеялись? Государство крепко, как никогда. Союз пятьдесят лет простоял и ещё столько же простоит, что бы ни утверждали молодые идеалисты вроде Алексея или старые ворчуны вроде Пухова. Неповоротливая, крайне консервативная, но при этом очень прочная система; какой-то мамонт, который прёт и прёт себе через тайгу, не замечая препятствий. При этом отдельные клетки, составляющие организм этого великана, отдельные люди то есть, могут выдумывать нечто совершенно новое, выдвигать новаторские идеи, конструировать такое, что в мире никому в голову не придёт. К сожалению, мамонт способен усвоить только малую часть этих изобретений. Но и этой гомеопатической дозы новых идей хватает для некоторого обновления государственного организма. Вот над чем следует думать молодым идеалистам, если они хотят увидеть перемены: как соединить открытия одиночек с заскоружным механизмом существующего уклада. Например, как помочь развить хозрасчёт, ту же кооперацию, как совершенствовать планирование, поддержать Алексея Николаевича...

«На тормозах? Нет, не думаю. Если кого-то арестовали, на тормозах уже не спустят. Это тебе не книжное дело. Это дело доведут до суда. И по каждому, кто был причастен, хоть краем уха слышал, примут отдельное решение. Поэтому тебе тоже нужно решать...»

Сашу Антонова взяли прямо с занятий. Открылась дверь за спиной доцента Волкова, показалось незнакомое лицо, снова скрылось. Доцент подошёл к двери, переговорил негромко с тем, незнакомым, потом повернулся к аудитории и сообщил, что студенту Антонову необходимо выйти по неотложному делу. Да, вещи взять с собой.

Саша был удивлён: какое может быть неотложное дело? Хвостов, каких-то несданных зачётов у него никогда не было. Может, какую-то анкету заполнить? Засунул тетрадь, ручку в папку из дешёвого кожзама (мама сказала, что ничего лучше не нашла) и поспешил к двери.

За дверью ожидал молодой, тридцати, кажется, лет, человек в плаще, лицо умеренно твёрдое, не злое, совсем не страшное. Спросил: «Вы Антонов? Вам нужно пройти со мной». Перед глазами Саши возникла маленькая книжечка в красном переплёте – удостоверение. Саша никогда раньше не имел дела с удостове-

рениями, только в кино видел, как их показывают; не знал, что там читать. Успел прочесть только отдельные слова: «Комитет... безопасности...» И ещё фамилия бросилась в глаза: Ермолаев. А прочие данные: имя, отчество, звание – Саша не прочёл, а просить, чтобы дали подольше поглядеть, было неловко, ему и в голову не пришло. Но про себя сразу определил обладателя удостоверения как лейтенанта. На капитана он точно не походил. «Одежда есть? Идёмте». И они по пустому в час занятий коридору (из открытой двери деканата доносился стук машинки и женские голоса) прошли к лестнице, и вниз, вниз, до самого подвала, где располагался гардероб. Гардеробщицы на месте не было (вечно этой крикливой тётки на месте нет), и лейтенант оставаться в подвале не захотел (его можно было понять, вонизм здесь стоял ещё тот, с одной стороны, чуть подальше, туалеты, с другой буфет), сказал, что будет ждать наверху, и ушёл. А Саша остался ждать. И вот тут, в пустом подвальном коридоре, вдруг понял, что дело плохо. Вернее, не понял, а только почувствовал – догадка явилась, что тут не уточнение анкеты, не какое-то рутинное мероприятие в череде других отмеренных каждому рутин (военкомат, райком комсомола, обком не знаю чего), а нечто совсем другое, не рутинное, такое, что рвёт ткань повседневности, и видна изнанка. Что это связано с... ну, ты сам понимаешь, с чем. Он это почувствовал – и в подвале словно свет померк, лампочки перегорели.

Явилась из буфета, вытирая губы, гардеробщица, ворча, что поесть не дают, выдала Саше его нелепый плащ из дешёвого кожзама, и он поднялся наверх, в вестибюль. Поднялся не по широкой деревянной лестнице, что вела в коридор первого этажа, а по узкой, винтовой, которая вела в вестибюль, прямо к входной двери. Умеренно твёрдого лейтенанта Ермолаева здесь не было, и Саша решил, что тот ждёт на улице. Вышел, глянул кругом: прохожие спешили взад и вперёд, дождик капал, а лейтенанта не было. И Антонов догадался, что совсем не страшный обладатель красного удостоверения ждёт его возле той, широкой лестницы в коридоре. Вернулся в вестибюль, повернул в коридор – и действительно увидел серый плащ, умеренно открытое лицо. При виде Антонова это лицо как-то перекопилось, и уже нельзя было сказать, что его обладатель какой-то там открытый и не злой. «Вы почему с этой стороны?» – спросил. Саша объяснил насчёт второй лестницы. Умеренно простое лицо Ермолаева ещё раз перекопилось, он произнёс: «Идёмте, и чтобы больше без фокусов», – и они вышли из здания истфака, повернули направо. Там, под знаком «Остановка запрещена» стояла чёрная «Волга», водитель скучал за рулём. Лейтенант открыл заднюю дверь, сделал Саше знак – давай, залезай, сел сам, и они поехали.

Саше редко доводилось ездить на машинах, больше на трамваях, впечатления были новые, и он вертел головой, впитывал. Впрочем, ехать было недолго: миновали два квартала, повернули, и машина остановилась у подъезда четырёхэтажного здания, известного в городе как «Серый Дом (по цвету штукатурки)». Лейтенант открыл дверь, пропустил Сашу, сам вошёл следом. Вестибюль как вестибюль, на радиоприборном заводе, где Саша год проработал, был такой же: окошко в стекле, за окошком девушка, которой нужно показать пропуск, допуск, запуск. Хотя было кое-что, отличавшее это место от проходной завода, или райкома, или ещё чего-то знакомого: по вестибюлю прохаживался моло-

дой человек лет примерно двадцати шести, с волевым лицом, в сером костюме – в общем, ещё один Ермолаев. Тот Ермолаев, что доставил Сашу, на девушку в окошке даже не взглянул; подошёл к своему двойнику, сказал что-то (наверное, пароль), тот кивнул, и Сашу повели дальше. На миг открылся пустой коридор, откуда-то доносился стук машинки, затем появилась комната без окон, вешалка в углу, вдоль стен стулья, как в приёмной у зубного врача, на стене портрет человека во френче, с бородкой. «Плащ снимите, садитесь». И ушел. А Саша остался.

Через открытую дверь доносился стук машинки, пару раз обозначились шаги, но голосов никаких не было, стояла тишина. И в этой тишине к Саше Антонову вновь пришло осознание случившейся с ним беды. И почему только с ним? Теперь уже ясно, что всё случившееся – вызов с занятий, лейтенант с красной книжечкой, поездка на «Волге» – связано с Алексеем, с Таней, с работой «Закат капитала», которую Саше дали почитать на двое суток. Беда случилась со всеми, со всей их группой. Такая беда, какой в его жизни ещё не было, и не ожидалось. Тут тебе не аппендицит (на первом курсе случился), не внезапно заболевший зуб, не размолвка с лучшим школьным другом – тут словно тебя, неосторожного купальщика, в море уносит, и сил нет выплыть. Смотри, какие кругом волны, какая тишина – четыре этажа над тобой нависли, и ни одного звука не доносится, кроме этой проклятой машинки. Сейчас лейтенант вернётся и будет допрашивать, пытать: кто что говорил, что ты отвечал, и с кем встречался. Что же: и про Таню говорить надо будет? И тот разговор с Алексеем передать, два месяца назад, когда тот сказал, что мирным путём вернуть власть народу вряд ли получится, надо готовиться к вооружённой борьбе? Нет, вот этого говорить нельзя ни в коем случае. И о Тане, конечно, ни слова. А надо будет сказать, что... И Саша начал внутренне готовиться к предстоящему ему поединку.

Мудрецы Комитета, рекомендовавшие сотрудникам перед началом допроса мариновать фигурантов в ожидальне, исходили из того, что человек, внезапно выхваченный из жизни и помещённый в комнату без окон, где над ним нависли четыре этажа молчаливого серого сооружения, четыреста четыре этажа пионерии, комсомола, партии во главе с, всего прогрессивного человечества, доблестных Вооружённых Сил, профсоюзов, вузов, славного прошлого и великого будущего, тюрем и лагерей – что человек в этих условиях неизбежно скукожится, свернётся, словно ёжик, и будет дрожать мелкой дрожью, ничего не соображая, заранее готовый во всём признаться. Возможно, во многих случаях (даже в большинстве случаев) такая методика давала нужные результаты. Но в случае с Сашей она дала результат прямо противоположный, позволив маленькому слабому мышонку выстроить какую-никакую линию обороны, вырыть окоп и обдумать пути отхода. Возможно, были и другие, подобные Саше. Так что, возможно, с тех пор методика подготовки фигурантов к первому допросу была пересмотрена, и теперь применяется совсем другая. Не знаю, всё может быть. Но тогда было так.

Вернулся лейтенант, сказал «Идите за мной», и повёл Антонова по тихим коридорам вверх, на третий этаж, в небольшую комнату, где имелись стол со стульями, сейф в углу, генеральный секретарь на стене, а в другой стене – окно, и никаких на нём решёток, вообще ничего страшного. «Садитесь. Ваше имя?

Отчество? Фамилия? Год рождения? Домашний адрес? Имя и фамилия каждого из родителей? Место работы или учёбы?» И потом, когда первый лист был заполнен, прозвучало главное: «Вы задержаны в связи с расследованием деятельности антисоветской группы Дружина, участники которой обвиняются по статьям 70 и 72 Уголовного кодекса. Вы будете допрошены в качестве свидетеля. Но в случае, если будут установлены факты, уличающие вас как участника преступной группы, ваш статус может быть пересмотрен. Вам понятно? Распишитесь вот здесь. А теперь скажите, кто привлек вас к деятельности антисоветской группы? Как это вы не помните? Неужели такое незначительное было событие, что не запомнили? Вас что, каждый день в преступные группы вовлекают? Давайте, рассказывайте, Антонов, как это происходило».

Как он в меня вцепился! Вон как смотрит! Нет, он не отстанет, будет вытягивать. Надо что-то сказать, а то не знаю, что будет: установят уличающие факты, пересмотрят статус, а я даже не знаю, что это значит. Вспомнил, вспомнил! Я ведь ещё там, внизу, придумал: надо сказать, что мне всё это рассказал Алексей, когда мы встретились в клубе СГУ. О нём можно сказать, о нём они знают, вреда не будет.

В сущности, это моё первое серьёзное дело. Конечно, были книжники, но то расследование вряд ли можно считать серьёзным. Все эти инженеры, музыканты, учителя, библиотекари, доценты с профессорами, любители запретной литературы, которые на допросах дрожали, как осинный лист, готовы были рассказать всё, что было и чего не было, назвать всех, кто им давал почитать и кому они давали на одну ночь... Да, книжное дело можно считать простой разминкой. Эти студенты – совсем другой уровень. У них организация, клички, методика вербовки, планы издания своей газеты... А их лидер, Дружин? Я на одном допросе понаблюдал. Вот кто настоящий, убеждённый враг! Как он себя держит! Даже майор в какой-то момент растерялся. Но потом нашёл щёлочку, заставил этого моллюска раскрыться. И я тебя заставлю, Антонов.

«Значит, вы утверждаете, что познакомились с Дружиным на репетиции студенческого театра в клубе университета? И якобы тогда же он предложил вам вступить в его организацию. Но тут у вас неувязочка получается, Антонов. Ведь репетиции были минувшей зимой, а ещё до этого, в ноябре, вы присутствовали на собрании группы, которое состоялось на квартире Дружина. Вы сидели между... сейчас скажу... между кларнетистом Скульским и Надеждой Тамбовцевой. Вот видите, мы и это знаем. И знаем, кто вас пригласил на это собрание. Сказать?»

Нет, ты у меня не отмолчишься, Антонов. Выпотрошу тебя, как леща. Да ты и похож на леща, снулый какой-то. Хотя сейчас, когда тебя вытащили из воды, из твоей привычной обстановки, вон как завертелся. И клуб вспомнил, и конференцию по диамату. А если поместить тебя на сковородку, как того же леща, – небось прыгать начнёшь, извиваться.

«Скажите, Саша, а какие отношения у вас были с участницей вашей группы Татьяной Ожогойной? Как это – «никакие»? Ведь это она проводила с вами агитацию, рекомендовала читать определённые ленинские работы, видеть в них то, чего нет, а позже рассказала о существовании антисоветской группы. Весной

прошлого года вы с ней встречались чуть ли не каждый день, а говорите «никакие». Никакие, никакие... А ведь красивая девушка, правда, Саша?»

Вон как ты завертелся, когда о Татьяне заговорил! Да, тут у всех слабое место как точно нам на курсах про это говорили. На половых отношениях всех пробирует, даже самых пламенных борцов, за это место их и надо брать. Хотя сводить всё к половым отношениям, как это делают буржуазные психологи, конечно, нельзя. Нет, тут не только половой инстинкт, тут и реакционная идеология. По сути, мы имеем дело с новым классовым врагом. Правильно говорил вождь, что по мере приближения к социализму классовая борьба обостряется. Только теперь она обостряется по мере приближения к коммунизму. И этот Саша – не просто глупый лещ, запутавшийся во вражеских сетях, по сути он – классовый враг. А с врагами не церемонятся.

«А ведь за эти ваши разговоры с Ожогойной, а потом с Дружинным тебя, Саша, отчислят из университета, призовут в армию. Как же ты, Саша, сообщишь об этом маме? Как ты себе это представляешь?»

Он не знал, что ответить. И правда – как? Войти, как всегда, бросить папку на диван и сказать эдак небрежно: «Ты знаешь, меня тут допрашивали... Меня, наверно, отчислят...» Нет, невозможно представить!

«Да, твоя мама, Саша, вряд ли обрадуется. Ведь она, наверно, мечтала...»

Да, Лариса Анатольевна Антонова, урождённая Латушко, часто думала об будущем сына. Саша рос вдумчивым, тихим мальчиком, много читал, многим интересовался. Пожалуй, слишком тихим он рос, слишком послушным – а ведь таким трудно приходится в жизни. Это он в меня характером пошёл. Я понимала, что с этим что-то надо делать, пыталась как-то исправить, устроила его сначала в вольную борьбу, потом в бокс, но везде такая ерунда получилась, вспоминать не хочется. Но ничего – вот закончит университет с красным дипломом, станет учёным, будет изучать каких-нибудь хеттов с ассирийцами, ближе не надо. Потом защитит диссертацию, станет профессором, встретит какую-нибудь девушку... (тут в планах стучался туман: Лариса Анатольевна никак не могла представить себе девушку, которая подошла бы её сыну). И заживут они, заживём мы счастливо...

Обязательно нужно этого Сашу раскрыть, всё из него вытрясти. От этого зависит дальнейшее продвижение, всё зависит! От этого студенческого дела для меня пролегал прямая дорога для работы за рубежом. Хотелось бы мне поработать за рубежом, где-нибудь в странах народной демократии, в Болгарии, например, или Чехословакии. Или ещё дальше отправиться, куда-нибудь в Африку, в одну из стран социалистической ориентации. Это будет совсем новый уровень! Какие горизонты! Тогда можно будет оформить отношения с Юлей, создать семью, и заживём мы счастливо. Всё, всё зависит от этого Саши!

А порадуя-ка я сегодня сына, думала Лариса Анатольевна, покачиваясь на сиденье троллейбуса (за переработку на прошлой неделе сегодня её отпустили на час раньше, это во всех смыслах было удачно, вот и в транспорте народу мало, сесть можно). Что я его всё курицей да лапшой кормлю? Возьму и сделаю на обед солянку. В холодильнике кусок мяса с прошлой недели остался, и огурцы есть. Надо только колбасы купить, в «стекляшке» вчера вроде давали по три пятьдесят, может, и сегодня будет. И устрою я Саше праздник, порадую.

«Так, с тем собранием группы мы вроде закончили. Теперь рассказывайте – подробно, слышишь, Антонов, подробно рассказывай, о чём с тобой говорил Дружин, когда оставил тебя одного после собрания. Не одного, говоришь? А кто был этот третий? Как он выглядел? Ты его раньше видел? Хорошо, проверим. Мы всё проверим, Антонов, работа у нас такая...»

– Я одного не понимаю, Танюша, – сказал следователь, который был постарше. – Не понимаю, как тебя, умную деревенскую девушку, занесло в компанию этих белоручек, болтунов, бездельников? Ведь никто из них жизни не знает, вилы в руках не держал, не знает, с какого бока к Ночке подойти, как вымя погладить.

Следователя, который постарше, звали Кирилл Романович Молчунов – это Таня запомнила. Был одет в хороший серый костюм, рубашка в мелкую полоску, галстук. Лицо у него было открытое, пожалуй, даже симпатичное, смотрел доброжелательно. Только в углах рта было что-то неприятное. В кабинете был и второй следователь, помоложе; сидел напротив Тани за столом, заполнял протокол. Он носил звание лейтенанта, фамилия Картузов, имя она не запомнила. И про лицо лейтенанта ничего не могла сказать, какое оно: открытое или закрытое, в клеточку или в полоску, что выражает. Лейтенант носил лицо, от которого все определения отскакивали.

– Знаю, знаю, что ты мне ответишь! – продолжил капитан Молчунов и улыбнулся широко. – «Да ты сам, небось, не знаешь, как за вымя у Ночки держаться, как её выдоить, и что там на поле растёт, рожь или пшеница, и копну не сможешь сложить!» – вот что ты сейчас думаешь, Танюша! Я угадал? По глазам вижу, что угадал! Но тут ты ошибаешься: я тоже деревенский, как и ты. Ты из Михайловского района, а я из Степновского, село Прудовое – не слыхала?

Капитан сидел на краю стола, возвышаясь над Таней, поглядывал на неё сверху вниз, как бы по-отечески, улыбался, всё норовил в глаза заглянуть. Глаза у капитана были синие, лицо симпатичное, пожалуй, даже красивое, и губы правильные – не толстые и не тонкие, а какие у мужчины должны быть. И говорил он всё правильно, только Тане не понравилось, как он произносит слово «вымя». И она утвердилась в мысли, что именно от него, от капитана, исходит главная опасность. И она не стала отвечать на невинный вопрос о селе Прудовое Степновского района, только головой мотнула отрицательно – не слыхала, не знаю. Тут заговорил лейтенант.

– Нам известно, Ожогой, – сказал он, – что руководитель вашей группы Дружин поручил вам вести агитацию среди студентов, ложь антисоветскую распространять, готовить их к вступлению в вашу группу. Вы подтверждаете, что вам было дано такое поручение?

– Не было никакого поручения, – возразила она. – Никто мне ничего не поручал.

– Как же в таком случае получилось, что начиная с осени 1968 года вы постоянно знакомились с молодыми людьми с вашего факультета, с разных курсов, и вели с ними антисоветские разговоры? Хотите, чтобы я их назвал? Пожалуй-ста. Первым был Костин, потом Микаэлян, затем Петров, а последним стал Ан-

тонов. В феврале 1969 года вы регулярно встречались с первыми тремя, только в разные дни. Что, это у вас такой интерес к молодым людям внезапно вспыхнул, или была другая причина? Что вы молчите, Ожогина?

Она не знала, что ответить. В самом деле, ведь нельзя сказать, что был интерес ко всем троим, что хотела познакомиться – как она тогда будет выглядеть? А что тогда говорить?

Капитан пришёл ей на помощь.

– Ну, что ты мучаешь девушку, Виктор? – сказал он и снова широко улыбнулся; кажется, даже подмигнул. – Ясно же, что она не может сказать про любовный интерес ко всем троим, иначе что мы о ней подумаем? А прямо ответить, что выполняла задание, не может, потому что усвоила ложные установки: дескать, нельзя выдавать товарища, того нельзя, этого нельзя. Много есть неправильных установок в нашем воспитании, это надо признать. Так что девушке надо немного помочь. Давай, Танюша, сделаем так: не будем говорить ни о каком поручении. Давай так поставим вопрос: ведь Алексей тебя просил с кем-то поговорить, по твоему выбору? Просил ведь, верно? Если ты так скажешь, ведь ничего страшного не произойдёт.

Она не хотела, не хотела говорить! Но ведь что-то надо было ответить. И она молча кивнула.

– Вот, пиши, Витя: «В октябре 1967 года А. Дружин выразил пожелание, чтобы я знакомилась с молодыми людьми нашего факультета, которых сочту подходящими для проведения с ними антисоветской агитации», – заключил капитан. – Видишь: сказала – и ничего страшного не случилось...

Он встал со стола, прошёлся по кабинету. Лейтенант, которого звали Виктор, в это время быстро писал; дошёл до конца листа, взял следующий. Но вот закончил, поднял глаза от написанного и спросил:

– Скажите, Ожогина, а почему именно вам Дружин поручил вести агитацию, вербовать новых участников группы?

Она задумалась, не зная, что сказать. И снова капитан пришёл ей на помощь.

– Ну, ты даёшь, Виктор! – рассмеялся он. – Тоже мне вопрос! Ты только взгляни на нашу Танюшу, и ответ сразу станет ясен. Внешние данные – вот ответ. С такой девушкой любой захочет поговорить, прогуляться. А во время этой беседы можно внедрять в сознание собеседника всё, что хочешь.

Он взял стул, сел возле Тани; близко сел, почти вплотную, она ощущала исходящий от него запах одеколона.

– Сколько человек, говоришь, ты таким образом сагитировала? – спросил. – Да, забыл – ты ведь нам ничего не говоришь, ты у нас стойкая, как Мария Спиридонова. Не слыхала про Спиридонову? Ну вот, революцию собралась делать, а таких вещей не знаешь. А вот нам известно, что ты сагитировала троих, последний был Антонов. Верно? А с Микаэляном почему прервала общение?

На этот вопрос ответить было нетрудно.

– Я поняла, что с ним не стоит говорить, – объяснила. – Вопросы социализма его не интересовали, он со мной только как с девушкой хотел общаться. Несерьёзный человек, не надо было с ним и начинать.

– Понятно, понятно... – покивал капитан. – А теперь, Танюша, давай сдела-

ем вот что. Давай восстановим всё, что говорилось на собрании вашей группы на квартире Дружина 24 сентября 1968 года. Мы знаем, что там обсуждались два основных вопроса: печатание новых листовок и возможность издания собственной газеты, а также переход к вооружённой борьбе с советской властью.

– Какая вооружённая борьба? – изумилась она. – Вы о чём?

– Но ведь Тамбовцева говорила о том, что надо перенять опыт Че Гевары, – напомнил капитан. – Мы сейчас не будем углубляться в спорные моменты деятельности этого товарища. Нас сейчас вот какой момент интересует: Гевара вёл вооружённую борьбу с империализмом. Партизанскую борьбу. А что это означает в наших условиях?

– В наших условиях, – подхватил лейтенант, – это означает подготовку к вооружённой борьбе с советской властью. Например, к убийствам советских и партийных руководителей.

– Вот что означает упоминание этого кубинского товарища, Танюша, – сказал капитан. – Значит, ты подтверждаешь, что Тамбовцева призывала следовать его примеру?

– Нет, – ответила она. – Нет, я не подтверждаю.

Не могла она это подтвердить. Именно потому, что Надя была ей глубоко несимпатична: что-то в ней было неприятное, глуповатое, при этом смотрела на Алексея влюблёнными глазами, всё время норовила подчеркнуть близость с ним – именно поэтому Таня не могла, никак не могла сказать, что...

– Значит, не подтверждаешь... – задумчиво сказал капитан. – Как же нам быть в таком случае? Может быть, нам в таком случае нужно поинтересоваться некоторыми аспектами твоей биографии, а, Таня? Например, задать такой вопрос: почему ты после первого курса не поехала со всеми на раскопки, а вернулась в деревню? Все так стремились в Крым, а ты нет, ты в свою степь вернулась. Что тебе там, мёдом было намазано, что ли?

– Просто мама в то время плохо себя чувствовала, – объяснила она. – Ей тогда за хозяйством трудно было смотреть. Надо было помочь. И потом, там подруги... Мне хотелось пообщаться...

– Подруги или друзья? А может быть, один друг, сердечный, а, Танюша?

«Так я тебе и сказала! Этого ты никогда не узнаешь, этого никто не знает...»

– И мы даже догадываемся, кто был этот сердечный друг, Танюша, – продолжал между тем капитан. – Нам удалось узнать, что летом, ещё до поступления в университет, ты часто общалась с одним приезжим диспетчером. Как его звали, не напомним?

Спросил – и улыбнулся. И то неприятное, что пряталось у него в углах рта, вдруг расплзлось по всему лицу, лицо другое стало.

Нет, она не могла напомним. Она чувствовала себя так, словно стоит на краю пропасти. Капитан подвёл её к краю этой пропасти, к самому обрыву, и она чуяла: сейчас столкнёт.

– А я вот помню, Танюша. Звали этого молодого человека Егор Пожаров. Вы там книжками менялись, в библиотеке встречались. А может быть, не только в библиотеке? Молчишь? Что ж, придётся нам спросить этого Егора. Это дело нетрудное: он сейчас в Оренбурге с семьёй живёт, хорошо живёт, по службе



его повысили, второй ребёнок родился, и тоже мальчик. Так мы вызовем этого Егора сюда, устроим вам очную ставку... Хочешь, Танюша?

Её вдруг начало колотить мелкой дрожью, как на сильном морозе, когда стоишь на остановке, легко одетая, слишком легко для такой стужи. Никак эту дрожь не могла унять. И ничего ответить капитану не могла. И ничего решить тоже не могла. С этим нужно было что-то делать, и она вдруг услышала, как кто-то где-то говорит так:

– Да, имя Гевары упоминалось. Но Надя вовсе не призывала начать...

– А мы и не говорим, что призывала, – успокоил капитан. – Упоминалось, и достаточно. Пиши, Виктор: «Н. Тамбовцева допускала возможность перехода к вооруженной борьбе. И А. Дружин её в этом поддержал». Так правильно будет? Вот, а теперь уточним вопрос о печатании материалов антисоветского содержания. Говоришь, все эти материалы у вас печатала именно Тамбовцева?

– Ничего такого я не говорила. Я сама хотела научиться, просила, чтобы меня научили...

– Знаем, что просила. Только ты очень-то на это обстоятельство не упирай, Танюша. Ты ведь не хочешь, чтобы мы это внесли в протокол, верно? Зачем это тебе? Пока что тебе за участие во враждебной деятельности угрожает только исключение из университета и из комсомола. Ну, ещё городскую прописку могут аннулировать, назад в деревню выслать. Вот уж там ты досыта с подружками наговоришься! Но если ты будешь свою роль в группе выпячивать, то придётся тебя из свидетелей переквалифицировать в обвиняемые. Знаешь, что это означает?

– Это означает, – помог капитану Виктор, – что поедешь ты, Ожогина, в лагерь. Годиков эдак на шесть. Будешь сидеть там с блядами да с воровками.

– Ты тут, я слышал, на семинар по Возрождению записалась, живопись хочешь изучать, поэзию Петрарки, – подхватил капитан. – Вот в лагере будет тебе поэзия с рисованием, когда ковырялки к тебе по ночам подъезжать будут! Так что ты на себя лишнего не наговаривай. Лучше расскажи, что говорил на этих ваших посиделках Скульский, а что – Горовец. Кто давал тебе брошюру «Закат капитала»? И кому ты сама её давала почитать. Какие были отзывы у Антонова, у Корнюхина? Подробней, подробней рассказывай, Танюша.

И она стала рассказывать. Рассказала и о Грише Скульском, и о Диме, и о книге, которую ей давал Алексей, какая это была глубокая работа, какое впечатление произвела на неё, Таню, и другим очень много дала. Долго рассказывала, целый час, наверно. И только в самом конце, когда капитан стал диктовать Виктору фразу «Для осуществления подрывной работы против родины и социализма...», она не выдержала, вскинулась.

– Да не было у нас никакой подрывной работы против родины и социализма! – воскликнула. – У нас была работа против всеобщего вранья, против разбитых тротуаров, текущих труб, пустых полок. Когда партийную номенклатуру отстранят от власти, когда к власти придут трудящиеся, трубы перестанут течь! В обществе, где царит правда и справедливость, даже в нашем селе дороги будут, как в Америке! Вот увидите!

Следователи подняли головы от протокола. Капитан покачал головой с выражением «Ну надо же!», лейтенант пожал плечами. И снова занялись делом.

На судебных заседаниях Пospelов раньше не бывал, как-то не довелось. Но, как человек опытный, представлял, как следует себя вести в этом зале со стёртыми полами, старыми скрипучими креслами, пыльном зале, в котором никогда ничего серьёзного не решали – ведь приговоры выносили в районных судах, а здесь, если упорный адвокат доводил дело до областного уровня, их только штамповали. Вести себя следовало, скажем, как на какой-нибудь конференции высокого уровня или на торжественном концерте, куда ходят не танцы с саблями смотреть, а чтобы отметить своё присутствие, подтвердить высокий статус. На таких конференциях не полагается делиться впечатлениями или вертеть головой, высматривая знакомых, тем более делать кому-то приветственные жесты. Тут полагается сидеть тихо, строго, проникаясь важностью момента. Максимальное, что можно себе позволить: шепнуть соседу на ухо, как же тут всё продумано, как отлично организовано. Или – если сосед знаком – указать на общих знакомых, сидящих один-двумя рядами впереди, чуть правее, видите, а другой так вообще в первом ряду. И Григорию Константиновичу было на кого указать: он сразу разглядел среди присутствующих двух ректоров (один возглавлял сельхозинститут, другой, Володя Терентьев, с которым Пospelов находился почти в дружеских отношениях – педагогический), редактора областной газеты, директора крупного завода, ещё несколько знакомых лиц. Да, кое-кого из известных людей сюда пригласили, но немногих, совсем немногих. В основном зал был заполнен мужчинами от двадцати до пятидесяти, наверно, лет, имевшими, поверх индивидуальных черт (всякие там носы, глаза, изредка даже усы и прочая мелочь), некие общие важные черты. Это были люди все в хороших (некоторые даже в гэдээровских) костюмах, хорошо выглаженных белых рубашках, с приличными галстуками. Лица у этих людей, при всей разности губ, глаз и подбородков, были все мужественные, открытые, выражавшие готовность к борьбе – и не важно, вольной или классической. Григорий Константинович часто видел людей с такими открытыми лицами – их можно было встретить на каждой научной или партийной конференции, он научился их узнавать. Другую часть публики составляли дамы лет сорока (иногда старше и никогда моложе), в строгих платьях или деловых костюмах. Одна такая дама сидела слева от Пospelова (справа можно было увидеть приличный галстук при мужественном лице). Когда-то, возможно, в молодости, её звали Ирина, или, допустим, Аня, она швыряла в сестру подушками, качалась на качелях высоко-высоко, до неба, любила фотографироваться, купаться, танцевать, а позже, войдя в возраст девичества, мечтала оказаться наедине с загорелым незнакомцем на необитаемом острове. Но теперь, заняв тот высокий пост, который (заведующая отделом, или второй секретарь, или кто ещё), сбросив шелуху имён и мечтаний, став товарищем Ивановой или, допустим, Султановой, она выражала и лицом, и всей фигурой готовность принять участие в ответственном мероприятии. Она не была, конечно, столь же выдержанной, как мужчины, не могла скрыть своего любопытства, интереса к обещанному зрелищу. Вот сейчас, сейчас зазвучит знакомая музыка («Лебединое озеро» или «Вставай, кудрявая»), откроются ворота арены, выйдут первые участники поединка, прольётся первая кровь. Жаль, что ей, как зрителю, нельзя

будет принять участие в решении судьбы жертв, как это было принято в прежние времена, опуская палец вниз или выкрикнув «Смерть изменникам!». Лицо дамы выражало торжественность момента и ожидание зрелища, и при этом Пospelов ясно ощущал исходящую от неё смесь ароматов «абрау-дюрс», шашлык на углях, «трюфели» и губная помада.

Никакая музыка не прозвучала, но головы всех, сидящих в зале, вдруг повернулись направо, к дверям. По проходу, направляясь к сцене, на которой стояла загородка для осуждённых (ещё нет, но скоро), шла процессия: впереди конвоир, за ним четверо, позади ещё один служивый. Шли четверо, а могло быть больше: один очень информированный человек рассказывал Григорию Константиновичу, что планировались ещё трое подсудимых, в том числе какая-то девушка. Не та ли, с которой встречался Иннокентий? Но позже, в последнюю минуту, число подсудимых решили сократить. Передавали, что решение принималось на самом верху.

Дружин шёл третьим и при этом оглядывал зал, словно искал кого-то. И когда их уже рассадили, всё продолжал высматривать. Это он напрасно делал: ни родных, ни тем более друзей в зал, конечно, не пустили. Но он мог увидеть знакомое лицо декана исторического факультета, или, допустим, углядеть сидящего в середине зала Григория Константиновича; да, мог увидеть, узнать, и Григорий Константинович поспешно отвёл глаза и голову наклонил. Он, конечно, хотел бы как-то поддержать этого мальчика, выразить сочувствие, но не здесь, не сейчас. Он ясно видел незримую черту, отделявшую этих четверых, сидевших за загородкой, от всех остальных – и не только от энергичных мужчин в приличных галстуках, но и от представителей народного хозяйства или, скажем, науки, таких, как он сам. Ведь представители народного хозяйства или, скажем так, общественности, когда закончится это заседание, выйдут на улицу, навстречу морозному ветру, бледно-голубому зимнему небу (на дворе стоял январь, дети водили хороводы вокруг ёлок), и отправятся доделывать несделанное, осуществлять планы, а вечером за столом смогут поделиться с родными впечатлениями, полученными в пыльном зале со стёртыми полами. А эти четверо будут обустраиваться в другом мире – в том мире, в котором находились последние пять месяцев, со дня ареста. Они будут привыкать к миру, в котором ты идёшь, куда ведут, ешь, что дают, и на вопросы отвечаешь «Да, гражданин начальник» или «Нет, гражданин начальник». Где не ценится знание иностранных языков или умение решать уравнения второго порядка, зато высоко ценится сообразительность, способность быстро разбираться в людях, общаться с ними. Они научатся ценить приходящие из дома передачи, ценить время прогулок, возможность общения на прогулке с тем, с кем ты хочешь общаться. И так будет продолжаться – сколько? А вот сколько сейчас судья скажет. «Но не могут же им дать десятку, как в прежние времена? Нет, сейчас такие сроки не дают, это определённо. Но, с другой стороны...

Трое за загородкой сидели, опустив головы, только Дружин всё продолжал кого-то высматривать в зале, но тут откуда-то прозвучал строгий голос, произнёсший: «Встать, суд идёт!» Зал встал, и на возвышение (так и хотелось сказать «на сцену») вышли трое: двое мужчин в серых костюмах, один из них в очках

и с папкой в руке, и дама в чём-то синем, очень похожая на соседку Григория Константиновича. Человек в очках – председатель суда – оглядел зал, сказал громко: «Прошу садиться», – и сел сам. Процесс начался.

После суда они часто встречались – чаще, чем прежде, в той прежней, мирной жизни. Ходили в кино, на концерты (выяснилось, что она любит музыку, особенно джаз, но он редко бывает), или просто бродили по городу и разговаривали, разговаривали. Они поменялись ролями: теперь больше говорила Таня. Ей было, чем поделиться, в её жизни всё изменилось, и об этом хотелось рассказать, а кроме Саши некому было. Ведь Иннокентий перестал отвечать на звонки, к телефону всегда подходил отец и сообщал, что сына нет дома. Его никогда не было дома, этого проклятого Иннокентия, он улетел на Луну, ушёл под землю, избегал её. И она жаловалась Саше на него и его отца, на противных тёток из отделов кадров тех предприятий, куда она хотела устроиться. Ведь после того как её исключили из универа, надо было заново устроить жизнь, найти работу, крышу над головой. Деревня? Нет, она не хотела в деревню, даже мысли такой не было. «Как представляю всё это, – говорила она ему, – представляю свою улицу, дом, здание станции, в котором... впрочем, неважно – только представляю всё это и словно в тюрьме оказываюсь. Нет и нет!»

Вначале она хотела устроиться на кондитерскую фабрику, там требовались упаковщицы, сортировщицы, куча народа требовалась. Она представляла, как будет работать в цехе, где воздух пропитан ароматами шоколада и ванили, где иногда можно откусить конфету-другую, и ей эта картина нравилась. И в отделе кадров, куда она пришла, её вначале встретили приветливо, приняли заявление, дали заполнить анкету и сказали уже на другой день выходить на работу. Но когда она на другой день пришла к проходной, её не пустили, сказали, что нужно снова зайти в отдел кадров, решить какой-то вопрос. Она зашла, и та же самая женщина, которая вчера смотрела приветливо, теперь глядела в пол, говорила сдавленным голосом и этим простуженным голосом сообщила, что произошла ошибка, вакансий нет, работы для Тани нет. «Но у вас же объявление, вам требуются?» – возражала она. «Нет, объявление устарело, нам никто не нужен», – отвечала кадровичка. А когда Таня уже встала, вдруг взглянула на неё и сказала, что советует пойти на завод зуборезных станков. Там ей не откажут.

Но Таня не хотела идти на зуборезный завод, она хотела в школу, в начальные классы или в детский сад. Ведь у неё неполное высшее образование, с такими данными принимают, она это выяснила, ещё когда училась и они практику в школе проходили. И она ходила по школам и детским садам, но там повторялась та же история, что на кондитерской фабрике: вначале ей улыбались и принимали документы, а на другой день глядели в пол и давали от ворот поворот. Между тем у неё как-то незаметно кончились деньги, буквально ни рубля не осталось, просить у матери не хотела, да и когда ещё из деревни перевод придёт, а жить сейчас надо. Саша побежал домой, достал лежавшие в ящике письменного стола пять рублей сорок копеек (копил на книжку – на чёрном рынке возле кинотеатра «Ударник» один дядька предлагал новых Стругацких);

ещё спросил у мамы Ларисы хоть сколько-то, сказал, что срочно нужно тетради купить (его-то в университете восстановили, он ходил на лекции, хотя тошно было глядеть на однокурсников, на доцента Волкова), и мама дала три рубля. Отнёс всё это Тане, и они тут же зашли в столовую на Щорса, она взяла себе борщ и котлету с кашей и принялась с жадностью есть, а он сидел рядом и смотрел на неё – себе только чай с пирожком взял. Она ела жадно, но всё равно красиво, у нее всё красиво получалось, а он смотрел на неё и слушал, как она рассказывает про общежитие, из которого её больше месяца почему-то не выселяли, даже непонятно, почему, а вчера комендантша заявила, чтобы срочно выезжала, чтобы духу её тут не было, чтобы шла на зубодробильный завод – там точно общежитие дадут. Так что я, наверно, прямо сейчас туда поеду, говорила она, вот допью компот и поеду. И они поехали двумя трамваями, с пересадкой, на завод, и он ждал её в коридоре отдела кадров – все эти полтора месяца, пока на дворе мело и сыпало, морозило и леденело, а на прошлой неделе вдруг вышло солнце и запахло чем-то весёлым, он только и делал, что ждал её в разных коридорах, ждал, а потом встречал. Ждал и дождался: вышла весёлая, помахивая двумя бумажками: одна был заводской пропуск, другая – записка в общежитие, чтобы место дали.

И с этого дня в конце февраля график их общения изменился: они встречались уже не когда вздумается, а только по выходным, и то не каждую неделю – иногда она говорила, что у неё дела, времени нет. Какие дела, интересовался он, ты же не учишься, вся жизнь теперь на этом заводе, вся как на ладони. Она не отвечала, переводила разговор на другое. А в будние дни встречаться отказывалась – уставала очень, руки-ноги отваливались, в голове гудело, завод – она жаловалась – оказался сущим адом. Но он всё равно иногда не мог дождаться субботы, сил не было ждать, и приезжал по будням. Стоял у заводской проходной, чтобы встретить её там, проводить до общежития. Они снова поменялись ролями: теперь больше говорил он. Говорил о фильмах, о книгах, а ещё – о своей любви. Потому что в эти дни в конце февраля он с полной ясностью осознал, как её любит, больше всего на свете любит. Она слушала молча, ничего не говорила, только уголок рта мило подрагивал. А однажды (в пятницу, он запомнил, это случилось в пятницу), когда он проводил её до общежития и уже хотел прощаться, как обычно, она вдруг велела подождать, скрылась за дверь, спустя несколько минут вышла и поманила его за собой. Они прошли мимо вахтёрши (та как будто и не видела постороннего), поднялись на второй этаж, в комнату, где стояли четыре кровати с тумбочками, слабый запах дешёвых духов, шкаф и стол, на котором какая-то девушка с неправильно чертами лица гладила юбку. Таня о чём-то пошептала с этой девушкой, та с интересом глянула на Сашу, ничего не сказала, выключила утюг, быстро собралась и ушла. А Таня сняла пальто (он тоже снял), потом страшную коричневую кофту, которую носила на работе, потому что в цеху было холодно; сходила куда-то, умылась, вернулась посвежевшая, похожая на себя прежнюю. Шагнула к нему, приникла, внезапно он ощутил её губы – да, да, губы! – сказала: «Жалко, выпить ничего нет», – потом легла на одну из кроватей, лицом в подушку и так лежала.

Он не знал, что делать. Разговаривать в таком положении было неудобно,

а что ещё делать, он не знал. Получалось, что она вроде как устала, легла отдохнуть, чего приставать к человеку? Он всё же присел рядом с ней, сказал что-то о сегодняшнем семинаре, о выборе темы диплома, она не отвечала. Он встал, потоптался неловко, сказал: «Ну, я пойду», – она продолжала молчать, и он вышел.

Вот, и больше ничего не было. Когда он приехал в следующий раз к проходной, она прошла мимо него, словно не заметила. А возле общежития (он всё же полёлся за ней, пытаясь заговорить), из темноты вдруг вынырнул какой-то мордатый, крепкий, преградил ей дорогу, чего-то требовал. Саша снова не знал, что делать; шагнул было вперёд, хотел (на самом деле совсем не хотел) вмешаться, защитить, но не успел: она ответила мордату что-то резкое, увернулась от его рук и скрылась за дверь. А мордатый взглянул на Сашу, но ничего не сказал и ушёл. И Саша тоже ушёл, и больше к проходной не приезжал. Любовь ещё какое-то время жила в нём, но условия были неподходящие – ни света, ни воздуха, и дни сочтены, её скудная жизнь быстро шла на убыль. Сохла, глохла, покрылась коростой, а потом совсем исчезла, словно и не было её. Любовь исчезла, а жизнь продолжалась: он выбрал тему диплома (эволюция социально-политических взглядов Гегеля, ничего себе темка, ни у кого такой не было), стал изучать литературу, зарылся с головой, было жутко трудно, но интересно, и всё прошлое, связанное с Таней, с Алексеем, со спорами вокруг стола, накрытого клеёнкой, – это прошлое незаметно отошло далеко, совсем далеко.

В начале июня неожиданно встретил на проспекте, возле консерватории, скрипача Гришу Скульского. «Привет – привет», потом разговорились. С Григорием говорить было легко, он был лёгкий человек – пожалуй, ни с кем из группы Саша теперь не мог бы говорить так свободно, как с ним. Скульский рассказал о Горовце, о Тамбовцевой, упомянул и Таню. Оказалось, что о её судьбе он знает больше, чем о других: она сошлась с Лёней Тицким, другом Григория (собственно, я их и познакомил), трубачом и талантливым аранжировщиком, ушла с этого страшного завода, на который её загнали, сейчас живут на квартире возле горпарка, можно сходить в гости. Лёня сотрудничал с одной московской джазовой группой, сочинял композиции, неплохо на этом зарабатывал, а затем написал несколько песен на стихи Евтушенко и стал зарабатывать ещё больше. Теперь они собираются перебраться в Москву, он подыскивает квартиру. А у тебя как дела? О, Гегель, это мощно, молодец. Я давно хотел почитать что-то серьёзное, может, Канта, это много даёт, даже... А, ты спешишь, извини, не буду задерживать, пока.

Вообще-то Антонов в тот момент никуда не спешил, но внезапно ощутил неодолимую потребность свернуть разговор. Двинулся в сторону набережной, но везде были люди, люди, он свернул раз, другой, вошёл в какой-то двор, сел возле стола, у которого вечерами, вероятно, забивали козла. Это было не то, что требовалось (ему надо было забиться в щель, в полную темноту, и чтобы никого, никто не подошёл, но где эту щель найдёшь?). В голове одна за другой всплывали сцены, связанные с Таней. Почему-то вспоминалось в обратном порядке: сначала тот страшный вечер в общежитии, когда он... нет, не хочу, не надо об этом. Потом их прогулки по мёрзлым улицам, когда она жаловалась

на жизнь, затем собрания группы... Но яснее всего, лучше всего вспоминался тот вечер, когда она подошла к нему в библиотеке и спросила «А ты уже читал “Государство и революция”? Ты почитай. Меня Таней зовут». И потом вернулась на своё место, а он смотрел ей вслед. На ней было тёмно-синее платье в мелкий горошек, с вышивкой. Оно плотно облегалo талию, бедра, облегалo всё то женское, что было в ней, при ней. Но ведь не в этом, не только в этом было дело и даже не в том, как подрагивал уголок нежного рта, как пылливо смотрели глаза. Дело было ещё в чем-то, чего он не мог ни понять, ни забыть.

## *Молодые голоса*

Вначале, когда Ивана Даниловича пригласили в отдел культуры горкома, и там, в кабинете Зои Всеволодовны, зашёл разговор об этом неожиданном поручении, он хотел отказаться. С какой стати он, состоявшийся писатель, которого публикуют и «Москва», и «Октябрь», о творчестве которого пишут статьи (у него хранились вырезки четырёх статей), которому пишут письма читатели (было два десятка писем, несколько очень любопытных, можно будет использовать), должен возиться с литературными младенцами, утирать им слёзы после отказов, поить их молоком своего таланта? Пусть пошлют кого помельче. У него совершенно нет времени: идёт работа над новым романом «Пути-перепутья», это будет лучшее, что он написал, вершина творчества, а ещё впереди региональная конференция «Я знаю силу слов», ему там поручили сделать доклад. Так что нет, извините.

Примерно так он всё изложил Зое Всеволодовне и этому прохиндею Жене Кулику, председателю областного отделения Союза. Но они его уговорили. Рассказали об окладе (небольшой, но сейчас у него никакого не было, уже полгода без должности перебивался), о запланированном всесоюзном совещании молодых авторов в Пицунде, куда он повезёт своих воспитанников. А главное – это решило дело – сообщили, что на роль наставника молодых дарований его рекомендовал не кто-нибудь, а сам Павел Алексеевич. Женя передал и слова, которые при этом сказал великий волжский писатель. «Пусть Караваев за это возмётся, – вот как он сказал. – Иван деревенскую жизнь глубоко знает, – дальше объяснил. – А городскую ни х\*\* не знает, наобум пишет. А они, молодые, ему подскажут».

Это было верно. Хотя Иван Данилович уже двенадцать... да какие двенадцать, все четырнадцать последних лет жил в областном центре, в знаменитой «Тройке», каждый день видел из окна квартиры великую реку, а всё

равно многого в городской жизни не понимал. Здесь всё было другое – вода, воздух, земля (ну какая тут земля, допустим, в городском парке? смех один), а главное – люди. Ведь в деревне жизнь каждого человека от самого рождения до смерти прорисована природным естественным циклом, подчинена ему. Детство, юность, игра, работа, дружба и вражда – всё подчинено природным законам, растёт прямо из земли, питается её соками. А любовь? Любовь тем более, любовь в деревне – это сама весна, гроза в начале мая, олений (или, допустим, кабаний) гон, нечто такое, что... Да что говорить! Недаром всё его творчество (два романа, повесть «Жаворонки», рассказы) посвящено этой важнейшей теме. То есть формально, внешне, его книги раскрывают другие темы – первый роман «Сполохи» говорил об укрупнении колхозов, создании агрогородов (была такая глупая кампания), второй о бригадном подряде и развитии инициативы – но по сути все они были об одном – о том, как подросток впервые осознает себя мужчиной и видит в соседской Маше не девчонку, а женщину. Ну, и о том, что за этим осознанием следует.

Павел Алексеевич, с его чутьём, сразу эту особенность творчества Караваева отметил. «Иван, – сказал как-то, – может хоть о сеялках писать, хоть о хозрасчёте, а всё у него сеновал выходит, и Наташка на сеновале. Как дойдёт до этого дела, у него сразу складней выходит. Глубины ему, правда, не хватает, нового не говорит, но читать интересно».

И это была суцая правда, Иван Данилович сам чувствовал этот свой недостаток – отсутствие глубины. Взять хотя бы первый роман, его героев, Егора Корешкова и его любовь, Аглаю. Ведь вроде бы всё я про них понимал, все изгибы знал, каждый поступок мог объяснить – а сейчас, как открою книжку, вижу: пустые они какие-то, мои герои, ничего определённого о них нельзя сказать. Тут ведь ещё какая штука: пока пишу, мне кажется, что я что-то совсем новое пишу, так никто раньше не видел, не описывал. А когда закончу, когда книга уже из печати выйдет, начинаю перечитывать – и вижу, что всё это уже было. И у Шолохова было, и у Распутина, и у Алексеева, и у других, пониже и пожиже. А ведь я не хочу быть среди тех, кто пожиже, хочу дорасти до первого ряда, до великих. С самого начала хотел, с того дня (помню, в январе дело было), когда впервые почувствовал страстное желание изложить всё увиденное, понятное, накипевшее. Изложить на бумаге, облечь образы в слова. Откуда у меня, обычного деревенского мальчишки, который и книг дома не видел, вдруг возникла такая потребность – даже не потребность, а жажда писать – невозможно понять. Тайна, покрытая мраком.

Однако я отвлёкся. Возвращаясь к нашей теме, дорогие читатели, хочу сказать, что если в деревне жизнь каждого человека продиктована зовом земли и гудением крови, и пишущий человек должен обладать особым слухом, вроде как у летучей мыши, чтобы слышать этот гул, то в городе решающую роль играют другие факторы. На место земли и крови здесь встают окружающие тебя люди, тысячи и тысячи людей. Общество встаёт на место природы, заменяет её. Поэтому для описания городской жизни требуются другие слова, иные обороты. Великие, как Иванов или Распутин, могут и деревенского человека раскрыть, и городского. Вот и я так хочу.

В результате всех этих соображений Иван Данилович согласился занять должность руководителя литературного объединения «Молодые голоса», создаваемого под эгидой областной писательской организации. Для верности объединению ещё одного родителя назначили – областную молодёжную газету «Комсомольские зори». Её журналисты, почти сплошь молодые, должны были помогать Ивану Даниловичу, делиться с участниками объединения опытом, а главное – публиковать на страницах газеты их произведения. Ведь для молодых это главная проблема – как в первый раз опубликоваться.

Зоя Всеволодовна подыскала и место, где должны были мужать и крепнуть молодые писательские таланты. Так Иван Данилович впервые вошёл в старинный купеческий особняк на Щорса, где располагался Дом работников науки и искусства, в ничем не примечательную комнату на втором этаже, отведённую для собраний «Молодых голосов». Обстановка в будущей обители муз была убогая: два десятка разномастных стульев да пара столов. Ни шкафа для одежды (а также, возможно, для посуды), ни дивана. Стены в ходе недавно проведённого ремонта были выкрашены невесёлой краской, но до высокого потолка маляры не достали – там, под потолком, шла древняя, оставшаяся ещё от купца лепнина: какие-то бородатые мужики в плащах (вернее, в тогах), внимающие им юноши; на другой стене девушки почти без ничего водили хороводы и плели венки, а потом убегали от каких-то козлоногих. В общем, античная муть, далёкая от действительности. Хотя Софья Марковна, директор Дома науки, с гордостью тыкала пальцем в потолок, твердила о высокой художественной ценности всех этих хороводов (смотрите, мол, какое замечательное помещение вам досталось), но Иван Данилович быстро перевёл разговор в практическую плоскость, указал на нищету обстановки и вытребовал себе несколько необходимых вещей: более-менее приличное кресло, старый, зато крепкий и сохранивший дореволюционную полировку стол и такую же древнюю вешалку. Газета поместила объявление, где была указана дата первого собрания – и началось.

На первое собрание пришли всего трое. Причём двое из этих троих потом исчезли, больше не появлялись, Иван Данилович даже имена их забыл, помнил только, что один был школьник с волосами до плеч, а другой – мужик в годах, чуть ли не ровесник самому Караваеву. Принесли, кажется, прозу. Что там была за проза, о чём – дьявол их знает, не помню, ушли и ушли. А Настенька осталась, приходила каждую среду (Иван Данилович постановил по средам заседать), извинялась, если пропускала. Шестнадцать лет, десятый класс, очки, коса, робкий взгляд, грудь уже обозначилась, но ещё не развилась, и всё тело ещё как бутон, всё ещё впереди. И, конечно, стихи. У таких девушек, с очками и косой, прозы быть не может, у них только стихи. В стихах туманы, зори, звёзды, вечные вопросы бытия. И оно бы всё ничего, описания природы важны, это Караваев сам понимал, в самом начале своего писательского пути постиг, а позже у Павла Алексеевича научился, как через описание бурана, или, допустим, половодья раскрыть глубинную суть героя. Да, описания важны, но у Насти – вот беда – слова стояли всегда криво, не умещались в размер, приходилось их силой записывать, рифмы хромали и падали, и в целом получалась невнятица. Сам Иван

Данилович был лишён поэтического дара, с самого начала это про себя знал – тогда, в самом начале, попробовал, но сразу бросил, – но и он видел, что плохо у Настеньки получается, хотя она и старается. Он пытался учить, занимался индивидуально. Для него самого образцом поэтического мастерства был Есенин да ещё Рубцов. Вот эта строфа, где есть и горница, и матушка с ведром, а вода рифмуется со звездой – ну разве можно написать лучше? И он пытался Насте это своё понимание передать. Она слушала внимательно, смотрела влюблёнными глазами, всё было прекрасно, но потом Ивану Даниловичу передали, чтобы он с этой слушательницей был осторожней: оказалось, что у Насти имеется старшая сестра Надежда, и десять лет назад эта Надежда проходила по делу студенческой группы, должна была под суд пойти, и только в последнюю минуту наверху было принято решение оставить свидетельницей. Но и сейчас, спустя десять лет, находится на учёте. После этого сообщения Иван Данилович взглянул на свою первую слушательницу другими глазами, увидел чёрточки, которые до этого оставались в тени, увидел опасность. Индивидуальные занятия прекратились, Настя ничего не могла понять, смотрела всё так же преданно, ходила печальная, писала стихи о горе, страдании, разлуке; стихи пытались сказать о подлинном, глубоком переживании, но нужных слов всё так же не было, и выходило жалко, убого.

Однако мы опять отвлеклись. Итак, на первое занятие пришли всего трое, но затем число слушателей стало расти, так что иногда стульев не хватало, и с первого этажа была доставлена скамья, на которой могли поместиться человек десять. Постепенно установился регламент собраний: один из участников (заранее назначенный Иваном Даниловичем) зачитывал своё сочинение (стихи или отрывок прозы), потом начиналось обсуждение, высказывались все желающие, а затем сам Иван Данилович брал слово, раскрывал тайны профессии. Ну, и в самом конце произносил любимую фразу: «А теперь давайте закончим наше собрание на высокой ноте». Что предполагало чтение стихов – не обязательно своих, а какие кто знает, помнит.

Так прошумела опавшей листвой, пролилась непогодой осень, затем красавица-зима выбелила улицы, загудели нестрашные городские метели (разве в городе метель? вот у нас в Завражном...), Иван Данилович закончил роман «Пути-перепутья», в который очень удачно вписались некоторые новые герои, встреченные автором в комнате на втором этаже ДРНИ с античной лепниной под потолком. К тому времени среди постоянных посетителей собраний выделились несколько человек, с которыми имело смысл работать, которых не стыдно было рекомендовать к публикации в «Комсомольских зорях» и везти на всесоюзный семинар в Пицунде, намеченный на июнь.

На первом месте в этом списке достойных помещалась журналистка тех же «Зорь» Вера Ознобишина. То есть в обыденной жизни она была журналистка, писавшая о буднях милиции, о раскрытых преступлениях – и хорошо писавшая, со знанием дела. А по сути своей натуры эта некрасивая, суховатая девушка была поэт – настоящий поэт, пожалуй, не хуже Асадова, а может, и Палькина. Казалось бы, ничего особенного в её стихах не происходило: шелестела листва, щебетали воробьи, звенела вода, наполняя ведро, скрипела

калитка, и этот звук заставлял автора ещё раз оглянуться на старый дом, в котором прошло детство. Ни трагедий, ни прозрений, никаких громов, молний и душевных тайфунов, о которых любили писать другие слушатели объединения. Тем не менее какие-то открытия там время от времени случались, и боль ощущалась, и радость, так что Иван Данилович только головой качал и поражался, слушая.

Да, в поэтическом разделе на первом месте была Вера, специалист по журналистским расследованиям. А на главном направлении, прозаическом (потому что стихи, конечно, украшают литературу, как резные наличники украшают избу, но сама изба с её стенами, крышей и хранящим тепло очагом сложена из крепких романых брёвен – это Караваев хорошо понимал) выделялся странный, удивительный даже человек. Звали его Рома Шломик, и он являлся представителем малого народа хазарян, обитавшего в горах Малого Кавказа, где-то на границе с Ираном. Познакомившись с Романом, Иван Данилович вновь поразился великой притягательной силе русской литературы. Вот надо же: родился человек в далёком краю, где ни одной берёзы не найдёшь, и зимы настоящей нет (а какая русская литература без зимы? она только морозами и дышит, пургой живёт), и по-русски там не говорят – а в итоге вырос мастер русского слова. Вначале, когда Рома только появился на занятиях (трёхдневная щетина, белозубая улыбка сверкает на смуглом лице, глаза чёрные, как две маслины), Караваев отнёсся к нему с понятной снисходительностью: конечно, мы приветствуем малые народы, у печки великого русского слова все согреются, но всерьёз, конечно, не принимаем, числим где-то по разряду самодеятельного творчества, вроде вышивки – но потом, прочитав принесённые новичком рассказы, поразились точности, глубине, силе написанного. До того поразились, что оба рассказа тогда же перечитал, до часа ночи сидел – небывалый случай в его практике. Перечитал, поразились и понял, что имеет дело с равным по силе мастером. И на следующем занятии попросил Романа один из рассказов («Печаль невесты») прочитать и устроил обсуждение, после которого выступил сам, указал на меткость описаний, новизну слов. А после занятия предложил Шломикку себя проводить. Они дошли до самой «Тройки», и по дороге у них состоялась содержательная беседа, из которой Иван Данилович многое почерпнул.

Выяснилось, что представитель малого народа так же глубоко понимает людскую суть, жизненный путь человека, как Иван Караваев. Он тоже придавал важное значение теме любви, вообще женщине, её роли в жизни. И тех же писателей ставил себе образцом – Горького, Шолохова, Шукшина, Распутина. Только Рома к этому списку добавлял ещё Нагибина, которого Иван Данилович не знал, не читал вовсе – а теперь прочёл.

Всю зиму, а потом весну того года они бродили от Дома работников до «Тройки», и вокруг «Тройки», по аллеям, и беседовали. Оказалось, что они на многое смотрят одинаково, схожие у обоих вкусы и привычки: например, оба любили писать по ночам, оба интересовались футболом, и даже любимая команда у них оказалась одна – оба болели за «Спартак». После одной особо продолжительной прогулки, что закончилась на скамейке на аллее Героев, где два русских писателя распили малую ёмкость (чекушку) исконного народного напитка,

используя по очереди один стакан и закусывая пирожками с картошкой, Иван Данилович понял, что видит в этом представителе малого народа не ученика, не знакомого, а пожалуй что друга. Даже, возможно, старшего сына: двадцать лет разницы, как раз подходит (у самого Караваева были только дочери, сына не случилось).

Да, многое у них было общего, хотя имелись и существенные различия. Например, Рома охотно писал о душе, её посмертном существовании, о небесных силах, которые вмешиваются в земные дела. И в рассказах у него, помимо крестьян или, допустим, милиционеров попадались попы или верующие бабки, хранительницы морали. У Ивана Даниловича подобные рассуждения ничего, кроме усмешки, не вызывали. Он, вслед за своим учителем, замечательным мастером слова Павлом Алексеевичем, автором рассказа «Лампада», все эти поповские рассуждения о душе и её спасении считал пустыми и своекорыстными. Денежек батюшке хочется, вот и бормочет свои заклинания, кадиллом размахивает. Чем больше ему дашь, тем охотней размахивать будет. Запах из кадила, конечно, приятный идёт, прямо как от духов, но ведь этот аромат только в стенах церкви и держится. А выйдешь наружу, в поле – там навозом воняет, бык ревёт, на корову норовит залезть, а вон там, погляди, два соседа сцепились, до смерти друг дружку мутузят. Из-за чего мутузят, какова причина этой ненависти? Чаще всего причину надо искать в бабе, но это не всегда, и других поводов много. Бьются из-за малого участка за околицей, где Лёшка надумал картошку сажать, а Кольке обидно; из-за клочка сена, из-за неловкого слова, косога взгляда, глубокого вздоха – из-за чего угодно готовы друг дружку ухайдохать. Можно сказать и так: люди бьются из-за того восторга, который возникает в человеке, когда выйдет весенним утром на косогор, вдохнёт полной грудью, и возникнет у него в душе желание овладеть этим прекрасным миром, полностью овладеть, чтобы никто не мешал. И где здесь, среди всех этих причин, страстей, желаний – где здесь место старику с бородой, что на облаках расселся, и его щекастым херувимам? В этом прекрасном и яростном мире (не помню, чьё выражение) не требуются никакие ангелы – и без них начальников хватает, – здесь не нужны ни благословения, ни проклятия. «Пускай так, – возражал на эти слова Караваева восточный человек Рома. – Но кто вложил в вас, в меня этот восторг? Кто вложил понимание, что вот это прекрасно – ох\*\*\*\*о прекрасно, – а вот на это и смотреть не хочется? Что так писать – хорошо, а так нельзя?» – «Странный вопрос, – отвечал Караваев. – Природа вложила. Всё, что в нас есть, в нас вложила природа. Всё живое радуется жизни и хочет своё право на жизнь отстоять. Борьба за существование, Дарвин открыл». – «Да если бы жизнь была одной борьбой, мы бы давно друг дружку удавили! – возмущался Шломик. – Если кругом одна грызня, откуда тогда всё хорошее? А литература, она откуда?» – «Не удавили друг друга, потому что более сильные порядок устанавливают, – отвечал Иван Данилович. – Ведь волки в стае друг друга не истребляют. А литература... Можно считать её способом познания, чем-то сродни науке. А наука нужна для поддержания существования. Так что твоим ангелам и небесным силам места нигде нет. Давайте, разливайте, что осталось, нечего кроить. Не по-русски это – кроить».

И Шломик разливал, что осталось, и они сообща закусывали последним пи-

рожком, после чего возобновляли беседу, но уже на другую, менее конфликтную тему.

Так они общались всю весну, а в июне прошёл семинар в Пицунде, где было много всего интересного (можно вспомнить выступление А. Иванова, а также девушку Кристину из Твери, толстая коса, глаза серые). Там, на семинаре, общение Ивана Даниловича с Ромой вышло на новый уровень, они перешли на «ты», была пара душевных бесед под коньяк, когда каждый из собеседников открыл другому часть своего душевного мира (не весь мир, конечно, кто ж его весь открывает, но какой-то заповедный уголок стал доступен для обозрения). В общем, был момент, когда Караваев был готов увидеть в этом белозубом цыганистом человеке близкого друга – может быть, самого близкого за всю жизнь. Был готов увидеть, но что-то в глазу застряло, помешало. В конце концов, Иван Данилович всегда помнил, что этот почитатель Нагибина вырос на далекой границе и, какие там на него влияния оказывались, на этой границе, неизвестно. И что там за родственники? Так что Караваев поостерёгся углублять отношения и разрушать преграды. И осенью, когда собрания «Молодых голосов» возобновились после летнего перерыва, Иван Данилович стал прогулки с Ромой Шломиком укорачивать, а беседы на скамейке, со стаканом в одной руке и пирожком в другой, вообще прекратил. И Рома, надо отдать ему должное, не стал возмущаться, сразу всё понял и принял.

А чуть позже, после Нового года, стало ясно, что принятый Караваевым более строгий стиль отношений с участниками совершенно актуален и отвечает велениям времени. Потому что как раз в это время в стране произошло важное событие – ушёл из жизни генеральный секретарь, фронтовик, человек заслуженный, но под конец жизни выпустивший из рук вожжи, и ему на смену пришёл другой генеральный, очень опытный руководитель, уже показавший себя в борьбе с расхлябанностью и всякого рода вылазками. В повестку дня встала бдительность, укрепление дисциплины. А тут и в Союзе писателей случилась нехорошая история: в одном из журналов была опубликована статья, содержащая, по сути, оправдание кулачества и осуждение коллективизации. Публикация, естественно, была признана ошибочной, были сделаны организационные выводы. И эту новую линию, направленную на укрепление и устроение, надо было донести до участников семинара, что Караваев и сделал.

Однако я снова отвлёкся, слишком сосредоточился на восточном человеке Роме, как будто в объединении не было других участников. А они, конечно, были. Могу назвать Галю Румянову, толстушку Лизу, потом ещё был Борис Воронин... хотя это, кажется, псевдоним, как же его фамилия? Не помню. Ещё был Володя Григорьев, который пытался творить в разных жанрах, писал и стихи, и прозу, но всё одинаково беспомощное; приходили – вот я открываю журнал, читаю – Катя Тицкая, Аня Самохвалова, Женя Старцев, Антон Погибелов... Было много других, оставшихся безымянными: придут на одно-два занятия, посидят, послушают, даже имён не назовут – и исчезнут. Так и должно быть, ведь литература – это кипящий котёл, в ней находит выход творческий импульс, бьющий в жилах народа. И я упорно старался каждого чему-то научить, передать то мастерство, которым овладел сам. И если...

...Если мерить высшей мерой, судить по гамбургскому счёту, то наш несчастный Данилыч, еженедельно совершавший свои ритуальные пляски вокруг давно угасшего костра соцреализма (о, сколько чистых душ сгорело в этом костре, пытаясь разжечь его посильнее, чтобы из пламени вылетел феникс Настоящей Литературы! но из этого костра ничего настоящего вылететь не могло), заслуживал снисхождения, а может быть, даже сочувствия. Да, он ничему не мог нас научить, ничего передать; совершая свои привычные обряды (заслушать, обсудить, призвать тень Шолохова), он то и дело поглядывал на часы (когда всё это кончится!), а ещё прислушивался к произносимым текстам в поисках крамолы – не тянет ли гнилостным душком диссидентства. Всё так. И тем не менее он давал нам возможность произнести эти тексты, увидеть лица слушающих – и за это ему спасибо.

Ведь пишущий выходит на бой с чудовищем хаоса, великаном языка в одиночку. В этом поединке нет соратников, здесь тебе никто не поможет. Ты один получаешь удары, терпишь поражения, а иногда одерживаешь какие-то небольшие победы. Но потом, когда, одержав свою едва различимую глазом победу, ты выходишь с ристалища, чего ты хочешь прежде всего? Ты хочешь рассказать об этой победе, увидеть лица слушателей, их глаза. И наши несчастные «Голоса», возглавляемые жалким Данилычем, давали такую возможность (или её видимость), и на том спасибо. А ещё была надежда опубликоваться – или в альманахе, или даже в «Зорях». А ведь для пишущего публикация подобна манне небесной, она утоляет голод.

Что же касается нашего руководителя (скажем о нём ещё пару слов напоследок), то он был, конечно, человеком совершенно девственным, настоящим дикарём. Я как-то имел неосторожность заговорить с ним о поисках новых форм выражения, о том, что мучило ещё несчастного Костю Треплева, сына театральной генеральши Аркадиной. И тут выяснилось, что наш руководитель имеет весьма смутное представление об этой истории, случившейся на берегах колдовского озера. Ещё более приблизительными были его знания о других великих творцах русской литературы, особенно о тех, кто не был обласкан советской властью.

Хочу заметить: само по себе это незнание не является преступлением. Можно быть дикарём, но при этом талантливым дикарём. Собственно, многие великие и были такими дикарями – взять хотя бы Гомера или Сервантеса. Отвратительно выглядит бездарный дикарь, который воображает себя светочем знаний. Блуждая в темноте, ничего не понимая в окружающем мире, такой полуобразованный дикарь берётся рассуждать о добре и зле, о человеке, об истине – не имея ни малейшего представления о подлинном зле и настоящей истине. Помню, какое отвращение у меня вызывали рассуждения нашего руководителя о Достоевском. В такие минуты мне буквально хотелось взять его за горло и пару раз стукнуть головой о стену комнаты, в которой проходили наши собрания – так стукнуть, чтобы лепнина с потолка посыпалась.

Нет, наш руководитель ничему не мог научить. Зато кое-какой ценный опыт могли передать другие. Например, восточный человек Рома Шломик. Сверкал

белозубой улыбкой, идя по улице, оборачивался на каждую юбку, но это не мешало ему тонко (может, даже тоньше, чем мне) чувствовать фразу, различать оттенки смыслов, видеть под верхним слоем реальности другие, глубокие слои. А понимание людей, их скрытых мотивов? Временами его отношение к людям, густо пропитанное цинизмом, как пахлава мёдом, меня коробило; меня возмущали его оценки окружающих, а ещё сильнее – суждения о великих творцах литературы, перед которыми я преклонялся. А у Ромы было так: кто ему нравился (например, Нагибин или Шукшин), к тем он был объективен (хотя и у них норовил найти какую-нибудь блоху). А кого не признавал – тех норовил смешать с грязью. Эти его циничные, отвратительные выпады против великанов Слова меня возмущали, мы несколько раз ссорились, казалось, что навсегда. Но я каждый раз находил в себе силы мириться. В конце концов, в ту пору мне больше не с кем было общаться, поделиться тем, что кипело в душе. Не с Данилычем же было делиться сокровенным, и не с пай-девочкой (коей она совсем не была) Ознобишиной, не с Женей Старцевым! А с Ромой можно было говорить о самом важном, что волновало (хотя и не обо всём), он многое понимал, хотя и не имел русских корней (но ведь и Айтматов с Искандером их не имели, однако вон какие приличные вещи создали). Кроме того, внимательно приглядевшись к людям, о которых Рома говорил разные неприятные вещи (например, о том же Данилыче, или о Верке, о Григорьеве, Воронине), я был вынужден согласиться с его оценкой. Но с гадостями, которые он говорил о Лескове или Буныне, я не мог согласиться никогда.

Да, с Ромой можно было поделиться сокровенным и встретить понимание. Но подлинное, глубокое понимание я встретил только тогда, когда познакомился с Олей и Костей. Эти два филолога (она – преподаватель филфака, он – аспирант) однажды появились в нашей комнате на втором этаже ДРНИ, и их приход стал началом новой эры. Во всяком случае, для меня. Это как если бы в царстве вечной ночи вдруг взойшло солнце. Я понимаю, что моё сравнение звучит пафосно и потому фальшиво, но так всё и обстояло.

Молчаливые, всегда державшиеся вместе, словно птицы-неразлучники, они всего дважды появились на собраниях «Голосов» – пришли, посидели немного и исчезли. Кто не приходил на эти два занятия, тот их и не увидел; что называется, кто не успел, тот опоздал. Мне повезло, я успел. Мне хватило нескольких фраз, которые Костя по просьбе Данилыча произнёс на одном из этих собраний, когда обсуждали чей-то рассказ, чтобы понять – вот у кого стоит учиться. Позже, когда я уже познакомился с ними, получил приглашение и сидел у них в гостях в тесной (притом чужой, съёмной) квартире на Стрелке, Костя признался мне, что они специально приходили на наши собрания, надеясь найти (а вдруг?) в этом затхлом омуте золотую рыбку таланта. И нашли меня. Можно сказать, что в этом им повезло. Ну, и мне тоже. Заодно они зачем-то прихватили с собой тихого и словно слегка ушибленного Вову Григорьева с его фантастикой, а ещё Ознобишину – но это было, конечно, уже совсем зря, потому что поэтичная Вера на Стрелке побывала всего один раз, а потом ходить перестала и, как выяснилось, в кругу знакомых весьма скептически отзывалась о стихах Оли. А мы с Григорьевым на некоторое время прижились.



Не знаю, чему смог научиться у Оли и Кости робкий Володя, а мне эти двое доцманов в океане слов открыли целый мир. Они познакомили меня с такими авторами, как Саша Соколов, Набоков, Шаламов, Пруст, Оруэлл, заставили по-иному взглянуть на моего любимого И. А. Бунина, а также на Трифонова и Аксёнова, которых я до этого ставил не слишком высоко. Помню, как мне на ночь (на одну только ночь!) дали почитать «Дар». Я успел прочесть только половину первой главы, а потом, уже засыпая, заглянул куда-то в середину, но и этого хватило, чтобы испытать изумление, граничащее с восторгом. Оказывается, вот как можно писать!

Позднее, получив возможность полностью прочитать и этот роман, и другие произведения ловца бабочек, я значительно умерил свои восторги. Ведь за блестящей, воистину волшебной формой нельзя было разглядеть столь же волшебного содержания. С содержанием там было бедновато, с героями тоже. Ну, что там за герои? Самовлюбленный литератор Годунов, сумасшедший маэстро Лужин, отвратительный Гумберт... Они не вызывали у меня ни малейшего сочувствия. А мои друзья от них тащились. Костя, который был специалистом в области семиотики (меня эта знаковая кабала оставляла равнодушным), с упоением разбирал романы любимого автора в своих статьях (всё вздыхал, что напечатать эти исследования негде), а Оля посвящала его книгам стихи.

Кстати об этих стихах. Поначалу поэзия Оли (тем более в исполнении автора) произвела на меня такое же сильное воздействие, как и произведения Набокова или Кафки. Отдельные строфы производили такое же глубокое впечатление, как стихи Блока или Тютчева. Но позже, погрузившись в море этих стихов, я увидел их книжный, во многом искусственный характер. Да, в чём-то злоязычная Вера Ознобишина была права, давая о поэзии Оли скептический отзыв.

Но всё равно я должен повторить снова и снова: это знакомство означало для меня настоящий прорыв. Мир, что несли в себе Оля и Костя, можно было уподобить целебному источнику, где каждый мог утолить жажду, или же водоёму, образованному этим чудесным источником – водоёму, полному чистой воды поэзии, постижения, волшебства. И пусть я позже начал различать в этой чистой струе мутные примеси снобизма, даже высокомерия – всё равно позитивное перевешивало негатив, баланс сходился в пользу моих друзей со Стрелки.

А негатив, надо признать, имел место, в наших отношениях, прежде замечательных, появились трещины, они углублялись, предвосхищая разрыв. Расхождение наматилось по линии различения добра и зла.

Дело в том, что меня всё сильнее тянуло погрузиться в подземелья духа, в самую преисподнюю,

*Продолжения не последует*

Саратов

сентябрь–октябрь 2024

Copyright © Владимир Горбачёв 2024

## Маргарита СПИРИЧЕВА

### Достоверно о «Недостоверных сведениях»

*От Маргариты – своему Мастеру...  
Хотя вернее – писателю, любимому и другу*

Неоконченный роман – законченная жизнь... Последнее предложение, прерванное на запятой:

«Дело в том, что меня всё сильнее тянуло погрузиться в подземелья духа, в самую преисподнюю,»

Случайность? Может быть, но как быть с цепочкой событий незадолго до того? Обычные неприятности, совпадения? Но можно увидеть в них некий, не совсем естественный смысл.

Роман мог остановиться не на той фразе, что читаем сейчас. Читатели могли бы узнать больше о «Молодых голосах», а может быть, и погрузились в перипетии следующей главы, однако в начале сентября случилась крупная неприятность: собственной рукой Владимир удалил файл 2-й части романа. Единственный, на других носителях, в других местах не сохранённый. В наш век высоких технологий нет ничего невозможного, да и согласно Булгакову «рукописи не горят», надеялись мы, – и злосчастная флешка в тот же день отправилась в компьютерную мастерскую. Однако специалист по восстановлению данных, провозившись с нею с час, развёл руками: следов более ранних файлов полно, можно восстановить любой, но только не тот, что нужен. От него осталось только название. И автору пришлось восстанавливать утраченный текст по памяти. На это ушло бесценное время, которого оставалось совсем мало.

5 октября Владимир вёл туристов по своему любимому лесному маршруту. Бодро шёл с большущим, как обычно, рюкзаком, беседовал с двумя женщинами, говорили о возрасте. И сразу за фразой о своих годах у него неожиданно вырвался возглас: «Ой!» Упал, потеряв сознание.



Фото: Margarita Спиричева

Об этом мне рассказала одна из собеседниц. Зная Володю, могу сказать: не из-за того, что стало ему плохо, он воскликнул «ой!». Это явно был возглас удивления. Что могло его удивить на той лесной дороге? Что-то вдруг возникло перед ним?..

Его пытались спасти: в группе оказались медики, более получаса ему делали массаж сердца, всё, что в человеческих силах, сделали, но «скорой», приехавшей – хотя это был не населённый пункт, а опушка леса – довольно быстро, оставалось только констатировать отсутствие жизни. Говорили: идеальная смерть – в любимом лесу, без боли, мгновенно, рядом верные друзья-туристы, которые пытались помочь. Меня вот только не было: в последний момент мне предложили работу на другом краю области...

А вот в справке из морга написали: «Причина смерти не установлена»...

Странные события продолжились после похорон: потерялись вещи и документы (нашли, но гораздо позднее), поломались дверные замки (починились только после того, как выяснилось, что мне не надо было выходить из дома). Когда мне рассказывали о последней минуте Володи, я была за рулём и пробила колесо... Но в то же время появлялись люди, которые давали очень нужные и уместные именно в данный момент советы. Было ощущение будто рядом развлекаются Коровьев с Бегемотом, прохаживается Азazelло.

Фото: Margarita Спиричева



Роман «Мастер и Маргарита» шёл через всю нашу жизнь. Мы его перечитывали, смотрели все экранизации, обсуждали, цитировали. Нас интересовало всё, что было связано с именем Михаила Афанасьевича. Музей Булгакова в Москве – да! Лекция о роли музыки в произведениях Булгакова – обязательно! История посещения Булгаковым нашего родного Саратова – очень интересно! Следы булгаковского влияния есть в «Недостоверных сведениях», в главе «Клубень» («Тайные тропы», № 6), где реальность перетекает в явно мистические события.

«Недостоверные сведения» – роман почти автобиографический.

Сарматов – чуть изменённое название Саратова, в котором автор провёл большую часть жизни. Кстати, сарматы вроде как имеют отношение к территории Саратова. Дом-корабль, с которого начинается глава «Тройка» («ТТ», № 6) и сейчас стоит на ул. Провиантской – уникальное сооружение эпохи конструктивизма. В реальном Саратове есть парк «Липки», упоминающийся в «Клубне». Ярмарка, на которую спешит Женя Старцев, и сейчас проводится на главной площади города. Первая Дачная, театр «Красноармеец» – тоже реалии Саратова, место, где в детстве жил автор, они упоминаются в главе «Группа» («ТТ», № 6). Сюда добавим улицу Кутякова.

В письме редактору «Тайных троп», накануне своего последнего дня, Владимир писал:

«Не помню, кто говорил, что хорошую книгу воспоминаний может написать почти каждый».

Но его неоконченный роман – это не воспоминания, это художественное произведение, густо насыщенное образами реальных людей и событиями, которые автор не пересказал, но переосмыслил, переработал. И при этом название «Недостоверные сведения» – это скромность автора. Очень многое на этих страницах практически документальное и очень личное. Но личные истории и впечатления переплавляются в процессе написания в нечто иное, другую реальность, глубже и ярче того, что было на самом деле.

В фантастических романах у его персонажей, кажется, не было реальных прототипов. Хотя в том же «Погружении» («ТТ», №№ 2–4) я узнаю в основных персонажах столько людей. Некоторые прототипы персонажей перекачывались из одной вещи в другую.

Иное дело в последнем романе. Одни персонажи не имеют однозначного прототипа, но есть почти точные копии, по крайней мере, в восприятии автора. Из таких почти буквальных совпадений: Кирюха Горшков – фамилия товарища по туристским походам, бывшего самого молодого министра областного правительства лишь чуть изменена, Тамбовцева – хорошая знакомая автора. Но самые важные для Владимира люди всё же зашифрованы, переименованы. Но узнаваемы. Даже он сам.

Автор присутствует в романе в нескольких персонажах. Самый яркий и точный рассказ идёт о Володе Григорьеве. Мальчик – герой главы «Магадан». События, её наполняющие, – это именно воспоминания автора о своём детстве. Автор был и Юрием Самохваловым, редактором газеты «Гражданин степей» (главы «Тройка», «Трудный выбор»). И даже в Иннокентии, друге Алексея Дружина и несостоявшемся участнике группы (глава «Группа»), есть черты автора – ну хотя бы его любовь к крепкому душистому, хорошо заваренному чёрному чаю.

Юрий Самохвалов в конце главы «Трудный выбор» беседует с талантливым журналистом Алексеем Антоновым. Звонок редактора другой газеты Григория Разуваева, предшествовавший этой беседе, выдуман. А вот ситуация, когда у главной областной газеты было две передовицы про двух кандидатов в губернаторы, – чистейшая реальность. В ней оказался редактор «Саратовских вестей» Сергей Гришин в момент назначения на губернию Леонида Ипатова. Но если про это некоторые люди знали, то вот про внутренние коллизии Александра Климова, саратовского журналиста и прототипа Алексея Антонова, – сомневаюсь. Для Горбачёва кардинальные перемены, произошедшие в Климове, которого он знал со времён участия в демократическом движении в конце 80-х, депутатства в городском Совете в начале 90-х, оказались большим потрясением – он долго переживал и должен был рассказать о случившемся...

Но, пожалуй, самая большая рана – это отношения с Александром Ивановичем Романовым (в романе это Алексей Дружин), с которым он проходил по делу «Группы революционного коммунизма». В 1967 году Александр Романов был одним из организаторов подпольной марксистской группы саратовских студентов из университета и юридического института, а также студентов Рязани и Петрозаводска. В августе 1969-го члены группы были арестованы. В ян-

30 марта 2001. Интервью с Б. Немцовым.  
Фото: Игорь Чижов



варе 1970-го состоялся суд. Романову дали 6 лет заключения. Горбачёв проходил свидетелем и смог потом окончить университет. Ощущение предательства (приходилось что-то говорить, кого-то называть) было с ним всю жизнь, даже несмотря на то, что в 90-х они с Романовым работали в газете «Саратов», бывшие поделники ходили друг другу в гости, пили чай и подолгу говорили о философии... Эта рана не затянулась и после ухода Александра Ивановича в январе 2023-го. Отсюда и необходимость прожить это в «Недостоверных сведениях».

Не менее важным и формирующим для Владимира Горбачёва была встреча с людьми, чувствующими Литературу (неоконченная глава «Молодые голоса»). Рома Шломик – очень прозрачный намёк на не пережившего ковид Романа Арбитмана (писателя-фантаста, литературного критика, педагога, коллегу по газете «Саратов»), с которым Владимир довольно часто советовался, одному из первых показывал свои рукописи.

Прототип поэта Веры Ознобишиной написала мне:

«Мы не были близкими друзьями с Володей, мы были людьми разных мировоззрений, разных вероисповеданий, у нас, собственно, не было никаких общих дел – но была такая тоненькая ниточка, тоненькая, но живая, она нас связывала. Любовь к природе, поэзии... Володя слышал мои стихи – не в смысле физического слуха, конечно, он слышал их сердцем».

Но самые главные люди в жизни Владимира Горбачёва как человека пишущего выведены в этой главе под именами Оля и Костя, личности в литературном мире известные. Увы, то, что Владимир хотел рассказать о них, уже не узнать...

Процесс творчества. Володя никогда об этом не рассказывал. Разбираю его бумаги. В заметках описана структура романа в целом. Во 2-й части (которая должна была быть дописана к декабрю) предполагалась еще одна глава – «Травма» (2024). Это не дата написания, это – время описываемых событий. Все главы относятся к разным годам и перемешаны по очевидной автору логике. «Тройка» – большой отрезок жизни страны и города с 1930-го по 1992-й, «Клубень» случился в 2007-м, «Группа» – конец 60-х, «Молодые голоса» – 1983-й. В 3-й части



Портрет работы Бориса Борухова, 1985.

в планах указаны главы «Митинг» (1990) – Горбачёв активно участвовал в становлении новой власти, «Развод» (1981), «Учитель (или Сеятель)» (1978) – плодами не слишком долгого преподавания в школе стала дружба с бывшими учениками. 4-я часть романа должна была состоять из глав: «Сторож» (год не помечен) – автор работал церковным сторожем – время свободы и интереса к вере; «Жена» (1997) – да, так и есть, почти 30 лет мы были вместе; «Журналист (или Редактор)» (1997) – время издания одной из самых оппозиционных газет под странным названием «Богатей»; «Дуэт» (2024) – вот тут, пожалуй, затруднюсь с расшифровкой. То ли речь о стихотворных дуэтах-дуэлях с другом вечерами в лесу у костра, то ли о нашем тесном сосуществовании не только в семье, но и в остальной деятельности. Склоняюсь к первому варианту.

Напоследок процитирую отрывок из главы «Магадан», пожалуй, эта цитата лучше всего поясняет, «что хотел сказать автор»:

«... И только если человек догадается скрепить обрывки дат, имён, впечатлений, оплеух, поцелуев, мыслей – скрепить всё это разношёрстное, разномастное, что составляет его память, его самого составляет, – скрепить всё это прочным раствором слов, добавив к сочащимся кровью, наваленным кучей обрывкам щепотку всё связующего вымысла – тогда этот кусок стены (той самой, “время, столкнувшись с...” которой) имеет шансы простоять какое-то время”.

Почему ему не было дано закончить задуманное? Не дотянуться до небес и не попросить почитать законченную книгу...

## Мargarита СПИРИЧЕВА

📍 Саратов, Россия



Фото: селфи

Вдова Владимира Горбачёва.

Родилась и живу в Саратове. Познакомилась с будущим мужем весной 1994 года, когда пришла корреспондентом в газету «Саратов». Около 20 лет работала корреспондентом, обозревателем, редактором в местных СМИ, в том числе вместе с мужем. В 2013-м ушла из этой сферы деятельности, когда региональной журналистики практически не осталось.

Ныне гид-экскурсовод. ■

**Евгений  
ЕВТУШЕНКО**

**Хотят ли русские войны?..<sup>1</sup>**

*М. Бернесу*

Хотят ли русские войны?  
Спросите вы у тишины  
над ширью пашен и полей  
и у берез и тополей.  
Спросите вы у тех солдат,  
что под березами лежат,  
и пусть вам скажут их сыны,  
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну  
солдаты гибли в ту войну,  
а чтобы люди всей земли  
спокойно видеть сны могли.  
Под шелест листьев и афиш  
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.  
Пусть вам ответят ваши сны,  
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,  
но не хотим, чтобы опять  
солдаты падали в бою  
на землю грустную свою.  
Спросите вы у матерей,  
спросите у жены моей,  
и вы тогда понять должны,  
хотят ли русские войны.

1961 ■

<sup>1</sup> Евтушенко Е. Стихи. Россия – Родина моя. М: Художественная литература, 1967



## Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

📍 Санкт-Петербург, Россия



Фото: из личного архива автора

Поэт, эссеист, журналист «Радио Свобода/Свободная Европа».

Автор 16 сборников стихов: «Стрела» (СПб, 1994), «Тень» (СПб, 1998), «Цикада» (СПб, 2002), «Cicada» (Лондон, Bloodaxe, 2006), Trostdroppar» (Стокгольм, 2009), «Письмо Татьяны» (СПб, «Геликон Плюс», 2011), «Из ва-ряг в греки» (СПб, «Геликон Плюс», 2012), «Угол Невского и Крещатика» (Киев, «Радуга», 2015), Избранное (СПб, «Геликон Плюс», 2015), «В лёгком огне» («Издательские решения», 2017), «Крылатый санитар» (М., «Вой-мега», 2019) и книги стихов и прозы «Почти не болит» (СПб, «Лимбус Пресс», 2019), «Дальше пешком» (М., «Стеклограф», 2021), «Спящий не спит» (Киев, «Друкарский двор», 2021), «Стой со мною» (СПб, «Паль-мира», 2022), «Совесть моя украинка» (Киев, «Радуга», 2022).

В 1990-е выступала как критик и публицист, вместе с Владимиром Аллоем и Самуилом Лурье была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум».

Стихи переводились на английский, немецкий, шведский, голланд-ский, финский, итальянский, сербский, литовский.

Лауреат Пушкинской стипендии (Германия, 1999), премий журнала «Звезда» (2003), журнала «Интерпоэзия» (2016), специальной премии журнала «Этажи» (2019), Всероссийского поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019) и др. Участница международного поэтического фестиваля в Роттердаме, Платоновского фестиваля, фестивалей «Петербургские мосты», «Киевские лавры» и др.

Печатается в литературных журналах «Звезда», «Новый мир», «Зна-мя», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Этажи», «Новый берег», «Кре щатик», «ШО» и др. В «ТТ» № 3 опубликованы фрагменты очерков «Гру-зинский блокнот», в № 5 поэтическая подборка «Сквозь грохот войн».

«Я родилась и прожила всю жизнь в Петербурге, но с конца апреля 2022 года вынужденно живу в Грузии: ярлык “иностранный агент”, заботливо привешенный мне Министерством юстиции РФ, не позво-ляет жить в России и работать на радио “Свобода”. Своё нынешнее положение воспринимаю как изгнание и переживаю его тяжело. См. учебник Смирновского/эпиграф Набокова: “Роза – цветок. ...Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна”.

Ничего не изменилось».

## «А что, так можно было?!», или Люди, вы звери?

*Нападение на Украину и резня 7 октября 2023 года, устроенная в Израиле арабскими бандитами, как бы сняли некое табу*

Произошла ли в последнее время дегуманизация чело-вечества?

Мне кажется, какое-то время назад часть образованной левой интеллигенции, вернее, интеллектуалов вообрази-ла, что человечество в нравственном отношении сделало невероятные, а главное необратимые шаги вперёд – и те-перь мы не будем воевать, теперь у нас не будет права силы, мы теперь с лучезарным взглядом будем двигаться в будущее, основываясь исключительно на мирных пози-циях, идеалах свободы, равенства и братства.

Это ложная аксиома. Отчего-то образованные, всяче-ски развитые люди, считающие себя самыми передовы-ми на планете, решили, что именно в начале XXI века человечество вдруг стало лучше, чем было, и тут вдруг, как-то случайно, удивительным образом – «мы не ожи-дали, кто бы мог подумать» – случилась дегуманизация. Но никакой дегуманизации не произошло. Что, после Второй мировой не было общечеловеческих трагедий, масштабных кровавых войн? В 1994 году в Руанде в те-чение нескольких месяцев истребили миллион человек. За пять лет – 1998–2003 – в Великой африканской вой-не (слышали про такую? Ну как же, в Демократической Республике Конго была) убито почти пять с половиной миллионов. Межэтнический, межконфессиональный конфликт в Судане длится десятилетия, сколько людей погибло, сколько стали беженцами. Масса точек на пла-нете, где творится такое... Курдистан, Сирия, зверства ИГИЛа. В Афганистане посмотрите, что талибы с жен-щинами делают, а какие зверства в Иране. Нам говорили: «Миру – мир! Нет – войне!», а потом развязывали войну в Афганистане, в Чечне. Думать, что был мирный и луче-зарный период, когда царствовал гуманизм, и вдруг слу-чились Украина, резня 7 октября, – самообман.

Просто сейчас мы увидели, как выглядит война, её нутро. Документальные кадры времён Второй мировой – большая редкость. И то это только общие планы атаки. Не было тогда дронов, чтобы заснять, как бросали людей в бессмысленные «мясные» штурмы, как они в рукопашную шли, в штыковую атаку в окопах, как расстреливали пленных.

Да, были рассказы участников войны, хотя не всякий решался поведать об увиденных ужасах. Была «лейтенантская проза». Были воспоминания совершенно чёткие, ужасные. Я читала их, и описываемое было настолько чудовищно, что просто не вмещалось в сознание, Восточная Пруссия особенно, массовые изнасилования, зверства бойцов Красной Армии над немками.

У нас же современные технологии. То, что раньше видели, переживали единицы, непосредственные участники, теперь может увидеть каждый умеющий пользоваться гаджетом.

Усугубляется это и ещё и воспитанием. Поколения тех, кто родился в СССР после Второй мировой, воспитывались не в такой кровавой атмосфере, как сейчас. В том воспитании была ложь – на деле-то Советский Союз разрабатывал передовое оружие – химическое, ядерное, – варил яды для врагов, клепал ракеты, готовился к войне, но и одновременно пропагандировал мир. И для страны, для людей это гораздо лучше, потому что не проповедовалась ненависть. Слова про мир и неприятие войны ложились в души людей. Мы знали, что война, насилие – это плохо.

Сегодня все маски сброшены, сняты все табу. Ну немножко терминологию подкорректировали: войну именуют «СВО».

Война отменяет самый главный запрет: «не убий». Она убийство разрешает. Убийство – крайняя форма насилия, но есть и другие, так сказать, меньшие – грабёж, изнасилование, унижение тех, над кем у тебя оказывается, пусть и временная, но власть. И человек, честно говоря, не изменился никак – как сказал Воланд, «москвичи остались прежними». Война в Украине – это «момент истины», в который не так много россиян сумело сказать себе: нет, я не буду воевать, нет сейчас такой цели, за которую стоит отдать свою жизнь, это не тот случай, когда на твою страну напали злодеи и вопрос идёт о жизни и смерти и страны, и твоих близких. Вот так, ребром, он стоит сейчас для украинцев: это на них напали русские, это им приходится защищаться. Но Россия всегда вела себя так, за исключением редких перерывов. Разве кавказские войны не были геноцидом? В XIX веке, например, на Северном Кавказе было уничтожено около миллиона горцев.

Непонимание реальных обстоятельств современного мира, далёкого от идей гуманизма, сказалось и на отношении к трагедии, случившейся в Израиле. Если вы осуждаете войну в Украине, тогда осуждайте «Хизболлу» и ХАМАС, потому что это одного порядка вещи. У израильтян другая кровь, не как у украинцев?

Заметьте, странам, которые совершили прорыв в экономическом, научном развитии, которые положили в основу своего социума идеи гуманизма, всё это никак не мешает оправдывать насилие, творимое «палестинцами», резню, устроенную в Израиле толпами террористов и «сочувствующих». Люди в этих странах не хотят воевать, но свои установки они перенесли на террори-

стов, посчитав, что те вовсе не террористы, а жертвы и, значит, имеют право «бороться за свободу» – устраивать резню.

Разговоры о гуманизме оказались белым шумом, а на самом деле человек остался всё тем же зверем. И для каждого человека, за редчайшим исключением, нужны колоссальные усилия, чтобы оставаться человеком.

Ситуация очень архетипичная, показательная. Я уже писала в своём телеграм-канале (<https://t.me/voltskaya>) и на странице ФБ (<https://www.facebook.com/tatiana.voltskaya>) в начале ноября 2024-го:

Прочла у Андрея Грицмана про книгу Бернара-Анри Леви «Один Израиль», которую американский электронный информационный бюллетень «Shelf Awareness» отказался рекламировать, потому что «думает о своих «партнёрах» и переживает, что реклама «причинит им проблемы».

Автор ошеломлён – он впервые столкнулся с цензурой:

«Мне было трудно поверить, что книгу размышлений, написанную философом, можно занести в чёрный список просто из-за наличия на обложке слова “Израиль”».

Он пишет и о других израильских авторах, ошельмованных и «отменённых»: во всём этом

«европейские уши слышат отголоски тех, кто в 30-е годы с большим “сожалением” смотрел, как “сотрудники” и “клиенты” сдавали своих еврейских соседей пронацистским полицейским...».

Автор, уверенный, что зло надо побеждать там, где оно родилось, собирается посетить университетские кампусы Северной Америки, больше всего поражённые антисемитизмом. А я с ужасом гадаю – на каком же кампусе соберут больше клочков этого храброго, но наивного сочинителя, который хочет что-то доказать этим господам «от-реки-до-моря». Он всё ещё не догадывается, что если гений и злодейство иногда совместимы, то антисемитизм и логика – никогда.

Мне всё больше начинает казаться, что резня 7 октября запустила необратимый процесс, как бы сняла некое табу, худо-бедно державшееся со времен Холокоста. «А что, так можно было?!» – с облегчением воскликнули те, кто, видимо, долго и мучительно сдерживался – но теперь-то их отпустило. И таковых оказались миллионы. А предлог для антисемитизма всегда находится – «засилье еврейских банкиров», «колониализм» – всё это белый шум, чтобы заглушить грохот очередного погрома. Жажда погрома – абсолютно иррациональна, просто время от времени человечеству нестерпимо хочется выпить еврейской крови, чтобы потом, протрезвев, потрясённо смотреть на содеянное. Вернее, отворачиваться, свалив всё на кого-то одного – это он виноват, а мы просто рядом проходили. Бия себя в грудь – «больше никогда» – до следующего погрома.

Нельзя тешиться иллюзиями. Иллюзии очень дорого стоят, ни за что мы не платим так много, как за них.



Узловатое древо Кракова,  
 Облепленное разноязыкою мошкаррой,  
 До блестящего лакомой,  
 Тяжкие гроздья улиц с черепичною кожурой,  
 Брызжущие каменным соком,  
 Гнущиеся от молока и мёда стены, углы, столбы,  
 Красавицы, глядящие из окон  
 В разбитое зеркало толпы,  
 Омывающей перезрелые  
 Плоды костёлов, заскорузлый собор –  
 Сухой шиповник, утыканный стрелами  
 И крестами, из кирпичных пор  
 Ещё источающий благоухание  
 Бывшей любви.  
 Мимо, мимо – искупленные, коханные,  
 Позабывшие, чьи  
 Они дети – в сладкий квартал еврейский –  
 Нынче богемный – галдящие, как воробьи,  
 Слетаясь на запах властный, кофейный, резкий, –  
 Не замечая, что идут по колено в крови,  
 И что уличный столик с салфеткой розовой,  
 Дребезжа, сползает во тьму на границе Кракова –  
 По улице Иосифа без Иосифа,  
 По улице Иакова без Иакова.

### Стансы

#### 1

Не бывает никакого зла.  
 Не бывает никакой беды.  
 Мокрые блестящие тела  
 Мальчиков, бегущих из воды,  
 В капельках, как листики в росе.  
 Вот кого-то окликает мать.  
 Море блещет. Неужели все  
 Вырастут и станут убивать?

#### 2

Шар земли, похожий на живот,  
 В пустоте кружится без конца,  
 Океан околоплодных вод  
 Не переворачивается.

Пареньков-то сколько между волн  
 И на каменистом берегу.  
 Неужели это батальон  
 Будущий? – Поверить не могу.

#### 3

Вечный сон – конечно, не сплошной,  
 Точно не без дырочки в стене.  
 Как бы ты увиделся со мной,  
 В самоволку выскользнув во сне?  
 Я пути не знаю твоего,  
 Только знаю, что идёшь на риск.  
 Помню, что не видел ничего  
 Впереди – кроме кровавых брызг.



Если б за жизнь платили  
 Столько же, сколько за смерть,  
 Вот бы мы платёв нашили –  
 Жалко, уже не успеть.

Ты камуфляжные сети  
 Будешь плести весь день.  
 Нет никакой смерти –  
 Новое платье надень,

Новое, клёвое платье  
 С самого утра,  
 Сети-то – тятя, тятя –  
 Выловят мертвеца,

Свежего, молодого,  
 По дорогой цене.  
 Завтра мы будем снова  
 Сети плести – во сне. ■



## Ян ПРОБШТЕЙН

Нью-Йорк, США



Фото: Юрий Эбер

Поэт, переводчик, литературовед, кандидат филологических наук, доктор литературоведения (Ph. D.), профессор кафедры английского языка и литературы (Touro University, New York).

Родился в Минске (1953), с 1989-го живу в Нью-Йорке.

Перевожу и пишу стихи со школьных лет. Первая публикация как переводчика состоялась в 1980-м, собственные стихи впервые были напечатаны в «Континенте» стараниями заместителя главного редактора Натальи Горбаневской. С тех пор и пошло: десятки антологий, 13 поэтических книг, 2 литературоведческие на русском и английском (готовится ещё одна). С 1990-х начал переводить на английский. Последней книгой переводов с русского стала *Osip Mandelstam, Centuries Encircle Me With Fire: Selected Poems of Osip Mandelstam. A bilingual English-Russian edition. Translation, introduction and commentaries by Ian Probsteyn. Boston: Academic Studies Press, 2022.*

Стихи, переводы, эссе, статьи печатались в журналах «Новое литературное обозрение», «Континент», «Иностранная литература», «Новый журнал», «Крещатик», «Дети Ра», «Арион», «Иностранная литература», «Новый мир», «Стрелец», «Время и Мы», «Семь искусств», «Prosodia» «Зинзивер», «Дети Ра», «Арион», электронных изданиях ROAR Review, «Артикуляция», «Флаги», «Солонеба» и др.

В израильском издательстве «Бабель» опубликована в печать книга «Стансы в медитации» Гертруды Стайн в моём переводе.

## Летние заметки о зимних тревогах

Поэма

1.

Хищная декоративность бересклета,  
изысканная барочность поэта,  
опустошающая полезность вереска  
переплелись в образах начала лета;  
смотри на них с высокой башни объективности  
или со дна самосознания,  
ощупывая кажущуюся реальность.  
То ли основы познания мира,  
то ли самопознания.  
Неизвестно, спасёт ли мир красота,  
но красивость и гламур его погубили.

Свято место пусто бывает:  
оно заполняется мучителями и мучениками,  
насильниками и насельниками тьмы;  
на месте воинствующей расточительности  
добра, нажитого другими, –  
пустошь и пепелища,  
страдания, горе и  
ухмылки истории.

Любимый и голимый жизнью  
народ, обиженный судьбой;  
встаёт на смертный бой  
страна с самой собой.

Перекасти поле, переплыви море,  
изголяйся, голь перекастная, релокантная,  
смотри вдаль, смотри вровень,  
зри в корень.

2.

*Heat, distance, thirst –  
those provocateurs of mirage...*  
Lyn Hejiniian, Fall Creek<sup>1</sup>

разъят язык  
фсин & зк  
сизо & шизо  
впк & вгртк

топь да топь кругом  
всё заболочено  
всё заморочено  
и вьются бесы  
среди болот

жара, расстояния, жажда  
справедливости – эти  
провокаторы миражей,  
устремлённые в прошлое,

в то однажды,

когда б начать всё с чистого листа,  
то можно было бы достичь  
свободы, равенства и даже  
какого-нибудь братства вместо  
братоубийственных объятий.

Пророчицы, весталки и матрёны –  
им всем найдётся на ютьюбе место –  
вещают денно, ночью, неуклонно,  
но только среди них нет Клитемнестры...

входит инкогнито  
в белом пальто  
вещает и предвещает

или сидит одна  
в раю ухоженном  
красивая и молодая  
и разоблачает блистая.

Время собирать камни  
или время бросать камни,  
которые мы не собрали?  
посеешь ненависть, пожнёшь бурю –  
подвигни подвижников  
отбрось сомненья свои  
и забудь о любви.

<sup>1</sup> Жара, расстояние, жажда – эти провокаторы миражей... (Лин Хеджинян, «Фолл-Крик»).

Рассказанное не досказано,  
досказанное не доказано,  
во всём остальном нам отказано,

все так и останутся в остатке,  
все так и останутся в осадке,  
убийственная логика и  
самоубийственная логистика,  
или наоборот,

а народ  
безмолвствует, затаился и ждёт,  
но куда пойдёт – неведомо,  
в неведении ведомый слепцами.

3.

Безобразный и безобразный мир  
и тьма над бездною

налетает коршуном свет  
когтя глаз но хищники  
убивают для пропитания  
а двуногие убивают ради идеи  
от идеи шалея

вас тьмы и тьмы и тыщи но  
жизнь у вас похищена

Проникает яд  
от дубления кож  
заскорузлый взгляд  
задубевших душ

волновая теория войн  
накатывают сотни волн  
насилия и страха:  
Буча Ирпень Волноваха  
впереди ещё сотни бойнь.

Небо и воздух  
в оспинах ракет, а не звёзд,  
за мостом рушится мост,  
за дамбой рушится дамба,  
не разрушать нам бы  
а предотвращать наводнения,  
и ночью, и при свете дня –  
торжество огня  
и разрушения

## 4.

безобразный и безобразный мир  
и тьма над бездною

изнасилование как оружие террора  
у вертухаев эсэсовцев и хамасовцев  
выливаясь из тюремного коридора  
пролилось на свет в *Super Nova*<sup>2</sup>.

Упала тьма стремительно, как свиток.  
Верните их домой! – здесь раздаётся крик  
в пустыне вопиющего. Как зыбок  
застывший мир: один лишь только миг –  
и вновь падёт он в мерзость запустенья.  
Внимая тьме, к ней Азазелл приник:  
козла ведут ли ныне отпущенья?

Дружественный огонь  
недружественный огонь...  
Верните их домой!

В эпоху амнезий и аберраций  
ООН наследник Лиги наций  
собирает доказательства геноцида  
чтобы наложить побольше санкций  
на тех кто не хотят больше быть жертвами

Почему-то утонуло в этом хоре  
что Украина будет свободной  
от Днепра до Чёрного моря

Резолюции принимает ООН  
а в это время на той стороне света  
прилетает за дроном дрон  
и за ракетой ракета

безобразный и безобразный мир  
и тьма над бездною

<sup>2</sup> *Super Nova* – музыкальный фестиваль в Израиле *Supernova Sukkot*, проходил 6–7 октября 2023 недалеко от границы с Сектором Аза. Бандиты ХаМаСа устроили резню его участников, убив более трёхсот человек, а несколько десятков похищены.

## 5

иллюзии опьяняют  
реальность отрезвляет  
и наступает похмелье  
во чужом пиру

окраина переместилась в центр  
а центр – на окраину:  
сначала убегали наскоро  
возникла новая диаспора  
идут по земле пилигримы

Исход из безысходности  
и безысходность исхода,  
выход из безвыходности  
и безвыходность выхода

Странствуют странно  
Странники не по своей воле  
невольники чести  
честные невольники

по разным странам  
с сурком или без сурка  
с царём или без царя  
не взыщите но ищите  
со щитом или на щите

От абстракции  
до обструкции  
один шаг

от релокации  
до эмиграции  
один шаг

от коронации  
до реинкарнации  
долгий путь

но иногда  
от коронации  
до реанимации  
один шаг

## Анна БЕРСЕНЕВА (Татьяна СОТНИКОВА)

📍 Бонн, Германия



Фото: из личного архива

Литературовед, писатель, кандидат филологических наук.

Родилась в 1963-м. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета (1985), аспирантуру Литинститута им. А. Горького по специальности «теория литературы» (1989). Доцент Литинститута (1990–1991). С 2022-го – профессор Свободного университета (зарегистрирован в Латвии, в России объявлен нежелательной организацией). Член PEN-International.

Многочисленные критические и литературоведческие статьи публиковались в литературной периодике (журналы «Континент», «Знамя», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др.), в энциклопедических изданиях (энциклопедический словарь «Русские писатели XX века» и др.). С 2016-го книжный кolumnист в различных медиа.

С 2024-го ведёт еженедельную литературную колонку на сайте Бориса Акунина *Babook*.

С 1995-го под литературным псевдонимом Анна БЕРСЕНЕВА издала в российских издательствах «Эксмо» и АСТ 45 книг в жанре психологического романа. Общий тираж – более 5 миллионов экземпляров. Действие романов происходит в современности и – с помощью переплетающейся композиции – в переломные моменты российской и мировой истории XX века. Важнейшие исторические события (русская революция 1917 года, нэп, «год великого перелома», Вторая мировая война, «оттепель» и др.) показаны через семейные истории. Роман «Рейнское золотое» (2023) – первый русскоязычный роман, действие которого происходит во время полномасштабного нападения России на Украину, – издан одновременно в канадском издательстве *Litsvet*, израильском «Книга-Сефер» и украинском «Друкарський двір Олега Федорова».

15 романов экранизированы в России по авторским сценариям. В соавторстве с мужем, писателем Владимиром Сотниковым, написаны оригинальные сценарии для сериалов «Орлова и Александров», «Вангелия», «Личные обстоятельства» и др. 4 романа переведены на словацкий и болгарский языки.

С 2020 года живёт в Германии. В 2022-м объявлена в России «иностранным агентом».

## Весы Справедливости. Четыре года спустя

Лев Гурский. Министерство справедливости: Роман. М.: Время, 2020. 288 с.

Книга Льва Гурского «Министерство справедливости» вышла в Москве в издательстве «Время» в 2020 году – в то время, когда общественная апатия и депрессия нарастали с ускорением и становились всеобъемлющими. Диктатуру ещё пытались стыдливо называть авторитаризмом, но власть уже разгоняла уличные протесты с яростью, которая сделала сам протестный путь тупиковым, а пандемия с тотальным карантином исключила возможность протестов полностью. Справедливость не то что в настоящем, но хотя бы в ближайшем будущем если ещё не казалась исключённой совсем, то уже представлялась проблематичной.

Отсутствие же справедливости как явления не просто дезорганизует повседневную жизнь, но и вгоняет человека во всеобъемлющую депрессию. А поскольку даже не склонные к рефлексии российские граждане со всей очевидностью стали сознавать, что находятся в эпицентре торжествующего зла, – депрессия эта стала к 2020 году уже не явлением личной психологии, а общественным фактором. Пожалуй, не стоило удивляться, что в борьбу с ней стали включаться самые неожиданные институции.

Люди, впрочем, в эту борьбу включились не неожиданные, как раз те, от кого этого следовало ожидать. Роман Арбитман (Лев Гурский – наиболее известный его псевдоним) был не просто одним из таких людей – он был символом оптимизма, личного и общественного. Каждый, кто прочитает его биографию со всеми выступлениями против власти и судами, на него поэтому натравленными, легко в том убедится. И в романе «Министерство справедливости», который называл фантастическим, он написал о торжестве этой самой справедливости с оптимизмом столь неубиваемым, что действительность, в нём описанная, получилась ничуть не фантастической, а абсолютно реалистичной.

Когда сразу после выхода этой книги я писала рецензию на неё, то специально отметила данное обстоятельство – реалистичность повествовательной манеры и создаваемой с её помощью действительности, – чтобы читатели, которые, как я, вздрагивают при слове «фантастика» и откладывают книгу, прочитали «Министерство справедливости», несмотря на идиосинкразию к жанру.

Эта книга невероятно увлекательна. Авторская фантазия (не фантастика, а именно фантазия как органичная особенность творчества Романа Арбитмана вообще) в ней неизмерима в своей причудливости. А главное, эта книга искрится оптимизмом. Тем самым, который для Романа Арбитмана был ограничен. Как дыхание.

Да и как автору не быть оптимистичным! Ведь он пишет о том фантастически прекрасном времени, когда абсолютно мирным путём уже произошла Славная Революция и торжествующая подлость в России наконец оказалась изгнана из общественного обихода, причём и на законодательном, и на повседневном уровне. Повсеместно торжествует норма и живая жизнь со всеми её плюсами и минусами.

Все детали этой прекрасной России будущего Роман Арбитман прописывает с подробностями, выдающими его упоение самим процессом их выдумывания.

В бывшем здании Госдумы с помощью современных технологий создан гигантский Музей новейшей истории, в него привозят школьников со всей страны, и дети с изумлением спрашивают, как их родители могли жить, не обращая внимания на деяния, чудовищность которых очевидна любому ребёнку.

Не все даётся легко, неразберихи хватает, наивности тоже, однако полицейский, например, перестал восприниматься как враг народа, и не зря: от взятки он шарахается, потому что брать их не только уголовно наказуемо, но и позорно, к людям относится доброжелательно, всячески старается им помочь.

И так далее, и так далее – автор окормляет оптимистичной своей фантазией все без исключения сферы новой общественной жизни, преображённой справедливостью.

Справедливость, впрочем, торжествует не вполне. Потому что сразу после смерти президента Павла Павловича Дорогина и честного всенародного избрания президентом замечательной Надежды Евгеньевны произошло, как сказано в авторской аннотации, то, что не могло не произойти:

«Когда ржавые скрепы рассыпались и подлый мир канул в небытие, его вчерашние хозяева и их верные слуги шустро расплозились по всему глобусу и забились в глубокие щели. Они сменили имена, паспорта, номера банковских счетов и понадеялись на юридические увёртки, а ещё больше – на короткую память обывателей и великодушные победителей».

В 2024 году каждое слово звучит как песня.

*Смерть Дорогина!*

*Мирное избрание на честных выборах женщины-президента!*

*Подлый мир канул в небытие!*

*Вчерашние бенефициары режима не направляют на эту избранную даму все силы подвластных им спецслужб, а, наоборот, сами прячутся в глубоких щелях глобуса!*

Кто-то прочитает обо всём этом сегодня с грустной усмешкой, а кто-то с горь-



кими слезами. Как бы там ни было, песня эта приятна, но, как теперь понятно, фантастична точно.

Но в 2020 году Роману Арбитману так не казалось. Поэтому главной движущей силой мироустройства он сделал в своей книге Вселенскую Справедливость. Её весы расположены в голове у обычного с виду немолодого филолога Романа Ильича, который чувствует носителей зла настолько сильно, что физически не может находиться с ними рядом. Нет-нет, Роман Ильич не выхватывает из-за пазухи меч-кладенец или автомат Калашникова – просто от его приближения к носителям зла в нём начинают работать те самые весы. За счёт этого и осуществляется возмездие. Роман Ильич даже не знает заранее, каким именно образом сработает Вселенская Справедливость и тем более не может её отмерять; действует она без малодушных колебаний, но и без мстительного перебора.

Организационно же всё делается через небольшую группу людей, работающих в скромной конторе при минфине. И вот уже эта группа во главе с Романом Ильичом спешит в Доминикану, где под чужим именем скрывается бывший глава космической отрасли Демид Ерголин. Отрасль ему удалось развалить настолько, что спутники стали падать на головы ни в чём не повинных людей. Надо ли удивляться, что кусок такого спутника с помощью весов Романа Ильича настигает и Ерголина. А уж что происходит с бесчеловечным убийцей Ерофеем Ожоговым, отравившим множество людей по всему миру...

В этом Ерофее Ожогине по всем его повадкам и деталям биографии так явно узнаётся Евгений Пригожин, что будущее прототипа, в 2024 году читателю уже известное, сразу приходит на ум. Получается, что в реальности вселенская справедливость (если это она взорвала самолёт с Пригожиным) осуществляется несколько иной сущностью, чем филолог Роман Ильич...

Я без зазрения совести пересказываю события, происходящие в этой блистательно написанной книге, по одной простой причине: их там такое множество и сюжет полон таких неожиданных поворотов, что пересказ мой содержит в себе едва ли сотую его часть.

К 2020 году люди вообще и читатели в частности уже ощущали невыносимую усталость от торжества зла, причём в литературе не меньше, чем в жизни. Я, например, к тому времени поняла, что больше не могу читать триллеры, и именно потому, что убеждённость во всеилии зла – главная примета этого жанра. Думаю, таких, как я, было немало, поэтому книга, в которой добро торжествует неотвратно и с живым юмором, должна была вызвать и читательский интерес, и простую человеческую любовь.

Вызвала или нет, мы не знаем, потому что исследования на этот счёт никто не проводил. Зато мы точно знаем, что все наши представления о торжестве зла с тех пор переменялись полностью. Точнее, не о торжестве зла вообще, а о возможности российского населения даже не смириться с ним, а воспринять его как должное. Хотят ли торжества справедливости люди, которые добровольно записываются воевать в Украине, чтобы купить квартиру? Хочет ли его мать, радующаяся выплатам за убитого сына? А школьные учительницы, доносящие на своих учеников, что те против «СВО»? А ученики, доносящие за то же самое на своих учителей? Примеры морального падения, не соотносящегося со словом «справедливость», можно множить бесконечно – российская военная действительность дала их более чем достаточно. Их масштаб поражает гораздо больше, чем всё, что сумела изобрести яркая фантазия Романа Арбитмана. И давно уже не верится в то, что освобождённые смертью президента Дорогина граждане возжаждут какой-либо иной справедливости, нежели давно ими освоенная возможность безнаказанно грабить то, что приглянулось, и убивать тех, кто не приглянулся.

В 2020 году Роман Арбитман не мог всего этого знать. Не потому что был непроницателен, а потому что был человеком не того склада, который позволяет предполагать в людях, например, то, что они станут буднично ходить на работу, производя там, на своей будничной работе, трудовыми своими мозолистыми руками ракеты, бьющие по детским больницам Украины. Или писать программы для этих ракет наманикюренными пальчиками. Или совершать ещё что-нибудь подобное для «защиты родины», как не моргнув глазом объясняет мать из Красноярского края то, что делает её воюющий в Херсонской области сынок.

Предвидеть это было, пожалуй, потруднее, чем предвидеть, что президент Дорогин начнёт войну.

Роман Арбитман и не предвидел. И ковид оборвал его жизнь раньше, чем он увидел всё это воочию. Неизвестно, написал бы он сейчас своё «Министерство справедливости», а если написал бы, то каким оно было бы. Но вот что точно известно – что Роман Арбитман не был бы среди тех многочисленных российских Васисуалиев Лоханкиных, которые ищут в происходящем с 24 февраля 2022 года великую сермяжную правду. Которые оправдывают ею свою способность приспособиться к существованию в эпицентре любой подлости. Роман Арбитман в средоточии зла точно не стал бы существовать. Вселенская Справедливость, главная движущая сила мироустройства, весы которой были расположены у него в голове, – не позволила бы.

## Роман АРБИТМАН

07.04.1962 – 18.12.2020

📍 Саратов, Россия



С призом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России «Слон» (2017).  
Фото: из личного архива Р. Арбитмана

Писатель, литературный критик, журналист.

Сначала Роман для меня был студентом на пару курсов младше, увлекавшимся фантастикой. Потом коллегой по «Заре молодёжи», в которой он был внештатным сотрудником, писавшим о фантастике. Его собственные детективные повести первой опубликовала другая газета – «Железнодорожник Поволжья», автором был указан Эдуард Бабкин, но знающим людям было известно, что это за Эдуард. Роман откликнулся на моё приглашение, когда начиналась газета «Саратов». 29 декабря 1990 вышел её пробный номер, а в нём был материал «Я выбираю “Свободу”». Почти четверть века – до конца июля 2014 года Арбитман был обозревателем газеты «Саратов», которая несколько раз за это время поменяла название, учредителей, курс, но все эти годы еженедельно в ней появлялись обзоры Романа о литературе, телевидении, кино, политике. Одним из объектов его критики был министр культуры РФ Владимир Мединский, хреновенький (не поспоришь!), по характеристике Романа, писатель. Через неделю после визита Мединского в Саратов Романа уволили... за прогул.

А ещё Роман был автором литературной критики для «Литературной газеты», «Книжного обозрения», «Сегодня», журналов «Урал», «Новый мир», «Знамя». А ещё – доктором-литературоведом Рустамом Станиславовичем Кацем, автором монографии-мистификации «История советской фантастики» и сборника статей «Взгляд на современную русскую литературу». Социолог Леонид Фишман сыгрался на монографию, как на серьёзный труд.

А ещё Роман был русско-американским писателем-эмигрантом Львом Гурским – автором интеллектуальных иронических детективов про сотрудника ФСБ Максима Лаптева и частного детектива Якова Штерна. Со скепсисом отнёсся я к его «Перемене мест», хотя и не без интереса посмотрел поставленный по роману сериал «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». Но чересчур фантазийной выглядела реальность романа и сериала – ну какие там пластические операции и подмена депутатов с президентом?! По крайней мере, четверть века назад художественный вымысел писателя Арбитмана выглядел ну очень художественным. А выходит, большое видится на расстоянии. Сказать бы об этом самому Роману, но ковид четыре года назад...

Барух-Александр Плохотенко ■

*Mum*

ПОЭМЫ



М

## Слава МАЛАХОВ

Бутырская тюрьма, Россия



Фото: из личного архива автора

Поэт, писатель, музыкант, блогер. Псевдоним – Валаар Моргулис

Родился 11 июня 1985 года в СССР, в Луганске (тогда – Ворошилов-граде). В социальных сетях представляется публике как «отец-основатель и один из авторов паблика “Дореволюционный Советчик” в ВК», «князь-хуемразь», «пейсатель», «стендап-конюх», «рифмовержец», «феминист-ясный сокол», «граф Эйякула» и «рэпер Сквиртонит». До конца января 2024 года жил то в Москве, то в Санкт-Петербурге, но 31 января был арестован по обвинению в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ», и 24 октября приговорён к двум годам лишения свободы. К моменту передачи стихов в журнал ещё находился в СИЗО-2 Бутырка.

Поводом для ареста стал пост в его телеграм-канале, где Слава рассуждает о гомофобии, шовинизме и лицемерии власти, препятствующих прогрессу и мирной жизни. Помимо всего прочего, следователь мотивировал своё требование взять его под стражу ещё и тем, что «Малахов является уроженцем Украины», хотя в 1985 году независимого государства Украина ещё не существовало.

Публикуемая юмористическая поэма написана в тюремном заключении.

## Курлы-курлы-курлы

Юмористическая поэма

Одет в цветы Васильевский,  
Пестреет Петроградочка,  
С Тучкова наблюдается  
Красивейший закат.  
Майор госбезопасности  
С работы возвращается,  
С минувшим днём прощается  
Под рокот автострад.  
Вечерний город светится  
Во всей своей прекрасности,  
И кто бы знал, как хочется  
К огням, а не домой.  
Терзаем одиночеством  
Майор госбезопасности,  
Что остро ощущается  
Особенно весной.  
И вроде всё налажено:  
Достаток, жизнь с размахом, и  
Карьера: накануне вот  
Звезду преподнесли.  
А всё-таки, а всё-таки  
Душа томится птахою,  
И чайки прямо по сердцу:  
Курлы-курлы-курлы.

А на пути майоровом  
В свеченьи светофоровом  
Стоит печальный юноша  
С кудрявой головой.  
С букетом, ну, а главное –  
С похожей на майорову  
Тоской в глазах лазоревых,  
Как небо над Невой.  
И ветер, полный радости,



В его кудрях запутался.  
 И вечер, полный нежности,  
 В глазах его тонул.  
 И замер на мгновение  
 Майор госбезопасности,  
 – Что, не пришла? – спросил его,  
 И юноша кивнул.  
 Майор госбезопасности  
 Взглянул тепло и ласково:  
 – Не плачь, печальный юноша,  
 Да было бы о чём.  
 А в небе шандарахнуло  
 Чего-то громогласное,  
 А может, и не в небе-то,  
 А в сердце. Точно, в нём.  
 – Увы, дерьмо случается,  
 А жизнь ведь не кончается,  
 Ну, не пришла, подумаешь,  
 Бывает, шут бы с ней.  
 Такому счастью грош цена,  
 А может, окунуться нам  
 С тобой, прекрасный юноша,  
 В сияние огней?..  
 И вот майор и юноша  
 Фланируют по линиям,  
 Среди народу синего  
 Плывут на корабле.  
 Беседа льётся, вяжется,  
 В бокалы льётся бражица,  
 В руке рука и кажется –  
 Знакомы триста лет.  
 Вокруг играет музыка,  
 Диковинная музыка,  
 И ночью белой улицы  
 Причудливо светлы.  
 Им весело танцуется,  
 Потом они целуются,  
 И чайки сверху радостно:  
 Курлы-курлы-курлы.

Майор госбезопасности,  
 Отечество в опасности,  
 И есть ли место нежности  
 В такие времена,  
 Что смертью ошарашены,  
 Но жизнь никто не спрашивал,

И ночь такая ясная,  
 Безумием пьяна.  
 И кажется случайною  
 Весна необычайная  
 Среди извечных северных  
 Седых суровых зим.  
 И одурманен страстностью  
 Майор госбезопасности,  
 И обнимает юношу,  
 И засыпает с ним.  
 Прошла неделя полная  
 Со встречи той неистойвой –  
 И ни звонка, ни строчечки.  
 Проклятый купидон.  
 А юноша на митинге  
 Был схвачен особистами,  
 И вдаль уносит юношу  
 Столыпинский вагон.  
 Крестовский с Петроградочкой,  
 Что за руку исхожены,  
 Не так милы, как если бы  
 Идти по ним вдвоём.  
 И вновь тоска утрюмая,  
 Событием умножена,  
 Приходит в сны майоровы  
 И жрёт его живьём.  
 Внезапная история,  
 Что счастья краткой песенкой  
 В душе благоустроенной  
 Устроила пустырь.  
 Претит майору ранее  
 Любимая профессия,  
 И, бросив всё, в онежский он  
 Уходит монастырь.  
 А что ещё поделаешь,  
 Когда бывшие радости  
 Во всей своей обильности  
 Вдруг стали немилы.  
 Когда сильнее сильного  
 Болит катастрофически,  
 И чайки так трагически:  
 Курлы-курлы-курлы.

Прошло немало времени.  
 Майор живёт без изысков,  
 Блюдя аскезу строгую

Среди кошек и икон.  
 Как вдруг к нему, сбиравшему  
 Морошку, вышел из лесу  
 В тюремной телогреечке  
 Пленённый Аполлон.  
 Бежал он из Карелии,  
 Питался можжевельником,  
 С волками бился яростно,  
 Из палки сделав кол.  
 Бежал он из колонии  
 Болотами зловонными,  
 Господь, как штурман бережный,  
 По краешку провёл.  
 И вот, ошеломлённые,  
 Они в объятя падают  
 Друг дружке – в каплях радости  
 Горит пожар небес  
 На лицах изумлённых, и  
 Несчастные влюблённые  
 Счастливыми влюблёнными  
 Покинут этот лес.  
 А после – сядут в лодочку,  
 Да, в маленькую лодочку,  
 В резиновую лодочку  
 На вёсельном ходу,  
 Имеючи стратегию  
 Плыть напрямик в Норвегию,  
 Где при большом везении  
 Убежище дадут.  
 Они гребут, стараются  
 И иногда целуются,  
 И в море погружается  
 Размеренно весло.  
 И, может, будут счастливы,  
 Ведь чудеса случаются –  
 Пусть даже и в Норвегии,  
 Раз дома не свезло.  
 И всё, глядишь, наладится,  
 И свадьбка сыграется,  
 Друзья за хлебосольные  
 Усядутся столы.  
 И чайки с неба серого  
 Торжественно и празднично  
 И жизнеутверждающе:  
 Курлы-курлы-курлы.

Норвегия – Норвегией.  
 Цветёт во славу Одина,  
 Где «скэль»<sup>1</sup>, забыв агрессию,  
 Мулле кричит равин.  
 Но обратимся к родине,  
 Где к автору поэзии  
 Пришли за воспевание  
 Любви двух мужчин.  
 А драма в малом казусе,  
 Ведь всё повествование  
 Двусмысленной иронии  
 Создатель не таил:  
 Майор госбезопасности  
 Был импозантной дамою,  
 А юноша – как юноша.  
 И он её любил.  
 И эти вирши в сущности –  
 Невиннейшее творчество,  
 Пошлейшая романтика  
 Для склонных к слёз литью,  
 Но думал ли об этом ты,  
 Читатель мой испорченный  
 Культурой ширпотребною  
 И собственным ай-кью?

Мораль сей оды явственна,  
 Её б учить в гимназиях  
 В упред филологических  
 И прочих там грехов:  
 Феминитивом пользуйтесь,  
 Чтоб избежать оказии  
 В своей амурной лирике,  
 Любители стихов.  
 Под ручку муж с майоркою  
 Гуляют по Майорке, и  
 Медовый месяц сладостен,  
 И лица их светлы.  
 А в синем небе радостно,  
 Бескомпромиссно радостно:  
 Там чай порхает с чайкою.  
 Курлы-курлы-курлы. ■

<sup>1</sup> Скэль (норв. skol) – за наше здоровье (прим. ред.).

## Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

28.01.1936–09.06.2024

📍 Ленинград, Москва, СССР –  
Бостон, США

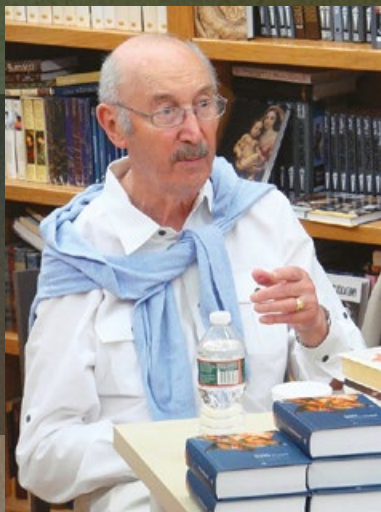


Фото: Максим Д. Шраер

Поэт, прозаик, мемуарист, эссеист, переводчик; врач и учёный-медик.

Родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге, 1936). Был в «отказе»<sup>1</sup> (1979–1987), эмигрировал в США в 1987-м. С 2006-го жил в Бостоне.

Автор более 25 книг на русском языке, включая стихи, романы, рассказы и мемуары: «Холсты» (1967), «Друзья и тени» (1989), «Вилла Боргезе» (1992), «Невские стихи» (2011), «Эти странные русские евреи» (2004), «Карп для фаршированной рыбы» (2005), «Водка с пирожными» (2007), «Охота на рыжего дьявола» (2010), «Генрих Сапгир: Классик авангарда» (2004, совм. с Максимом Д. Шраером), «Вакцина» (2021), «Искушение Юдина» (2021) и другие. Роман об отказниках «Герберт и Нэлли» 3 раза переиздавался. В США на английском вышли 4 книги прозы: «Jonah and Sarah», «Autumn in Yalta», «Dinner with Stalin» и «Doctor Levitin».

Публикация и послесловие: Максим Д. ШРАЕР

<sup>1</sup> «Отказ» – здесь: жизнь и политическое движение советских евреев, которым власти отказывали в разрешении выехать из СССР на постоянное место жительства. (Здесь и далее прим. ред.).

## Юрий Долгорукий

Посвящаю героям и мученикам «отказа»

Опьянённый вином золотистым,  
Золотым опалённый огнём,  
Я забыл о пути каменистом,  
О товарище бедном моём.

Александр Блок. Соловьиный сад

7

Посредине московского пекла,  
Визави Моссовета, вблизи  
Ресторана «Арагви», среди пепла,  
Что мои устилает стези,

Основатель Москвы громоздится  
На раскормленном бронзой коне.  
Юрий, князь Долгорукий, грозитя  
Загранице, столице, стране.

Он поставлен для устрашенья,  
Основатель великой Москвы.  
В наши дни для иного служенья  
Он сгодился, увидите вы.

А поодаль, за три квартала  
Замок, скажем мы, лубяной.  
Князь в нём правил. Его не стало  
То ли осенью, то ли весной.

В совпаденье имён и власти  
Этот князь лубяной видел знак,  
Позволяющий в лвиной пасти

Перемен сохранить  $\begin{matrix} \text{к} & \text{к} \\ \text{ула} & \\ \text{г} & \text{г.} \end{matrix}$

Ледяной, лубяной, холодный,  
Достоевски-лажечниковский,  
Замок плыл над страной голодной,  
Как плывёт над шарами — кий.

Замок был во владении князя  
Абсолютном. Казалось нам,  
Что не мог прекословить проказе  
Ни храбрец, ни мудрец, ни хам.

Но нашёлся один одержимый,  
Сумасшедший еврейский пророк,  
Мессианской идеей гонимый,  
Сам себе назначающий срок.

Эта повесть как раз про такого.  
Мы встречались с ним на Горе<sup>2</sup>  
По субботам. Он верил в Слово<sup>3</sup>.  
Я же принадлежал игре<sup>4</sup>.

Как и многие, кто в Отказе  
Просидели который год<sup>5</sup>,  
Доверял я желанной фразе,  
Торопил долгожданный Исход<sup>6</sup>.

Свято верил, что избавленье  
От *бесцельно прожитых лет* —  
Это сфер высочайших решенье,  
А борьба с *долгорукими* — бред.

Но один из нас с вознесённым,  
Бледным ликом, безумьем в глазах,  
Бредил о Моисеем спасённых  
И блуждавших в синайских песках.

<sup>2</sup> Гора, или Горка – эвфемизм для обозначения Московской хоральной синагоги, которая располагается в Большом Спасоглинищевском переулке, во времена описываемые в поэме – улице Архипова. «Гора», «Горка», потому что улица находится на склоне холма. Гора была местом несанкционированных встреч и сборищ московских евреев.

<sup>3</sup> Слово – в данном контексте: Священное Писание. «Верил в Слово» – то есть был верующим.

<sup>4</sup> «Принадлежал игре» – вероятно, будучи «отказником», герой был вовлечён как актёр, игрок в «игру Истории».

<sup>5</sup> «Сидеть в отказе» – фразеологизм советских времён, означающий «ожидать разрешения на выезд из СССР, периодически получая отказы».

<sup>6</sup> Исход – здесь: отъезд из СССР. По аналогии с Исходом евреев из Египта в 1312 году до н. э., описанным в Торе (Библии).

Вавилонским пугал плененьем,  
Разрушением Храма<sup>7</sup> корил  
И в беспомощном исступленьи  
Убеждал, призывал, говорил.

Мы привыкли, как страшные строфы,  
Факты давние повторять.  
Но «отказ» никому с Катастрофой<sup>8</sup>  
Не хотелось отождествлять.

Нам, отвыкнувшим верить в героев,  
В череде кутерьмы и тюрьмы,  
Он Исход обещал за Горою  
И победу над «Князем тьмы».

Он, светившийся ликом бледным,  
Нам казавшийся чудаком,  
Разрабатывал план победный,  
Что-то там затевал тайком.

На его удлинённом лике  
Чёрным пламенем взор горел.  
Да, таким не страшны улики —  
Блики самых опасных дел.

Я сошёлся с ним покороче,  
Чем другие. К его огню  
Я тянулся сильнее прочих.  
Впрочем, я их в том не виню.

Он увлёл меня. Я поддался.  
Он спешил. Я тянулся за ним.  
Мне казалось порой, что стлался  
Над челом его облак-дым.

Но в пленении добровольном  
Видел я интерес и смысл,  
Потому что и мне довольно  
Было лживости коромысла,

На которых качалась наша  
Отказнической жизни бадья.  
И готов был отравную чашу  
(Лишь скорее б!) испить и я.

<sup>7</sup> «Разрушением Храма» – разрушение Храма в Иерусалиме римлянами в 70 г. н. э.

<sup>8</sup> Катастрофа, или Холокост – уничтожение в период Второй мировой войны германскими нацистами и их союзниками, пособниками 6 миллионов евреев.

## 2

И в одну из суббот... (едва ли  
Вы поймёте, что с ним стряслось),  
Лишь мы дом лубяной миновали,  
Лик его исказила злость.

Он спешил по Кузнецкому мóсту,  
По Столешникову бежал.  
Можно было подумать — к погосту,  
Где его противник лежал.

А на Горького, где обтекает  
Долгорукого рой людской,  
«В этой бронзе Князь тьмы обитает, —  
Зашептал мне товарищ мой. —

Но я знаю вернейший способ.  
Поскорей! Я ему покажу! —  
Сотрясла его смеха россыпь. —  
Ты увидишь, я путь проложу

Всем, застрявшим в Отказе<sup>9</sup> евреям.  
Скоро, скоро погибнет князь  
лубяной. Ты со мной? Скорее!»  
Мы в подъезд проскользнули. Вязь

Витиеватых перил рифмовалась  
С чугуном моссветовских служб.  
Да, мне трезвого разума малость  
Прошептала: «Останься. Чушь!

Попадётся! Тюрьма или ссылка —  
Вот последствия этих забав».  
Но куда там! Товарищ мой пылко  
Вверх спешил, к перилам припав.

Между тем, конспирации ради,  
Мы, отвергнув шуршащий лифт,  
Миновали пролётов тетради,  
Где подошв отпечатан шрифт.

И постукивая ключами,  
Как зубами, мой друг-чудак  
Весь в отчаянье и печали,  
Затолкал меня на чердак.

<sup>9</sup> «Застрячь в отказе» — регулярно получать отказы на прошения о выезде из СССР.

Здесь—то перед оконцем грязным,  
В паутино-крысином раю  
Мне открыл он свой план опасный,  
Мысль губительную свою.

«Но причём тут балкон и выход  
С чердака?» — я спросил. А он  
Прошептала: «Ты меня за психа  
Принимаешь? Я так смешон?

Вера кажется небылицей?  
Мне достался пророков путь.  
С чёрной силой взглядом сразиться —  
Мой удел! Обо мне забудь!»

Был мой бедный приятель на свете  
Из последних пророков. Взор  
Пламенел его. Лик был светел.  
А уста источали вздор.

## 3

Я ушёл с чердака. Он остался  
Наблюдать. Я покинул подъезд,  
Напевая любовные стансы.  
Мне Лубянской<sup>10</sup> поставленный крест

На отъезд не мешал любоваться  
Геометрией женских тел.  
Видно, вечно мне оставаться  
Менестрелем любовных тем.

День субботний (по исчисленью  
Европейскому) шёл к ночи.  
Я подверженный духу тленья  
(Да, мне корчиться в адской печи),

Пересёк переходом Тверскую  
(Или Горького, вам видней),  
И забрёл в пивную-пьянскую  
Утопить свою совесть в вине.

«Стыдно, братец? Налей водяру  
Прямо в пиво!» — «Благодарю!  
Где цыганки?» — «Поедем к “Яру”!» —  
«Бредишь!» — «Скинемся по рублю!»

<sup>10</sup> Лубянка — эвфемизм для обозначения КГБ (ФСБ), центральный аппарат которого находится в Москве на Лубянской площади.

## 4. Стансы

Дорогая, душа, догорая,  
Каплет воском, будто свеча.  
Я от страсти глухой умираю.  
Отчего ты не горяча?

Оттого ль, что картавый мой голос  
Расставанья не выпоит сушь?  
Оттого ль, что курчавый мой волос  
К твоим бёдрам ползёт, как плющ?

Дорогая моя, дорогая,  
Я всю ночь напролёт промолчу  
И курчавость свою покараю,  
И картавость свою отшучу.

Но в последний, последний, последний  
Пьяный, рьяный, прощальный разок,  
Разреши, дорогая, в передней  
Лик твой высветить, как образок.

Поцелуями лик твой измерить,  
Поцелуями исходить,  
И губами проверить-промерить.  
Мне дожить без тебя — не дожить.

## 5

Я не видел его недели  
Две иль три на Горе. Забыть  
О пророке евреи успели,  
Твёрдо помня, что есть и пить

И в Отказе необходимо,  
Что житьё без посылок — швах!  
Что огня не бывает без дыма,  
И отъезду ближайшему — крах.

Приходили без энтузиазма,  
Любопытства, скорее, из:  
Посмотреть скептическим глазом  
На гостей, совершавших круиз,

Интервью дать американке,  
Прижимавшей к глазам платок,  
Оттого что в советской механике  
И в еврействе советском толк

Не найти ни ей, ни Конгрессу,  
Ни сенатору<sup>11</sup> — тоже здесь:  
На Горе атакует прессу,  
Мол, заехал куда Б-г весть,  
Рисковал, посещал, встречался,  
В синагоге Тору целовал...  
Но сенатор в «чайке» умчался  
На приём протокольный. «Провал!

Мы оставлены! Мы забыты!» —  
Причитал Генетик (в былом  
Конформист-карьерист именитый).  
Но ему возражал Астроном:

«Вот увидите, договорятся!  
Будем голодом укреплять  
Волю...» — «Надо за волю драться!» —  
Мой товарищ явился опять.

## 6

Бледный лик его, взор горящий,  
Над копною волос — кипа.  
За плечами старинный ящик,  
Как шарманка. И черепа

Вперемешку с еврейским шрифтом,  
Астролябий, чудовищ пляс,  
Сфинксы, левиафаны, грифы —  
Вот орнамента опояс,

Поразивший меня. Иные  
Повернулись к пророку спиной,  
Зная твёрдо, что жить и ныне  
В безопасности — можно ценой

Избежания скандальных знакомых.  
Весь курьёз заключается в том,  
Что *нормальный* отказник законы  
Чтил, как Библии ветхий том.

<sup>11</sup> Сенатор – речь, по-видимому, об американском сенаторе Строне Термонде, посетившем Москву в 1985 году в составе делегации Конгресса США.

Чтил и разумом почитая...  
Впрочем, что мне до нормы? Куда  
Мне до них! Всё равно не чета я  
Этим умникам. Провода

Из шарманки торчали. Антенна?  
Заземление? Я не силён  
В чёрных ящиках. «Непременно  
Долгорукий погибнет!» — он

Тронул клавиши. Я услышал  
Шорох сумеречный и хруст.  
Так танцуют на кладбищах мыши,  
Так скелетно гуляет грусть.

«Это знак. Я его дождался!  
Ну, прощайте! Меня зовут...»  
И умчался кометой. Жался  
На Горе отказной наш люд.

7

Ошарашенный, ошеломлённый  
Я не сразу решился за ним  
Поспешить в тот подъезд потаённый,  
В тот, в который пророк или мим,

Пилигрим, бегущий по кромке,  
В убеждённости дерзкой — свят.  
«Поскорей!» — торопил меня громкий  
Голос. Тихий — тянул назад.

Между Сциллою и Харибдой  
Этих искренних голосов  
Матадором я был на корриде  
И быком. Я страдал. Был готов

Проклинать нерешительность. Ноги,  
Слава Б-гу, сами взялись  
Донести меня. Так у многих  
Получается. Тлен и слизь,

Маскирующие сомненья,  
Убаюкивающие злость,  
Отрубает без сожаленья  
Мышца сердца и правды кость.

И уносит мозг, пристыжённый,  
В башне черепа — постигать  
Путь пророческий, пусть наклонный,  
Где болотная марь и гать.

Вверх по улице синагогальной,  
Между двух краснофлагих ЦК,  
Мимо площади, где изначальной,  
Дикой совестью большевика

Замер памятник, словно феникс,  
Перед зданием лубяным,  
Мимо «Детского мира», кофейни,  
По Кузнецкому мосту... Как дым,

Миновать писателей лавку,  
Где я проклят, распят за то,  
Что сменил конформистскую славку  
На погибельность славы свято,

Быть рассыпанным в шрифте печатном  
На российской земле. А вдали  
Оставаться ненужным, накладным,  
Непонятым для новой земли.

Вот Столешников. Вот пивная  
С туалетом (закрытым). Вот  
И «Арагви». Ужели знаю,  
Отчего толпится народ?

Почему свистки, ограждение,  
Суета, как на похоронах  
Знаменитости. Всё движенье  
Перекрыто. Подземный страх

Приковал меня к чёрной решетке,  
Отделяющей ближний двор  
От площадки, где памятник... Глотки  
Из толпы изрекали вздор.

Будто молния шаровая  
Из-под крыши метнулась. Князь  
Пошатнулся в седле. «Не знаю!» —  
«А милиция?» — «Да сдалась

Нам вся эта история! Столик  
Ждёт в «Арагви». Коньяк и шашлык  
Поважнее опасных историй». —  
«Как шарахнуло в Князя!» — «Старик,

Ты достукаешься, однако!» —  
«Ладно, выпьем за упокой».  
Я глядел, замирая. Знака  
Ожидал я. Вдруг над толпой,

Над страной, над Москвой, Моссоветом,  
Над Тверской, над кордоном взвилось  
Чудотворное облако. Светом  
Или звуком оно пролилось:

«Мы в Египте были рабами,  
Преисподний Лубянский Князь.  
Нам с Россией не быть врагами.  
Отпустите в Израиль нас!»

*август 1985*

Максим Д. ШРАЕР

## Поэма «отказа» «Юрий Долгорукий»: 40 лет спустя

В начале января 1979 года мои родители – писатель и врач-микробиолог Давид Шраер-Петров и филолог Эмилия Шраер (Поляк) – подали документы на выезд. Разрешение же мы получили лишь весной 1987-го, когда начали выпускать «старых» отказников. После исключения из Союза писателей и публичного шельмования отца в СССР не публиковали — за исключением перепечаток переводов в нескольких антологиях. Какая-то часть написанного распространялась в самиздате, особенно еврейском и отказническом, и печаталась за границей. Несмотря на преследования и профессиональную изоляцию, отец много и плодотворно работал и в прозе, и в поэзии — пожалуй, особенно в прозе. В 1979–1982 годах были написаны первые две части трилогии об отказниках: «Доктор Левитин» и «Будь ты проклят! Не умирай...».

После эмиграции в июне 1987 года мой отец стал печататься в эмигрантских изданиях, а с 1991 года и в России. Притом что у него была параллельная карьера и работа врача и учёного-исследователя, отец писал практически каждый день и был ориентирован на преодоление травмы отказа. Стихотворение «Монолог Лота к жене», написанное за полгода до отъезда, передаёт это состояние:

«Не оглядывайся, жена,  
Не пройти наши годы вновь».

Некоторые из его стихотворных книг выходили в Штатах и в России небольшими тиражами, в то время как книги прозы (особенно романы об отказе и еврейские рассказы и повести) печатались большими тиражами, переиздавались и переводились на английский. К публикации написанного в СССР — постепенно обретенного из переданных на Запад или же сохранённых друзьями частей архива<sup>12</sup> — отец относился по-разному. Если лирические стихи 1950-х–1980-х годов он хотел издавать (и переиздавать в России), то не все поэмы, созданные в годы отказа, были опубликованы. Отец, вообще, мало занимался продвижением своей литературной карьеры, особенно стихов. Он радовался публикациям,

<sup>12</sup> Когда мы попали в «отказ», а отец всё больше писал о еврейской эмиграции, возникла опасность обыска. И тогда он с тал отдавать рукописи на хранение верным друзьям. Часть хранилась в Эстонии, часть в Ленинграде, часть в Москве. И когда мы получили разрешение на выезд, существенную часть архива вывезли американские дипломаты. Я стал ездить в Россию с 1993-го и старался увезти, что мог собрать. В результате большая часть архива сохранилась и возвратилась к отцу.



но не заикливался на попытках наверстать упущенное в отказе — писал и печатал новые стихотворные тексты, в которых продолжал формальные эксперименты, ухидившие корнями в его раннюю ленинградскую поэзию 1950-х.

Поэма «Юрий Долгорукий» была создана в конце августа 1985-го. Я хорошо помню, как отец читал её на сходках и семинарах отказников в 1985–1987 годах. История её создания неотъемлемо связана с апогеем еврейского национального движения в бывшем СССР и с участием моих родителей в политической и культурной жизни отказников. Осенью 1985-го отец пережил самый тяжёлый виток преследований, чудом не завершившийся арестом, судом и сроком заключения. В 1984–1987 годах мы близко общались с Владимиром и Марией Слепаками, героями «отказа». После возвращения из читинской ссылки Слепаки несколько лет прожили в той же коммунальной квартире на улице Горького, на балконе которой 1 июня 1978 году вывесили плакат «Отпустите к сыну в Израиль». В тот же день другая героиня «отказа» Ида Нудель тоже вывесила в своём окне плакат с требованием отпустить её в Израиль.

Из квартиры Слепаков открывался вид на памятник Юрию Долгорукому. Отца ещё с 1979 года, когда он задумал роман об отказниках, занимал вопрос о самопожертвовании ради спасения евреев. В фантазмагорическом финале романа «Доктор Левитин» главный герой, превратившийся из тишайшего интеллигента в еврейского мстителя, совершает акт саможжения и уничтожает картотеку ОВИРа. В статье, посвящённой творчеству Давида Шраера-Петрова, биограф Эренбурга, Троцкого и Сталина Джошуа Рубенштейн (Joshua Rubenstein) охарактеризовал подвиг доктора Левитина как современный вариант самопожертвования библейского Самсона. Автор поэмы «Юрий Долгорукий» рассматривает возможность иного отказнического подвига (или символической расправы над символом имперской, государственной власти) — скорее в традиции народных и эсеров. По очевидным причинам на подвиг такого рода он мог указать в тексте поэмы лишь завуалированно.

В 2000-е годы отец вернулся к тексту поэмы, внёс в него некоторые исправления. Я торопил его опубликовать, но у него были другие приоритеты, в последние годы жизни связанные прежде всего с публикацией новой прозы, а также переработкой и изданием трагикомедии в стихах «Вакцина».

Давида Шраера-Петрова не стало 9 июня 2024 года. Когда я перечитал поэму уже после его ухода, меня поразило голографическое воссоздание атмосферы московской отказнической жизни в сочетании с политическим риском, на который шёл автор. В теперешних условиях войны против Израиля и всего еврейства эта публикация имеет не только историческое значение, но придаёт тексту новую актуальность и тональность.

7 сентября 2024

## Максим Д. ШРАЕР

📍 Бостон, США



Фото: Ли Пеллегрини

Поэт, прозаик, литературовед, переводчик, профессор Бостонского колледжа.

Родился в Москве (1967) в семье писателя Давида Шраера-Петрова и переводчицы Эмилии Шраер (Поляк). Вместе с родителями находился в отказе более восьми лет. Эмигрировал весной 1987-го.

Автор более 25 книг на английском и русском языках, среди которых «В ожидании Америки», «Бегство», «Исчезновение Залмана», «Ньюхейвенские сонеты», «Бунин и Набоков: История соперничества». Лауреат Национальной еврейской премии США и стипендии Фонда Гуггенхайма. В издательстве книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив, 2022) вышла поэтическая книга «Стихи из айпада», в Израиле напечатана и его новая книга нон-фикшн «Багаж иммигранта» (Кфар-Саба, «Книга-Сефер», 2024). Произведения Максима Д. Шраера переведены на 13 языков.

Сайт: [www.shrayer.com](http://www.shrayer.com) ■

М

## Виктор ЕСИПОВ

📍 Прага, Чехия



Фото: Виктория Крымова

Родился в Москве. Окончил Институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «орудия лова» («шаланды полные кефали...»), работал инженером в конструкторском бюро системы Минэнерго (до реформ А. Чубайса).

Первые публикации:

– стихи — журнал «Юность», 1974,

– литературоведческая статья «Исторический подтекст в “Пиковой даме”» — «Вопросы литературы», 1989.

Автор пяти сборников стихотворений, литературовед, пушкинист, историк литературы, ответственный редактор томов IV–VI, VIII, XI, XII хронологического 12-томного собрания сочинений А. С. Пушкина, издаваемого ИМЛИ РАН с 2000 года.

С 2006-го старший научный сотрудник ИМЛИ РАН.

С начала апреля 2022-го живу в Праге.

В № 7 «Тайных троп» опубликована статья о хронологическом собрании сочинений Пушкина.

Я не учился на филфаке,  
в иной фактуре мой портрет —  
с тельняшкой из-под рубахи  
на фотографиях тех лет.  
Мне лазить не пришлось  
по вантам,  
но поболтало в двух морях —  
ходил студентом-практикантом  
на траулерах, сейнерах.  
А жизнь вела меня упрямо  
от брызг морских куда-то вкось —  
нет, я не написал романа,  
но биться с рифмами пришлось.

Сидишь порою над строкою,  
качает ритм, как на волне,  
а рифма рыбкой золотою  
увенчивает строчку мне.  
Но отдалялись, отдалялись  
огни причальные, моря...  
Вот жизнь прошла,  
куда девались  
те мачты, сходни, якоря?  
Швартовы где и ваер трала?  
Я позабыл о той поре,  
и не баркасы у причала,  
а в ряд машины во дворе.

## Малеевка

*Маленькая поэма*

И. Р.

Уже не вспомнить, сколько раз  
то в эйфории, то в унынье  
я проезжал деревню Марс  
в маршрутке или в лимузине.

Такое здесь название есть,  
в нём ни издёвки, ни конфуза;  
его не может не прочесть,  
кто хоть однажды ездил в Рузу.

Деревня Марс – и смех и грех –  
в «социализма» ранней фазе  
возникла здесь одной из тех  
коммунистических фантазий.

Но благодарен я судьбе,  
что много лет по воле Б-га  
вот через этот Марс к тебе  
вела меня моя дорога.

1

Лес за окном, в глазах рябя,  
мелькал, я ехал к важной дате...  
Давай представлю я тебя,  
чтоб полюбил тебя читатель.

Как многих, ты влекла меня  
отменным вкусом и осанкой,  
во всём достоинство храня, –  
была при этом франкоманкой.

Блистала, замуж не спеша...  
Ну, в общем, всё это итожа –  
была умна и хороша  
и на двенадцать лет моложе

Меня... Я помню этот дом,  
где ты была моей заботой –  
кусты сирени за окном,  
на стенах Биргера работы.

Не нам одним внушало страх,  
как деградирует держава,  
ведь под гитару в тех стенах  
и Галич пел, и Окуджава,

Цитировали наизусть  
Ахматову и Пастернака,  
развеивал хозяев грусть  
Атос, чудесная собака.

Ещё скажу про этот дом  
и про того, к чьей ехал дате:  
приёмным был твоим отцом  
один известнейший писатель.

Бесстрашный, судя по всему,  
внушительный – на фотоснимке.  
В тот раз я ехал не к нему,  
а к годовщине, на поминки.

2

Я был с писателем в родстве,  
к тебе влекло меня тем паче,  
я навещал тебя в Москве,  
но чаще всё-таки на даче.

Шум долетал с лесных вершин,  
дымились трубы по округам...  
Рожденья дни, дни именин  
своим мы отмечались кругом.

Сияла ёлка в Новый год,  
сюда приехать мог с ночёвкой  
давно проверенный народ,  
с бурбоном кто, а кто с зубровкой.

Такой бывал здесь пир горой!  
Всех лиц теперь уж не упомяну...  
Вон Виноградовы четой,  
Семён Изральич с Инной Львовной<sup>1</sup>.

Здесь, Вани Чонкина творец,  
свой тост произносил Володя<sup>2</sup>,  
и было слитно всех сердец  
биенье, как весной в природе...

3

Весной, взломав над руслом лёд,  
текла речушка в пруд соседний;  
дорога в Глухово в обход  
вела теперь, не как намердн.

А там и летние деньки:  
на стёклах солнечные слитки,  
из полевых цветов венки,  
шиповник в иглах у калитки.

<sup>1</sup> Поэты-супруги Семён Липкин и Инна Лиснянская (прим. ред.).

<sup>2</sup> Писатель Владимир Войнович (прим. ред.).

Вращалось дней веретено,  
и иногда в часы досуга  
мы шли к писателям в кино.  
Звалась Малеевкой округа.

Так дни неслись во весь опор,  
сменялись радостью печали...  
Здесь провожали за бугор  
и в путь последний провожали.

Всего в стихах не рассказать,  
не воскресить былой картины,  
где ты уже жена и мать,  
и мы растим с тобою сына...

4

А между тем страна тряслась,  
как в родах, корчилась от боли,  
и наконец сменилась власть;  
мы все на миг хлебнули воли.

И всем казалось, вот оно!  
Как будто с плеч свалили гору.  
Порасплодились вдруг АО,  
что белые в грибную пору.

Политизировав досуг,  
вели повсюду диспут жаркий  
умы, и появились вдруг  
по всей деревне иномарки.

Кто думать мог, что ждёт потом,  
какая будет в щах капуста?..  
И нет тебя, и продан дом,  
и на душе темно и пусто.

С прошедшим возраст не в родстве,  
всё круче памяти увёртки...  
Ты на Донском, я не в Москве,  
одна из тех давно в Нью-Йорке.

Но свет той жизни не угас,  
пока в живых остались двое.  
Я проезжал деревню Марс –  
и тут нахлынуло такое...

2020–2023 ■

*Mam*

СТИХИ



ММ

## Михаил КОРОЛЬ

📍 Анатот, Израиль



Фото: Юрий Мечитов

Израильский поэт и культуролог, пишущий на русском языке. Автор 7 поэтических сборников, а также ряда культурологических и краеведческих книг: «Королевские прогулки по Иерусалиму», «Святые места Иерусалима», «Путеводитель по следам Ирода Великого в стране Израиля», «Мир библейских животных», «Дер Эмес фун Лина», «Полигимния в Иерусалиме».

Родился в 1961-м. Живёт в иерусалимских предместьях, в посёлке Анатот, где когда-то родился пророк Йермиягу (Иеремия). Поэт Анри Волохонский так однажды отозвался о М. Короле:

«Пишет он о херувимах, о разных пророках и сам понимает, о чём пишет».

В № 4 «Тайные тропы» опубликовали две главы из готовившейся в тот момент к выходу книги «Полигимния в Иерусалиме», а также приквел «Мастера и Маргариты» «Тигр в пустыне (Враньё Бегемота)», в котором описана история булгаковского кота Бегемота в те поры, когда он ещё не был котом. Героем приквела, опубликованного в № 6 «Несколько фактов из биографии Фиолетового Рыцаря», стал Фагот-Коровьев, а героем приквела в № 7 «Сирийский мухомор» Арчибальд Арчибальдович. А вот в новом номере «Тайных троп» Михаил Король предстанет перед читателем как поэт.

## Жёны Ирода

*У царя Ирода в это время было девять жён: мать Антипатра, дочь первосвященника, которая родила ему сына его же имени (Ирода), дочь его брата и дочь его сестры, у которых обеих, впрочем, не было детей. В числе его жён находилась также одна самарянка, от которой он имел двух сыновей, Антипу и Архелая, и дочь Олимпиаду, которую впоследствии взял в жёны Иосиф, племянник царя. Архелай и Антипа воспитывались у одного частного лица в Риме. Кроме того, женой Ирода была также иерусалимская гражданка Клеопатра, от которой у него были сыновья Ирод и Филипп, также воспитывавшиеся в Риме. Другая жена его была некая Паллада, родившая ему сына Фазаеля. Помимо этих жён он жил ещё с Федрой и Эльпидой, родившими ему двух дочерей, Роксану и Саломею. Что касается старших дочерей Ирода от Мариамны, от брака с которыми отказался Ферор, то одну из них царь выдал замуж за племянника своего Антипатра, а другую за племянника своего Фазаеля. Вот из кого состояла семья Ирода.*

Иосиф Флавий. Иудейские древности, кн. 17, гл. 1

## Дори́да

*В Дориде нравятся и локоны золотые,  
И бледное лицо, и очи голубые...*

А. Пушкин

Дора, ты дура, не будет тебе ни дара, ни рода, ни ряда, ни вида  
На жительство в городе гордом. Плоди нереид, ставрида,  
Рыбьего жира тебе в голубую ленту запредельного Понта.  
Заурядная Дора, место тебе под зонтом вечного твоего афронта.  
Лузгай семечки в подворотне никому ненужного Ланжерона.  
Не мечтай для первенца вымолить краешек трона.  
Не возвращайся в край кривой корявого идумейского дуба.  
Но, Дора, помни, отныне ты хоть и безродна, но всё же любя.  
Потому что тот, кто помнит подлости детей Аршакида<sup>1</sup>,  
До смерти не даст свою боевую подругу в обиду  
И не забудет кунштюков волнистых её и талантов,  
Хотя и отнимет смарагды, что стоят немало талантов.  
Но дура ты, Дора, что раздавить пыталась парфироносные ятра  
С помощью Иродового же отродья, трескучего Антипатра.  
Зря полезла ты в эти кущи. Получай теперь пальмовой щёткой  
По бледному лику. Пересчитай свои скудные шмотки.  
И проваливай, деревенская дура, дырявая рыба Дориды,  
Золотые локоны тоже оставь. И надежды. И стыд. И обиды.

## Мальтака

Мальтака картой раскинулась в зной. Одна грудь – Гризим, другая – Эйваль<sup>2</sup>.  
А лоно – город Давида, самый низ кудрявый его, но сегодня туда нельзя, а жаль.  
Потому что праздник. А в праздники восхождения жители деревни Луз  
Превратиться мечтают назло всем в кесарийских толстых медуз  
И мерзкой массой своей заполнить все полости иудейской души,  
Отказавшейся даже подумать о том, как по мысли старых богов хороши  
В обрамлении хрупких кустарников плоские лежбища самарийских скал,  
Как заманчивы переживания тех, кто в писании снов не нашёл, но искал.

<sup>1</sup> Аршакиды – древняя династия, в Парфянской империи (III в. до н. э.), Армении (I–V вв.), на Кавказе (I–IV вв.).

<sup>2</sup> Гризим и Эйваль – две горы в Самарии, на севере Израиля, напротив друг друга, в этом месте евреи в третий раз заключили-подтвердили союз с Творцом. Гризим является священным местом для самаритян.

Как для жертвы вечерней стодится не нубийский козёл, а всего лишь газель,  
В белом платье пришедшая вместе с подружками съесть виноградную зель.  
И тебе, самарянка, повезло несказанно. Никто не знает, на чём тебя подловить.  
Ты – та самая, проходящая сквозь дырявые лёгкие души, суровая красная нить.  
О, Мальтака – какое хорошее имя для звезды в созвездии брутальном Кесил<sup>3</sup>,  
Искорка радости для того, кто по небу ступая с дубинкой, устал

от собственных сил.

Ты – пещерный некрополь, в котором никто не подскажет, где же твой грот.  
В Риме умри в день, когда муж твой, замученный прочими жёнами, тоже умрёт.  
И удачлива будучи в смерти, распадаясь на атомы, на число счастливое «хай»<sup>4</sup>,  
Вспоминай, как сосали Гризим и Эйваль твои отпрыски, Антипа и Архелай.  
Самарийские горы сформировали в них мудрую злость, известковую статью,  
Но не более. И вот животом ты поймёшь: им никогда не светит светилками статью.

## Мирьям Хасмоне́йская

Я та самая маленькая девочка,  
Которую напугал хасмоне́йский раб  
До самой смерти. И вот я – шлёп  
Прямо в гроб  
С высокой башни,  
Названной моим именем.  
И ещё – шмыг глазастым гекконом  
В расщелину смысловую  
(зачёркнуто «половую»)  
между верхним и нижним городом,  
между кожей живой и воротом,  
между плотью последней  
(зачёркнуто «крайней»)  
И духом, пухом содомских яблок...  
И прилетела тут бабушка пчела  
Безымянная,  
но она жена дедушки Безухова,  
Не Петра, а Гиркана.  
Мёда принесла много-много.  
Столько, сколько аду надо.  
Целый хомер<sup>5</sup>. Для того, кто умер.  
Для меня маленькой девочки,  
Родившей трёх обалдуев

<sup>3</sup> С, правившая в озвездие Кесил – евр. название созвездия Орион.

<sup>4</sup> Число *Хай*, оно же 18 – в еврейской системе счёта цифры обозначаются буквами. 18 – это буквы *י* *Иуд* и *ח* *Хет* (справа налево) – *יח*. Эти же буквы составляют слово *יחай* (живой). Поэтому 18 означает жизнь. (*Здесь и далее прим. ред.*)

<sup>5</sup> Хомер (*ивр.*) – материал, вещество, мера объёма сыпучих тел, равная поклаже осла, (около 390 л). *На сленге*: наркотик.

И двух сестричек,  
наречённых в честь бабушек.  
Может, безмяннуню бабушку  
Звали Салампсо?  
Она, она принесла соты,  
Сочащиеся страстью.  
Она измеряла тростью  
Высоту саркофага.  
Вот на фи́га ей это было надо?  
Что такое вообще «салампсо»?  
Кто знает, тому дам немного мёда.  
Кто соврёт, тот умрёт.  
Кто умрёт, того в рот  
Целует урод.  
Хасмоне́йский раб  
На вершину Сартабы  
Меня завлёт, чтобы  
Любить, утю-утю, моя сладкая,  
Гадкая покоя не даёт  
Жена дедушки,  
безмянная бабушка.

### Мирьям бат-Шимон

С утра у Водных сухих ворот скрипит песочком толпа.  
Чу, входит в город рослая дочь сельского, что ли, попа,  
Который, поди, не помнит совсем, как выглядит наш алтарь...  
А вами, Мария Семёновна-свет<sup>6</sup>, интересуется батюшка-царь.  
От счастья – косая девица с косой, пока ещё с этой косой.  
Вон на балкон выходит тиран, в тунике, но босой.  
Значит, на смерть ему наплевать, а дева царю по душе.  
По плитам, политым слезами, идёт, всё ближе, ага – ту́ше!  
Пусть бледный, провинциальный и недалёкий поп  
Молитву твердит и всё теревит увядший вчера иссоп.  
Терпи, глотая слог до утра, до следующего, и – ура!  
Теперь ты главный среди попов, а это, значит, пора  
К ноге привязать верёвку, затем – покрепче схватить совок  
И сразу увидать немыслимый сон, как входит внучок Хвилипок  
В гимнасиум, пейсы свои теребя, и бухает басом: «Мамаш!»<sup>7</sup>  
А в горнице плачет, платок истерзав, счастливейшая из мамаш.  
Монарху не терпится в мутную ночь на точку нажать – конец.  
И дочка Семёна, простого попа, милее ему, чем мертвец  
Из царского рода, который придёт и весело дунет в рог,  
Ах, Марья Семёновна, стоит узнать, что всё-таки любит вас Б-г.

<sup>6</sup> Мария Семёновна – перевод ивритского имени Мирьям бат-Шимон.

<sup>7</sup> Мамаш! (*ивр.*) – Действительно!

### Эльпида<sup>8</sup>

Дура Дорида Пандорой себя, идиотку больную,  
Вообразила в изысканном царстве, где Ирод Юпитера предал.  
Коли уж хочешь играть в мифогенные звонкие цацки,  
Так хотя бы изволь изучить постулаты, законы и формы  
Гойских<sup>9</sup> сказаний. И только потом уже прыгай беспечно  
С Машиной башни<sup>10</sup> иллюзий в мелкую пыльную влагу  
Тёмных последствий интриги, достойной большого Олимпа.  
Думала ты, что способна мир возмутить средиземный,  
Вскрыв, как нарыв, наши дворцовые блеклые тайны?  
Так ошибаешься, дура. Риму не нужен ни Ирод, ни дети,  
Ни девы из глины с водою, коих Гефест хромоногий  
Лепит в подарок вселенной, чтобы однажды Пандора  
Всех напугала до смерти в педагогических целях  
За Прометееву шалость, опустошив Эпиметиев пифос.<sup>11</sup>  
В общем, от мифа в отличие, в ёмкости, нет, не осталось  
Той беспокойной надежды, скромной и мелкой Эльпиды<sup>12</sup>.  
В нашей истории дура предусмотреть не сумела,  
Чтобы эспэра<sup>13</sup> засохла в каменном гробе без мёда.  
Ирод счастливый Эльпиду, Надю свою, обрюхатил.  
Та Саломею родит.<sup>14</sup> Ну и что из того, что не мальчик?  
В этих краях, говорят, яйца на праздник лишь красят...

### Паллада<sup>15</sup>

В окаменевшем дне морском найду усладу,  
Текстами Тритона буду тешить Иуду.  
Что бы ни пела рыба-пила про Палладу,  
С балладой её рифмовать, пожалуй, не буду.

<sup>8</sup> Имя Эльпида – Надежда от др.-гр. «эльпис» (надежда).

<sup>9</sup> Гойский (от ивр. «гой», народ) – в разговорной речи для обозначения народов, нееврев.

<sup>10</sup> Машина башня – имеется в виду одна из башен цитадели Ирода, названная в честь Мирьям Хасмоне́йской.

<sup>11</sup> «Пандора всех напугала... опустошив Эпиметиев пифос» – согласно др.-гр. мифу Пандора, жена титана Эпиметей, открыла «пифос» (кувшин), в котором были заключены все людские беды, и выпустила их наружу. Отсюда крылатая фраза «открыть ящик Пандоры». «За Прометееву шалость» – Пандора была создана Гефестом по велению Зевса в наказание людям за то, что Прометей похитил для них огонь.

<sup>12</sup> «...от мифа в отличие, в ёмкости... не осталось...надежды» – миф гласит, что, когда Пандора выпустила из кувшина все людские беды, в нём осталась только надежда.

<sup>13</sup> Эспера (*исп.*) – надежда

<sup>14</sup> «Та Саломею родит» – не путать упоминаемую здесь Саломею, дочь Ирода Великого, с Саломеей (дочерью Иродиады), по просьбе которой, согласно Новому завету, был казнён Иоанн Креститель. Последняя была правнучкой Ирода Великого.

<sup>15</sup> Паллада – в др.-гр. мифологии молочная сестра Афины, дочь Тритона, внука титана Океана, случайно убитая Афиной в детстве. Её имя – источник эпитета Афины – Паллада.



Вот поэтому поэтам лучше молчать об этом,  
О хореях проще и чище споят хариты.  
И обойдётся Паллада лёгким сонетом.  
Кто такая она, и где её кости зарыты?

Вполне возможно, что она удостоилась чести  
Примоститься рядышком с пирамидой  
Иродиона. В надежде пролежать лет двести  
В обнимку со свекровью своей Кипридой.

Но тут вспоминается совсем другая морская картина  
И другая Паллада, которую в детстве убила сестра Афина.

### Клеопатра из Иерусалима

«Иерусалимская гражданка Клеопатра» (так пишет Флавий)  
Звонит колечками в носу, смеётся от того, что мелкий гравий  
Хрустит, как сахарные косточки парфян, на поле старом боя.  
Щекочет лотоса ростком щеки предгорие рябое.  
И Ирод рад. Вот град, ура. Вот горожанка Клеопатра.  
Она идёт. Идёт сюда, в последние ворота, в Бава батра<sup>16</sup>.  
И грудь, и град, и грот, и гроздь... И грусть, что эта истерия  
Восходит к той, кому сдалась, склонив маяк, Александрия.  
Кому Антоний не отдал, хотя и был смертельно близок,  
Ни йерихонской бирюзы, ни пальм, ни прочих парадизок.  
Кто навсегда себя втянул в культурный ил больного Нила,  
Кто жертвой пал библиотек (она сама себя казнила).  
Весь этот праздник, фейерверк – подарки Зайца Птолемея<sup>17</sup>.  
Пирамидальных цацек треск на день сегодняшний милее,  
Чем шорох хасмонеишских шор, чем шёпот галилейской злюки.  
Входи в последние врата, исчадьё греческой науки!  
Войди в мой сад Йерусалим, внеси себя в его потомки,  
Звени колечками в носу, ушах, сосках – на самой кромке,  
На смертоносном рубеже солёной чаши Пифагора<sup>18</sup>,  
Где кристаллическая тьма и есть искомая агора.  
Войди на форум всех времён и далее, как пишет Флавий,  
Роди красивых сыновей. И растворишься в солёной славе.

<sup>16</sup> «Бава батра» (*арам.*, *досл.*: последние ворота) – трактат Талмуда.

<sup>17</sup> Заяц Птолемей – «Заяц» (*по-греч.* Лаг) было прозвище сына первого эллинистического царя Египта Птолемея I.

<sup>18</sup> Чаша Пифагора (сифон Пифагора, кружка жадности) – сосуд, придуманный Пифагором, позволяющий пить в умеренных количествах, *здесь*: Мёртвое море.

### Федра<sup>19</sup>

Кем-то приказано было расчистить ристалища поле.  
То ли тут мавзолей замастырят из мрамора, то ли  
Лавры Дедала покоя никак не дадут Иродулу<sup>20</sup>,  
Что-то ему не иначе как где-то чего-то продуло,  
И воспалённое это, от дури ничем не прикрыто,  
Гонит его воплощать древние фортели Крита.  
Сорок четыре тоннеля и сорок четыре экседры<sup>21</sup>  
Щедры должны соответствовать вычурным чаяньям Федры.  
Пусть лабиринт иудейский врежется в кедры и лавры,  
Пусть на границах дрожат глупых парфян минотавры,  
Пусть набатейская знать, знать о родстве не желая,  
Станет причастной к секретам Миноса и Пасифаи,  
Пусть содрогнутся от замысла скучные белые сопки –  
Нету страшней загогулин, чем в церебральной коробке  
Харизматичного гера<sup>22</sup>, горе-царя Иудей<sup>23</sup>...  
Федру встречайте скорее, гои, герои, злодеи!  
В недра ныряйте, икары, ящеры и психофоры,  
Смело и слепо плутайте в поисках царского вздора.  
Может, чего и найдёте, главное, точку отмерьте –  
Ниже, мол, уровня моря и ниже, мол, уровня смерти.

### Первая безымянная

Мальтака, Дорида, Эльпида. Федра, Паллада, Мирьям,  
Мирьям, Клеопатра, Дорида, Эльпида... Опять по нулям!  
Федра, Паллада, Мальтака. Итака, Кетира, Лефкас<sup>24</sup> –  
Не к тем островам осторожно относит течение нас.  
Розетта, Дамьетта<sup>25</sup>, пожалуй, нет смысла в поимке имён.  
Раз имени нету, то сразу бездетна, гласит идумейский закон.

<sup>19</sup> Федра – в др.-гр. мифологии многострадальная дочь царя Крита Миноса и Пасифаи, восплававшая страстью к пасынку, который её отверг, в результате Пасифая покончила с собой.

<sup>20</sup> Иродул (*др.-гр.*, *искаж.* иеродул) – прислужник в античных храмах, в том числе и храмовый «проститут», коим, по преданию, был в ашкелонском храме Афродиты дед Ирода.

<sup>21</sup> Экседра – полукруглая глубокая ниша, завершаемая полукуполом; полукруглый выступ, примыкающий к основному зданию, открытый в основное внутреннее помещение.

<sup>22</sup> Гер (*ивр.*) – прошедший гиюр – процедуру перехода в еврейство, ставший евреем.

<sup>23</sup> Ирод (Гордус) I происходил из знатного рода идумеев (потомков Эсава-Эдома, брата Яакова), силою обращённых в иудаизм, первый идумей на престоле Иудей.

<sup>24</sup> Итака, Кетира, Лефка – греческие острова.

<sup>25</sup> Розетта, Дамьетта – название рукавов Нила и городов, стоящих в месте впадения этих рукавов в Средиземное море.

Нанэ<sup>26</sup>, Шамирам<sup>27</sup>, Тигрануи<sup>28</sup> – соседи свистят за углом.  
 И в горле колючка, и солнце в зените, и в целом тут полный облом.  
 Гниющие фрукты, бездетные жёны, заезженный пыльный пейзаж.  
 Палладу, Дориду, Мирьям-Хасмонею, Эльпиду, Мальтаку – в багаж!  
 А мы безымянные, то есть бездетные, молим Предвечного, чтоб...  
 И всё так и будет, и угол соседский, и белый с горгонами гроб.  
 И ветер моавский, осёл подзаборный, и хлеб, обратившийся в плоть.  
 И дети, которых не будет, не будут бесплодное поле полоть.  
 Уйдём ли мы в море, растаем в пустыне, пробьёмся ли влагой у скал,  
 Не Федру с Палладой, Мальтакой, Доридой, не этих правитель искал.  
 Оскал его кислый, и числа повисли – тестикулы вянущих фиг.  
 О воздух Киприды, ни разу свободы, но много из пены интриг.  
 Вернись Афродита, но имя забыто, и сказано ноль про детей.  
 Никола Дамасский в глубокой завязке мечтает, поди, грамотей,  
 Всё так записать без сучка, без подвоха, что хватит, мол, всем без обид,  
 Но время проходит, правитель уводит эльпид, клеопатр, дорид...

### Вторая безымянная

Уеду к Пану на рога к подножию горы<sup>29</sup>,  
 Там начинается река, и, заварив пиры,  
 Гоняет козлоногий друг пугливых мокрых дев,  
 А мёд течёт им не туда, куда велит напев,  
 И запах мускуса влечёт меня в объятья коз,  
 И детской радостью пестрит хтонический психоз.  
 Сирингой<sup>30</sup> стану поутру, а вечером помру,  
 И с Паном выпив из реки, завалимся в нору.  
 Как сладко флейта врёт тебе, тягуч афарсемон<sup>31</sup>,  
 И снова пахнет хлебом снег, что на горе Хермон.  
 И мне ли, нимфе, не понять как суть козла пестра?  
 Мне ль, безымянной, осознать, что я его сестра  
 Или племянница? Обнять бездетную меня  
 Умеет Пан, и, значит, жар пещерного огня

<sup>26</sup> Нанэ – др.-арм. богиня войны, женское арм. имя.

<sup>27</sup> Шамирам – др.-арм. женское имя, аналог Семирамиды.

<sup>28</sup> Тигрануи (др.-арм.: тигрица) – женское арм. имя.

<sup>29</sup> Подножие горы – имеется в виду изр. национальный парк Баниас, где находится исток реки Иордан, где Иродом Великим был построен город Паниада.

<sup>30</sup> Сиринга – нимфа, которую преследовал Пан и которая превратилась в тростник. Её именем назван музыкальный инструмент, продольная флейта, с которым обычно изображается Пан.

<sup>31</sup> Афарсемон (ивр.) – растение, масло которого, обладающее свойствами феромонов и афродизиаков, невероятно ценилось в период Второго Храма, в совр. ивр.: хурма.

Я передам тому, кто смог развеселить весь Рим.  
 Йерусалиму невдомёк, как может быть твоим  
 Весь этот мокрый голый миг. И этот козий взор.  
 И как вплетается в меня дорический узор.  
 О да, сюда ведёт тебя мохнатая нога  
 К истокам илистой реки и к Пану на рога. ■

## Александр ШАПИРО

📍 Копенгаген, Дания



Фото: Елена Шакирова

Александр А. Шапиро. Один из многих Александров Шапиро на этой планете. Не тот и не тот.

Родился давно, в большой стране, в её столице. Через полжизни переселился в страну маленькую, где и обретаюсь до сих пор. С каждым могло случиться, как заметил министр иностранных дел этой страны, когда его сотрудник, поскользнувшись, свалился в отверстую могилу российской императрицы.

Перепробовал множество занятий, не связанных с тяжёлым физическим трудом. Одно из них стало способом жизни. Изучаю разные мало относящиеся к поэзии вещи, учу студентов, делаю это хорошо и с удовольствием.

Стихи начал писать подростком; как водится, ничего стоящего тогда не написал. После большого перерыва, в котором стихи существовали пунктиром, неожиданно вернулся к этому занятию. Печатался в различных журналах. Издал книжку («Водолей», 2007). Подготовил вторую, но разные общие и личные обстоятельства оставили её в рукописи. Теперь, когда «всё опять изменилось», не знаю, нужна ли она.

Учился у больших учителей. Дружил и дружу с замечательными людьми. Может быть, был не лучшим другом и учеником, но ко всем им чувствую огромную благодарность.

Вообще, считаю себя везучим человеком. С каждым могло случиться, да не с каждым случилось. Иных уж нет, а те далече. А я здесь.

## Язык ни в чём не виноват

◇ ◇ ◇

Когда бандит или солдат  
захватывает всё, что хочет,  
язык ни в чём не виноват,  
но он страдает раньше прочих.

Точнее, даже не язык,  
а звук. Мелодия гонима.  
Морфемы сворою борзых  
несутся на тебя и мимо.

Стоишь с поникшей головой  
среди безудержного лая  
и слушаешь, как, наплывая,  
тень облака шуршит травой.

◇ ◇ ◇

Прибегают огни серебристых кровей,  
Убегают – кровавых кровей.  
Ты направо взгляни – покраснеет хайвей,  
глянь налево – белеет хайвей.

Лучше глянуть с моста. Ещё лучше, на миг  
воспарив, увидеть, как земля,  
словно эшеровский черновик,  
перечёркивает себя.



Там разбомбили город, здесь погорел собор,  
Где-то ещё разрушен некий большой предмет.  
Каждый достоин права быть лишь самим собой.  
Только проснёшься утром – а утра нет.

Свесишь ноги с кровати – тапочки там, порты.  
Новости глянешь – что ещё погребли.  
И за работу, братец, строить из пустоты.  
Крепче стройматериалов не подвезли.



Разве это имеет хоть какое значение?  
Всё это гадание, всё это столоверчение,  
всё это доставание истины из сетей,  
всё ночами вставание, клянчение новостей?

Станет ли так, как писано? Вот тебе чёрта лысого.  
Будет ли так, как сказано? Разве что очень базово.  
Реют чёрные лебеди, кличут надеждам курлы.  
Глядь – они уж не лебеди, а воронные орлы.

Боже, где твоя совесть? Мы старались, готовились...  
Боже, где твоя сила? Мог бы сделать красиво...  
Нас осталось так мало, неприятель так мног.  
Плачет тихая мама: «Боже, где мой сынок...»



У меня закончились слова,  
кроме неумелых междометий.  
Так, наверно, думает трава –  
как же мило-радостно траветь ей;

так, наверно, речится река,  
плещется сонорно о порожек.  
Я налью воды для хомячка,  
сон обоим истины дороже.



Она мне скажет: «Спи», – и я проснусь.  
Разбуженного хаоса коснусь.  
Мутнеет лампа, вздрагивают стёкла,  
как лошади, луна плывёт в зенит,  
рассвет сквозит, но тьма ещё не сдохла,  
и ветер баритонами бубнит.

Непросто просыпаться на ветру.  
Потру тяжёлый лоб, но не сотру  
ни сна, ни следа тёплого запястья,  
прижатого как будто изнутри,  
из темноты променянного счастья  
на золотые часики зари.

Кто я такой? Тот, кто уже спешит  
умыться, хлебец утренний крошит  
в машинный кофе, горький как водица,  
ребёнка тормозит, как заводной,  
вдыхает снег, роняет проездной...  
И здесь она совсем освободится  
и, как со сном, расстанется со мной.



Есть тонкие убийственные связи  
меж толстыми и тонкими людьми.  
Творится в мире куча безобразий,  
по сообщениям надёжных СМИ.

Всегда, к примеру, мы с соседом вздорим,  
а ведь могли бы жить наоборот,  
как где-нибудь за тридевятым морем  
другое человечество живёт.



### 1.

Когда несолоно хлебавши  
мы возвращаемся домой,  
потрёпанные вещи наши –  
тахта глухая, шкаф немой –  
глядят на нас неблагосклонно,  
поблёскивают без огней;  
лишь вздрагивает дверь балкона  
тому упрёком, что за ней.

## 2.

Из дальней комнаты сфумато  
боится выглянуть на свет.  
Оно ни в чём не виновато,  
но вечно *usual suspect*<sup>1</sup>.  
То будто щурится спросонок,  
то засыпает дочерна.  
Когда-то там рыдал ребёнок,  
но тягостнее тишина.

## 3.

У книжки пошлые соседи.  
Она не хочет отвечать  
на болтовню энциклопедии,  
где нет ни слова про зайчат.  
Её любитель был в печали,  
а мы сваляли дурака:  
лет двадцать пять не замечали  
заставленного корешка.

## 4.

На блюде тронутая сдоба  
лежит, как судно на мели.  
С утра уходим мы из дома,  
как дети из него ушли.  
Заглянет облако несмело,  
и тени бродят от угла  
к углу, покуда не стемнело  
и не заснули зеркала.

**Песня без мелодии**

Под окнами долго гудят мужики.  
Дерутся, гусями гогочут.  
Я слышу весёлые их матюки  
и дикие пляски полночи.

дорогие мои дорогие  
понимаете дело какое  
я и сам не пойму кто такие  
я и сам не пойму что такое  
ни дыханья душе  
ни забвенья уму  
ни мгновенья уже  
не пойму

<sup>1</sup> Usual suspect (англ., досл.: обычный подозреваемый) – здесь: под подозрением.

Над грилем вздымается дым-исполин,  
грохочет хардрочная месса,  
и ведьма прекраснейшая – Мерелин –  
грядёт из Священного Леса.

золотая моя золотая  
запятая ещё запятая  
возвращайся в кино  
человечье окно  
как осиновый лист облетая

Мне спать невозможно ни так и ни сяк;  
постель прилипает к лопаткам.  
Дела на пределе, жена на сносях,  
и дикое счастье – припадком.

молодые мои молодые  
набираю слова от балды я  
как слова наберу  
поживу на миру  
злую песню спою комару

всё стихает а он остаётся  
всё выводит своё туруру

◇ ◇ ◇

Жизнь моя, разговоры в дверях,  
сто историй, и все – напоследок.  
Вот занятие для растерях,  
тонких юношей, полных соседок:  
выговариваться до конца,  
заговариваться бестолково  
ради красного, в общем, словца,  
ради синего и золотого.

◇ ◇ ◇

Церковь, сделанная из молекул,  
накренилась в сторону горы.  
Геотехники вздыхали: грунт поехал.  
Камни под фундаментом мокры.

Мы стояли перед пастором и пели,  
под углом, как Майклы Джексоны, держась,  
и молитвы улетали мимо цели,  
отражались, спутывались в джаз.

Вот и пастор замолчал и смотрит в сторону.  
 Прихожанам хочется домой.  
 Бабочка летает над затихшим хором.  
 Ну зачем нам насекомые зимой.



Я родился в незапамятном. Сам не помню, как вышло.  
 Помню пиджаки с колодками, короба с пирогами.  
 Перечёркивали облако провода или крыша,  
 пели женские троллейбусы, хлопотали цыгане.

Поначалу жизнь в движении, как прогулка на лыжах,  
 И скользит, и спотыкается. Но в московские зимы  
 я выросел не очень медленно и открыл мимо книжек,  
 что дорожки не проложены, чащи непроходимы.

Ах вы жуткие щелкунчики, лебединные ути,  
 горько-сладкое убежище, сонатины и фуги...  
 Не спасёшься строгой музыкой в топком омуте мути,  
 где уклончивость учителя, где прохлада подруги.

Что в начале стройным кажется, позже, выпав из строя,  
 предстаёт пустой развалиной, днищем ржавого судна.  
 Сверху облако испортилось, чуть пахнуло гнильцою,  
 и ходить по детским улицам стало стыдно и трудно.

Как я мучился несбыточным, как шугался от б\*\*\*ства!  
 Как наружу ножки свешивал на высоком балконе!  
 Бесновался и паясничал, тосковал и влюблялся,  
 как летел по тёмным лестницам от заплечной погони.

Позже снова устаканилось, отстоялось слоями;  
 Возмещение получено, и уплачена лепта.  
 Я нашёлся за пределами, повезло, что не в яме.  
 Где-то выждал, что-то выдержал... Так закончилось лето.

### Сказочка

Жили в Копенгагене старик да старуха.  
 Все их ненавидели – за что же любить.  
 Ни тебе соборности, ни русского духа.  
 Грех поцеловать и как-то жалко прибить.

Пудрилась старуха, а старик свои пейсы  
 щёткой расчёсывал почти до кости.  
 Все кругом пришельцы, а они – европейцы;  
 надо на руинах хоть чему-то расти.

Вот они руины: Христиания – слева,  
 справа – «шпиль Спасителя», по курсу – канал.  
 Здесь стояла яхта, и она, королева,  
 помнила, как капитан ей честь отдавал.

Пролетели годы, всё опять изменилось,  
 но и наши воины, пришедшие вслед,  
 знают: смерть от старости – великая милость.  
 Спи мой китайчонок, засыпай, Мухаммед.



Повторяю из последних сил,  
 сам себя не слыша:  
 «Мир поймал меня, но не ловил.  
 Правда, дядя Гриша?»<sup>2</sup>

Есть у мира что-то поважней,  
 чем мои потуги.  
 Близок топот четырёх коней,  
 крики их обслуги.

Выглянешь из пыльного окна  
 временной берлоги –  
 гулкая грохочет тишина  
 на твоём пороге.

Только эта музыка слышна  
 на пустой дороге.

Новые настали времена. ■

<sup>2</sup> «Дядя Гриша» – украинский философ Григорий Сковорода (1722–1794). «Мир поймал меня, но не ловил» – переиначенное изречение «Мир ловил меня, но не поймал», которое Сковорода завещал написать на своей могиле.

## Семён КРАЙТМАН

📍 Одесса, Украина –  
Герцлия, Израиль



Фото: из личного архива автора

Одессит по рождению (1965). Инженер по профессии. Израильчанин по месту жительства (с 1990-го). Поэт-«питомец» ЖЖ (с 2006-го, момента появления ЖЖ).

Автор «Литературной учёбы», «Нового Берега», «Новой Юности», «Иерусалимского журнала», «Интерпозиции», «Крещатика», «Дружбы народов», сборников «...снова о готике», «Про сто так».

Лауреат премии им. Юрия Штерна (2015).

В № 4 «Тайных троп» опубликована подборка «Читая бессмертную книгу».

## Освобождая жизнь от памяти и лжи

◇ ◇ ◇

припарковавшись кое-как,  
впритык меж двух Тойёт,  
я даже не заметил знак  
«здесь не стоять – убьёт».  
и вышел к Шхемским воротам,  
и перешёл за них.  
и прямо двинулся, и там,  
где был отпринтен лик  
на Вероникином платке,  
остановился я,  
поскольку рядом есть кафе...  
Валид...  
а мы друзья  
с Валидом тридцать с лишним лет –  
с тех пор, как я в страну...  
и он мне говорит: «привет».  
– «киф халлак?»<sup>1</sup> – я ему.  
вот липкой лентою к стеклу  
торочит он картон:  
«Найкраща кава в Иеру-  
салиме», – пишет он,  
пытаясь заманить славян  
(такой PR-мастак),  
и предлагает мне кальян  
и яблочный табак.  
напротив рыжий балабол  
кричит мне: «закури!» –  
и тычет пальцами в футбол-  
ку «Палестина фри».  
«йа-Ахмак<sup>2</sup>, – говорю, – дурак,  
тебе бы неглиже;  
орёшь и не поймёшь никак –

<sup>1</sup> Киф халлак? (араб.) – Как поживаете?

<sup>2</sup> йа-Ахмак (араб.) – глупец, дурень.

она уже, уже...  
 земля принадлежит тому,  
 кто может от земли  
 поднять сам-сто, а не тому,  
 кто фри,  
 фри, фри.  
 фри, фри».  
 потом, поднявшись в храм чужой,  
 где женщины в платках  
 рыдали светлой головой  
 со свечками в руках  
 над камнем бога своего,  
 там я, такой урод,  
 я говорил им: «ничего,  
 и это всё пройдёт».  
 потом из Яффских в город шёл,  
 в другие времена.  
 там слюдяной фонарный шёлк  
 драпировал дома,  
 там не ваять из текста жизнь  
 всем было запахло.  
 поэзия...  
 метамодернизм...  
 и прочее фуфло.

◇ ◇ ◇

мы были словом, сказанным в сердцах,  
 стекла осколками, темнотой обсидиана,  
 раскрошенными буквами лица,  
 невидимого нам.  
 мы были рана  
 открытая,  
 как женское в момент  
 совокупленья.  
 мы существовали,  
 как эхо,  
 как волнение гибких лент...  
 так мы друг друга в слёзы целовали,  
 так мы смотрели на дождя... дождя  
 февральского монисто...нисто...исто.  
 любя, любя...  
 любя, любя, любя.  
 как быстро всё, как быстро всё, как быстро...  
 как птицы лёгкие, рассыпавшие плоть

свою в тугой акациевой кроне,  
 мы были беспричинны,  
 как Г-сподь.  
 копь славен наш.  
 в Сионе...оне...оне...

◇ ◇ ◇

...и заполнять пустые зеркала  
 их лицами,  
 свободными от зла,  
 и потому свободными...  
 из тины  
 каких-то мутных, полустгнивших дней  
 тащить куплет про клин, про журавлей...  
 сержант, сержант, ещё сержант, старлей...  
 о, мой Г-сподь!  
 о, список кораблей!  
 мне не прочесть его до середины.  
 не хватит мужества.  
 мой грач над головой  
 моей кружит.  
 прищепки бельевой,  
 упавшей,  
 на земле лежат ошметки.  
 здесь, в этих строчках, главное – земля.  
 нет, не для рифмы, не для звука «ля»,  
 а для сухой, юго-восточной плётки,  
 стегавшей суглинок. дуй же, вой!  
 сосед, из «русских», говорит: «на кой...?  
 вот сын... пускай женился бы на гойке.  
 и был бы жив.  
 отец бы был и муж.  
 на кой мы привезли детей? не-уж...  
 не-уж-то слушать облако на горке?»

◇ ◇ ◇

из всех известных мне искусств  
 я выбрал стрекозу на камне.  
 её четырехкрылый хруст,  
 четырехстопными стихами,  
 перемещает облака –  
 туда вот то, сюда вот это.



балуясь преломленьем света  
 голеностопная рука,  
 стрекозья,  
 капельку росы,  
 как мякиш стеклодув, катает.  
 неподалёку дрозд летает.  
 и куст горит и не стораит,  
 и шепчет из огня:  
 «не ссы.  
 иди ко мне...»  
 и я иду.  
 топчу бурьян...  
 ковыль, сурепку.  
 смотрю на сердолик и слепну.  
 и насмотреться не могу.

◇ ◇ ◇

пытался распознать  
 то тополиный пух,  
 то золотистый свет,  
 а то клубничный запах.  
 пытался убежать произнесенья вслух  
 расплавленной слезы.  
 пытался плыть на Запад,  
 на Север и на Юг. пытался на Восток...  
 рифмованный инжир покусывая нежно.  
 пытался с губ своих  
 слизать колючий сок  
 увиденной звезды,  
 серебряной, железной.  
 и мёрзли муравьи, как роты на плацу.  
 и ветер каменел,  
 и не меняли галса  
 на море корабли.  
 и я лицом к лицу  
 пытался различить  
 черты лица.  
 пытался  
 из кривоногих букв  
 устроить витражи  
 и через них глазеть  
 на солнечные блики,  
 освобождая жизнь от памяти и лжи,  
 от пуха тополей. от запаха клубники.

◇ ◇ ◇

...у забора бессмертник,  
 алоэ вера.  
 за забором жасмин,  
 миражи, миражи...  
 и плюмажи стражников Биканера.  
 во дворце Биканерского магараджи<sup>3</sup>  
 раджастанская танцовщица  
 танцует,  
 тщится  
 рассказать приедем саибам<sup>4</sup> белым  
 о любви Сатьявати к Шантану,  
 крутит,  
 под трещётки, тщедушным голодным телом.  
 руки-ноги её – водяные прутья.  
 в этот миг,  
 из крысиного сдриснув храма,  
 пробегает белая крыса мимо,  
 символ счастья,  
 и Кришна, который Рама,  
 говорит:  
 «не забуду Иерусалима».  
 начинается ночь, шелушатся звёзды,  
 пахнут морфием звуки и туберозы,  
 и жасмин, и павлин, и алоэ вера.  
 крыса бродит меж стульев на острых лапках.  
 хвост чешуйчат её, а глаза брусничны.  
 я беру блокнот и рисую в личку...  
 так водили кистью в шестидесятых,  
 по другую сторону новой эры:  
 «звёзды брызжут слюдою.  
 Дворец, конечно,  
 превосходит роскошью всё на свете.  
 танцовщицу не хочется...  
 Лорд Ганеша  
 ловит хоботом муху.  
 смешные дети...»  
 я сижу за столом, среди протёкшей ночи,  
 среди жасмина, морфия, кокаина,  
 и рисую в блокноте язык пророчеств:  
 «не забуду, падло, Иерусалима...» ■

<sup>3</sup> Биканерский магараджа – правитель княжества Биканер в Британской Индии, ныне входящего в состав индийского штата Раджастан.

<sup>4</sup> Саиб (также сагиб, сахиб, инд. языки, от араб.) – вежливое название европейца в колониальной Индии, а также форма обращения к нему.

## Цветана ЯШИНА

📍 Хайфа, Израиль



Фото: из личного архива

Родилась в Украине, в Запорожье (1975). Писала стихи с детства. Большой перерыв случился на репатриацию и взросление. С переосмыслением себя и рождением детей ощутила, что стихи пришли снова.

По первому образованию – медсестра. Работаю в области медицинских исследований. Четыре года занималась медицинской клоунадой, принимала участие в государственных терапевтических проектах в Израиле и в волонтерском проекте в Украине. Сейчас в процессе обучения на специалиста по духовной поддержке; прохожу стажировку в медицинском центре им. Рамбама в Хайфе. Учусь слушать.

Публикация этой подборки – дебют в литературном журнале.

## Я думаю нас

◇ ◇ ◇

Во дворе Луиджины, должно быть, пионы уже расцвели.  
Их закрытые головы в завязи были уже тяжелы.  
Оттого Луиджина в волнении загодя  
Подперла их ветвями обрезанных яблонь.  
Ты спросишь, о чём я ещё могу думать, помимо войны.  
Мне снятся спокойные странные мирные сны.  
Мне снится, как я беспокоюсь  
Пролить молоко; я несу его папе и маме  
В чистой розовой чашке с цветами.  
Мне снится твоя спина.  
Я боюсь прерывания сна  
И целую поспешно прекрасную спину твою,  
Всю, куда только ртом своим тихим во сне достаю,  
И спускаюсь всё ниже по ней.  
Мы с тобой этим сном теперь связаны будем  
И это пугает тебя.  
Мы такие несчастные люди  
И такие счастливые тоже.  
Как может так быть в одночасье?  
Странно, правда? Я знаю, что ты понимаешь  
Меня, как никто. Мне твоё понимание ясно.  
Что я думаю, кроме войны, мой счастливый несчастный?  
Я думаю нас. Я мечтаю о нашем потом,  
Как оно тяжело раскрывается в горестных буднях.  
Я волнуюсь о том, как мы будем,  
И готовлю подпорку из сердца.  
Я смогу тебе дать опереться;  
Мы не сможем упасть, не должны.  
Вот о чём я, помимо войны.



Заперты между глухими вечными рамами;  
 Ни в одну, ни в другую; исход один, как ни бейся.  
 Они ведут себя странно, не правда ли, очень странно:  
 Они делятся.  
 Они, видимо, на что-то надеются,  
 Там, вдалеке, за стеклом,  
 На что-то очень туманное,  
 И от этого яростно меряются  
 Своими кровотокащими странами,  
 Своими стандартами и правилами.  
 Бьются перепонками барабанными,  
 Скалятся распахнутыми чемоданами,  
 Меряют недействительным нежеланное,  
 Распарывают и распарывывают левое и правое.  
 Они делятся  
 На бедных и обогащённых ураном,  
 На нечётных и парных,  
 На низкое и сопрано,  
 На волков и баранов.  
 И всё это между установленными кем-то безжалостным  
 Рамами между «не было» и «не останется».



А в другом моём сне  
 Ты берёшь меня за руку,  
 Мы хохочем,  
 И ты говоришь:  
 – Мне кажется, весь мир тебя хочет.  
 И я говорю:  
 – Конечно, ведь весь мой мир – это ты.  
 Наши губы опухли  
 И даже немного кровят.  
 Мы идём в ресторан азиатской кухни.  
 Чернокожий бармен улыбается нам  
 И говорит:  
 – Оу, воу, сделайте передышку, ребят.  
 Давайте, поешьте-ка. «Том-Ям»,  
 «Сашими с тунцом», много лимона?  
 Джонни зовут его, мы давно с ним знакомы;  
 Как хорошо, что сегодня здесь именно он.  
 Он учит три-дэ-анимацию.

Таннэл<sup>1</sup> в мочке,  
 Индастриал<sup>2</sup> с двух сторон.  
 Мне нравится, как он чёрно-бело смеётся.  
 – Тоже так хочешь? –  
 Ты говоришь мне,  
 Перехватив мой взгляд.  
 – Знаешь, как называется?  
 И прикасаешься к месту будущего прокола.  
 Ничего такого.  
 Но мир мой взрывается  
 Фруктовым дождём,  
 Как спелый манго, брызжет оранжевым,  
 Течёт по рукам и телу.  
 – Забей на еду, пойдём.  
 Джонни догоняет нас:  
 – Оу, воу, ребята, не дело.  
 Вот, я собрал вам, что с вами поделаешь, –  
 протягивает пакет и бутылку белого. –  
 Поешьте потом, выпивка от меня, вы, черти.  
 В том моём сне  
 Мы не боимся смерти.  
 А больше всего в том сне  
 Я люблю эту вставку  
 Из реала, ну, как в документальном кино,  
 Где ты приходишь ко мне  
 И я понимаю: это оно.  
 Большое в тебе замирает;  
 Ты становишься тихим,  
 Как облако над скалой;  
 И руки твои рядом с лицом моим,  
 И лицо твоё надо мной.  
 Я держусь из последних,  
 Мне нужно очень стараться.  
 Джонни мог бы забаловать  
 Про нас анимацию.  
 Она была бы чертовски правдивой,  
 Завоевала бы кучу наград.  
 «Пиксар» подписал бы с Джонни контракт.  
 Джонни уехал бы в Штаты.  
 Жил бы безбедно.  
 В старости вспоминал бы  
 Про двух сумасшедших в баре,

<sup>1</sup> Таннэл, или тоннель – украшение, устанавливаемое в мочку уха, губу, нос, язык и т. д.

<sup>2</sup> Индастриал – разновидность пирсинга, когда одно украшение соединяет сразу два прокола.

Которых трясло от любви так,  
 Что лампочки перегорали  
 И лопались стенки стаканов.  
 Но Джонни пойдёт в армию.  
 В боевые.  
 Будет фотаться с двумя автоматами  
 На фоне чёрной пустыни.  
 Прости меня, Джонни.  
 Я сделаю так, что ты выживешь,  
 Невзирая на обстоятельства.  
 Прости, мой мальчик, прости меня.  
 Ты не сделаешь про нас анимацию.



Мой багаж не годится в ручную кладь,  
 Все размеры с форматом не совместимы.  
 Я стою и думаю, что не брать,  
 Размышляю о том, что необходимо.  
 О том, какая потешная жизнь,  
 О том, как вишня в саду поспела,  
 О том, как бы я хотела сложить  
 Всё по стопочкам и по разделам.  
 О том, как притворяться легко,  
 О том, как трудно быть настоящей,  
 О том, как утреннее молоко  
 Скисает в полдень под солнцем палящим.  
 О том, как много разных песен поют,  
 И как среди них молчать и слушать.  
 О том, как все на свете живут,  
 Дыша единой смесью воздушной.  
 О том, как узнать, был ли это бог  
 Или всё же другой накосячил кто-то.  
 Самолёт улетел. Я держу флажок  
 И машу невидимому пилоту.



Два мальчика несут полмесяца,  
 уносят с крыши прочь, тяжёлого.  
 А я в автобусе увесистом  
 с людьми другими пережёвана.  
 В музее выставка меняется,  
 ночное небо демонтируют,

и только я и рядом пьяница  
 следим за этою картиною.  
 – Вот так. И всё. И нету звёздочек, –  
 пивной бутылкой, как указкою.  
 – Ну, может, там повесят солнышко, –  
 спешу его утешить сказкою.  
 Он борется со сном, баюканный  
 под остановок объявления,  
 смешной, неряшливый, наклюканный,  
 штаны с протёртыми коленями.  
 Я говорю: «Прощай», – заведомо;  
 мне выходить в дорогу дальнюю.  
 А он указывает в небо мне  
 И отвечает: «До свидания». ■

Мм

**Анна  
РОЗЭ**

📍 Берлин, Германия



Фото: Торстен Розэ

Журналист, филолог-античник, переводчик, Dr. phil.

Родилась и выросла в российской провинции, с 2000 года живу в Берлине. Окончила факультеты журналистики и классической филологии МГУ, переводческое отделение Берлинского университета им. братьев Гумбольдт. До этого на факультете классической филологии этого же университета защитила диссертацию о рукописной традиции Проперция в эпоху Ренессанса. Работала научным сотрудником в Италии и Германии, однако вовремя поняла: это все же «не то» (употребив это словосочетание на лекции, Сергей Аверинцев назвал его «ненаучным выражением», но мне так нравится выражаться ненаучно). Сейчас работаю переводчиком и корреспондентом «Радио Свобода» в Германии.

Пишу роман и стихи. Две книги на немецком языке вышли в Германии. В конце 2024 года в киевском издательстве «Друкарський двір Олега Федорова» выходят мои книга стихов «Военные тетради» и поэма «Мы жили с войной».

Мой сайт: [www.annarose.info](http://www.annarose.info)

Очень люблю свою семью, кошку и Берлин.

## Водораздел

Из книги «Военные тетради»

◇ ◇ ◇

Белое, белое.  
Страшное, страшное.  
Белый снег.  
Белый свет,  
На котором чёрные люди  
С чёрными мыслями.  
Что с нами будет?  
Декабрь открывает дверь.  
Мы живём здесь и теперь.  
В белом и страшном.  
Руководствуясь каждый  
Своим внутренним шагом,  
Самым дорогим и важным.  
Страхиваем снег  
С детских санок.  
Страхиваем снег  
С брони танка.  
Детские игры.  
«Леопарды» и «Тигры».  
В снегу всё тише.  
Мысли, как мыши.  
Снег на чёрных крышах.  
В снегу тихий мир.  
Вокруг война.  
Как снег, она  
Для кого-то важна.  
Красное на белом  
Быстро исчезает.

**Слепое сознание**

Тоска обвивает душу.  
Никого я уже не слушаю.  
Никого не замечаю.  
Горы горя,  
Море печали.  
Те плакать перестали,  
Потому что уже не легчает  
От слёз и стенаний,  
Эти в запале успеха  
Не слышат орудийного эха.  
Как голые деревья  
Стоим посреди века,  
В начале творения,  
В начале греха,  
Не замечая огрехов,  
Отказываясь от слуха,  
Запрещая зрению  
Видеть прорехи

На свадебном платье  
Сиюминутного счастья.  
Тикают часики,  
У одних «Слава»,  
У других – «Rolex».  
Старик у переправы  
Никого не берёт в лодку.  
Заканчивается повесть  
Паоло и Франчески.  
Потемнели фрески  
Палатина и Помпеи,  
У тех на полях дым,  
У этих дом с огнём.  
А мы все молчим.  
А мы все мечтаем и ждём,  
В восторге глаза увлекая  
За зигзагом  
Сползающей лавы.

**Лapidариум**

Камни, везде камни.  
Спотыкаемся на ходу.  
Камни воспоминаний.

Люди были, людей нет.  
Остались одни камни.  
Осталась одна Таня.

Лёд, пепел, ветер.  
Бесшумно падают листья.  
Тихо исчезают дети.

Войны, битвы за землю  
На старой тесной планете.  
Регистрируемся в сети.

Смотрим на ужасы.  
Говорим, говорим, говорим.  
Никто никому не нужен.

Стол накрываем на ужин.  
Погружаемся в чат.  
Камни молчат.

**Фоновая жизнь**

За окном пробежала серая кошка.  
Сколько можно говорить  
О своей ранимости?  
Выставка экспрессионистов.  
Климт, Мунк, Кокошка,  
Грустные картины.

Юдифь.  
Сладострастие страсти.  
К чёрту выставку.  
Все мы ранимы.  
Грохот самолёта за окном.  
Дома содом.

К чёрту дом.  
Голые ветви кругом.  
Невыносимость  
Конечности.  
Всё течёт  
И меняется.  
К чёрту течь.  
К чёрту счёт  
Дней, лет, часов.  
К чёрту время!  
У кого-то непереносимость  
Лактозы.  
Кто-то застрял в ненужной

Полемике.  
У кого-то слёзы –  
Убили мужа.  
Разные одиночества.  
От одного жить не хочется.  
Другое – пародия.  
*Space Oddity*<sup>1</sup>  
В плейлисте –  
Последнее, что слушал  
В наушниках,  
Засыпая перед боем,  
Думая о доме.

◇ ◇ ◇

Солнце моё  
Или ужас мой  
Стою на реке  
Или иду домой  
Думаю о тебе  
Потому что истекаю рекой  
Кровью своей  
Или чужой  
Эта кровь не моя  
Хоть не чувствую стоп  
Где-то был мой кров  
Где-то исток  
Я стараюсь понять  
А вокруг темнота  
А вокруг только сон  
Чёрных дней пустота  
Слышу ужас и стон

Где-то смерть и огонь  
Где-то дети в аду  
Не уйду пропаду  
Всё что делать могу  
Берегу на бегу  
В Украине огонь  
А в Москве только вонь  
Где-то правда и честь  
Где-то деньги и лесть  
Не простят не прощу  
Только так только чуть  
Счастья страха любви  
Ты сиди и молчи  
В Москве  
Не зови  
Не приду к тебе

**Глухота**

Захлопнулись двери.  
Одна. Другая.  
Ничего не понимаю.  
Медленно свет заката погас.  
Какой год, какой день сейчас?

Эпоха какая?  
Капли по крыше.  
Никто никого не слышит.  
Все враз говорят.  
Рты открывая.

<sup>1</sup> «Space Oddity» («Нештатная ситуация в космосе») – ленинградская песня Дэвида Боуи.

Что-то желая.  
 От меня?  
 От начавшегося дня?  
 От равнодушного неба?  
 Зрелищ, счастья и хлеба?  
 Такая мечта голубая  
 У всех – жить, не маясь,  
 Жить, как плыть,

Будто черёмухой дыша  
 В конце мая,  
 Будто поёт душа.  
 Будто не слыша  
 Ни криков ни лая  
 Бегущей за спиной стаи.  
 Будто только тебя оставили.

### Гибридная война

Захар что-то сказал.  
 Был хороший писатель.  
 Все мы были.  
 Какие сказки писали!  
 Какие были!  
 Сказал Ксении,  
 У нее папа был демократ.  
 А Рахманинов написал  
 «Всенощное бдение».  
 А у меня в детстве был самокат,  
 А в юности велосипед.  
 Но они сломались.  
 Их теперь нет.  
 Что было – былём поросло.  
 Было добро, стало – зло.  
 Только ни чести, ни совести  
 У них было.  
 Потерять и приобрести такое  
 Негде,  
 Можно лишь искупить.  
 Говорить с такими и о таких

Зазорно.  
 Рахманинов бы не стал.  
 Да и папа тоже.  
 Хотя это спорно.  
 Сейчас все друг на друга похожи.  
 Ликов нет, одни рожки.  
 Ни тот не молчит,  
 Ни эта не может.  
 А все остальные  
 В тенётах соцсетей –  
 Публикуют кто быстрее,  
 Обсуждают,  
 Лайкают,  
 Расшаривают,  
 Спеша, как на пожар  
 (Он не у нас, он в другом месте).  
 Окей.  
 Как жених к невесте.  
 Слава тебе, Захар,  
 Ксения, слава!

◇ ◇ ◇

Водораздел  
 Те и эти  
 Те не у дел  
 Эти в интернете  
 Эти хорошие  
 Те плохие

Никто не весел  
 Никто не вечен

В русле неразрешимых  
 Противоречий  
 В водовороте  
 Самовлюблённости  
 В страхе пропасть  
 Перестать замечать  
 Своё отражение в зеркале  
 Человечности  
 В перечне проносящихся  
 Дней  
 Лет  
 Передряг  
 Восходящего солнца славы  
 Луны забвения  
  
 И те и эти  
 Страшатся встречи  
 Как параллельные реальности  
 В бесконечности ■

*Mum*

потайные смыслы





## Алексей МАКУШИНСКИЙ

📍 Висбаден, Германия



Фото: Елена Волленвебер

Поэт, прозаик, историк литературы, доцент кафедры славистики университета Майнца.

Автор романов «Макс», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», «Остановленный мир», «Один человек», «Димитрий», книг стихов «Свет за деревьями», «Море, сегодня», книги эссе «У пирамиды», книги «Предместья мысли».

Лауреат премии «Глобус» журнала «Знамя» и Библиотеки иностранной литературы. Участник шорт-листа премии им. А. Пятигорского. Дважды финалист премии «Большая книга». Первый приз «Русской премии» (2015).

В №№ 4, 6–7 «Тайных троп» опубликованы «фрагменты фрагментов» из моей ещё недописанной книги «Буква М». Повторю частично самый первый фрагмент, объясняющий всю затею:

Давным-давно я заметил, как много важных слов моей жизни начинается на букву М: *море, мост, мир, миг, маска и музыка*, – и сколько имён, сколько названий: *Макс, Марк, Москва, Мюнхен, Марсель*. Я начал составлять список этих слов; потом, в течение нескольких лет, к каждому из них понемногу подключались – сами собою – разные мысли (тоже на М); иногда по нескольку мыслей к одному слову (на М). Разумеется, есть и другие восхитительные буквы в алфавите; но ведь, говорят, мастерство (на М, опять-таки) – это самоограничение, мудрость (на М) – тоже самоограничение. Ни на то, ни на другое не претендую, но буквой М пока ограничусь – а там будет видно.

## Буква М

Новые фрагменты из книги фрагментов  
Продолжение. Начало в № № 4, 6–7

### Молодые и глупые

*Allée réservée aux lions.* Аллея только для львов. Было, конечно, *aux pietons*, для пешеходов, но кто-то замазал *piet*, написал *li*. Табличка в Saint-Germain-en-Laye, в парке над Сеной. Аллея для львов. *Laye, lions...* Это одно из прекраснейших мест под Парижем. Он виден оттуда весь в его нежно-каменной дымке, как с Мёдонской террасы. Мёдонскую террасу я описывал, эту ещё никогда. Аллея, предназначенная для львов. Смотришь на эту табличку, начинаешь выдумывать историю. Мы были молодые и глупые. Мы приезжали сюда каждые выходные, даже каждые не-выходные, мы шли сперва по террасе, отыскивая в дымке Notre-Dame, Sacré-Coeur, находя небоскрёбы Défense, потом уходили в переливчатую тень, тёмную глубь, там прятались, там целовались. Всё думали, вот сейчас львы появятся. Потом всё кончилось, львы не появились. Наверное, мы недолюбили друг друга.

### Medias in res<sup>1</sup>

«Что ж? От озноба и простуды...» Так начинается «Берлинское» Ходасевича; такие внезапные зачины – не просто с середины события, действия, Троянской войны, странствия Одиссея, но с середины мысли, посреди разговора, как бы с ответа на какую-то предыдущую реплику (которой мы не слышим, которую можем додумать или, по крайней мере, попытаться додумать) – невозможные в XIX веке, стали очень даже возможны в XX. Например, у Ахматовой, поразительно часто открывающей свои стихи большим, иногда удивлённым, иногда негодующим, очень открытым «а»:

<sup>1</sup> *Medias in res* (лат.) – несколько видоизменённая цитата из «Ars poetica» Горация «in medias res» (досл.: «в середине дела»). Термин, обозначающий начало действия, повествования с центрального эпизода. (Прим. ред.).

«А ты думал – я тоже такая, что можно забыть меня...». «А ты теперь тяжелый и унылый...». «А в книгах я последнюю страницу всегда любила больше всех других...» (не знаю, какие страницы любили вы, а я всегда любила последнюю). «А я иду, где ничего не надо...» (вы вот, может быть, идёте где-то в другом месте, а я иду там-то и там-то). «А я росла в узорной тишине, в прохладной детской молодого века» (то есть опять же: вы, возможно, росли в шуме, грохоте и жаре, а я... и так далее). Конечно, если ты – Анна Андреевна Ахматова, если инициалы у тебя – А. А. А., то это огромное «а» как будто само собою напрашивается. А вот ещё: «А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет». «А человек, который для меня теперь никто...». «А тот, кого учителем считаю...» (об Анненском). И ещё, и ещё, и даже «Поэма без героя» начинается с «а» (правда, строчного): «...а так как мне бумаги не хватило...».

А у Блока, например, только одно стихотворение начинается с союза «а»: «А под маской было звёздно...». У Ходасевича – тоже одно: «А мне и волн морских прибор...». И у Мандельштама – тоже одно, да и то – отрывок: «А мастер пушечного цеха...» (у Мандельштама есть, правда, строчка на «а», вынесенная в заглавие: «А небо будущим беременно»). У Цветаевой – больше, но с Ахматовой она и здесь не сравнится.

Похоже, я увлёкся этими «а»; вернусь к «что ж?».

Что ж? От озноба и простуды —  
Горячий грог или коньяк.  
Здесь музыка, и звон посуды,  
И лиловатый полумрак.

Это тоже, конечно, ответ – вопросом на вопрос (которого мы, опять же, не слышим, но можем додумать). Вот мы выбрались из развороченной революцией России, вот мы пусть ещё не в окончательной эмиграции (это определилось только через три года), но уже на свободе (стихотворение помечено 14–24 сентября 1922, а Ходасевич с Берберовой приехали в Берлин 30 июня, то есть за два с половиной месяца до его написания), и – что ж? Что ж, посмотрим вокруг. По крайней мере, здесь можно посидеть в кафе, в тепле, в лиловатом полумраке, согреться грогом или коньяком. Музыка? Наверно, пошлейшая, ресторанная, совсем не та, что там, в России, только что, в декабре 1921-го, в финальном, во всех смыслах вершинном («гладкие чёрные скалы...») стихотворении «Тяжёлой лиры» («Баллада»), «вплеталась в пень» поэта и пронзала его «лезвиём»; но всё-таки музыка, звон посуды... человеческий, слишком человеческий мир, мелкий мир, в котором автор, едва попав в него, начинает немедленно задыхаться; сплошной мир, где все люки задраены («стихов не пишу, в „иные миры“ не заглядываю: *nicht hinauslehnen!*», – сообщает он оставшимся в Москве друзьям в едва ли не первом письме из Берлина, тем же летом 1922 года, обыгрывая, как я писал уже в «Предместьях мысли», типично немецкие, запретительные таблички, говорящие тебе, куда идти, что делать, что думать, вроде этой, очевидно железнодорожной – «Не высовываться!», – или надписи «Закрывайте крышку» («Deckel schliessen!»), которую читал он в «уединённых местах с овальными сиденьями» и которая будто бы прямо навела его на мысль о смерти). Крышки закрыты, люки задраены, но окна, конечно, есть. Окно, отделяющее ничтожно-

уютное *здесь*, с его грогом и кафешантанною музыкой, от нисколько не уютного, сейчас скажем какого *там*, – прозрачно, но непреодолимо, как стенка аквариума, с которым Ходасевич настойчиво, два раза подряд, его сравнивает. Сквозь это окно можно смотреть, его нельзя отворить, распахнуть, из него нельзя высушиться, помахать приятелям, ждущим снаружи. Да там, снаружи, и нет и не может быть никаких приятелей, ничего приятельского, приятного, приятного.

А там, за толстым и огромным  
Отполированным стеклом,  
Как бы в аквариуме тёмном,  
В аквариуме голубом —  
Многоочитые трамваи  
Плывут между подводных лип,  
Как электрические стаи  
Светящихся ленивых рыб.

У всякого *здесь* – своё *там*. В «Элегии», тоже одной из вершин «Тяжёлой лиры», написанной всего-то за десять месяцев до «Берлинского» (в ноябре 1921-го), *здесь* было аллеями Кронверкского сада, по которым поэт брёл «в ничтожестве своём», но которые, сквозь буйно шелестящие кроны и косой дождь, выпускали не только взгляд, но и душу, вверх, в высшее, вышнее *там*, так что душа могла «вызвать», отказаться от земных «услад», земных «утешений», и вот сперва глядеть («бесстрашными глазами в тысячелетия свои»), потом *лететь* («широкими крылами в огнекрылатые рои»). Это описание горнего, запредельного *там*, наверное, одно из самых поразительных и подробных в русской поэзии:

Там всё огромно и певуче,  
И арфа в каждой есть руке,  
И с духом дух, как туча с тучей,  
Гремят на чудном языке.

И так далее... Эти строки поразили меня в молодости; я запомнил их сразу же; повторяю с тех пор всю жизнь; пишу о них не впервые. Помню, как их читала Нина Берберова, когда приезжала в Москву в конце 80-х годов, выступала, перед набитым до последнего отказа залом, в каком-то авиационном, что ли, институте (советский абсурд уже заканчивался, но ещё не закончился, «пост-советский» уже начинался, но втайне) – это было то самое выступление, во время которого на неё набросились из галёрки какие-то мордовороты, славные представители общества «Память», видно, прослышавшие, что она занималась историей масонства, и потому усмотревшие в ней самой участницу столь любезного их патриотическим сердцам «жидо-масонского заговора», и кто-то из сидевших на эстраде (кажется, Евгений Рейн, но поручиться не могу) кричал в ответ «анти-семиты! антисемиты!» – сама же Берберова, возвратившись в Америку, говорила будто бы, что смотрела в зал (непонятно лишь, в этот или в какой-то другой: выступлений было несколько) и думала: «Пулёмётов!» – чем весьма возмутила присутствовавшего при сем Бродского (и вправду, там были не только охотно-рядские рожи на галёрке и не одни лишь неизбежные советские

тётенки с перманентиком в партере, но и что-то вроде, уж простите, *crème de la crème*<sup>2</sup> тогдашней московской интеллигенции, наивно-восторженно встречавшей знаменитую заморскую гостью), о каковом возмущении можно прочесть в его, Бродского, биографии, впрочем – недостоверной и неталантливой, смешно и даже как-то постыдно панегирической, на очень скорую руку составленной (или состряпанной, уж как угодно) Львом Лосевым.

Обаяние её личности было сильным, но не всё мне понравилось. Мне очень, прямо скажу, не понравилось, как она читала свои собственные слабенькие стихи после стихов Ходасевича и как вообще выступала в роли его представительницы, заместительницы и уж, во всяком случае, вдовы, притом что действительная вдова Ходасевича, Ольга Марголина, погибла в Освенциме, от рук тех самых немцев, при которых она, Берберова, если и не запятнала себя прямым коллаборационизмом – вопрос до сих пор спорный, – во всяком случае чувствовала себя, судя по разным свидетельствам, более или менее уверенно (настолько уверенно, что из Франции предпочла уехать уже после освобождения). Вообще видно было, как она наслаждается своей поздней славой на неизнаваемо изменившейся с 1922 года родине, в рассуждении *пулемётов* всегда готовой дать фору любой другой стране и державе, как все эти восторги её ласкают и греют и как она этого даже не пытается скрыть; на вопрос, помню (вполне в духе суеверного времени), об её знаке зодиака, с такой великолепно-снисходительной, царственно-скромной улыбкой ответила: «я, конечно, Лев», – что зал захлопал и едва не взревел от восхищения, умиления, упоения, тем более, что и вправду было в ней что-то львиное, я же почувствовал первую лёгкую судорогу скепсиса, уже не покидавшего меня до конца процедуры. Особенно противно было почему-то, как, с какой кокетливой ужимкой и старушечьи-влюблённым блеском в глазах, вздрогом ресниц, она обращалась к тоже сидевшему на эстраде и, кажется, едва ли вообще не устроившему этот её триумфальный приезд в (ещё) Совдепию Андрею Вознесенскому: *Андрюша*. Что-то было совершенно невыносимое в этом *Андрюше*. *Андрюша!* боги мои! Где Ходасевич и где – *Андрюша*? Где Белый, где Бунин, где даже и Гиппиус с Мережковским и где – *Андрюша*, *треугольная груша*? Стоило ли стараться, стоило ли огород городить? На выходе была давка, Ходынка. У нас ведь без Ходынки не могут, пробормотал кто-то в толпе (правильно пробормотал, очень точно). Из, так мне помнится, многих стеклянных дверей, выпускавших из зала (или из здания) наружу, открыта была одна-единственная, самая узенькая, так что представители *crème de la crème*'а долго мяли друг другу бока и наступали друг другу на пятки, прежде чем выйти в промозглую московскую ночь.

А вот читала ли она в тот вечер стихотворение о промозглой берлинской, – этого я не помню. Там – другое *там*, вовсе не горнее. Там, за пропускающим взгляд, но не пропускающим душу «отполированным стеклом», зрится *там* даже не дальше, но – ниже всякого дальнего, но – подводное, как будто – подземное, *там* тех кошмарных глубинных существ («многоочитые трамваи», «электрические стаи»), напоминающих фантазмагии Босха и Брейгеля («большие рыбы пожирают маленьких»), которыми человеческое воображение так охотно населяет области кромешные, адские. Ад там не огненный, но от того не менее

ад. Ад там холодный, хтонический. В этом *там* поэт гибнет. Он *здесь*, в кафе, в пошлом *здесь* горячего грога, спасённый от невзгод и ужасов большевизма, но промозглое, гнилое, гадкое, потому что населённое гадами, *там*, ему открывающееся, есть *там* его гибели.

И там, скользя в ночную гнилость,  
На толще чуждого стекла  
В вагонных окнах отразилась  
Поверхность моего стола, —  
И проникая в жизнь чужую,  
Вдруг с отвращением узнаю  
Отрубленную, неживую,  
Ночную голову мою.

Не знаю, конечно, думал ли он о Босхе и Брейгеле, когда сочинял это, но что какие-то отрубленные головы, знакомые ему и нам по разным более или менее знаменитым картинам, предносились (как сказали бы символисты) его воображению – не сомневаюсь. Голова Иоканаана? голова Олоферна? Может быть, невероятный Караваджиев «Давид с головой Голиафа»? Он теперь в Риме, на вилле Боргезе, этот Давид; кажется, Ходасевич, в 1911 году проведший в Италии больше двух месяцев, в тот раз в Риме не был. Важно ли это? Я не уверен. Важно, что в этой игре отражений, которую он устраивает, поверхность стола выглядит как поверхность того блюда, на котором голова Иоанна Крестителя столь часто бывает явлена на иконах, картинах (из знаменитых – у Крахаха, у Тициана, у Гвидо Рени, да и у Караваджо блюдо уже приготовлено). А важно ли, что наше «Берлинское» написано всего через два (может быть, три) года после «Заблудившегося трамвая» столь не любимого Ходасевичем Гумилёва, где тоже, как все мы знаем, есть отрубленная («срезанная») голова, причем тоже – своя («голову срезал палач и мне, она лежала вместе с другими...»)? Голова лежит («в ящике скользком, на самом дне»), а поэт продолжает ехать в своём заблудившемся (заколдованном) трамвае; отрубленная голова проплывает сквозь игру берлинских бликов, загробных зеркал, уезжая – очевидно, в никуда и, опять же, в трамвае (не заколдованном, а скорее заклятом), – а поэт продолжает сидеть в кафе, за коньяком и за столиком, в «Menschliches, Allzumenschliches»<sup>3</sup>. Не сомневаюсь, что при всей своей не любви к вождю неприемлемого для него акмеизма, Ходасевич отметил про себя, для себя это стихотворение, в самом деле и во многих смыслах – единственное, столь непохожее на почти всего предыдущего Гумилева... О «Приглашении на казнь», о голове Берлиоза говорить не будем: до них ещё далеко; а «Капитанскую дочку» – с отрубленной головой Пугачёва, которою он, Пугачёв, сперва кивнул Гринёву, узнавши его в толпе, и «которая через минуту, мёртвая и окровавленная, показана была народу», – разумеется, вспомним.

Важнейшими эпитетами в финальных строчках кажутся мне «чужую» («и проникая в жизнь чужую») и – «с отвращением». Остальное как будто смазано. Ясно, что отрубленная голова – «неживая» (с чего бы ей быть живой, если

<sup>3</sup> «Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie Geister» («Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов», нем.) — философская работа Ф. Ницше.

<sup>2</sup> Crème de la crème (*фр.*) – лучшие из лучших, сливки общества.

её отрубили?); и не очень ясно, почему она именно – «ночная» (бывает «дневная»?); Здесь работает звук – «н»: «с отвращением узнаю отрубленную, неживую, ночную голову мою», – отчего эти финальные строчки так легко запомнятся, в отличие от предыдущих. «Чужая жизнь» предвосхищена «чуждым» стеклом в предыдущем четверостишии. Оттого и отвращение, что стекло – чуждое и жизнь – чужая. Это моя голова, и это я её узнаю, но отрубает её за чуждым стеклом и посреди чужой жизни. Отрубает – отчуждают. Я там гибну, но там я уже не я. Я гибну среди чужих голов. Они не упомянуты (слишком просто было бы), но мы-то их додумываем, мы-то их видим, эти чужие головы сидящих в трамвае людей. Они проплывают – в босхианском, адском многоочитом трамвае, – и моя, отрубленная, проплывает вместе с ними...

А может быть, всё наоборот? В стихах такого уровня и такой глубины всегда возможна дополнительная, другая, даже обратная эмоция, противоядие мысли и чувства. Может быть – «с отвращением» именно потому, что я там сталкиваюсь с собой, вижу себя, свою голову? Всё стихотворение заканчивается на «мою»; это «мою» стоит в самой ударной, самой взрывной позиции. Не было бы моей головы, не было бы и отвращения. Ну, проплывают там какие-то головы... пускай себе проплывают. Я именно себя, свою голову не хочу видеть в этом подводном зеркале, вообще не хочу видеть себя ни в каком зеркале. «Неужели вон тот – это я?» Но я потому-то и не хочу себя видеть, что я себя одновременно узнаю – и не узнаю. «Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого...» И так далее, и так далее; все помнят, наверное, эти великие строки. Это я – и это не я; и мне тошно смотреть на вон того там, в зеркале на парижском чердаке или в зеркалах берлинской трамвайной ночи («словно в зеркале страшной ночи и беснуется, и не хочет узнавать себя человек», как позже у Ахматовой); я узнаю («с отвращением») – и не узнаю себя; я двоюсь в этих отражениях, как и мир в них двоится... А всё вообще двоится, вообще не совпадает с собою. Несовпадение с собою: сущность человека; главное свойство мира.

Мне же, после Босха, Брейгеля, Караваджо и Тициана, вспоминаются берлинские художники и картины, гораздо менее известные в не совпадающем с самим собой мире: художники, которых Ходасевич, возможно, не знал, картины, которых, скорее всего, не видел (некоторых и не мог видеть: в 1922 году они ещё и написаны не были). Но трудно, перечитывая эти стихи, не вспомнить, например, Лессера Ури (Lesser Ury: 1861–1931), у которого уже в конце 1890-х годов появляется ночной дождевой Берлин, весь в огнях, отражениях и отблесках; ни трамваев, ни автомобилей там ещё нет, но есть кареты с жёлтыми фонарями, есть фонари уличные, такие же жёлтые, есть великолепный расплыв жёлтых отсветов на дрожащем чёрном асфальте, ночные чёрные дамы под зонтиком, с муфтами, с отступающими задками; и уже есть кафе – разные, тогда, наверное, модные, – с теми же дамами, господами в цилиндрах, – разверзающиеся во всё ту же, переливчатую, чёрно-спящую заоконную ночь; в 1920-е годы ко всему этому добавляются автомобили, трамваи, поезда надземного метро на эстакадах над улицами («Hochbahnhof Bülowstraße», «Надземный вокзал Бюловштрассе», его шедевр, 1922): их огни, и фары, и отсветы такие же жёлтые, и так же дробятся в лужах, в зеркалах мостовых, а ночь, окружающая их (и нас), ещё, пожалуй, чернее, ещё безнадежнее.

Вот картина не столь безнадежная – символ, как считается (и справедливо считается), Берлина 1920-х (то есть лучшего Берлина, какой когда-либо существовал): «Sonja», «Соня» Кристиана Шада (Christian Schad, 1894–1982), помеченная 1928 годом (когда Ходасевич давно уже был в Париже, после итальянского интермеццо), одного из моих любимых художников этой эпохи. Здесь тоже кафе (окна, впрочем, нет, пространство замкнуто) – и его, очевидно, завзятая посетительница – известная берлинской богеме под именем Соня, хотя на самом деле её звали иначе, – эмансипированная женщина Веймарской эпохи, служившая, кажется, секретаршей, проводившая свои вечера и ночи так, как нравилось ей, а не ещё кому-то – например, кому-то из двух мужчин, зримых на заднем плане. На столике перед ней – пачка Camel'a, пудреница и тюбик с помадой (если я правильно понимаю) – Шада не зря относят к «новой вещественности», *Neue Sachlichkeit*, – в руке с отчётливым маникюром – длинный мундштук и недокуренная в нём сигарета. Всё это – примеры *стиля*, приметы тогдашнего *шика*, как и её короткая стрижка с решительным локоном на лбу, её чёрное, тоже короткое платье от Коко Шанель (об этом платье написаны статьи и трактаты... ладно, про трактаты я загнул, но платье во всех статьях упомянуто), её вытянутое лицо, её огромные глаза, усталые и уверенные, в окружении тёмных теней, тяжёлых кругов (ночная жизнь даром всё-таки не даёт). Она чувствительна и печальна. Она покоится в своей печали, совпадая с ней и с собою. Это цельный, во всех смыслах, человеческий образ. Зато мужские фигуры на заднем плане обрезаются рамой (не трамваем, не палачом в красных перчатках), всего лишь рамой, то есть самим же Шадом, но обрезаны: от фигуры справа (с нашей точки зрения) остался только рукав и лацкан красного пиджака, кусочек белой манишки, крылышко чёрной бабочки, намёк на шею и щёку; от чёрного левого (с нашей же точки зрения) господина, в сущности, – только ухо, почти светящееся на фоне его же смутного, голого, почти зелёного, фантомасообразного черепа – того кусочка черепа, который попал на полотно, – так что оно, это выпирающее, ромбовидное ухо сразу бросается нам в глаза, перекликаясь с ухом героини, тоже маленьким. Это ухо, кстати, не анонимное; историки искусства упорно приписывают его Максиму Герману-Нейсе (Max Herrmann-Neiße, 1886–1941), писателю и поэту, ещё одному завсегдаю богемных берлинских кафе, которого вообще любили рисовать его друзья-художники (и Отто Дикс, и Георг Гросс): судя по их портретам, это был уродец в высшей степени выразительный, привлекательный.

Дело всё же не в нём; дело в героине, в её цельном, целостном, тоже очень выразительном, тревожно-привлекательном человеческом образе. Цельный человеческий образ среди монстрообразных обрезков. Цельный человеческий образ остаётся для меня самым важным, самым драгоценным в искусстве. Исчезновение этого образа, его распад и «распластование» (как выразился Бердяев в незабываемой статье о Пикассо... к которому я всю жизнь испытываю что-то похожее на ненависть, не отменяющую восхищения: «Гойя видел демонов, Пикассо был их сообщником», как потрясающе сказано у Николаса Гомеса Давилы) – искусство XX века показывало всё это много раз и по-разному. Оно бывало как симптомом («сообщником»), так и диагнозом этого «распластования», исчезновения, растворения в чужом и чуждом; не всегда легко отделить одно от другого. Разве

стихи Ходасевича говорят не о том же? И не только эти; следующее берлинское стихотворение, того же 1923 года: разве и оно не о том же? Приведу его целиком (эти берлинские стихи, и то, и другое, не относятся к самым его известным).

С берлинской улицы  
Вверху луна видна.  
В берлинских улицах  
Людская тень длинна.  
Дома – как демоны,  
Между домами – мрак;  
Шеренги демонов,  
И между них – сквозняк.  
Дневные помыслы,  
Дневные души – прочь:  
Дневные помыслы  
Перешагнули в ночь.  
Опустошённые,  
На перекрёстки тьмы,  
Как ведьмы, по трое  
Тогда выходим мы.  
Нечеловечий дух,  
Нечеловечья речь –  
И пёсьи головы  
Поверх сутулых плеч.  
Зелёной точкою  
Глядит луна из глаз,  
Сухим неистовством  
Обуревая нас.  
В асфальтном зеркале  
Сухой и мутный блеск –  
И электрический  
Над волосами треск.

Дом – не дом, человек – не человек; дом – демон, человек – чудовище с пёсией головой; человек – ведьма (из «Макбета» или не из «Макбета»? думаю, что из «Макбета»; так утверждает и Берберова в «Курсиве»; она же пишет, что эти «три ведьмы» – это она сама, Ходасевич и Андрей Белый, пристрастившиеся к нетрезвым прогулкам по ночному Берлину: одна ведьма точно была среди этих трёх, добавим мы от себя); и опять мы переходим на ночную сторону жизни (или уже не жизни), отбрасывая «дневные помыслы», теряя «дневные души». И опять – «асфальтные зеркала», почему-то сухие (хотя они сухими быть не могут; блестит и отсвечивает только мокрый асфальт), и электрический треск (треск трамвайных проводов? или треск фонарей?) «над волосами» (не над головами, конечно; головы-то уже пёсьи). Всё-таки поразительно: всего год (с совсем небольшим) прошёл с «нездешней прохлады», тоже бежавшей «по волосам»

в незабываемо-прекрасном стихотворении из «Тяжёлой лиры», помеченном 8–29 июня 1921 года, которое, в отличие от этих двух, я мог бы повторить наизусть, посреди какой европейской ночи меня бы ни разбудили:

Когда б я долго жил на свете,  
Должно быть, на исходе дней  
Упали бы соблазнов сети  
С несчастной совести моей.  
Какая может быть досада,  
И счастья разве хочешь сам,  
Когда нездешняя прохлада  
Уже бежит по волосам?  
Глаз отдыхает, слух не слышит,  
Жизнь потаённо хороша,  
И небом невозбранно дышит  
Почти свободная душа.

Там было всё живое, здесь стало всё мёртвое. Там была и нездешняя прохлада, и душа, невозбранно дышащая небом, и вообще все то, что составляет сущность и прелесть «Тяжёлой лиры», его высшего достижения (возможность от земного *здесь* воснестись к горнему *там*, отчего и дольная жизнь становится «потаённо хороша»); почти сразу после пересечения государственной границы – из рабства и террора в свободный мир, – внутренняя, «потаённая», «тайная» свобода заканчивается, крышки захлопываются, люки задраиваются; Ходасевич начинает «иссыхать», по беспощадной формуле Георгия Иванова, его ненавистника («не хочу иссохнуть, как засох Ходасевич»; впрочем, и сам В. Ф. Х. говорил Берберовой, что «высыхает и не может писать стихи»); самое страшное, что и те стихи, которые он сумел написать после отъезда (то есть, в сущности, вся «Европейская ночь»), по сравнению с «Тяжёлой лирой», с «Путём зерна» кажутся, увы, усыхающими, мертвеющими. Они о мёртвой жизни, о неживой голове, о *нечеловечьем*, но они и сами дышат с трудом. Это прекрасно сделанные, но именно сделанные стихи. Они *не поют*, как *пели* его стихи всего несколько лет назад, в кровавом ужасе революции («душа поёт, поёт, поёт...»). Георгий Адамович, другой Ходасевич недрут, говорил в позднем, уже послевоенном интервью, что стихи Ахматовой всегда поют, а вот стихи Ходасевича – нет, не поют. Хорошо хоть «большим поэтом» его признал. У Ахматовой, говорит он, «есть это музыкальное начало, которого иногда нет и у очень больших поэтов. Например, его нет у Ходасевича. Стихи Ходасевича прекрасно написаны; может быть, они искуснее написаны, чем стихи Ахматовой, но каждая строчка Ахматовой будто куда-то летит и тянется» (а у Ходасевича, значит, не тянется, не летит). Насчёт Ахматовой он прав, он, собственно, и говорит в этом интервью об Ахматовой, после встречи с ней в Париже в 1965 году, так что его выпад по адресу В. Ф. Х. – это *так*, попутный пинок, сведение очень давних счётов. Которые мы на его совести и оставим. Согласиться с этим невозможно; разве приведённые мною только что строки (про нездешнюю прохладу, про почти свободную душу) никуда не летят и не тянутся? разве они не поют? Я даже знаю, куда они летят, куда тянутся; писал об этом не один раз. Скажем так:

стихи Ходасевича иногда поют, иногда не поют; их музыкальность, увы, убывает в свободном мире с задраенными люками, закрытыми окнами.

Вот и у Кристиана Шада (о котором я вовсе не собирался говорить, начиная этот отрывок; неважно; в конце концов, я просто следую за своей мыслью, как за своей мыслью следовал, простите, Монтень, как за своей кистью – Сей Сёнагон... или как-то по-своему; просто – как получается) видны эти флуктуации живого и мёртвого. Живое в нём я люблю; стараюсь смотреть его работы, где и когда удаётся их посмотреть, – и в Берлине, и, например, в Ашаффенбурге (на Майне, между Вюрцбургом и Франкфуртом), где он прожил вторую половину жизни и где недавно открылся его музей (замечательный, тем более для столь глубокой провинции). Он живой в юности, когда ищет себя в дадаизме, в кубизме; когда обретает себя в «новой вещественности», создаёт свои шедевры второй половины 1920-х; потом коммерция, конформизм, увлечение «окультурными науками», Алистером Кроули, астрологией, магией, Блаватской, теософией, антропософией и ещё какими-то другими (лень разбираться в них) формами эзотерического бреда (всегда готового обернуться китчем), не очень решительные, не очень искренние, но всё же попытки приспособиться к новым порядкам и новым нравам, опустившимся, как ядовитый туман, на Германию в 1933-м, потом попытки переписать себе биографию, если не утаить, то умалить своё нацистское прошлое (его отец, мол, заставил вступить в НСДАП, иначе бы он ни за что, никогда), зарывание себя в провинции, – всё это его иссушает, выхолащивает, иногда опошляет; хотя и среди поздних работ случаются вдруг прорывы, просветы.

История Сони, его, наверное, самой знаменитой модели, – вот это совсем другая история; эта история сама по себе – новелла. Её настоящее имя было Альбертина Гимпель (уж точно она симпатичней мне, чем Альбертина прустовская: хотя бы потому, что прустовская Альбертина – фантом, прикрывающий Альбера с Альфредом; а эта Альбертина, тоже, впрочем, не лишённая мальчишеских черт, женственна, реальна, печальна); в 1933 году она оказалась еврейкой; тут же лишилась работы; переехала почему-то в Мюнхен, где, причём не сразу, только в 1936 году, и причём за партией в бридж (вот деталь, сильнее всех прочих волнующая воображение моё), познакомилась с немецко-американским художником (обладателем американского гражданства и паспорта; решающее обстоятельство) Францем Герда (Franz Herda, 1887–1965), более известным не как художник, но как спаситель евреев (его имя выбито на стене «праведников народов мира» в «Яд ва-Шем»); он-то её, в самом деле, и спас, спрятал у одних знакомых, потом у других родственников, потом у себя в мастерской, потом ещё где-то. Замечательно, что он сперва её спас и лишь потом женился на ней, уже после войны. В конце 1940-х годов они уехали в Америку, в начале 1960-х возвратились почему-то в Баварию, впрочем – в её самую южную, горную часть, на границе с Австрией, где Соня, *alias* Альбертина Герда, урождённая Гимпель, на восемь лет пережив мужа, в 1973 году сей бранный мир и покинула.

В немецком сознании она прочно ассоциирована с Берлином 1920-х; в сущности, она оказалась (вовсе, наверное, не стремясь к этому; наверное, и не подозревая об этом: настоящая слава пришла к Шаду лишь в конце жизни) едва ли не главным символом, эмблемой и знаком этого самого Берлина 1920-х (лучшего, скажу

ещё раз, из всех Берлинов, какие бывали когда-нибудь). А вот бывала ли она сама в Берлине (Западном; в Восточном-то наверняка не бывала) после войны? Этого я не знаю. Не могла не приезжать, разумеется, в Мюнхен. Приезжал туда, конечно, и Шад, до самого конца жизни, до своей поздней и окончательной славы, продолжавшей сидеть в Ашаффенбурге, на другом краю, но всё-таки той же Баварии. Встречались ли они? Не так уж трудно вообразить себе их случайную встречу, где-нибудь в конце 1960-х, в меняющемся мире, в начале, собственно, того мира, который длится до сих пор (чего они, скорее всего, не сознавали, не понимали), на какой-нибудь (почему бы и нет?) Максимилианштрассе, шикарнейшей (по-прежнему) мюнхенской улице, где в ту пору, и даже ещё через двадцать лет, когда я сам впервые там оказался, большинство проходивших мимо самого дорожного мюнхенского отеля «Четыре времени года», «Vier Jahreszeiten», входивших в этот отель или из него выходивших дам было, действительно, дамами, в шубках и шляпках (в зависимости от, опять-таки, времени года), а не так себе тётеньками в кроссовках, как стало принято после тогда-то как раз и случившейся смены всех веж, всех (если это так называется) парадигм; столкнувшись лицом к лицу возле отеля «Vier Jahreszeiten», постаревшая, но по-прежнему, хочется верить, прекрасная Соня и очень, судя по фотографиям, импозантно стареющий Кристиан Шад, йог и вегетарианец, до поздних лет поддерживавший себя в отличной физической форме, пошли вместе, я это так представляю себе, минуя Оперу, Резиденцию, к Одеонсплатц, или, наоборот, пошли в сторону Изара, но было ли им что сказать друг другу, могли или не могли они вообще говорить друг с другом о чём бы то ни было, – этого мы, конечно, не знаем, никогда не узнаем. Может быть, Шаду в глубине души было стыдно и он старался этого не показать; может быть, Соне было странно и страшновато идти по мюнхенской сверкающей улице, через столько лет, смертей и событий, рядом с оккультистом-конформистом, предавшим в себе самое лучшее, то есть, в сущности, предавшим – её; если б она погибла, постаравшимся бы, наверное, никогда не узнать о её гибели, уж тем более о подробностях её гибели, как он до самого конца делал вид, что ничего не знает об обстоятельствах (не гипотетической, на сей раз, но вполне кровавой, вполне настоящей) гибели ближайшего друга его молодости Вальтера Сернера (1889–1942), писателя, эссеиста и эксцентрика, денди и дадаиста, расстрелянного патетическими палачами, арийскими ангелами в Бикерниекском лесу под Ригой (такой любимой, так много значившей в моей жизни). Думаю, что печаль, когда-то, давным-давно, с такой силой и выразительностью запечатлённая им, Шадом, на радость нам, в её, Сонином, облике, перекрывала и перечёркивала все их прочие чувства, прочие мысли.

## Мы

Скучный роман, но замечательное заглавие. Ад – это другие? Конечно. В ещё большей степени ад – это мы.

## Мы

Никогда не чувствовал себя принадлежащим к какому бы то ни было «мы». Мы, мы, мы... Мычание: удел стад человеческих. Мычание масс; молчание мысли. Никакого «мы» нет. Есть только я, ты, он и она. Человек существует в единственном числе.

## Мы

Так называемые «философы», говорящие от лица какого-то «мы» – от лица каких-то там современников, от мерзкой морды какой-то общественности – раньше были мне отвратительны, теперь только смешны. Декарт уже тем велик и прекрасен, что всегда говорит «я». Я решил во всём усомниться, я мыслю, я существую. Я тоже мыслю, тоже существую, тоже во всём сомневаюсь. И плевать мне на все ваши «мы».

### Маленький Горловангини

Люди любят Давида Самойлова. Я тоже люблю Давида Самойлова. В детстве я ещё больше любил Давида Самойлова, чем в юности и теперь. У меня не было его книг, но была пластинка фирмы, извините, «Мелодия», на которой он читал свои стихи. Я часто слушал эту пластинку, так что узнал Давида Самойлова не в письменном виде, а в устном исполнении, словно он был аэд или рапсод. У Давида Самойлова есть стихотворение, которое нравится мне по-прежнему. Оно начинается так:

Я маленький. Горло в ангине.  
За окнами падает снег.  
И папа поёт мне: «Как ныне  
Собирается вещей Олег».

Папа поёт ему, между прочим, не «Песнь о вещем Олеге», как многие думают и как я сам тогда думал, а скорее всего белогвардейскую песню, тоже цитирующую «вещего Олега»:

Так за царя, за родину, за веру  
Мы грянем громкое ура... и т. д.

Как мог папа петь ему эту белогвардейскую песню в большевицкой Москве, не совсем понятно, но дело не в этом. А дело в том, что со слуха я – «маленький, глупый, больной», как сказано в том же стихотворении, – не мог понять, что такое «горло в ангине». Мне слышалось: «Я маленький Горловангини». Я решил, что это кто-то такой знаменитый, что с ним можно запросто сравнить себя... ну, как с Моцартом. Я маленький Моцарт. Я маленький Горловангини. Может быть, это тоже композитор? Например, итальянский? А что? Паганини, Пуччини, Горловангини... И видимо, это очень знаменитый композитор, если Давид Самойлов так запросто себя с ним сравнивает. То есть все знают Горловангини, а я вот не знаю. Мне стало стыдно. Поэтому я не решался спросить у взрослых, что они думают о Горловангини? Какая симфония Горловангини у них самая любимая? Какую оперу Горловангини они слушали недавно в Большом театре? Пришлось мне обратиться к энциклопедии. Увы, у Брокгауза и Ефрона, всегда приходивших мне на помощь в беде, за словом «горло» следовала Горловка, потом «горловой звук», потом дворянский род Горловых, потом «горловые болезни». БСЭ, которой я уже тогда не верил, тоже оставила меня в дураках. Так в дураках и проходил я, покуда, гораздо позже, не увидел текст напечатанным. Следовательно, маленький Горловангини сопровождал меня на протяжении нескольких лет моего детства – сперва как загадка, потом как моя личная тайна. В сущности, он со мной и теперь. Когда уж совсем худо становится, на маленького Горловангини вся надежда.

## Мёртвые стихи

Вспоминаю, в далёкой молодости, разговор с покойным ныне Н. Н., поэтом, переводчиком и критиком, популярным до сих пор среди некоторых, скорее мне чуждых, «интеллектуалов» (ненавистное слово; здесь оно, впрочем, уместно), «широко известным в узких кругах» (как не помню кто когда-то говаривал). Я хотел бы так писать, сказал он мне, чтобы никогда и ни в коем случае никакой дурак-фрейдист, адепт «венского шамана» (по незабвенной формуле Набокова) не смог извлечь из моих стихов всех тех гадостей, которые они, шаманы – шаманчики, шаманята, я вставил, – имеют привычку извлекать – из всего на свете; чтобы мои стихи не выдавали меня; чтобы не рассказывали обо мне самого заветного, самого тайного. Я ответил на это, что, во-первых, они всё равно расскажут и выдадут, что бессознательное всегда проложит себе дорогу и ехидный фрейдист при всех обстоятельствах найдёт, чем заняться; во-вторых же и в главных, что если он поставит себе такую цель, стихи его будут мёртвыми. Они такими и оказались. Перечитываю их теперь; не нахожу ни одной живой строчки. Ну, может быть, две или три. А человек был талантливый и умный, очень образованный; и человек страдающий, отмеченный неизлечимой болезнью. Нахожу одно – одно-единственное – стихотворение у него, где он прямо говорит о своих страданиях; оно одно-то, может быть, и останется от всего им написанного.

Тот, кто не пишет, имеет одно преимущество – он себя не компрометирует, говаривал, помнится, Гёте. Литература – да простится мне сей трюизм – требует искренности, честности и бесстрашия; иначе и заниматься ей незачем. Она идёт от души, как некогда говорили, и – да простится мне этот пафос – обращается прямо к душе. Не к публике, не к критике, не к учёному соседу или совету, а к душе прямо и непосредственно. Всё прочее – «литература», *de la littérature*, в том ругательном смысле, который придавал этому слову Верлен.

### Мнемозина

Несогласие с жизнью, страдание от жизни – тоже дар Мнемозины; роковой дар. Если бы мы не помнили, мы бы и не страдали. Мы бы страдали от боли, как звери, но не от жизни. Страдание от жизни как таковой – *la condition humaine*, удел человеческий. Мы не соглашаемся с жизнью – почему? Потому что не соглашаемся с её исчезновением? Помним об её гибельности? Память о прошлом неотделима от сознания невозвратимости – и непоправимости этого прошлого. Мы страдаем от жизни не только поэтому... но всех своих тайн я не раскрою в таком коротком фрагменте.

### Маркс, много Марксов

Троцкий говорил, что при коммунизме средний человек будет обладать способностями Леонардо да Винчи и Карла Маркса. Чудная мысль, чудное зрелище. Город будущего, по которому бегают Карлы Марксы, карлики марксики, один бородатей другого. Сцена из комедии. Если бы я снимал фильм, вот это место все бы запомнили. А Леонардо да Винчи, Леонардо Недовинченный, как называли его советские школьники (и даже смеялись над своей шуткой, вот что самое теперь удивительное)? Леонардо бы они довинтили. Карлики марсики довинтили бы всех леонардиков. Также была бы сцена отменнейшая.

## Маяковский

Люди делятся на тех, для кого Маяковский что-то значит, или значил, хоть недолго, хоть в молодости, и на тех, для кого он не значил ничего, никогда. Это две разные породы, две расы, два «карасса», две вселенные. Им не договориться друг с другом. Что-то есть неувловимое в «увлекавшихся Маяковским», хотя бы в шестнадцать лет, что слишком часто делает их глухими к тому, тоже неувловимому, никак не названному, что людям другого «карасса» кажется самым важным и самым сложным. И это окончательно, вот в чём ужас. Можно, в ничтожной степени, переделать себя шестидесятилетнего, но себя шестнадцатилетнего уже не отменишь. Спасибо вам, Аполлон и Музы, за то, что избавили меня от этой напасти.

## Монотеизм

Я не выясняю своих отношений ни с христианством, ни с какой другой монотеистической религией, и вообще ни с какой религией, предлагающей верить. У меня просто нет со всем этим никаких отношений. А какие со всем этим могут быть отношения? Честно: я даже никогда не мог понять, из-за чего весь сыр-бор. О чём тут вообще говорить? Я выясняю свои отношения только с буддизмом, предлагающим не верить, но видеть. И это трудные отношения, и вряд ли у меня получится когда-нибудь выяснить их до конца. Беда в том, что и буддизм предлагает видеть – только по видимости. Он только делает вид, что предлагает видеть, не верить, а на самом деле всё-таки предлагает верить, поверить в некий набор истин (что жизнь сама по себе – неправильная, но что её можно исправить, то есть что необходимо и возможно избавление, спасение, просветление, что «я» иллюзорно... и так далее, и так далее): истин, в которые я давно уже не верю, как не верю ни в какие другие.

## Мопассан

Главное, может быть, – это ощущение таинственной жизни, жизненной тайны, которое умели создать Толстой, Мопассан.

## Михайлов

Помните художника Михайлова в «Анне Карениной»? Ну как же, художник Михайлов, во втором томе, в Италии? Многих спрашивал, мало кто помнит. Второй том «Анны Карениной», за вычетом железнодорожно-трагического финала, вообще помнят плохо, давно я заметил. Знатоки, конечно, помнят; знатокам и полагаются помнить; незнатоки забывают. А Толстой ведь и заканчивал «Анну Каренину» с тоскою и мукой, уже внутренне с нею не совпадая, стремясь к иному, к «прямому разговору о жизни», как называла это Лидия Гинзбург, к тем, следовательно, религиозно-моралистическим рассуждениям, которыми отравлена уже последняя часть лучшего в мире романа. Здесь цитат привести можно множество; выбираю прекраснейшую – из письма к А. А. Толстой от 15–17 апреля 1876 года:

«Теперь я, к несчастью, ничем не могу себе позволить заниматься, кроме окончания романа; но с весной чувствую, что необходимая серьёзность для занятия таким пустым делом оставляет меня. И боюсь, что не кончу его раньше будущей зимы. Летом же буду заниматься теми философскими и религиозными работами, которые у меня начаты не для печатания, но для себя».

Впрочем, уже в августе 1875-го писал он Фету:

«Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями. Теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину с одним желанием: поскорее опростать себе место – досуг для других занятий...»

Всё это довольно известно. Но – художник Михайлов? А что – художник Михайлов? Ну как же – художник Михайлов, в начале II тома, 5-й части, в Италии. Анна и Вронский, наконец, свободные, соединившиеся, пережившие её болезнь и роды, его (ещё не её) попытку самоубийства, отправляются в заграничное путешествие, останавливаются в Италии в каком-то старинном безымянном городе (в котором мне всегда хотелось видеть Лукку, просто потому что я люблю Лукку), нанимают даже целый (или целое? всё-таки целый) палаццо (на поверку, как это часто бывает в Италии, оказавшийся хоть и знаменитым – «есть в гиде», – но старым и грязным, с пятнами на гардинах, трещинами в полах и отбитою штукатуркой повсюду); первым делом, ещё не успев переехать из гостиницы в пресловутый палаццо, встречают некоего Голенищева, светского человека, бывшего товарища Вронского по Пажескому корпусу, философа-дилетанта, уже второй год живущего в этом итальянском городе, занятого сочинением (никому, очевидно, не интересного и не нужного) славянофильского трактата о «Двух началах» («у нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии»); где же и писать славянофильские трактаты, как не в Италии?); с этим-то Голенищевым (в рассуждениях которого слышится умственная переключка с письмами Николая Страхова, тогдашнего толстовского союзника, друга, прилежного корреспондента, верного читателя и почитателя «Анны Карениной»: сейчас приведу пару цитат в подтверждение моей мысли, наверное, возмутительной для знатоков и историков; здесь, впрочем, будет много для них возмутительного, предупреждаю уж сразу): с этим-то Голенищевым Вронский и Анна отправляются в мастерскую живущего всё в том же безымянном итальянском городе русского художника Михайлова, чтобы посмотреть его работы, среди них главную – «Христос перед Пилатом», что-то, возможно, купить (они это и делают), в конце концов, заказать портрет Анны (Михайлов его и пишет). Весь эпизод с художником Михайловым, включая предварительный разговор о нём, занимает пять глав (с 9-й по 13-ю включительно), в 22-томном собрании сочинений 1982 года – пятнадцать страниц.

Всегда дивился я этим страницам, этому художнику Михайлову. Зачем он, собственно, нужен в романе? Какова его роль, какого его место? Неужели он нужен лишь для того, чтобы противопоставить настоящего художника дилетанту Вронскому, на итальянском досуге начавшему баловаться живописью, в попытках хоть чем-нибудь себя занять и развлечь? В эти первые месяцы их совместной жизни, когда выздоравливающая Анна чувствует себя «непростительно счастливою», он, Вронский, уже не был «вполне счастлив», чувствуя, что

«осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастья, которой он ожидал».

«Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания».

И это, конечно, прямой пересказ Шопенгауэра, которого Толстой, вкуче с Фетом, в те годы читал так внимательно. Короче, всё ещё хорошо, небо ясно, но ту-



чи на горизонте уже начинают клубиться, очень дальний гром уже погромыхивает. В душе его, сказано дальше о Вронском, «поднялись желания желаний, тоска» (человек нуждается в цели и «предпочтёт скорее хотеть Ничто, чем ничего не хотеть» – *und eher will er noch das Nichts wollen, als nicht wollen*, – как говорил впоследствии столь, тоже впоследствии, ненавистный Толстому Ницше, ученик, как и он, Шопенгауэра, тоже не оставшийся верным учителю). А раз «желания желаний» поднялись, то пришлось удовлетворять их – хотя бы писанием картинок и раздумьями о том, «какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический». И не просто он выбирает для себя «род живописи» – он выбирает для себя новую роль в жизни, надевает новую маску, а ведь это самое важное, для большинства людей, в сотни раз важнее, чем какой-то там «род живописи». Жить без маски: мечта моя. Но это моя мечта; у Вронского мечты, конечно, другие:

«Старый, запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах (...) самую свою внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещённый любитель и покровитель искусств, и сам – скромный художник, отрёкшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины. Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и, познакомившись чрез посредство Голенищева с некоторыми интересными лицами, первое время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи этюды с натуры и занимался средневековой итальянской жизнью. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить по-средневековски, что очень шло к нему».

«По-средневековски», «желания желаний» – обороты незабываемые. Но всё же – ещё раз – Михайлов? Неужели он для того только нужен, вновь скажем, чтобы противопоставить настоящего художника светскому болтуну (Голенищеву) и светскому дилетанту (Вронскому)? Михайлов, в противоположность Вронскому, художник подлинный – и потому неприятный:

«Посетители, разочарованные уже вперёд рассказом Голенищева о художнике, ещё более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотный, с вертлявою походкой, Михайлов, в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и узких панталонах, тогда как уже давно носили широкие, в особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания соблюсти своё достоинство, произвёл неприятное впечатление».

Что ж, с этим не поспоришь: подлинные художники приятными редко бывают. Но всё-таки: почему так подробно, с такой настойчивостью, на пятнадцати страницах, в пяти главах? Да, мы уже уяснили себе, Вронский – дилетант, и что дальше? Понятно, что Толстого, как и Тургенева (Гагин в «Асе» с его акварельками: Вронского, между прочим, в самых ранних набросках к «Анне Карениной» тоже звали – как? – звали Гагиным), как и, например, Гончарова (Райский в «Обрыве», которому тоже, кстати, противопоставлен настоящий художник Кириллов: уж не было ли тут прямого влияния?): понятно, ещё раз, что Л. Н. Т.

занимала, и должна была занимать, не могла не занимать, тема дилетантизма, просто потому что у него были, как и у всех перечисленных, другие источники дохода, помимо литературы, литература же хоть и приносила доход, но главным источником отнюдь не была (то ли дело самарские земли) – что фатальным образом превращало её (пускай чуть-чуть, пускай лишь отчасти, от самой крошечной части) в *хобби* (а вот Достоевского, чернорабочего от литературы, если я ничего не забыл, эта тема дилетантизма не занимала нисколько). Хотя Толстой и закончил, например, всё ту же опостылевшую ему «Анну Каренину» отчасти (не только, конечно, но – отчасти, от самой, опять же, или даже от не самой крошечной части) ещё и потому (как предполагает Б. М. Эйхенбаум в своей замечательной книге «Лев Толстой в семидесятые годы»), что ему деньги очень были нужны, как раз для покупки (то ли самарских, то ли не самарских, но если и не самарских, то всё равно каких-то) земель, – да и вообще человеку деньги нужны, – и в этом смысле тоже мог вести себя как вполне профессиональный писатель, как Достоевский, но всё же он никогда не хотел быть писателем, «литератором» в этом узком, ремесленном смысле слова, и не потому не хотел, что не хотел быть вообще кем-то, носить какую-то социальную маску, играть какую-то роль (тут бы мы его поняли), а потому что был ещё многим, и хотел (или сперва хотел, а потом не хотел) быть ещё многим (если я правильно понимаю): аристократом, помещиком, отцом семейства, учителем – сперва крестьянских детей, потом России, потом всего человечества, – проповедником добра, основателем новой веры, вообще носителем великой миссии, едва ль не Мессией...

Как бы то ни было, Толстой – граф, аристократ, помещик, будущий проповедник, пророк, учитель, а писатель, литератор только *так*, между делом и среди прочего («рад очень тому, – писал он в одном письме эпохи «Анны Карениной», – что вы принимаетесь за умственную (я не говорю литературную, потому что не люблю ни слово, ни дело) работу»), – Толстой оказывался – именно потому что был писателем «среди прочего» – в опасном соседстве с действительными дилетантами (вроде графа Вронского), почему и отдал подлинному художнику Михайлову так много от себя самого (о чём я ещё скажу). Но всё-таки и при всей близости одного графа к другому (оба светские люди, а Толстой ведь светским человеком, аристократом оставался всегда, до конца, при всех своих фокусах с крестьянскими блузами и лаптями): неужели Толстому – Льву Толстому! автору всего того, автором чего он тогда уже был, – Льву Толстому, уже о своём первенце, «Детстве», объявившему, что «без ложной скромности – это как Илиада», – неужели ему ещё нужно было доказывать себе самому, что он хоть и не «литератор», не «ремесленник», но всё же и не светский бездельник, пробавляющийся сочинением повестей и романов (вроде «Войны и мира»)?

А если Михайлов не для этого, то – для чего он? Если здесь решается не тема «подлинный художник *vs.* дилетант» – слишком мелкая, в самом деле, слишком вторичная для текста такой глубины, такой новизны, – то – какая же? Во-первых, он нужен для того, чтобы написать портрет Анны, тот портрет, который убеждает Вронского в ничтожестве его собственных любительских поползновений что-то там рисовать «по-средневековски», а главное – самое главное! – тот портрет, который через много страниц и страданий, превращений, преображений, почти

в финале, видит Лёвин, прежде чем увидеть оригинал. Сейчас перейду ко второму, важнейшему эпизоду (ради которого, может быть, и пишу всё это), но сперва всё-таки задержусь немного на первом, самом по себе интереснейшем.

«Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотой. Странно было, как мог Михайлов найти ту её особенную красоту. “Надо было знать и любить её, как я любил, чтобы найти это самое милое её душевное выражение”, – думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое её душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его.

– Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, – говорил он про свой портрет, – а он посмотрел и написал. Вот что значит техника.

– Это придёт, – утешал его Голенищев».

Это слово «техника», как и родственное ему «мастерство», повторяется много раз; и то, и другое Михайлову (и Толстому), судя по всему, отвратительно. Уже при первом посещении живописца великосветской троицей только и слышишь: техника, мастерство...

«– Да, удивительное *мастерство!* – сказал Вронский. – Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот *техника*, – сказал он, обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту *технику*. (...) Несмотря на возбуждённое состояние, в котором он находился, замечание о *технике* больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насутился. Он часто слышал это слово *техника* и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что *технику* противопоставляли внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, *техники* тут никакой не было. (...) Кроме того, он видел, что если уже говорить о *технике*, то нельзя было его хвалить за неё». (*Курсив всюду мой.* – А. М.).

А вот цитаты из писем Страхова о «Карениной»:

«Я за Вами слежу и вижу всю неохоту, всю борьбу, с которою Вы, великий *мастер*, делаете эту работу; и всё-таки выходит то, что должно выйти от великого *мастера*: всё верно, всё живо, всё глубоко».

«Прошу Вас, напишите мне, как Вы находите мои суждения. Я всё обдумываю Каренину, всё боюсь ошибиться в смысле частных, да и в понимании *техники* я всегда слаб. Оттого я Вам писал только общие места. А ведь Вы – я уверен – приходите в уныние оттого, что боретесь с *техникой* и устали».

«А знаете ли – *ни одна* часть Карениной не имела такого успеха, как эта.

Ваши поклонники тут не плакали и не восторгались, но и не находили слов, чтобы выразить всю тонкую прелесть и *мастерство* этих идиллических сцен. (...) Весловский нарисован с самою нежною снисходительностью – какая *мастерская* фигура!» (*Курсив, опять-таки, мой.* – А. М.).

Что ж, получается, Толстой втайне «подкалывал» (как теперь бы сказали) своего друга, читателя и почитателя? Которому, кстати сказать, сам не прощал «подколок»:

«В тоне вашего последнего письма есть что-то ироническое. Пожалуйста, не позволяйте этого в отношении меня, потому что я вас очень люблю», –

писал яснополянский ещё-не-старец своему всегда готовому откликнуться и помочь корреспонденту в апреле 1874 года. Начинаешь сомневаться в любви, когда о ней говорят или пишут так прямо; но, кажется, симпатия была искренняя, да и роль Страхова в жизни Толстого – в утверждении его славы, в работе над его текстами, – преуменьшать, конечно, не следует. Тем более поразительно, что не только слова о «мастерстве» и «технике» отдаются бездельнику и болтуну Голенищеву, но и страховские славянофильские взгляды отдаются ему же, и – что, на мой взгляд, даже важнее – толстовские возражения на слова Страхова о романе «Анна Каренина» поразительно перекликаются с возражениями на слова Голенищева, затем Анны, о картине Михайлова, звучащими в самом романе «Анна Каренина». Голенищев что-то говорит о Пилате, и Михайлов, только что раздражённый великосветскими визитёрами, приходит в восторг:

«То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твёрдо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешёл к восторгу».

Затем Анна что-то говорит о Христе, и повторяется та же история:

«Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что ему жалко Пилата. В выражении Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нём есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов. Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе, так как один олицетворение плотской, другой – духовной жизни. Всё это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова. И опять лицо его просияло восторгом».

Можно, значит, найти, но можно и не искать, можно сказать, но можно и не говорить. Всё это будет верно – и неверно, потому что есть ещё миллион соображений, которые будут так же верны – и следовательно, так же неверны, как и все остальные. А вот ответ Толстого на соображения Страхова о самом романе.

«Ваше суждение о моём романе верно, но не всё (пишет автор критику в апреле 1876 года – как раз во время работы над 5-й частью, если, опять же, я правильно высчитал) – то есть всё верно, но то, что вы высказали, выражает не всё, что я хотел сказать. (...) Это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала. Во всём, почти во всём, что я писал, мною

руководила потребность собрании мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берётся одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения».

Дело, значит, не в «технике», не в «мастерстве» — это раз, и дело вообще не в каких-то отдельных мыслях — и не в тех, которые кто-то другой (Страхов, Голенищев или даже Анна Каренина) мог бы сказать о книге или картине, и не в тех, которые сам художник вкладывает в своё произведение, — но дело в «сцеплении» этих мыслей, каждую из которых невозможно выразить «особо», не сказав и не «понизив» её, которые, значит, лишь в своей совокупности дают некий «смысл», иными, чужими словами не выразимый, а выразимый только через «образы, действия, положения». Не могу удержаться, чтобы не привести ещё одной цитаты из этого (впрочем, достаточно известного) письма: Толстой высказывает здесь мысли важнейшие — и для понимания вообще искусства, и для понимания самого Толстого в частной особенности; мысли, во всяком случае, для меня драгоценнейшие:

«для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».

То есть критик должен быть Ариадной, выводящий Тезея-читателя из «лабиринта сцеплений». Не претендуя на роль Минотавровой дочери, всё же перехожу ко второму эпизоду с портретом — тому эпизоду, где из лабиринта, по крайней мере, намечается выход, где вдруг виден просвет, видно какое-то хотя бы мерцание за очередным загибом, завивом. Мы уже в предпоследней части; Толстой-моралист понемногу вытесняет из текста Толстого-художника. После долгого бессмысленного московского дня — концерт, светский визит, приватная болтовня профессоров, публичная болтовня на заседании какого-то комитета, клуб, бильярд и шампанское — дня, описанного уже несравнимо жёстче, злее и беспощаднее, чем тот первый московский день, с которого начинается действие, — чтобы, как теперь говорят, почувствовать разницу, достаточно сравнить восхитительный обед Стивы и Лёвина в первой части («фленбургские-то фленбургские, да свежи ли?») с описанием этого концерта, этого клуба, уже сатирическим, но совсем не смешным (что «места смешные не довольно веселы», отмечал уже Страхов в одном из своих — замечательных, в сущности, — писем автору об «Анне Карениной», добавляя, впрочем, что «зато если рассмешат, то рассмешат ужасно»; и в самом деле, для смешного нужно внутреннее веселье, которое очевидно иссякает у автора), — после этого бесконечного бессмысленного московского дня, Лёвин, в лёгком или даже не очень лёгком подпитии, позволяет Стиве уговорить его, Лёвина, заехать к Анне, уединённо живущей в Москве в ожидании так и не полученного развода (за что ему, Лёвину, и влетает потом от беременной Кити под первое

число); первое же не число, но то, что он видит, войдя вслед за её братом к Анне — это не сама Анна, но именно её портрет, «деланный в Италии Михайловым».

«Лёвин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с чёрными вьющимися волосами, обнажёнными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. — Я очень рада, — услышал он вдруг подле себя голос, очевидно обращённый к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете».

Сказать ли, что это одно из самых эротических мест всего романа? Это было бы, наверное, преувеличением. Скорее, можно сказать, что это одно из самых откровенных мест во всём романе, одно из тех, где истинное отношение автора к героине высказывается наиболее непосредственным образом. Это прекрасно понял Марк Алданов:

«Толстому не удалось скрыть любовь и восхищение, которые внушает ему “преступная” Анна; в некоторых сценах романа (например, в сцене посещения Карениной Лёвиным) он даже не пытается скрыть эти чувства».

Любовь и восхищение: вот именно. Всё же, в этом эротичнейшем и целомудреннейшем тексте для выражения действительных чувств автора к героине нужно её преображение, её пресуществление в искусстве; иначе их и не выскажешь, хотя они упорно сами высказываются, сами сказываются с первого её появления. Дело не только в возможности лишь чуть-чуть завуалированного искусством признания в любви, дело ещё и в искусстве как таковом. В конце концов, Михайлов — единственный настоящий художник в романе; в связи и в сцене с ним Толстой высказал свои важнейшие, заветнейшие мысли об искусстве; здесь, почти в финале, когда мы вновь видим «деланный» им портрет, автор словно говорит нам: вот оно. Вот оно, искусство; вот сюда смотрите; смотрите внимательней. «Основу сцепления» словами не выразишь, но вот вам намёк и указание; вот важнейшая сцена во всей «конструкции», во всей «архитектуре романа» («я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок», — писал Толстой Сергею Рачинскому); вот где «замок». Возможно, автор (рассказчик, «нарратор») говорит это вопреки воле Толстого, как раз стремившегося скрыть и спрятать «замок», но — признание сделано, разоблачение состоялось. Это понял уже и сам Сергей Рачинский (человек, судя по всему, замечательный):

«Как обрадовался я знакомству Лёвина с Анною Карениной. — Согласитесь, что это один из лучших эпизодов романа. Тут представлялся случай связать все нити рассказа и обеспечить за ним целостный финал. Но вы не захотели — бог с Вами.»

Конечно, не захотел. Всё полетело бы прахом, вся бы «архитектура» посыпалась... И так уже она начинает колебаться и дрожать в нашей сцене. Эйхенба-

ум был прав, когда писал, что «роман построен на очень открытом и простом параллелизме двух линий», – и не совсем прав, утверждая тут же, что «если между этими линиями и образуются временами какие-то связи или соединения (Кити и Вронский, Анна и Лёвин), то они оказываются лёгким пунктиром и никакого фабульного значения не имеют». Для внешней фабулы они, может быть, и не имеют значения, но есть внутренний глубинный сюжет, так стремительно проступающий в сцене единственной встречи Анны и Лёвина, что, скажу ещё раз, вся «архитектура» начинает трещать и обваливаться.

Мы так привыкли к этой внешней «архитектуре», этому «простому параллелизму двух линий», что уже не замечаем её странности. Где это видано, в самом деле, чтобы главный герой и главная героиня большого романа встречались всего один раз, в самом конце? Мы потому ещё так привыкли к этому и так мало этому удивляемся, что «Война и мир» нас к этому приучила. Мы наивно думаем ещё в ранней юности, когда впервые читаем «Анну Каренину», что здесь всё будет как в «Войне и мире», прочитанной нами в юности совсем ранней. Но это иллюзия, великолепный обман, волшебная хитрость. Здесь всё будет не так, очень не так, вовсе не так, как там. Там линии пересекаются, в конце концов сходятся, здесь идут параллельно, связи же, в лучшем случае, намечены «лёгким пунктиром». Для чего это нужно? Для отвода глаз, разумеется; вот для чего. И – хватит ходить вокруг да около (говорю я сам себе); давай, Макушинский, высказывай свою главную мысль.

А главная мысль в том, что – главный, и поэтому скрытый, «внутренний» роман в этом романе разыгрывается не между Анной и Вронским, и не между Кити и Лёвиным, и уж тем более не между Анной и её мужем, но между Анной и автором (если угодно – Автором). Любовь и восхищение? Да он просто-напросто с ума по ней сходит, замирает и обмирает от шуршания её шёлка, блеска её глаз – того блеска, который, как ей кажется, она сама видит в темноте, – от её улыбки, порхающей от губ к глазам и обратно, от её маленькой руки и энергичского пожатия этой руки, от её быстрой походки, «так странно легко носившей её довольно полное тело»; а уж «её точёные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью», и, ну конечно, эти её «своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках» – всё это потрясает его (и нас) до глубины души, вновь и вновь. Бунин говорил, что вот, так и не встретил «Аннушку» и больше всего жалеет именно об этом. Ну ещё бы не жалеть? Мы все об этом жалуем. Невстреча с Анной Карениной – величайшее несчастье и моей жизни тоже. Это эротическое помешательство, в которое автор (Автор) впадает всякий раз при появлении Анны на страницах его же книги, – оно-то, может быть, и придаёт этим страницам, этой книге, этой прозе такую силу, такой блеск, – блеск, который он тоже видит в любой темноте, как Анна видит блеск своих глаз, – блеск, рядом с которым всё меркнет, всё тухнет (и почему не признаться, наконец, что в моей жизни бывали периоды, даже довольно долгие, когда я вообще ничего не мог читать, кроме «Анны Карениной»?) «Простите мне – я так люблю Татьяну бедную мою». Да, но там это чувство романтическое, платоническое, почти бесплотное. Здесь совсем другое дело, здесь «тёмный огонь желания» – да, да, я переврал цитату, у Тютчева огонь желания «угрюмый, тусклый» – но здесь он не тусклый:

угрюмый – может быть, но уж точно не тусклый, – здесь тяжёлая страсть буруемого соблазнами моралиста, – восторг и ужас – восторг ужаса и ужас восторга, – ужас, потому что «красота страшна» (по Блоку), потому она лишь «начало ужасного» (по Рильке), *des Schrecklichen Anfang*, то начало, которое мы ещё хоть как-то, с грехом пополам, можем вынести, просто потому что оно (она) не снисходит до того, чтобы нас уничтожить (*weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören*).

Вот всё это и нужно скрыть. Чтобы скрыть это, автор шлёт в роман своего представителя, своего заместителя. Автор обманывает читателя, не совсем успешно, но и не совсем безуспешно. Смотри, читатель, я ни при чём (говорит Автор), я с ней и встречаюсь-то всего один раз, да это и не я, не я, это всё он, Константин Дмитрич Лёвин, дворянин (как я), помещик (как я), богоискатель (как я), но во все не писатель (как я). Замечательно, ещё и ещё раз, что когда они всё же встречаются, вся конструкция начинает разваливаться, вся архитектура трещит.

«Да, да, вот женщина! – думал Лёвин, забывшись».

Забывшись, всё забыв, потеряв голову, как и автор теряет её уже на первых страницах.

«Следя за интересным разговором, Лёвин всё время любовался ею – и красотой её, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и всё время думал о ней, о её внутренней жизни, стараясь угадать её чувства. И, прежде так строго осуждавший её, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал её и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает её».

Но он-то теперь понимает, не то что Вронский какой-то, и понимает, как и мы понимаем, как и она понимает, что ей стоит только пальцем его помянуть – и он бросит всё, бросит Кити, бросит мораль, бросит все свои религиозно-философские искания, своё хозяйство – и побежит за ней, как мальчишка. Но Анне уже не до Лёвина:

«Проводив гостей, Анна, не садясь, стала ходить взад и вперёд по комнате. Хотя она бессознательно (как она действовала в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам) целый вечер делала всё возможное для того, чтобы возбудить в Лёвине чувство любви к себе, и хотя она знала, что она достигла этого, насколько это возможно в отношении к женатому честному человеку и в один вечер, и хотя он очень понравился ей (несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчин, между Вронским и Лёвиным, она, как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского и Лёвина), как только он вышел из комнаты, она перестала думать о нём».

Но всё-таки вспоминает о нём в самом финале 7-й части, в том великом финале, где Толстой ненароком изобретает «поток сознания» – «приём», обречённый на такую космическую карьеру в XX веке, – после той случайной встречи с Кити, которая окончательно решает её судьбу (ничего себе «лёгкий пунктир»: нет, важнейший, как и встреча с Лёвиным, эпизод всего романа, всей конструкции; не «пунктир», а, опять же, «приём»; причём «приём» тончайший, высочайшего класса).

«Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотрели на меня. О чём он может с таким жаром рассказывать другому? – думала

она, глядя на двух пешеходов. – Разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та ещё бы более была рада. Как я её всю вижу насквозь! Она знает, что я больше, чем обыкновенно, любезна была к её мужу. И она ревнует и ненавидит меня. И презирает ещё. В её глазах я безнравственная женщина. Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбиться в себя её мужа... если бы хотела. Да я и хотела».

Хотела, да и влюбила, конечно. Но уже поздно, да и невысказано. Ни малейшей возможности свести Анну с Лёвиным у Толстого, разумеется, не было (что бы ни грезилось С. Рачинскому или нам с вами); и кстати, не только потому, что это был бы совершенно другой роман. Да, это был бы совершенно другой роман, но этот другой роман всё же проступает сквозь на самом деле написанный; или, иначе, сквозь банальный любовный треугольник «романа об адюльтере» проступает совсем другая геометрическая фигура, менее устойчивая, но более интересная: четырехугольник, образуемый двумя парами – А., В., Л., К.; *сквозь* – или лучше *под*, треугольник же, соответственно, *над*: банально-адюльтерный треугольник – А., В. и К. (не Кити, но Каренин на сей раз) – насажен на хуже зримый, но бесконечно более важный четырехугольник, как крыша надета на домик на детском рисунке. Детский домик: вот истинная архитектура романа. А вот читал ли Толстой «Избирательное сродство»: вопрос, который мне задать некому и на который я не знаю ответа. «Читаю Гёте, и роятся мысли», – записывает он в дневнике 2 июня 1863 года. Хорошо, когда мысли «роются», но что именно он читал? «Фауста»? «Вильгельма Мейстера»? Да мало ли что... Но читал ли он именно «Избирательное сродство» (или, в непереводаемом оригинале, *Die Wahlverwandtschaften*, «Избирательные сродства», во множественном числе, как можно сказать по-немецки и нельзя, конечно, по-русски), этот, может быть, совершеннейший (не говорю – лучший, не говорю – увлекательнейший, но – совершеннейший) из романов веймарского олимпийца (с которым Томас Манн так блистательно сравнивал яснополянского язычника-великомученика), вообще, может быть, из всех его сочинений. Как Эдуард и Шарлотта, капитан и Оттилия образуют сперва «неправильные», потом, повинувшись своему «избирательному сродству» (своим «избирательным сродствам») – «правильные» пары, но всё же не избегают трагедии: так Лёвин и Анна, Вронский и Кити могли бы составить другие пары на шахматной доске романа, – чего, по крайней мере, Кити, тем более её мать, ненавистная автору («тёща»... что о ней ещё скажешь?), так жаждет, о чём так мечтает в начале. Вот и отлично. Кити досталась бы Вронскому – или он ей, – а Лёвин и Анна вступили бы в «преступную» связь... нет, нет и нет, даже эту фразу неохота дописывать, так это всё нереально.

Не только потому нереально, повторяю, что это был бы совершенно другой роман, но ещё и потому что это был бы всему конец, вообще. Возможно, Марк Алданов был не совсем неправ, отказывая Лёвину в «аналитической способности» и «тонкой наблюдательности» Позднышева, героя «Крейцеровой сонаты»; всё же Лёвин – человек «умственный», человек, живущий «духовными», как некогда говорили, «интеллектуальными», как, увы, говорят теперь, интересами. Лёвин –

это «Ум», Анна – «Жизнь». Лёвин – «Дух», Анна, соответственно, – «Красота». Соедини их – и всё закончится. Будет рай – или вообще ничего не будет. Слияние противоположностей – это смерть... или свет, но уже неземной. «И да и нет сомкнутся, сплетённые, сольются, и смерть их будет – свет». Плохие стихи, но трудно их здесь не вспомнить. Мы не хотим этого, мы боимся смерти, как боимся жизни и красоты. В конечном счёте это один и тот же страх. Красота страшна, прекрасное – лишь начало ужасного. «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», – говорит себе ревнующая Кити, глядя на Анну на том роковом балу, где рухнули её (Кити) матримониальные мечты и завязалась её (Анны) трагедия. Когда она (трагедия) уже близится к развязке, Толстой (в скором будущем автор повести «Дьявол») утверждает с великолепной прямоотой, что не кто-нибудь, а прямо «злой дух» поселился в сердце его героини, обрекая её на борьбу с Вронским, победить в которой можно было только бросившись под поезд на станции с завлекательным названием Обираловка. «Дух» и «злой дух» не сыграют «священной свадьбы». Нет уж, лучше отправить «Красоту» и «Жизнь» под поезд (на станции Обираловка), а самому сочетаться с «Моралью». Иерогамия отменяется. Вместо этого автор сводит своего заместителя с Кити, воплощённой заурядностью, вкладывает ему в голову свои собственные высоконравственные мысли, разрывающие драгоценную ткань романа (и это Толстой, всё знавший, всё понимавший про «лабиринт сцеплений» и «законы искусства»: куда пропало его понимание? кто бы самому автору показал «бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении?»), спасает его от верёвки – герой-то бунтует, герой тоже хочет повеситься, как покончила с собой героиня, – и в конце концов навязывает ему и читателю какой-то «смысл добра», от которого читателю тоже хочется сдохнуть.

«Мораль убивает», *la morale tue*, – пишет Альбер Камю в одной из своих трагедий. Да, мораль убивает. В частности – Анну Каренину. Истинный сюжет «Анны Карениной» есть а). любовь автора к героине и б). победа морали над жизнью. «Мне отмщение и Аз воздам». Сколько умов бились над этим эпиграфом. За что «отмщение»? почему «воздам»? почему «Аз»? А это не Бог, это сам Лев Толстой мстит жизни за её неподвластность ему, её бесовский соблазн, её прелесть – и её быстротечность, её изменчивость, её гибельность, её обречённость. «И потом, точно ли красота эта – красота? А потом, зачем всё это? Ведь это хорошо бы было, если бы можно было остановить жизнь. А она идёт». Не буду продолжать цитаты (из предисловия Толстого к русскому изданию Мопассана); она известна – и ужасна («идёт жизнь, значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, морщины, запах изо рта...» и так далее, и так далее). «Если бы можно было остановить жизнь...» Вообще-то можно, как мы все понимаем. Можно – написав, например, портрет Анны Карениной, написав, к примеру, роман «Анна Каренина». И это мой второй ответ на вопрос, зачем в романе понадобился художник Михайлов.

Считается, что прообразом Михайлова был Крамской, писавший портрет, даже два портрета Л. Н. Т. (один для Третьяковской галереи, другой для семьи портретируемого) осенью 1873 года, когда тот, Толстой, уже работал над «Анной Карениной»; современники сразу же подметили сходство: «Михайлов страх как похож на Крамского!» – писал, например, Репин Стасову (не Страхову...)

всегда они путаются в несчастной моей голове). То есть это надо представить себе: Крамской пишет портрет Толстого, отвлекая его от работы над «Анной Карениной» («он теперь кончает оба портрета и ездит каждый день, и мешает мне заниматься», – пишет сам Толстой – не Стасову – Страхову; то же и в дневниках Софьи Андреевны: «Крамской пишет его два портрета и немного мешает заниматься»): Крамской, значит, пишет портрет Толстого, а Толстой, если ещё не пишет, то готовится писать портрет Крамского. Крамской наблюдает за Толстым, но и Толстой разглядывает Крамского. Крамской пытается понять свою модель, но и Толстой – угадать мысли, увидеть мир глазами своей. Софья Андреевна так это впоследствии описывала:

«Взойду я в маленькую гостиную, посмотрю на этих двух художников: один пишет портрет Толстого, другой пишет свой роман «Анну Каренину». Лица серьёзные, сосредоточенные, оба художники настоящие, большой величины, и в душе моей такое к ним чувствовалось уважение. Раз я их застала за разговором об искусстве. Они горячо спорили, но, к сожалению, я не запомнила их разговора».

С. А. не запомнила, зато из писем Л. Н. мы узнаем кое-что об этих беседах, этих спорах. В уже упомянутом письме к Страхову:

«Он интересен как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художественной натуре. Он теперь кончает оба портрета и ездит каждый день, и мешает мне заниматься. Я же во время сидений обращаю его из петербургской в христианскую веру и, кажется, успешно».

А вот – Фету:

«У меня каждый день, вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь обращать его в крещёную веру».

Что такое «петербургская вера»? Материализм? нигилизм? В романе Голенищев говорит о Михайлове, ещё до знакомства Вронского и Анны с художником, что он, Михайлов,

«один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые *d'embrée* воспитаны в понятиях неверия, отрицания и материализма».

Голенищев, разумеется, не Толстой, но переключка очевидна. То есть мы видим и там, и там «нового человека», представителя «новеи①шего направления», адепта какой-то тоже новой веры, явно не «христианской» и не «крещёной», раз его надо в неё «обращать». Не совсем понятно, как и в какую такую «крещёную веру» мог обращать – до своего собственного обращения – Толстой, писавший, например, Фету в 1876 году, то есть всё ещё в эпоху «Анны Карениной», в потрясающем письме от 28–29 апреля:

«Бог Саваоф с сыном, бог попов есть такой же маленький и уродливый, невозможный бог (и ещё гораздо более невозможный), чем для попов был бы бог мух, которого бы мухи себе воображали огромной мухой, озабоченной только благополучием и исправлением мух».

Уж во всяком случае речь шла не о церковной, не о «поповской» вере... Скорее мог бы кого-то и во что-то обращать славянофил Голенищев, да он и пытается это делать в романе, вполне безуспешно. Успешен ли был Толстой в своих попытках обращения Крамского из петербургской в христианскую (не «поповскую») веру? Что-то я сомневаюсь. Христианская вера здесь, может быть, вообще ни при чём, ударение не на «в», а на «из», иными словами, Толстой увидел в Крамском «нового человека», при этом «очень хорошую и художественную натуру», которую и попытался отвести от будто бы ему присущих «нигилистических» воззрений, распространённых в тогдашнем (не высшем) обществе. Здесь важен социальный момент: между Голенищевым, Вронским и Анной – с одной, и Михайловым, с другой стороны, – пропасть, которую обе стороны отчетливо сознают. Вряд ли пропасть между графом Львом Толстым, по материнской линии Рюриковичем, и Иваном Крамским, сыном писаря из города Острогжска Воронежской губернии, была меньшей – или была меньшей постольку, поскольку в жизни два художника (в широком смысле – два человека искусства, два *Künstler'a*) встречаются, наблюдают друг друга и говорят друг с другом, в итоге – пишут друг с друга портреты, поверх всех бездн и пропастей, а в романе художник сталкивается со светскими дилетантами. Всё же эти социальные различия очень чувствуются, не только в романе. В своих письмах Крамской называет Толстого исключительно графом, Софью Андреевну – графиней, причём имя графини он не запомнил, как видно из письма Суворину 1875 года («Жену его зовут Софьей, только не Николаевна, а... кажется, Ивановна, а может быть, и Львовна; да, так почти — Львовна, однако ж не утверждаю. Урождённая — бог её знает. Знаю только, что её батюшка был доктор в Москве»), из чего мы делаем вывод, что по имени-отчеству он к ней и не обращался (а как обращался? графиня? ваше сиятельство? в позднем, 1883 года, письме к ней же, по совсем другому поводу, обращается «Ваше сиятельство»); Михайлов в романе тоже упорно называет графа Вронского – ваше сиятельство; что ж до его сиятельства графа Толстого, то его сиятельство в какой-то момент отправился на охоту, так что «сеансы» пришлось прервать («теперь идёт перерыв на неделю, так как граф уехал на охоту»). Барин, следовательно, изволит баловаться ловитвой, в отъезде поле, а скромный художник почтительно дожидается у мольберта.

Всё это так. И не случайно, конечно, Толстой даёт своим живописцам в романе такие «простецкие» имена – а их там двое, если кто вдруг не помнит: художника Михайлова во втором томе предвосхищает, в первом, художник Петров (прямо какая-то хоккейная команда времен нашего детства). Всё так, но всё и не так. Поразительно, прежде всего, что оба живописца, и реальный, и выдуманный, при всём их «новейшем направлении», работают над большими, важнейшими для них полотнами на евангельские сюжеты: Михайлов над картиной «Христос пред Пилатом» (или, как он сам называет её, «Увещание Пилатом»), Крамской же в 1872 году, то есть всего за год до знакомства и «сеансов» с Толстым заканчивает своего «Христа в пустыне» («это лучший Христос, которого я знаю», – двадцать лет спустя напишет – кто? – напишет сам же Толстой). Это двадцать лет спустя, а в пору «Анны Карениной»? Голенищев, во всяком случае, обращает к картине Михайлова те же упрёки, которые, по-видимому, было принято в обществе обращать к картине Крамского. «Христос в пустыне» был выстав-

лен на Передвижной выставке в декабре 1872 года; Иван Александрович Гончаров в неопубликованной при его жизни статье о картине как бы суммирует эти упреки, толки и пересуды, прежде чем приступить к их опровержению:

«В новое время в попытки художников к изображению лиц и событий священного писания, по мнению многих, проникли то же отрицание, скептицизм, какие вторглись всюду, в науку, во все искусства, в жизнь».

А вот Голенищев:

«Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы. ... Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться. Христос уже имеет своё определённое воплощение в искусстве великих стариков. Стало быть, если они хотят изображать не бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа, Франклина, Шарлотту Корде, но только не Христа».

Голенищев – глас толпы, но Толстой, вновь скажем, не Голенищев; в этом споре он явно на другой стороне. Перекликаются и *ответы* художников на обращённые к ним упреки; то ли Л. Н. Т. угадал, то ли (скорее всего) обо всём этом тоже говорилось во время работы Крамского над его, Толстого, портретами.

«“Он у вас человекобог, а не богочеловек, – говорит Голенищев Михайлову. – Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели”. – “Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе”, – сказал Михайлов мрачно».

Голенищев заходит с другой стороны, упоминая Иванова и его «Явление Христа народу» и вновь предлагая новейшим художникам, раз уж они такие материалисты и нигилисты, брать другие темы для своих крамольных полотен:

«Я полагаю, что если Христос сведён на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую.

– Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?

– Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог? и разрушает единство впечатления.

– Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, – сказал Михайлов, – спора уже не может существовать».

А вот письмо самого (крамольного) Крамского художнику к одному из организаторов Передвижных выставок А. Д. Чиркину, писанное в декабре всё того же 1873 года:

«Мне некоторые говорили: это не Христос, почему вы знаете, что он был такой? И, можете себе представить, имел дерзость отвечать, что ведь и настоящего, живого Христа не узнали».

Этот «настоящий, живой Христос» у Крамского никакой, конечно, не бог, и не «богочеловек» (о «человекобоге» даже не заикаюсь: «человекобог» – это что-то из Достоевского, недоступное моему пониманию); и он, Крамской, об этом довольно прямо и говорит в своих письмах, например, в письме Репину от 6 января 1874 года:

«Мой бог – Христос, который поместил Бога в самый центр человеческого духа и идёт умирать спокойно за это».

Или, ещё отчётливее и всего лишь месяцем раньше, в только что процитированном письме к Чиркину:

«Христос есть, в сущности, самый высокий и возвышенный атеист, он перенёс центр божества извне в самое средоточие человеческого духа...»

Христос-атеист: это круто, сказали бы мы языком современным и современнейшим. Парадокс, однако, в том, что и Толстой, будто бы обращавший художника «из петербургской в крещёную веру», сам ни в какого «богочеловека», конечно, не верил и если ещё прямо не писал об этом в пору «Анны Карениной» (или уже писал? знатоки меня поправят, уверен), то очень скоро, уже в конце 70-х – начале 80-х начал писать, например, в «Исследовании догматического богословия» (сочинении, более всего поражающем меня тем, что оно вообще было написано, хотя и не сразу опубликовано, как многие крамольные сочинения Л. Н. Т.; никогда я не мог понять, признаться, как можно было потратить столько сил, столько времени на борьбу с этими ветряными мельницами... значит, нужно было, отвечаю я сам себе; значит, не такими уж ветряными были для него эти мельницы): сочинении, где божественность Христа отрицается *expressis verbis*, так что уже совсем непонятно, кто мог кого обращать в какую веру, Толстой ли Крамского, Крамской ли Толстого.

Ладно, это материя тёмная, сложная, для меня скорей безотрадная; мне здесь важно лишь сходство – и не только во взглядах на «богочеловека» и «человекобога» – между персонажем и автором. Сходство между персонажем (Михайловым) и прототипом (Крамским) лежит на поверхности, а вот сходство персонажа с его создателем – вот это по-настоящему интересно. Социально граф Толстой стоит на той же стороне пропасти, что и граф Вронский, и Голенищев, и Анна, но во всех остальных отношениях, перелетая через пропасть, он становится рядом с «демократом» Михайловым. Что делает Михайлов в романе «Анна Каренина»? Пишет портрет Анны Карениной. Но и Толстой ведь пишет портрет Анны Карениной. Толстой пишет множество портретов, целую портретную галерею, в том числе портрет живописца Михайлова, но важнейший и прекраснейший из них всех – портрет Анны Карениной, отчего и роман называется «Анна Каренина». А что он хочет делать? Поскорее «опростать себе место», чтобы заняться «философскими и религиозными работами». Так и Михайлов стремится поскорее покончить с портретом Анны Карениной, чтобы вернуться к своей большой картине на евангельский, религиозный сюжет. И религиозность у обоих очень не «догматическая», очень своеобразная. Толстой, короче, отдал Михайлову какие-то важнейшие куски и части своего «внутреннего мира» да и своего отношения к миру внешнему.

И вот опять же – зачем это нужно? Просто подвернулся Крамской, Толстой и вставил его в роман? Так эти дела не делаются. Если он не потому его вставил, что – подвернулся, и не затем – или не только затем – чтобы «разоблачить» дилетантизм Вронского, показав подлинного художника, то – почему же? зачем же? А что было сказано в знаменитом письме Страхову про «лабиринт сцеплений»?

«Во всём, почти во всём, что я писал, мною руководила потребность собрании мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя».

Вот именно: «для выражения себя». Толстой «выражает себя», конечно, во всём, во всех сцеплениях и всех лабиринтах, но особенно, ясное дело, в Лёвине, своём двойнике, заместителе, представителе.

«Соня шутя говорила: “Лёвочка, ты – Лёвин, но плюс талант. Лёвин – нестерпимый человек!” Лев Николаевич, не отвергая этого, с улыбкой слушал её», –

писала (уж простите за очень избитую цитату) Татьяна Андреевна Кузминская-Берс в своих замечательных воспоминаниях. Если «Лёвочка» – «Лёвин плюс талант», то Лёвин, очевидно, – «Лёвочка минус талант». А Лёвочка минус талант – это вообще никакой не Толстой, это анти-Толстой. Что такое Толстой без таланта? «Нестерпимый человек», Софья Андреевна совершенно права. Он нестерпимым, похоже, и делался, когда талант его оставлял, когда он сам талант в себе удушал, убивал. Талант, значит, надо было кому-то отдать, чтобы вполне себя выразить, но отдать его тому же Лёвину вряд ли было возможно – или вообще невозможно, как невозможно было свести Лёвина с Анной. Сделать Лёвина художником, *Künstler*'ом, тем более писателем, сделать его вполне «Лёвочкой»... это была бы уже не наша «Анна Каренина», а какая-то совершенно другая, которую мы и читать бы, наверно, не стали. Подлинный художник, *Künstler*, тем более – писатель, поставленный в центр романа или повести, как известно, создаёт для автора почти непреодолимые трудности (Толстой и с ними бы совладал, не сомневаюсь, но это был бы, ещё раз, другой роман, который он вовсе не собирался писать). Легко справиться – или расправиться – с Голенищевым, с Кознышевым, но как избежать преувеличений и пафоса в романе о настоящем художнике, несомненном писателе. Томас Манн, например, в своих ранних текстах справлялся с этой задачей на троечку: пафос и, скажем так, чрезмерно серьёзное отношение к своему двойнику, читай – к себе же, то есть отсутствие или недостаток иронии, в сущности, удивительные для такого «ирониста», каким был Томас Манн, отравляют даже «Тонио Крегера»; в «Смерти в Венеции» они делаются нестерпимыми. В «Докторе Фаустусе» положение спасает как раз ирония, причём демоническая, дьявольский «холод», излучаемый главным героем. Решение отменное, остроумное. Пускай уж лучше великий немецкий композитор Адриан Леверкюн прямо в союз с чёртом вступит, лишь бы избавить его, заодно и автора, заодно и читателя, от патетики, от героики, от «творческих мучений» и воздетых горé очей.

Справился ли Толстой с «темой» (если это можно назвать так) подлинного художника, отданной побочному персонажу Михайлову? Сейчас читатель меня убьёт, но я сказал бы: на крепкую четвёрку. Собственно, у меня есть одна единственная претензия к этому портрету, всё остальное по-толстовски великолепно. Особенно радуется, что он законченный неврастеник, этот Михайлов. Мы с ним знакомимся в ту минуту, когда он устраивает сцену жене за её неспособность отвязаться от квартирной хозяйки, требовавшей денег («ты и так дура, а начнёшь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура»), на что жена вполне резонно возражает, что денег-то нету, а были бы, не было бы и споров с хозяйкой (не позавидуешь этой жене); потом уходит к себе, прокричав «со слезами в голосе»: «оставь меня в покое, ради бога!» – заодно заткнув уши, видимо, страшась услышать её ответ, – то есть ведёт себя так, как полагалось бы,

по понятиям эпохи, вести себя этой несчастной жене, – тут же накидывается на работу («никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо, и в особенности, когда он ссорился с женой»), исправляет старый рисунок, который он уже отдал детям, закапавшим его стеарином, обнаруживает, что пятно стеарина даёт изображённой на рисунке фигуре новую позу и новую жизнь, смеётся от радости, мирится с несчастной женою, затем отправляется, забыв о рисунке, в свою «студию» на встречу с Голенищевым, Анной и Вронским, которых заранее презирает, мнением которых всё-таки дорожит.

«О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него в глубине души было одно суждение – то, что подобной картины никто никогда не писал. ... Это он знал твёрдо и знал уже давно, с тех пор как начал писать её; но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него всё-таки огромную важность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтожное, показывающее, что судьи видят хоть маленькую часть того, что он видел в этой картине, до глубины души волновало его».

Какого художника не волнуют суждения о его труде, даже ничтожнейшие? Хоть какой-то отзыв, отклик, хоть кто-то посмотрел, оценил... Но уж такой раскочки на маниакально-депрессивных качелях, таких американских горок мегаломании, самоуничтожения, ненависти, любви, уныния и восторга, сомнений в себе и веры в себя я, признаться, ни в ком не видел и в себе не наблюдал; впрочем, люди в ту пору были чувствительней нынешних, быстрее переходили от одних сильных эмоций к другим, противоположным и сильнейшим.

«Всё подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания искусства Голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев. (...) Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешёл к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимой сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата; но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить».

Нет, даже при тогдашней эмоциональности это, как говорят немцы, слишком густо намазано. В этой душевной разболтанности есть что-то чуть-чуть... ну, самую чуточку карикатурное. «Невыразимая сложность всего живого» явно вступает здесь в противоречие с гиперболизацией, свойственной любому искусству. Хотите показать старика, покажите его чуть-чуть согнутым. Нагните его до земли, пририсуйте громадный горб – получится гротеск, и сочувствие сменится смехом. Сказать ли, что весь этот образ живописца Михайлова проходит где-то на грани гротеска, по краю карикатуры? Очевидно, во всяком случае, что автор такой задачи себе не ставил. Наоборот, он говорит здесь о вещах, важней-



ших для любого художника: о сознании своей значительности и, что ещё важнее, значительности созданного тобой, о равнодушии окружающих к тому, что ты создал, о безразличии мира, об оскорбительности случайных суждений, о вечно неудовлетворённой жажде признания, – и о том глубочайшем равнодушии, том величайшем безразличии ко всем этим суждениям, мнениям, толкам и пересудам, к признанию и не-признанию, вообще к «миру», без которого никакой художник не обходится: просто не был бы он художником, если бы не было в нём этого безразличия к безразличному миру...

«Когда посетители уехали, Михайлов сел против картины Пилата и Христа и в уме своём повторил то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно: то, что имело такой вес для него, когда они были тут и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришёл в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нужно было ему для того исключаящего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать».

Утешительные слова. И ни намёка на гротеск здесь уже, разумеется, нет. Был ли он раньше, этот намёк? Было прекрасно, как только Толстой и умел это делать, показанное противоречие между «художником» и «человеком» в художнике, между обладателем «полного художественного взгляда» и раздражительным, сомневающимся, неуверенным в себе, робким, заносчивым и тщеславным господином среднего роста с вертявкой походкой и в узких панталонах («тогда как уже давно носили широкие»). Против этого возразить вообще нечего. Единственное, что, пожалуй, смущает меня, так это способность плотного господина с вертявкой походкой всегда быть художником, даже тогда, когда он утрачивает свой «полный художественный взгляд», заодно и теряет дар речи от волнения, вызванного случайными словами светских бездельников, забредших в его мастерскую. Его «художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал»; впервые увидев Анну, стоявшую в тени подъезда, он «схватил и проглотил это впечатление (...) и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится»; он «помнил все лица, которые он когда-либо видел». В проглоченное впечатление я верю безоговорочно, а вот в непрестанную работу художественного чувства, в способность помнить все лица верю всё-таки не вполне. Может быть, не все, а хотя бы – почти все? Может быть, художественное чувство иногда всё же переставало работать? Ну хоть ненадолго? хоть на полчаса в день? Работа художественного чувства невозможна без самосознания, а самосознание прерывисто, то оно есть, то его нет. *Potentialiter* оно есть, конечно, всегда, но *in actu* лишь время от времени... Так же я не совсем верю Ходасевичу, утверждавшему – в невероятных, прекраснейших и так далее, с этим-то как раз не поспоришь, – стихах, что он служит «счастьем песнопений» – «каждый миг» («в том честном подвиге, в том счастье песнопений, которому служу я каждый миг, учитель мой – твой чудотворный гений...») и так далее). Может быть, всё-таки – не каждый? может быть – каждый второй? каждый третий? Точнее – и честнее, я полагаю, был Пушкин («чудотворный гений») с его (слишком хрестоматийными, чтобы цитировать их)

строками про Аполлона, «священную жертву» и «божественный глагол». Когда «божественный глагол» коснулся, тогда – другое дело. Тогда – «полный художественный взгляд» и «состояние уверенности в совершенстве». А пока не коснулся, пока Аполлон не потребовал, тогда – меж детей ничтожных мира ходит и мучается плотный господин в узких панталонах, и что-то я, скажу вновь, не уверен в ни на миг не прерывающейся работе его художественного чувства. «Неужели вы – Борхес?» – будто бы спросила однажды у Борхеса какая-то восторженная студентка. «Иногда», – ответил будто бы Борхес. Даже если это неправда, всё равно это правда. Иногда Борхес – Борхес, иногда он – слепой спотыкающийся старик.

Не помню, кстати, никаких высказываний Борхеса о Толстом – кажется, что аргентинский затейник жил на другой планете, не только в другом полушарии, где Достоевского читали, о Толстом же не слыхивали. А что-то борхесовское, хоть убейте, слышится мне в том сравнении, к которому прибегает Л. Н. Т., чтоб уж покончить с темой дилетантизма:

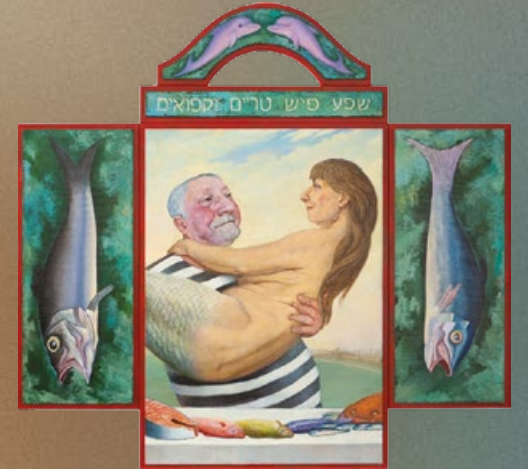
«Он (то есть всё тот же Михайлов) знал, что нельзя запретить Вронскому баловать живописью; он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать, что им угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать её. Но если б этот человек с куклой пришёл и сел пред влюблённым и принялся бы ласкать свою куклу, как влюблённый ласкает ту, которую он любит, то влюблённому было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно.»

Прекрасно понимаю эти чувства; сколько раз, на скольких чтениях скольких графоманов и графоманок, на скольких слэмах, спамах или как их ещё зовут, бывало мне и досадно, и оскорбительно, и смешно. Но сравнение, конечно, рискованное. Большие куклы – не из воска, но из каких-то, видимо, тряпок – делали, прочитал я в одной забавной книжке, голландские моряки ещё в XVII веке; скучно же в море без женской ласки, вот они и приучились куклы ласкать; и не только сами приучились, прочитал я там же, но и японцев, с которыми торговали, приучили делать такие же, отчего те, японцы, прозвали эти куклы *голландскими жёнами*... Слышал ли об этом Толстой? А уж в XIX веке, понятно – во Франции, на родине любви, стали делать большие куклы из каучука; знал ли о них Л. Н. Т.? А может быть, русские помещики тоже так развлекались? Если не в Ясной Поляне, то где-нибудь по соседству, в Неясной? Может быть, страшно подумать, и сам наш автор, пускай в мечтах и фантазиях, не чужд был пигмалионизму? Мечты мечтами, но и в страшнейших, сексуальнейших своих снах не мог он, я чай, вообразить себе прекрасную нашу эпоху, когда в каждом порядочном публичном доме есть, говорят, свои резиновые Зины, идущие будто бы по цене нерезиновых Зой. Давненько не бывал я, признаться, в борделе; надо, что ли, пойти посмотреть.

Продолжение следует ■

Man

какбыпроза



М

## Дмитрий ЗОТИКОВ

📍 Хайфа, Израиль



Фото: из личного архива автора

Автор рассказов, сценариев.

Родился в Онеге под Архангельском (1960). Школа в Мурманске, вуз в Ленинграде (ЛЭТИ). Работа в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Новосибирске, Мурманске, Рязани, Ленинграде, Минске, Славутиче, Москве, Нижнем Новгороде. Строил дома в России, Норвегии, Чехии.

Основатель международной школы плотников «Тайга» и сооснователь семейного центра «Пристань Авантюристов».

Рассказы много раз звучали на «Радио Дэвидзон» (Нью-Йорк). Издал два сборника прозы «Новые приключения Великого Комбинатора» (СПб, 2021) и «Осколки» (СПб, 2022).

После начала войны России с Украиной эмигрировал сначала в Грузию, потом в Израиль.

## Серёга

Сосед Серёга привёз из зоны «СВО» противотанковую мину. После этого ссоры в коммунальной квартире ненадолго стихли. Когда Серёга в тельняшке, трусах и берцах выходил покурить на кухню, все уважительно молчали и смотрели в свои кастрюли. Знали, что он контуженный. Серёга медленно докуривал «Мальборо» и потом командовал: «Воздух». Все соседи, включая бабушку Митрофановну, немедленно ложились на пол и закрывали головы руками. Серёга тем временем изображал украинские самолёты и производил бомбометание картофелем и помидорами, найденными на столах соседей. Затем следовал отбой воздушной тревоги, и Серёга уходил в свой «блиндаж». Он говорил, что рано или поздно к ним прилетит беспилотник, поэтому нужно установить круглосуточное дежурство.

Иногда к нему в комнату прибегали дети, прося показать мину. Серёга вытаскивал её из-под кровати, сдувал пыль и даже разрешал подержать в руках. Говорил, что мина учебная и детонатор в ней учебный. Но в это мало кто верил.

Жена от Серёги ушла почти сразу после его возвращения, сказав, что спать на кровати, под которой лежит противотанковая мина, пусть даже учебная, она не желает. Серёга отнёсся к уходу жены философски и напился. Пил три дня, и все три дня на кухне продолжались налёты вражеской авиации и бомбометания.

Бабушка Митрофановна была уверена, что Серёгу надо сдать в психушку. Но когда туда позвонили и сказали, что Серёга служил в ЧВК «Вагнер», в психушке испуганно бросили трубку.

Ещё из-за «ленточки», так называли границу с Украиной, Серёга привёз череп. Говорил, что это череп его боевого товарища, убитого в бою под Бахмутом. Серёга, когда выпивал, всегда ставил череп на стол и наливал тому

стакан водки. Потом они вспоминали боевое братство и то, как наступали куда-то вглубь. Потом Серёга засыпал. А когда просыпался, стакан, стоявший перед черепом, был пуст. Серёгу это нисколько не удивляло. Он убирал череп в сумку со словами «Эх, Вася, Вася» шёл на кухню курить.

Бабушка Митрофановна при виде его теперь сразу ложилась на пол и ползла по-пластунски в сторону своей комнаты, шепча: «Свят, свят. Взорвёт же, ирод, всех погубит».

И, как известно, если под кроватью лежит противотанковая мина, то она рано или поздно, по законам жанра, сработает.

Короче, бабахнуло. Серёга в этот момент лежал на кровати. Кровать была старинная, с толстым деревянным дном, так что его на куски не порвало, но взрывной волной выбросило в окно прямо на большую берёзу возле дома. Потом приехали пожарные, МЧС, полиция... «Скорая» увозила раненых соседей. Одной только бабушке Митрофановой повезло: она была во время взрыва в туалете. Но сильно напугалась, думала, что беспилотник всё-таки прилетел.

Серёгу похоронили с воинскими почестями. Оркестр играл «Прощание славянки», вороны каркали, юнармейцы отдавали салют.

Бабушка Митрофанова пришла к могилке на сороковой день. Поставила на холмик стакан, налила в него водки и сверху положила горбушку. Сказала: «Прощай, Сергей Иванович». И ушла на остановку 13-го трамвая. Через час стакан был пуст.

Вот и вся история.

## Света

— В очереди стоят ёжик, медвежонок, собака, лошадь и некто. Вопрос: «За чем они стоят в этой очереди?» — девушка из службы занятости вопросительно смотрела на меня.

— За пивом, — предположил я.

Девушка посмотрела в ответы:

— Неправильно. Они стоят за консультацией к психологу. Вы провалили тест на должность специалиста по складированию товаров.

Раньше эта должность называлась «грузчик», но я не стал делиться с девушкой этой информацией. Зачем забивать ей её маленькую голову? Вышел на улицу, закурил. В молодости грузчиком устроиться было гораздо проще. Надо было только дыхнуть, и если выхлопа не было, то брали без разговоров и всяких там тестов.

На улице было шумно. Народ куда-то спешил по делам, и только мне заняться было нечем. Тут, возле входа в универмаг, я увидел стойку с девушкой. Вернее, сначала увидел девушку. На ней была пилотка образца Великой Отечественной и тельняшка ВДВ. Плюсом были дреды. Всё вышеописанное меня заинтересовало. Подошёл.

— Чем торгуем, красавица?

— Автомобилями, — молча протянула проспект, на котором были изображены прыгающие в небо солдатики и написано крупными буквами: «Служба по контракту».

— А где же тут автомобиль?

— Убьют, получишь, — коротко ответила она и, окинув взглядом, потеряла ко мне всякий интерес. Вопрос, как можно получить автомобиль, если тебя убьют, меня всё же заинтересовал. И я его задал.

— Жена получит, — ответила девушка. — Или родители. Главное — умереть на глазах у командира, чтобы тот зафиксировал. Тогда сто процентов. Вы, мужчина, по делу спрашиваете или просто так интересуетесь?

— Пока просто так. И жены нет. Просто за меня никто раньше автомобили не давал.

— Я бы и сейчас не дала, — немного по-хамски сказала девушка. — Идите, идите. Не создавайте активность. Ваш возраст Родину не интересует. Ей нужны молодые и здоровые.

Я уже хотел было обидеться, но задал ещё один вопрос:

— Позвольте маленький тест. В очереди стоят ёжик, медвежонок, собака, лошадь и некто. Вопрос: «За чем они стоят в этой очереди?»

— За пивом, — ответила девушка. — Если очередь, значит за пивом. Или за колготками. Но в вашем случае зачем им колготки?

— Замечательно, — сказал я. — У нас с вами много общего. Мы с вами никогда не станем специалистами по складированию товаров. Может, это и к лучшему.

— Может, — согласилась девушка.

И я пригласил её выпить.

— А пойдёте, — сказала девушка. — Всё равно смена заканчивается.

— Вы какое пиво предпочитаете?

— То, что попроще, — сказала девушка, сняла пилотку и засмеялась. — Света.

— Петров, — ответил я. Взял Свету под руку, и мы пошли вниз по улице.

Я шёл и размышлял о том, что только что сорвал призыв, и о том, где можно будет стрелнуть денег на пиво.

В баре было пусто. Кроме нас сидела ещё одна компания. Две девицы и два парня, которые девиц явно клеили с помощью шампанского. Я сказал Свете «пardon» и подошёл к ним.

— Позвольте, покажу один фокус. Смогу выпить шампанское, не открывая бутылки.

— Да пошёл ты, — один из парней, довольно быковатого вида, окинул меня презрительным взглядом.

Но его подружка закапризничала. В таких делах девушки всегда капризничают.

— Вадик, пусть он покажет. Интересно же.

— Одна тысяча, — предупредил я. — Или с вас, или с меня.

Чудак по имени Вадик нехотя кивнул. Он ещё не знал, что скоро его тысяча будет моей.

Я взял со стола неоткрытую бутылку шампанского, перевернул её вниз горлышком и налил из стоящего на столе фужера на вогнутое доннышко шампанское. Выпил, взял из рук опешившего Вадика купюру и ушёл за свой столик. Света смотрела на меня с восхищением. Потом она сказала, что нужно попудрить носик и исчезла. Больше я её в тот день не видел.

В тот день я вообще мало что видел. Разве что подошедшего и требовавшего назад деньги Вадика. Раньше в таких случаях помогал удар носком в коленную чашечку, но Вадика он оказался как слону дробинка.

Очнулся уже на следующее утро в КПЗ. КПЗ всегда узнаю по запаху. Там стоит какой-то свой, ментовский запах. Голова гудела. Похоже, у Вадика был свой, отработанный удар. Когда сержант снимал показания, спросил его про ёжика и остальную компанию. Мол, за чем они, по его мнению, стояли.

— За визами, — ответил сержант. — Вот тут распишитесь.

— Почему за визами? — удивился я.

— Потому что все хотят свалить отсюда. Даже ёжики, — ответил сержант, подшивая протокол в папку. — А вы свободны. За вами пришли.

И тут я увидел Свету.

Она сидела на ментовской лавке и смотрела в телефон. Когда мне выдали документы, сигареты и зажигалку, я спросил:

— Что ты им сказала?

— Что ты контуженный с Донбасса. Пойдём, пока опять не забрали.

И мы пошли ко мне. В гараж. Тогда я жил в гараже, который сдал мне Серёга за то, что вынесу когда-нибудь оттуда пустые бутылки.

— Что ты во мне нашла? — спросил я.

— Ты весёлый, — сказала она, ставя чайник на электроплитку. — Мне надоели дебилы.

Из чего я сделал вывод, что меня она дебиллом не считает.

— Зачем ты работаешь на призыве?

— Деньги нужны. Матери помогаю. К тому же я удачливая. Все родственники тех, кто контракт подписывал, получали авто в течение полугода.

— Давай, ты уйдёшь с этой работы.

— Почему?

— Она мне не нравится.

— Хорошо. Как скажешь. А на что мы будем жить?

Этот вопрос поставил меня в тупик. Особенно про «мы». Но Света уже налила чай, и надо было что-то ей ответить.

— Мы уедем.

— Куда?

Я подвёл её к висящей на стене гаража старой политической карте мира.

— Закрой глаза и тыкни пальчиком в любое место.

Света закрыла глаза и дотронулась до карты.

— Гондурас, — сказал я. — Мы едем в Гондурас.

— А там море есть?

— Там есть океан.

— Никогда не видела океан. И море не видела. Тебе чай с сахаром?

— У нас есть сахар?

— Есть. В буфете, в магазине утром взяла со стойки. А на чём мы поедем в этот самый Гондурас?

— Поплывём. На корабле. Из Ленинграда.

— Из Санкт-Петербурга.

— Нет. Из Ленинграда. В Гондурас из Петербурга корабли не ходят.

— А деньги?

— Завтра сдадим Серёгины бутылки. На билеты до Питера хватит. Потом что-нибудь придумаем.

— Здорово. А там на каком языке разговаривают?

— На гондурасском. Пока плывём, выучим. Так ты со мной?

Света смотрела на меня и улыбалась. Словно не верила. А я и сам себе не верил. Но уже меньше, чем раньше. Уже меньше...

## Глупые дети

Отец вошёл в дом так, как он всегда входил после рейса — шумно, с двумя бутылками шампанского в руках и в сопровождении давно не видевших его приятелей и знакомых. Полгода отец провёл где-то в районе Северной Ньюфаундлендской банки, работая механиком на БМРТ, добывая для страны палтус и макрурус.

Дети, зная буйный нрав отца, тихо с ним поздоровались и спрятались в своей комнате, ожидая, когда он про них вспомнит и начнёт раздавать подарки. Особенно ценилась жвачка в длинных пакетиках и тонко нарезанная колбаса под иностранным названием «сервелат». Моряки в те годы после рейса отоваривались в специальном магазине «Альбатрос», но в этот раз детям сказочно повезло: судно отца заходило на ремонт на остров Тенерифе. На столе перед детьми лежала огромная коробка конфет, завёрнутая в целлофан, и притягивала взгляды немного очумевших от такого подарка детей. Они никогда не видели такой коробки. Конфеты в их городе продавались на развес, в бумажные кульки, — ириски и карамельки. Шоколадные тоже были, но только по большим праздникам: на Новый год или 7 ноября.

Вместе с конфетами отец подарил трёхлитровую банку печени трески, огромного сушёного краба, прибитого к доске, и настоящий зуб акулы. Но все эти подарки были привычными в их городе — удивления не вызывали.

Дети смотрели только на лежавшую на столе коробку.

С кухни уже раздавались громкие голоса, и отец рассказывал гостям очередную морскую байку. То и дело хлопала входная дверь, впуская и выпуская гостей. Дети тихо развернули целлофан и открыли коробку. Из неё сразу послышалась испанская музыка, раздавался гул вулканов и зарычали диковинные звери с необитаемых островов. Конфеты имели разные формы и разные обёртки, и на них были разные, непонятные надписи.

— В день по одной штуке на каждого, — решили дети и пересчитали конфеты.

Их было ровно сто пятьдесят. Должно было хватить до Нового года. Через месяц отец опять ушёл в море, и дети остались одни. Они каждый день открывали коробку и честно брали оттуда по одной конфете, каждый раз пересчитывая оставшиеся. Потом бежали к большой географической карте, висевшей на стене, и искали на ней загадочный остров Тенерифе и город Санта-Крус, изображённый на коробке на фоне огнедышащего вулкана. Дети думали, что когда вырастут, то обязательно попадут на этот сказочный остров, на котором продают такие сказочно вкусные конфеты. Когда конфеты закончились, коробка была торжественно водружена на самый верх книжной полки и там благополучно забыта.

Потом дети выросли и разъехались в разные стороны, возвратившись в свой дом только, когда умер отец. После похорон и поминок дети начали разбирать старые вещи и нашли ту самую коробку. Открыли её — и тут раздался вопль изумления.

Под первым слоем был второй, нетронутый слой конфет, которые за многие годы превратились в труху. Дети просто о нём не знали тогда, когда были совсем маленькими.

Глупые, глупые дети...

## Рыбалка на Средиземном море

Увидев на пирсе закидывающего в Средиземное море удочку человека, я подошёл и поздоровался:

– Hello.<sup>1</sup>

– Hi<sup>2</sup>, – ответил человек, не отводя глаз от поплавка.

Я достал из кармана пачку «Мальборо» и протянул визави сигарету.

– No, thanks<sup>3</sup>, – ответил тот.

С иностранцами всегда трудно знакомиться. Особенно если твой английский хромает.

– Sorry, my English is very small.<sup>4</sup>

– Why?<sup>5</sup>

Ну вот что ему можно ответить. Как объяснить этому местному про «англичанку», которая постоянно болела, про то, что многие в нашем классе вообще дальше «London is the capital of Great Britain»<sup>6</sup> не пошли. Да и в институте тоже.

– Can I see how you fish?<sup>7</sup>

– No problem.<sup>8</sup>

Тут внезапно поплавок ушёл резко под воду. Человек дернул удочку, и в небо взмыла большая рыбина. Но, сделав в воздухе мёртвую петлю, она упала обратно в море.

– Бля, – сказал человек и снова закинул удочку.

– Серёга, – я протянул человеку руку.

– Витёк, – сказал он, ответив на рукопожатие, так и не отрывая глаз от поплавка. – Ладно, давай сюда свою сигаретку.

Мы закурили.

– Давно здесь? – спросил Витёк.

– Месяц с небольшим. А ты?

– Три. Выпить хочешь?

– Давай.

Витёк достал из рюкзака начатую бутылку водки «Кеглевич» и пластиковые стаканчики. Я из кармана надкусанное яблоко и три карамельки «Раковая шейка».

– Откуда сам?

– Мурманск. Траловый флот. Механик. А ты?

– Воркута. «Воркутауголь». Маркшейдер.

– Земляки! А ты строганину помнишь?

– А как же. А ты морошку?

– И морошку, и чернику. И полярное сияние. А как шла треска на спиннинг.

И навага.

– И хариус!

Поплавок то и дело нырял в море, но на него никто уже не обращал внимания.

– А праздник Солнца. Олени. Пимы.

– Печень трески, палтус, вяленый ёрш.

Тут к нам подошёл человек.

– Good evening. Can I find out what kind of fish lives in the Mediterranean Sea?<sup>9</sup>

Так нас стало трое. Николай. Из Краснодара. Солнце клонилось к закату... ■

<sup>1</sup> Привет (англ.).

<sup>2</sup> Привет (англ.).

<sup>3</sup> Нет, спасибо (англ.).

<sup>4</sup> Извините, у меня плохой английский (англ.).

<sup>5</sup> Почему? (англ.).

<sup>6</sup> Лондон – столица Великобритании (англ.).

<sup>7</sup> Могу я посмотреть, как вы рыбачите? (англ.).

<sup>8</sup> Нет проблем (англ.).

<sup>9</sup> Добрый вечер. Могу я узнать, какие виды рыб обитают в Средиземном море? (англ.).

## Дмитрий РОМЕНДИК

📍 Киев, Украина –  
Москва, Россия –  
Нью-Йорк, США



Фото: Михаил Мескин

Жизнь даётся человеку как минимум один раз, и каждый раз хочется прожить её по-новому. Очередная публикация в «ТТ» предоставляет такой шанс – у каждого автора страничка с биографией, и уж коль я печатаюсь снова, то отчего бы не переписать судьбу заново?

Ведь жизнь прошла, а я так ничего и не достиг – всё разбазарено. Эх, мне бы ещё один шанс, ещё одну жизнь. С моим-то нынешним опытом, как разумно я бы ей распорядился. Я бы разбазарил её гораздо эффективней. Уж разбазарил бы так разбазарил. Зажёг бы. Разве в прошлый раз было разбазаривание? Так, вялая растрата. А тут бы я не подкачал. Действовал бы стремительно!

Родился в Киеве, переехал в Нью-Йорк, затем в Москву. Стал журналистом. Затем всё стало двигаться в обратном порядке – земную жизнь пройдя до половины, я развернулся и пошёл назад. Начал карьеру в Москве шеф-редактором «Идеи Икс» и замом в «Медведе», под конец закончил факультет журналистики ВШЭ, сам не знаю как так получилось. После этого вернулся в Нью-Йорк и больше журналистом не работал ни дня.

Вернувшись назад, молодеть не стал. Время текло назад только в моём воображении. Биологические часы по-прежнему тикали в единственно возможном направлении. Стал старше и, как мне стали говорить, – мудрее. Мудрость компенсировалась забывчивостью. Перед тем как сказать что-то особенно мудрое, приходилось долго морщить лоб и вспоминать о чём речь. Эту-то напряжённую задумчивость люди и приняли за мудрость.

Вспомнил, что писал рассказы. Продолжил писать. Вспомнил, что редактировал тексты. Стал редактировать рассказы. Некоторые из них опубликованы в No 6 и No 7 «Тайных троп».

## Гальпериада

### 7 Солнцедары

В «Садах Самарканда» места не оказалось, и Гальпер предложил:

– Возле моего дома есть точно такой же ресторан.  
– Такой же? – я ему не верю, он шурпу с шаурмой пу-  
тает.

– Ну да, кавказский.

Зашли в винно-водочный. У «бухарцев»<sup>1</sup> мы думали пить пиво, но Гальпер оставил машину, и концепция по-  
менялась.

– Давай «Каберне» за 20 долларов?

За эти деньги можно купить другой сорт, лучше каче-  
ством, но Гальпер прочитал книжку «Каберне для чай-  
ников» и теперь пьёт только его, чтобы не ошибиться.

– Не, я буду пиво.

Тут в Гальпере проснулся еврей:

– А давай, я заплачу 11, а ты 9!

– Не, я пиво.

Гальпер подумал, посчитал проценты и, наконец, ре-  
шился:

– Я заплачу 12, а ты 8, а выпьем поровну!

Такая щедрость повергла меня в шок:

– Гальпер, сколько можно обманывать русских людей?  
Взяли водку.

– В нашем ресторане присутствует начальник Одесско-  
го порта! Поприветствуем! – заорал певец и запел:

Червону руту нэ шукай вэчорамы,  
Ты у мэнэ едына, тилькы ты повир.  
Бо твоя врода, то е чыстая вода,  
То е быстрая вода сыних гир.

<sup>1</sup> «Бухарцы» – в данн конт: бухарские еврей, ныне большинство в США и Израиле.



Я углубился в изучение меню ресторана кавказской кухни: нам предлагали борщ, филе-миньон и лазанью с шампиньонами.

– А мне здесь нравится, – задумчиво произнёс Гальпер, – и музыка хорошая.

В это время осипший тамада пел «Не сыпь мне соль на рану» в честь юбиляра Юры, которому исполнился шестьдесят один с половиной год.

– Ты почему не заказываешь? – спросил Гальпер.

– Я на диете.

И тут же заказал запечённую форель, посыпанную грецким орехом под гранатовым соусом с овощами и картошкой фри, так как вычитал где-то, что рыбу на диете можно.

Мы выпили по третьей, и Гальпер тоже решил похудеть. Поэтому он заказал свиную отбивную с салатом.

– Салат рекомендуют диетологи, – пояснил он.

После того как мы основательно похудели, Гальпер, наконец, заговорил о поэзии. Это означало, что разговор будет идти о нём. Гальпер находил, что в современной поэзии слишком мало Гальпера и это её главный недостаток.

– Через неделю Дэн будет брать интервью у моих друзей, ты уже решил, что ты будешь говорить?

Дэн – это режиссёр, который снимал документальный фильм про несчастного обездоленного поэта-эмигранта.

В это время ресторан уже танцевал под греческую рембетуку «Лимончики», исполняемую с одесским акцентом:

Ой, лимончики, ви мои лимончики.

Ой, ви растёти у Юры на балкончики.

Вместо «у Сони на балкончике» певец подставлял имена юбиляров, к взрывной радости последних.

– Конечно, я скажу, что после смерти Бродского, его место на литературной сцене занял Гальпер!

– Ну, это чересчур, – неожиданно заскромничал Гальпер, – я на это не претендую. Достаточно, если ты скажешь, что я занял место Уолта Уитмена, Алена Гинсберга и Чарльза Буковского.

– И Жванецкого! – радостно подхватил я.

– Почему Жванецкого? – он как-то не оценил моего энтузиазма.

– Ну, Жванецкий почти такой же смешной, как и ты!

– Скромнее надо быть, – укоризненно заметил Гальпер и согласился заменить Жванецкого на Бродского.

После «Даров Кавказских гор» мы плавно переместились в ближайший «Данкин донутс» пить чай на оставшиеся 3 доллара. Гальпер угощал!

– Ты будешь вот это пирожное – 450 килокалорий?

– Ты говоришь, как моя мама! А вот это?

– 300 килокалорий.

– Ну не хочешь, как хочешь, а я возьму!

– Ты же решил похудеть!

– Но ведь 300 калорий меньше, чем 450, так я похудею на 150. – И немного пожевав, добавил: – Летом поеду в Россию, меня в России женщины любят!

В это время в «Данкин донутс» зашёл чёрный человек с дредами и стал пританцовывать у закрытого сортира.

– Вы попросите продавца, чтобы открыл, – посоветовал я.

– У нас только для покупателей, – сказал продавец.

– Йо, мэн, я у вас вчера покупал и позавчера покупал, я ваш постоянный покупатель, – возмутился чёрный человек с дредами.

– Так это ты вчера 30 минут проторчал в туалете! – взорвался продавец. – Что ты там делал?

– Бро, это прайваси, это моя прайваси, это дисреспектфул спрашивать о таких факин вещах.

– Я открою, но это в последний раз! И недолго там!

Гальпер что-то ответил про женщин, но тут чёрный человек пулей выбежал из сортира.

– Ты заметил, он только зашёл и сразу вышел?

– Почему, когда я говорю о важных вещах, ты меня не слушаешь? – обиделся Гальпер.

– Шприц по дороге потерял, – захихикал продавец.

Гальпер жевал зубочистку и тоскливо смотрел на 86-ю, вечно тёмную из-под моста метро, улицу. Глядя на его одухотворенное лицо, я подумал: как всё же нелегко живётся русским поэтам в Америке, как невыносимо трудно нести им тяжкий крест изгнания.

## 2

### Sic Transit Саша Гальпер

Позвонил Гальпер, предложил сходить в ресторан.

– Гальпер, пошли в «Сады Самарканда»? – раньше мы ходили туда.

– Нет, возле моего дома открыли киргизский ресторан, там меня все узнают.

Гальпер как раз снялся в популярном киргизском фильме. Там по сюжету главный герой из Бишкека приезжает в Нью-Йорк, и плохой еврей на Брайтоне выигрывает у него все деньги в шахматы. Плохого еврея играл Гальпер. Его стали узнавать в Киргизии. Поэтому в киргизский ресторан в Бенсонхёрсте Гальпер ходил за земной славой.

– Иди сюда, – приказал Гальпер шефу, – как у тебя дела?

– Всё хорошо, – пробормотал шеф.

– Всё очень вкусно. Иди.

Шеф убежал.

– По-моему, он тебя не узнал, – засомневался я.

– Это он меня просто боится.

Мы пошли к океану по типично бруклинскому пейзажу: дома, деревья, столбы, машины, люди.

– Это дом престарелых, – Гальпер показал на многоэтажку.

– А напротив, наверное, морг, – пошутил я.

– Нет, дурдом.

Перед домом во дворике сидели жильцы: кто-то курил, кто-то читал, но треть смотрела в одну точку стеклянными глазами.

На Кони-Айленд в «Луна-парке» у океана в 11 вечера жизнь только начиналась. Карусели продолжали работать, а в открытых кафе расположились диджеи с пультами, и пластичные афроамериканцы танцевали под незнакомую музыку. По пляжу ездил полицейская машина. Тут необходимо поймать интервал. Вот она проехала в одну сторону – пляж длинный, пока доедет до кон-

ца, нужно успеть раздеться, нырнуть и выскочить, обсохнуть и одеться, чтобы встречать машину на обратном пути уже одетым и с улыбкой на лице. Ночью купаться запрещено. Полчаса играли в прятки с полицейской машиной. А затем пошли по береговой линии в сторону Брайтона.

Гештальт не был бы завершён, если бы на набережной Брайтона мы не посетили ресторан «Татьяна». Мы расположились на террасе с видом на океан. В полдвенадцатого жизнь кипела, вокруг нас по бордвоку<sup>2</sup> ходили компании, в ресторане шумно праздновали банкеты.

– Вы чай в чайниках приносите? – спросил Гальпер пожилую официантку в спортивных брюках.

– У нас нет чайников, у нас питчи<sup>3</sup>! – сурово сказала она.

– А сколько туда вмещается чаю?

– А я что мерила?

– Ну сколько он стоит, вы знаете?

– Откуда я знаю? Я вбиваю на кассе номер блюда, и она говорит мне цену...

– Ну тогда принесите меню.

Официантка укоризненно покачала головой и нехотя удалилась.

– Ты зачем гоняешь бедную женщину туда-сюда? – набросился на меня Гальпер, – не видишь, она устала...

От стыда я не знал, куда девать глаза.

– Значит так, принесите нам питч чаю и два яблочных штруделя.

– Мальчики, в штруделях по два кусочка, – доверительно сообщила она, – будете брать?

– А это смотря какого размера кусочки!

– Я вас поняла! – она побежала выполнять заказ.

Удивительное место Брайтон. Там всё застыло в каких-то 80-х. Там ни разу из динамика я не услышал попсу 90-х. Только итальянцев, только 80-е.

Брайтон застыл в каком-то безвременье. Уже в Одессе не встретишь таких официанток, такого говора, он весь перекочевал сюда, тут в брайтонских переулках доживают свои последние годы носители этого чудного диалекта.

– Что тебе, мамочка моя? – ещё спрашивают продавщицы брайтонских магазинов.

– Ша, ша, ты мне дашь сказать слово или нет? – перебивает меня на полуслове работница туристического агентства, через полторы минуты знакомства.

В Одессе этого нет, там уже вместо еврейского «что» с сильным нажимом на «ч», говорят украинское «шо», там уже не калькируют германский синтаксис: «я имею тебе сказать...». Да и Брайтон уже не тот. Всё больше американского, всё меньше советского. Одесский диалект вытесняется рунглишем<sup>4</sup>. Скоро Брайтон превратится в заурядный район. Это потом, а пока... как сказал один древний римлянин, глядя вслед уходящей гетере:

– Вот прошла Глория Мунди...<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Бордвок (англ.) – деревянный настил, дорожка вдоль пляжа или побережья.

<sup>3</sup> Питч (англ., сокр. от питчер) – кувшин, графин.

<sup>4</sup> Рунглиш (от Russian и English) – смесь русского и английского, возникающая при использовании в речи русских и английских слов, выражений и грамматических конструкций. Часто встречается у русскоязычных иммигрантов.

<sup>5</sup> Переделка крылатого выражения «Sic transit gloria mundi» (лат., досл.: «Так проходит слава земная»).

## Мистер Холмс

Мысль Гальпера опережает время. Студентом кинофака он приходил с камерой на литературные вечера: влево – вжик, вправо – вжик, взгляд на сцену – вжик, Саша всё снял, камера легла на стол, уткнулась в пиво. Ролики занимали 15 секунд. Столько требовалось Гальперу, чтобы всё увидеть. Столько требовалось камере, чтобы не успеть ни на чём сфокусироваться и показать панораму размытого ничего. Сегодня у него клиент в Ист-Нью-Йорке возле аэропорта. Мы договорились встретиться. Опаздываю.

«Ты где?» – пишет нетерпеливый Гальпер.

«Уже вышел, жду автобуса».

Одна мысль насккивает на другую:

«Я сижу в пиццерии возле метро. Когда подъедешь, спущусь к тебе».

Тут как всегда заминка, потому что, когда бы я ни подходил к остановке, подъезжают по два 83-х, а мне надо 82-й.

«Ну ты где?» – пишет Гальпер.

«Сел в автобус».

«Пицца невкусная, польско-мексиканская. Ты скоро будешь?»

«У тебя мысль опережает мой автобус».

«Учти, чем больше ты едешь, тем больше пицц я съедаю. Моё ожирение будет на твоей совести».

Но ест Гальпер так же быстро, как и думает. Через пару минут его вжикнуло, камера качнулась в сторону: «Всё, спускаюсь в метро, жду на станции. Обязательно пиши, где ты, мне надо знать».

Через полчаса подъезжаю. Гальпер сидит на лавочке, не реагирует. Играет с телефоном в шахматы.

– Поезд подъехал! Ты же так спешил!

– Подожди, сейчас я выиграю у этого антисемита.

– Саша, ты играешь с телефоном!

– А что, телефон не может быть антисемитом? Надо мной ни один антисемит так не издевался, как этот телефон.

Мы пришли смотреть «Мистер Холмс» в киноактёрской гильдии. Гальпер задумчиво провожает глазами прогуливающегося между рядами исполнителя главной роли Иэна Маккеллена.

– Мне пришла анкета, просят указать кто будет получать гонорары через сто лет.

Гальпер снялся в двух эпизодах «Show Me A Hero»<sup>6</sup> и теперь должен получать гонорары за каждый показ по ТВ в течение столетия. Вот только НВО<sup>7</sup> в растерянности, не знает, кому им платить, если Гальпер не доживёт.

– А откуда ты знаешь, кто будет вместо тебя через сто лет?

– Вот и я говорю, я бы тебя указал, но ты ведь к тому времени умрёшь.

– Тебе надо заниматься стенд-апом. Будешь иметь успех.

– Где я возьму столько шуток?

Гальпер вздыхает и погружается в себя. Думает непривычно долго – секунд десять. Начинается фильм, в котором Шерлок Холмс дожил до 93 лет. Свет в зале гаснет. Гальпер засыпает. ■

<sup>6</sup> Американский мини-сериал (2015) о конфликте конца 1980-х годов, связанном с попыткой построить социальное жилье в преимущественно белых районах города.

<sup>7</sup> НВО (англ. Home Box Office) — американский кабельный телеканал, известный производством оригинальных сериалов, фильмов и документальных проектов, таких как «Игра престолов» и «Клан Сопрано».

*Man*

повесть



## Элла МИТИНА

📍 Москва, Россия –  
Нетания, Израиль



Фото: из личного архива автора

Родилась в Фергане, в интеллигентной семье врача и инженера, в два года была перевезена в Ташкент. Родители больше всего мечтали дать ребёнку профессию музыканта, справедливо полагая, что она в будущем принесёт верный кусок хлеба. Но неугомонная дочь всё время норовила сойти с верной дороги. В 13 лет начала публиковаться в «Красном факеле», приложении к солидному республиканскому изданию «Комсомолец Узбекистана», и подумывала о профессии журналиста. После музыкального училища поняла, что лучше бы вместо консерватории поступить в театральный институт – к тому времени казалось, что театр – единственное на земле место для настоящей жизни. Мама с папой, приведя все мыслимые и немыслимые аргументы, отговорили от «дикого шага».

Но от судьбы ведь не уйдёшь. После окончания Ташкентской консерватории, а затем аспирантуры Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и даже защиты кандидатской диссертации судьба привела в ленинградский детский музыкальный театр «Зазеркалье», в котором пять лет проработала завлитом. В начале 90-х был переезд в Москву, недолгая работа на аналогичном посту завлита в театре «Новая опера» – и снова неожиданный поворот.

Телевидение! Работала редактором, автором телепрограмм и документальных фильмов в телекомпаниях «Останкино», «Россия», «Культура», РЕН-ТВ, «АБ-ТВ Продакшн». Стала лауреатом российских и международных кинофестивалей за документальные фильмы, снятые вместе с мужем, режиссёром кино и телевидения, сценаристом Станиславом Митиным.

При этом продолжала заниматься журналистикой. Публиковалась в «Новых Известиях», «Вечерней Москве», «Новой газете», журналах «Алеф», «Всегда женщина», «Журналист». А потом пришло время и для рассказов и повестей, которые были опубликованы в журналах «Алеф», «Времена», «Новое время» (США), «Новый мир». Во 2-м номере «Тайные тропы» напечатана повесть «Сырок «Дружба»».

С 2016 года живу у самого синего моря. Продолжаю писать и снимать кино. И очень люблю слушать музыку.

## Золотые монеты

Иосиф ещё накануне решил, что обязательно продаст свою коллекцию монет, которую всегда хранил с мыслью про «чёрный день». Вот этот пресловутый «чёрный день», кажется, и замаячил у порога. А всё проклятая перестройка.

Стабильность, которая годами и десятилетиями казалась вечной, таяла на глазах. Число клиентов резко сократилось – кто уехал из страны, кто ушёл в мир иной, а кто уже не мог себе позволить протезирование у дорогого доктора. Но всё же Иосиф свой кабинет не закрывал: работа дантиста востребована при любых режимах и правителях. Он отнюдь не бедствовал в отличие от многих своих знакомых, что в одночасье из обеспеченных и уважаемых граждан превратились в полунящих и растерянных перед новой реальностью людей.

У Иосифа, во-первых, на сберкнижке лежал солидный капитал, а, во-вторых, имелись в тайнике золотые монеты. Его «золотовалютный запас», его надёжная опора и уверенность в завтрашнем дне, которые сегодня выглядят такими туманными и шаткими. Да-да, монеты нужно продать сейчас, пока за них хоть что-то дают. Дочь Ляля с мужем Сеней и внуком Мариком собираются в Израиль, и он, конечно, двинется за ними. Не оставаться же здесь одному, ей-богу. И ещё веский довод в пользу продажи: вывезти монеты из страны всё равно не дадут – антиквариат, всё-таки. Коллекция у него небольшая (теперь-то, после всего произошедшего, небольшая), но всё же вполне солидная. И царские червонцы и «пятёрки» в ней имеются, причём настоящие, отчеканенные в Петербурге в 1911 году, и редкие пять золотых рублей высочайшей 997-й пробы Александра Третьего, и австрийский дукат 1915 года номиналом четыре с изображением императора Франца-Иосифа в лавровом венке в виде ленты, завязанной на затылке бантом, и неровная, словно обку-

санная по краям, экзотическая бухарская золотая тилля 1866 года. Конечно, продать монеты будет непросто – это Иосиф прекрасно понимал. Денег почти ни у кого нет, но ведь расплодилось же богатые предприимчивые люди, чьи упитанные физиономии чуть не каждый день мелькают в телевизоре. Остаётся надеяться, что эти господа соображают, что в золото выгоднее вкладывать, чем хранить деньги. Монеты никогда не дешевет, и если бы не обстоятельства... Но довольно! Нечего нюни распускать и руками всплёскивать. Раз решился – пора действовать.

Увы-увы, основной поставщик монет, давний друг и пациент Пётр Петрович Топорков, скончался два года назад. Уж с ним-то можно было и настоящую цену коллекции обсудить, и не бояться, что при продаже нарвешься на жуликов. А то ведь, не ровён час, найдутся «деятили» — и денег не заплатят, и монеты отберут. Но нет больше забавного лысого старика с косматыми чёрными бровями-гусеницами. Нет умницы, чокнутого нумизмата и замечательного собеседника, и это очень и очень жаль.

Неделю назад в Апраксином дворе, называемом в народе «Апрашка», Иосиф наткнулся на лавку с симпатичным названием «Монетка». Ещё недавно никакой «Монетки» и в помине не было, а на её месте – это Иосиф точно помнил – стоял магазин спортивных товаров. Но нынче ничему удивляться не приходилось: одни торговцы стремительно начинали свой бизнес, другие столь же стремительно разорялись, однако бойкий товарооборот ни на миг не прекращался.

Иосиф с минуту нерешительно постоял возле лавки, потом, не спеша, спустился по щербатой грязной лестнице в подвал. В небольшом, но на удивление чистом и хорошо освещённом помещении, он обнаружил весьма профессионально размещённый товар: на застеклённых полках чернели бархатные вертикальные подставки с углублениями для монет, подсвеченные маленькими лампочками. Иосиф кивнул продавцу, парню лет тридцати в белой рубашке и кожаном пиджаке. Тот приветливо улыбнулся в ответ, и Иосиф принялся разглядывать экспонаты. Среди советских серебряных монет 20-х годов, более поздних юбилейных рублей, попадались и очень приличные вещи, вроде царских золотых и даже редкий и дорогой елизаветинский червонец 986-й пробы с распятием Святого Андрея Первозванного на реверсе. Цена червонца была сумасшедшей, но Иосиф понимал, что монета того стоит. В прежние времена он и сам бы решился её приобрести, но не сейчас, конечно, не сейчас.

Он повернулся к продавцу – тот равнодушно наблюдал за ним. Наверное думал, что это очередной зевака, который от нечего делать глазаёт на витрины. Но Иосиф похвалил коллекцию, отдельно отметил елизаветинский червонец и вообще высоко отозвался об устройстве магазина. Продавец расплылся в улыбке:

– Приятно встретить знатока. Любопытных тут много шатается, а сами-то в монетах ничего не понимают. Я, знаете ли, всю жизнь нумизматикой интересуюсь. А как перестройка началась, решил открыть свой магазин. Тем более, мой НИИ, где я инженером работал, накрылся медным тазом. Вот и решил осуществить мечту – соединить хобби и работу. Меня, кстати, Женя зовут.

Иосиф назвал себя и с удовольствием пожал протянутую руку. Рукопожатие

у продавца оказалось крепкое, но не «железное», какое часто бывает у мужиков с повышенной самооценкой, сразу желающих продемонстрировать, «кто тут хозяин».

«Не похож этот Женя на жулика», – подумал Иосиф и как-то внутренне успокоился.

– Чем интересуетесь? – деловито поинтересовался Женя. – По желанию могу найти вам всё, что хотите. У меня большие связи в этом мире.

Иосиф Миронович улыбнулся и объяснил, что он, скорее, продавец, что, увы, обстоятельства вынуждают не покупать, а продавать. Вот и пришёл, как говорится, на разведку и будет рад, если его коллекция («О, поверьте, очень достойная»), приглянётся. О цене, уверен, они договорятся.

В конце концов порешили встретиться через два дня, поскольку завтра у него были пациенты с самого утра до позднего вечера.

Дома монеты хранились в надёжном месте. Этот тайник много лет назад за весьма и весьма круглую сумму соорудил его пациент, как выяснилось, впоследствии, большой специалист по вскрытию чужих сейфов. Однако этот умелец давно умер в местах не столь отдалённых и не мог никому ничего рассказать. О тайном месте было известно только жене Полине. Но она умерла два года назад от острого лейкоза. Ушли из жизни и тесть Владимир Васильевич и тёща Зоря Яковлевна, с которыми он всю жизнь прожил в одной квартире, давно нет на свете ни отца, ни матери, ни Берты. Даже дочери Ляли место тайника было неизвестно, да она никогда им и не интересовалась.

Иосиф притащил из подсобки стремянку, приладил к антресоли и полез наверх. Там открыл дверцу, отодвинул в сторону банку с высохшей краской, нащупал в стене справа еле заметную выпуклость, слегка надавил на неё и тут же услышал нежный щелчок. Открылась дверца потайного шкафчика. Просунув руку внутрь, он наощупь отыскал старый холщовый мешочек и вытащил наружу. Спустившись с лестницы, прошёл в гостиную, где было светлее, высыпал монеты на стол и пересчитал. Семнадцать штук. Если выгодно продать, выйдет весьма солидная сумма. Не такая, конечно, какую можно было выручить за прежнюю коллекцию, но тоже совсем, совсем недурственная. Плюс деньги за квартиру, плюс сбережения. Можно быть спокойным – он всё ещё небедный человек. Иосиф сидел и в задумчивости глядел на свои сокровища, словно видел их впервые. Он действительно много лет не прикасался к ним. После известных событий, о которых речь впереди, он совершенно потерял интерес к приобретению новых монет.

Сейчас золотые кружки, как потухшее солнышко, обмякшей горкой лежали на столе. Старый, рукодельный мешочек с трогательной завязкой-верёвочкой, сшитый заботливыми руками Берты, горбился рядом. Иосиф взял его в руки, но вдруг неожиданно яростно смял в кулаке, словно разозлился на него. Потом вздохнул и бережно вернул на стол. «Надо же, – подумал он грустно, – казалось бы, ну что мешочек, ничтожная вещица, а столько воспоминаний навеял». Перед глазами возникла Берта, тихая маленькая Берта. Он вспомнил их первую встречу.

...Да, он вновь вспомнил тот майский день 1945 года. Вокруг тошнотворно пахло сиренью. Её кусты, сгибаясь под тяжестью роскошных бело-розовых цветов, росли

вдоль дороги, ведущей к Вишнеево, у каждого палисадника, у реки Ольховки. Сирени и раньше в деревне было множество, но никогда Иосиф не обращал внимания на то, что она так остро, так резко пахнет. Недавно прошёл небольшой дождь, выглянуло солнце, и на небе выросла ослепительная радуга. Она, словно жар-птица, обняла своим крыльями и Вишнеево, и селения вдалеке за рекой, и весь мир за полем и лесом. Но больше всего именно запах сирени назойливо уверял, что вокруг весна, всё замечательно и радостно, ведь пришла долгожданная Победа. Это было, конечно, так. Однако в душе надёжно поселилась тревога. За четыре года войны и эвакуации они не получили ни одной весточки от бабушки с дедушкой, ни одного письма и от других родственников из Вишнеево, сколько бы им ни писали. Да, разумеется, было известно, что Белоруссию с самого начала войны оккупировали немцы, но в 44-м фашистов же выгнали! Так почему никто по-прежнему не пишет? Строились всякие догадки. Может, родня уехала куда-то так далеко, что почта в тех местах просто не работает? Скажем, они оказались на Крайнем Севере. Или, не дай бог, в плену, но скоро вернутся. Или... Представлять худшее было страшно, да и не хотелось.

Мать, Мирочка и Иосиф уехали в эвакуацию со своего родного Валдая в июне 41-го и оказались на Урале, в небольшом городе Глазове. Но как бы ни было там тяжело, как ни голодно и холодно, они были живы и почти здоровы. Ну, допустим, Иосиф почти два года не ходил в школу, потому что вместе с матерью работал на глазовском пороховом заводе. Подумаешь, после войны закончит! Жив был и отец. Он в июле 41-го ушел добровольцем на фронт и в последнем письме известил, что вот-вот вернётся. Скоро, совсем скоро все они встретятся в их доме в Валдае. Дай бог, чтобы только он был цел, их чудесный дом, построенный отцом из толстого бруса, с островерхой крышей, большой верандой и садом. Но прежде, конечно, нужно узнать что же всё-таки случилось с бабушкой и дедушкой. Поэтому перед возвращением на Валдай и сделали крюк в Белоруссию.

Из Глазова в Вишнеево на поездах со многими пересадками и остановками тащились десять дней через всю страну. Сошли на станции Богдановская и оттуда с чемоданами и тюками ещё шесть километров плелись пешком по узкой просёлочной тропинке. Из-за усталости и дурных предчувствий шли молча. Мать впереди, в старой потёртой юбке, коричневом пиджаке и пёстрой косынке. В её всегда прямой спине сейчас не чувствовалось обычной уверенности. Иосиф понимал, что и она страшится узнать правду и держится только ради детей. Замыкала шествие младшая сестра Мирочка. Иосиф слышал неровный ритм её шагов в тяжёлых башмаках: т-у-у-к-тук, т-у-у-к-тук.

Мирочка была хромой от рождения. Одна нога у неё была немного короче другой. Своей хромоты девочка очень стеснялась, была тихой и робкой. Большие серые глаза смотрели виновато, руки с тонкими пальцами сжаты в кулачки, словно она от кого-то защищалась, хотя, конечно, никто на неё не нападал. Даже мать редко сердилась на Мирочку. Да и как было сердиться? Послушная, славная девочка. Не то, что шумный Иосиф с его норовом и вечным «своим мнением». Мирочка часто болела, но всегда как-то тихо, без слёз и драм, словно старалась быть как можно незаметнее. Она и внешне была иной. Все – и мать, и Иосиф, и отец – были крупные, носатые, курчавые. Мирочка же была небольшого

роста, с ясными светлыми глазами и длинными русыми волосами, которые стягивала в тугий узел на затылке. Сейчас девочка плелась из последних сил. Новые ботинки, которые мать ей купила на глазовском рынке перед самым отъездом взамен старых развалившихся, нещадно натирала. Подложенная внутрь вата положения не спасла, и палец упрямо упирался в какой-то внутренний шов. Однако девочка мужественно терпела, не жаловалась и не ныла, только тяжело вздыхала и время от времени останавливалась отдохнуть. Тогда они с матерью молча пережидали, когда Мирочка придёт в себя, и двигались дальше.

Прошли мимо реки Ольховки. Здесь когда-то давно дедушка Моисей, мамин папа, научил восьмилетнего Иосифа плавать. И сразу же купание в реке стало главным летним удовольствием, о котором Иосиф мечтал весь учебный год. Его невозможно было вытащить из реки.

С дружкой Стёпкой, сыном бабушкиной товарки Антонины Васильевны, они плавали наперегонки в прохладной, небыстрой воде и глядели, как постепенно на высоком берегу уходили в сторону каменный костёл, одноэтажная школа, деревянная синагога, церковь с высокими крестами. Стёпа был старше на год, коренастый, физически более сильный. Он плавал лучше, а Иосиф только мечтал когда-нибудь обогнать приятеля, но нет, так и не получилось, сколько ни старался. Всегда Стёпа приплывал первым, а потом ещё смеялся и обзывал его «валдайский дохляк». А когда Иосиф, накупавшись до одури, до полного обессиливания, замёрзший, голодный приплетался домой, бабушка сердилась: мол, сколько можно, не евши-не пивши, торчать в воде, будто он, не здесь будет сказано, не ребёнок, а утка! Потом замахивалась на него полотенцем и сердито кричала: «Ай, хворая твоя голова, Сюнечка, я ж тебе задам!». Но ничего она, конечно, не «задавала», кормила горячей картошкой с хлебом и молоком, а её присказка «хворая твоя голова» стала символом канувшего в небытие счастливого детства, которое укатило за пригорки, леса и овраги прекрасного, как мечта, Вишнеево.

Они шли по деревне и не узнавали её. Поле на её краю, всегда засеянное пшеницей, заросло сорняками и дикими цветами. По нему важно вышагивала ворона и вертела чёрной головой туда-сюда, словно удивляясь, куда могли деться колосья. Потом дошли до сгоревшей синагоги, от которой остались только остов да фундамент. Чем ближе подходили к родному местечку, тем становилось страшнее. По дороге встретили пару знакомых сельчан, но те, кивнув без улыбки, торопливо заспешили прочь. Но вот и знакомая улица. Остановились, как вкопанные. Собственно, улицы не было. А был ряд сожжённых домов. Печные трубы, словно воздетые к небу руки, высились над руинами. Мирочка громко заплакала. Иосиф зажмурился и закрыл лицо руками, чтобы не видеть, не знать, прогнать прочь страшную картину. Мать молча глядела на адское зрелище. Иосиф открыл глаза и, не утирая слёз, которые лились рекой на его клетчатую фланелевую рубашку, обнял мать за плечи. Та, сжав губы, не отрываясь, глядела на остатки жилищ. Тощий, полосатый кот развалился на обутленной сетке железной кровати и лениво щурил глаза. Отдельно от кровати, словно сделав шаг в сторону, стояла удерживаемая какими-то сгоревшими руинами, прикроватная спинка с металлическими шариками. Это была кровать бабушки и дедушки.

Мать, не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь. Дети последовали за ней.

И вот уже несколько часов сидят они в избе Антонины Васильевны, бабушкиной товарки. Давно ушла с неба радуга, накрапывал мелкий дождь. В комнату из распахнутого окна потянуло прохладным ветерком и резко запахло сиренью. «Опять эта проклятая сирень, – с отвращением подумал Иосиф, – несёт от неё, будто бочку одеколona на землю пролили. И зачем её столько? Скорее бы домой, на Валдай!»

Он смертельно устал. От войны и эвакуации в Глазове. От дороги в Вишнеево. От ожидания новостей про бабушку и от того, что теперь узнал их. Он больше не мог и не хотел слушать Антонину Васильевну, грузную, неопрятную женщину с носом-картошкой, коричневой бородавкой у носа и в несвежем ситцевом платье. За что он злился на неё? Ведь она была добра к ним – пригласила в дом, дала воды умыться, накормила супом из сушёных грибов, горячей картошкой с укропом и молодым луком, щедро нарезала хлеба. Отыскала в сундуке для Мирочки Стёпкины башмаки, и они пришлись ей впору. Но старуха беспрерывно, перебивая саму себя, говорила и говорила, и вываливала на их одуревшие головы всё новые подробности того, что случилось и с ней, и с их родными. Слушать это было невыносимо и хотелось приказать ей заткнуться. Но ведь они за тем и приехали, чтобы узнать правду, и никто не был виноват, что эта правда оказалась такой ужасной.

Вначале Антонина Васильевна всхлипывая и плача рассказала, как в первые же дни войны муж её, Василий Игнатьевич ушёл в партизаны, а через год, сколько она ни просила, сколько ни умоляла, и сын Стёпа «сбёг к нему». Оба погибли в 43-м. Подорвались на mine. Царствие им небесное.

Она мелко перекрестилась.

– А вот вашим-то родственникам, Фанечка Моисеевна, подольше пришлось помучиться. Ой, пришлось! Как фашисты, эти звери, чтобы им в аду гореть, в июне 41-го в Вишнеево-то зашли, так немедля принялись переписывать всех евреев, что здесь жили. Конечно, сами-то они ни за что бы с таким делом не справились, если бы не наши иуды Петро и Андрей, что продались немцам. С их-то помощью фашисты всех и переписали. Потом людей из ихних домов повыгоняли да запихали в десяток изб по пять-шесть семей в каждую. И избы эти высоким забором с колючей проволокой обнесли, словно тюрьму. Да это и впрямь была тюрьма. Сколько ж я этих расстрелянных повидала, страсть божья! Дитё у матери, к примеру, плачет, не хочет, голодный, спозаранку-то идти с ней на работу. Так они вначале дитё расстреляют, а потом уж мать. И хохочут, изверги! И фотографируют, что натворили. На память, значит. Но ваши-то живы были до самого конца, я сама видала. Не думайте – я им когда хлебушка тайком передам, когда картошечку суну. Мы ж с вашей бабушкой были соседи, дружили.

И не в силах вспоминать, снова заплакала, потом, пересилив себя, продолжила.

– Но только в августе всё разом и закончилось. Жара в те дни стояла несусветная. Я вышла из дома пораньше, из колодца воды натаскать. Гляжу, чего-то немцев полно на Садовой улице, а на дороге толпа евреев. Старые, молодые. Все стоят, молчат, не понимают, куда их поведут. А может, и понимают, откуда мне знать. Я с перепугу за церковь сховалась. А то ведь у них, у фашистов, разговор короткий – чуть что стреляют. Вижу, загнали людей в амбар, заперли

на замок, и давай пулять со всех сторон! Долго пуляли, пока ихний командир чего-то не приказал. Немцы разом стрелять перестали и, гляжу, наши-то полицаи, Петро с Андреем, амбар бензином поливают да ещё на немцев поглядывают, мол, глядите, как работаем справно. Мать божья! Амбар подожгли. Он же деревянный, сразу загорелся, вспыхнул, как свечка. Я сама всё это видела, вот те крест. Не хотела смотреть, да смотрела, как людей, точно дрова, сжигают. Которых из пулеметов сразу не поубивали, горели заживо. Как же они кричали! Волоса на голове дыбом вставали от того крика. Потом помаленьку всё стихло. И немцы ушли. А я подождала чуток и домой побегла. И вот не совру, но тот запах палёного мяса ещё с месяц над деревней стоял.

Антонина Васильевна умолкла. Молчали и мать с детьми. Тишина стояла в избе тяжёлая и густая. Кукушка в настенных часах прокуковала четыре раза. За окном перегакивались собаки. Жизнь буднично катилась своим чередом. И небо не упало на землю, и солнце не погасло. И это казалось самым невероятным.

Иосиф, не мигая, глядел на деревянный стол, на его давно не мытые доски, словно хотел там что-то отыскать. Его знобило. Мирочка уже дважды выбегала в палисадник – её долго и мучительно рвало. Действительность с оглушительной силой обрушилась на этих детей. Иосифу было семнадцать, сестре тринадцать. Им казалось, что они живут на свете уже сто лет. Что познали все ужасы и мерзости этого мира. Что они никогда не будут счастливыми и до конца дней у них перед глазами будет стоять тот амбар, а в ушах звенеть крик заживо горящих в нём людей. Пыльная дорога на работу, дети, старики и женщины, окрики немецких часовых, лай сторожевых собак, жёлтые звёзды на одежде, кот на обуленной бабушкиной кровати.

«Ай, Сюнечка, хворая твоя голова».

Мать, с посеревшим и вмиг постаревшим лицом, будто очнулась и медленно встала из-за стола. Посмотрела на детей. Сняла пиджак, протянула Иосифу – его била мелкая дрожь. Он благодарно кивнул. Потом подошла к Мирочке, обняла девочку, погладила по голове. Та уткнулась матери в живот и всхлипнула. Мать обернулась к хозяйке.

– Антонина Васильевна, водички можно?

Антонина Васильевна встрепенулась, взяла с печи глиняный кувшин с нарисованным на боку подсолнухом, плеснула в щербатую кружку и протянула Мирочке.

– Попей, золотце, легче будет.

– Завтра утром уедем домой, – сказала мать, – а сегодня позвольте переночевать у вас. Дети устали, да и поездов до утра не будет.

– Да неужели ж я, Фаня Моисеевна, вас с детьми на улицу выгоню? – всплеснула руками Антонина Васильевна.

– Спасибо. Я вашу доброту вовек не забуду. Напоили, накормили, моим помогали...Если что будет нужно – пишите, всегда поможем, чем может. А то и приезжайте. У нас всем место найдётся. Обязательно приезжайте.

Антонина Васильевна кивнула головой.

Мать прошла по комнате и огляделась.

– Вы уж меня простите, Антонина Васильевна и не обижайтесь, дорогая. Но почему у вас в доме такое запустение? Полы будто сто лет не мыты, стол грязный, занавески не стираются.

– Нет у меня ни сил, ни хотения порядка наводить. Да и для кого стараться-то? – равнодушно бросила та.

– Для себя, Антонина Васильевна, для себя. Не вернуть нам наших близких, а жить надо. Хотя бы назло фашистским тварям, чтоб они сдохли и горели в аду.

Тут голос её окреп и в нём появились привычные командные нотки.

– Не беспокойтесь, милая моя, мы тут мигом порядок наведём. *Киндэр*<sup>1</sup>, а ну, живо за работу! Не сидите тут, как кошка на заборе. Мира, посуду перемой. Видишь, вся засалилась. И стол ототри. А ты, Сюня, бегом к колодцу за водой. Будем полы мыть и занавески стирать.

Антонина Васильевна только руками всплеснула от материнской прыти, но возражать не стала. Молча принесла какие-то тряпки и кусок мыла.

Кажется, от появившейся работы всем как будто стало легче.

Иосиф взял вёдра и отправился к колодцу. Колодец был недалеко, и он прекрасно помнил дорогу к нему. Антонина Васильевна не раз гоняла их туда со Стёпкой. Выйдя за калитку Иосиф увидел на дороге нищенку, маленькую, оборванную. Она шла, шатаясь, словно из последних сил. Иосиф вздохнул. Много он их уже повидал за время войны. Но эта была особенная. Таких худых людей он вообще не встречал. Голова женщины казалась огромной, а ноги выглядели тоненькими прутиками. Они с трудом удерживали иссохшее тело. Непонятно даже было – молодая женщина или старая. Это был скелет без возраста.

Иосиф проводил нищенку глазами. Мать ждала его с водой, и лучше бы от греха подалше не задерживаться. Вскоре он вернулся с полными вёдрами и, зайдя в палисадник, сразу обратил внимание, что дверь в уборную – обычную некрашеную деревенскую будку, скрытую за деревьями, открыта нараспашку, хотя он прекрасно помнил, что сам запирает её на щеколду, когда недавно бежал туда по нужде. Он поставил вёдра на землю. Подошёл к будке, заглянул внутрь. Вначале в тёмном пространстве он увидел какую-то шатающуюся тень, а когда понял что это, то закричал так страшно и дико, что через минуту возле него уже были и мать, и Антонина Васильевна, и Мирочка.

В уборной, рядом с «толчком» валялось ведро, а на перекинутом через балку на потолок поясе, висела та самая нищенка, которую он встретил на дороге.

Мать немедленно велела Иосифу с Антониной Васильевной приподнять тело, а сама сноровисто развязала петлю. К счастью, женщина была ещё жива. Иосиф, понукаемый матерью – «смотри, не споткнись», «неси осторожно», «давай, шевелись», – притащил невесомое тело в избу. Там женщину уложили на топчан. Какое-то время она сильно кашляла, потом утихла. Все сгрудились вокруг и молча глядели на её бледное, без кровинки, измождённое лицо, синюю полосу от вёрёвки на шее, ветхую, явно с чужого плеча, одежду и совершенно развалившиеся, дырявые башмаки. Мать налила в кружку воды и приподняла голову женщины. Та, не открывая глаз, отпила, снова закашлялась и без сил откинулась на подушку.

<sup>1</sup> Дети (*идиш*).

– Господи, худющая-то какая. Чистый скелет. И глядите, номер у нее на руке выбит, – промолвила Антонина Васильевна и без перехода запричитала. – И с чего это она такое с собой сотворила? Да ещё у меня на дворе!

– Была, наверное, причина. Не могла же она это просто так, – ответила мать, укрывая женщину одеялом.

– У нас у всех причина, мы всё же не вешаемся, – не унималась Антонина Васильевна.

Мирочка села возле топчана на корточки, взяла прозрачную руку женщины и погладила её. Женщина открыла глаза, и слёзы потекли у неё по сморщенным щекам.

– Как вас зовут? – спросила мать.

– Берта, – прошептала она. – Хлеба... Дайте хлеба...

Антонина Васильевна метнулась к печи. Плеснула в миску грибного супа, накрошила туда хлеб, зачерпнула ложкой и поднесла к губам женщины. Та с жадностью проглотила и первую ложку, и вторую, и по тому, как она, захлебываясь и торопясь, опустошила миску, было видно, как она голодна. Мать внимательно глядела на нее, на номер на руке, потом наклонилась и тихо спросила на идише:

– *Фунванэн бисту, мамэлэ?*<sup>2</sup>

– *Фун Литэ*<sup>3</sup>, – тоже на идише ответила она

– Так ты из Литвы... А как ты в здесь оказалась?

– Я... я из концлагеря, из Штуттгофа.

Антонина Васильевна напряжённо слушала непонятную речь. Иосиф ей тихонько переводил.

– Да где же тот Штуттгоф?

– В Польше.

– Как ты сюда попала?

– Нас русские освободили.

– Русские?

– Да. Пришли и говорят, вы теперь свободны, езжайте, куда хотите. Я и поехала. Поезд шёл только до Минска. Потом сказали, только до Богдановской. Мне было всё равно. Думала, ничего, как-нибудь доберусь.

– А как ты оказалась в концлагере?

Берта тяжело вздохнула.

– Я в Каунасе жила. Как немцы пришли, всех евреев согнали в гетто. Многих расстреляли. Меня нет. Я портниха, форму немцам шила. А в 44-м, кто остался живой, перевезли в Польшу, в лагерь Штуттгоф...

Женщина замолчала, не в силах продолжать. Опустила голову на грудь, долго молчала. Все уже решили, что она больше ничего не скажет, но она неожиданно заговорила.

– Там, в этом Штуттгофе... было совсем ужасно. Мы голодали, кругом охранники с собаками. Работали по пятнадцать часов. Я каждый день думала, что и мне вот-вот конец. Молилась, чтобы он скорее пришёл.

Берта вздохнула.

<sup>2</sup> Откуда ты, милочка? (*идиш*).

<sup>3</sup> Из Литвы (*идиш*).



– А когда май настал, видим, в лагере что-то происходит. Немцы злые, бегают, суется. Никого не сжигают и не расстреливают. И однажды встаём – ни охраны, ни собак, ни надзирателей. Сбежали. И тут вошли в лагерь русские. Стоят, смотрят на нас. Среди них один генерал, я думаю, он еврей. Глядит на нас и плачет. Говорит, четыре года на войне, всякое повидал, но такого даже представить не мог. Потом русские нас накормили, дали какую-никакую одежду и сказали: идите, вы теперь свободны.

– Так чего ты вешаться решила? Освободили, жива осталась. Что случилось?

– Мне один человек в поезде... Он сказал... Он сказал... Нет, я не могу...

И она зарыдала. Громко, страшно. Маленькая, жалкая, похожая на пожилого ребёнка, с огромными запавшими глазами и седыми, редкими волосами, она зажимала кулачком узкий рот и раскачивалась из стороны в сторону, словно молилась, чтобы всё, что с ней случилось за годы унижений, голода, рабского существования, отнятого здоровья и надежды, было проклято и забыто.

Дети, мать, Антонина Васильевна, потрясённо глядели на Берту и не находили слов утешения. Да и что они, пережившие собственный кошмар, могли сказать бедной женщине? Мать помогла ей удобнее лечь, поправила одеяло, и Берта мгновенно уснула. Мать положила ей руку на лоб и поцокала языком.

– Вся горит. Жар у неё.

Потом оглянулась на безмолвных детей.

– Нечего тут стоять и пялиться. Это вам не кино. Пусть человек поспит, так что всем ша, я сказала!

Мать, совершенно преобразившаяся от того, что нужно кого-то спасать, раздавала команды направо и налево. Иосиф был послан к реке с заданием найти и принести ивовую кору. Из неё, как уверяла Антонина Васильевна, получается прекрасный отвар против жара. Мирочке было поручено прикладывать на лоб больной мокрые полотенца. Сама же мать отправилась по соседям искать курицу и какую-нибудь одежду для Берты. Скоро вернулась с добычей. Дашкевичи, давние хорошие знакомые, обрадовались ей, пригласили в дом, напоили чаем, поохали и, услышав историю Берты, сообщили, что как раз завтра утром собирались на базар продать курицу, а тут, надо же: покупатель сам в дом явился. Как говорится, на ловца и зверь бежит. И платье для Берты у них в сундуке нашлось – ещё школьное выпускное дочки Оли. Лет двадцать оно пролежало без надобности, так что соседи были рады-радешеньки «за недорого» сбыть «добрую вещь». И даже старую Оленькину ночную сорочку, ситцевую, в мелкий горох, хоть и вылинявшую, но целехонькую и крепкую, вообще в подарок отдали. Так что всё сложилось наилучшим образом.

И уже вскоре на печи, сводя всех с ума лучшим в мире запахом, кипел и наваривался куриный бульон, который, как известно, есть лучшее в мире средство от любой болезни, включая горести и печали.

Порядок в доме был наведён, бульон сварен и даже частично съеден.

И все, наконец, без сил рухнули по койкам.

Засыпая, Антонина Васильевна, страшно уставшая от неожиданных хлопот, в душе себя хвалила. Всё же она пригрела несчастных и помогла вытащить из петли заблудшую душу. «И чего эта доходягя удумала? Уже почти до своего Каунаса

добралась. Небось, и родные там какие-никакие остались. Дотерпела бы немного. Но нет, решила вешаться! Хорошо, Йоська-то хоть с ведрами скоро вернулся, а то бы уже труп из петли вынимали, ещё и хоронить пришлось бы, – Антонина Васильевна даже вздрогнула от такой перспективы. – Только куда она теперь пойдёт? Пожалуй, и не дойдёт никуда. А то и снова что-нибудь сотворит с собой», – вздохнула женщина да и уснула.

Мирочка, глядя в окно, за которым перемигивались чистые и далёкие звёзды, снова вспомнила фразу, обронённую Бертой: «Мне в поезде сказали...» Что же эта бедняжка узнала, от чего вешаться решила? В своём концлагере не вешалась, а тут не удержалась, гадала девочка. Нужно будет обязательно её расспросить. Если, конечно, мама не заругает.

Иосиф тоже не мог отделаться от мыслей о Берте. Наверное, больно ей было висеть. Он бы никогда на такое не решился. Что с ней теперь будет? Хотя, зная решительный характер своей родительницы, он был почти уверен, что та не бросит бедолагу на произвол судьбы. Невероятно деятельная по натуре, мать вечно кидалась помогать всем вокруг, и тем, кто нуждался в помощи, и даже тем, кто не нуждался. Сама небогатая, часто посылала деньги родственникам, если узнавала, что у тех в семье кто-то умер или, наоборот, намечается рождение ребёнка. Как-то взяла на всё лето детей своей тётки из Могилёва, у которой сторел дом, а то вдруг неожиданно привезла из Вишнево дальнюю родственницу, просто потому, что, как ей показалось, бедняжку необходимо было подкормить, а то «сердце разрывается, глядя на эту худышку». «Худышка» жила у них несколько месяцев и, поправив здоровье на щедрых маминых харчах, уехала к себе домой, и больше о ней никто не слышал. Ни благодарного письма, ни открытки к празднику.

И не раз отец, с которым никто даже не советовался, брать в дом человека или нет, безнадёжно спрашивал: «Зачем ты лезешь со своей помощью, ты же знаешь, чем это может закончиться?» Но мать, махнув рукой, сердито отвечала: «Ой, Мирон, когда человек нуждается, разве думаешь о последствиях? О чём ты говоришь? У неё муж умер, она одна-одинёшенька на свете осталась, дочка её жениха потеряла, в скелет превратилась от переживаний, а ты интересуешься знать, как тебя потом отблагодарят? Ты что, ума не имеешь или страдания? А помнить или не помнить, быть благодарным или нет, это уж дело каждого». И тут она в качестве решающего аргумента припоминала очередную еврейскую мудрость: «Вэр эс вил хобн рахмонэс аф зих, мус хобн рахмонэс аф андэрэ!» – «Кто хочет, чтобы пожалели его, должен жалеть других». И хватит! Ун генут! Покончим с этим! Так что, как именно мать поступит с Бертой, сомневаться почти не приходилось.

Утром мать и Антонина Васильевна продолжили хлопотливую деятельность по спасению Берты. Пока она спала, был накрыт стол для завтрака, нагрета на печи вода, приготовлены таз для мытья и чистое полотенце. Наконец Берта проснулась и села на топчан.

– Ну, мамэлэ, вижу, получше тебе? И хорошо, и незачем тебе болеть. Давай, вставай. Знаю-знаю, ты голодная. Будет тебе бульон. Но прежде мыться. Погляди на себя! Когда ты видела мочалку последний раз, помнишь?

– Давно, – прошептала Берта.

– Снимай свою рванину. Добрые люди тебе платье дали. Что за платье! *Зээр а шэйнэ*<sup>4</sup> Прямо не стыдно и в *шабэс*<sup>5</sup> надеть.

Берта медленно разделась. Мать свернула её одежду и выбросила в мусорное ведро.

– Это не вещи. Это *азохен вэй*<sup>6</sup> что такое.

Антонина Васильевна налила в таз воды, и Берта, поёживаясь и переминаясь с ноги на ногу, опасливо ступила в тёплую воду, как ступают в море или незнакомую речку. Женщины переглянулись. То, что горбилось перед ними даже нельзя было назвать телом. Это было нечто узкое, жалкое, с выпирающими, словно колья в заборе, ключицами, сморщенной маленькой попой, висящими мешочками груди и прозрачной кожей, через которую виднелись гармошка рёбер. Мать с Антониной Васильевной осторожно тёрли намыленной лыковой мочалкой жалкую плоть, и Берта, зажмурившись и поворачивались то одним боком, то другим, постанывала от забытого удовольствия. Наконец, с мытьём было покончено. Берта, насухо вытертая и переодетая в новое платье, усажена за стол. Мать подала ей тарелку бульона, Антонина Васильевна протянула кусок хлеба. И тут Берта осторожно взяла их руки в свои и начала целовать, целовать без остановки. Слезы в который раз потекли по её щекам.

– Спасибо, спасибо вам, – всхлипывала она. – Что? Что я могу для вас сделать? Как отработать? Чем отблагодарить?

– Ты что, Берта, с ума, что ли, сошла? Зачем? К чему это всё? – рассердилась мать, отдергивая руку.

– Ты вон бульон ешь, – смахнув слезу, нарочито грубо отозвалась Антонина Васильевна, – Фаина Моисеевна, добрая душа, специально для тебя его стоговила. Ишь, чего удумала, руки целовать. Мы что тебе – попы, что ли? Руки она нам целует!

Хоть и ругали женщины Берту, но тяжело, очень тяжело им было смотреть на несчастную. И тёплая мысль, что они самые что ни на есть «спасительницы» униженного, дошедшего до самого дна, создания, зашевелилась на миг в их бескорыстных душах да и испарилась так же быстро, как и пришла.

На шум явились заспанные Иосиф с Мирочкой.

– Давайте, дети, умывайтесь скорее, завтракайте, сегодня домой едем, – приказала мать. Потом строго поглядела на Берту. – И ты тоже с нами поедешь.

Берта покорно кивнула. Кажется, она даже не удивилась и просто подчинилась воле матери, во власти которой уже была целиком и полностью.

Дома их ждал отец – герой и молодец, грудь в медалях, ни единой царапины за всю войну. Они не виделись четыре года. Отец похудел, осунулся, но был всё такой же большой и крепкий, косая сажень в плечах. Богатырь! Объятиям и поцелуям не было конца. Отец глядел на детей и шутливо восклицал: «Это не мои дети! Это какие-то чужие дядя и тётя!»

Те хохотали и уверяли, что они всё те же, его Иосиф и Мирочка. До войны

отец запросто поднимал обоих. Сейчас, глядя на ребят, он с сомнением покачал головой:

– Наверное, уже и не осилю.

Потом сгреб детей в охапку и разразился радостным, таким родным и почти забытым, смехом.

Берта скромно стояла в стороне, опустив голову. Отец, оставив сына и дочку, взглянул на незнакомку: мол, кто это? Мать шепнула: «Позже расскажу, – но решительно добавила, – а жить она будет у нас». Отец только вздохнул – он знал характер жены, спорить не стал и кивнул Берте:

– Добро пожаловать. Живите, конечно. Места много, всем хватит.

Начали обустраиваться.

Немцы до Валдая не дошли. Красная армия их остановила всего в нескольких десятках километров от города, и потому в нём не было таких страшных разрушений, как, скажем, в Вишнеево да и в сотнях других городах и сёлах страны. Валдай остался таким же, как и был до войны. А его жители, эвакуированные в 41-м, возвращались не на пепелище и руины, а в свои жилища. И это было огромной радостью и удачей. Конечно, их большой дом в четыре комнаты с чердаком и верандой слегка покосился и отсырел, а сад зарос бурьяном и травой, но это была ерунда. Дом был цел и терпеливо ждал хозяев. А когда отец отодрал доски, которыми мать заколотила окна перед самой эвакуацией, распахнул рамы и в комнаты ворвался тёплый майский свет, осветив стол, стулья, старый зеркальный шкаф и – предмет гордости – кожаный диван с валиками, они окончательно поняли, что вернулись к себе.

Иосифу, правда, показалось, что дом стал как будто меньше. Но отец, улыбнувшись, объяснил, что это не дом стал меньше, а он вырос. Мирочке не терпелось проверить, цел ли её плюшевый заяц, который ей на пятый день рождения подарили бабушка с дедушкой. Заяца не взяли в эвакуацию, но он, слегка пожелтевший и обмякший, ждал свою хозяйку под кроватью в ящике с книжками и тетрадками. Заяц был вынут, обцелован и унесён в кровать.

Берта, всё ещё слабая и растерянная, старалась никому не попадаться на глаза и сидела целыми днями в своей комнате. Собственно, раньше это была комната Иосифа, но решено было переместить парня на чердак, чему он был ужасно рад. Наконец он будет один, наверху, откуда так хорошо видны и дорога, и озеро вдали, и небо со звёздами, и, что самое главное, никто не будет соваться к нему с дурацкими восклицаниями «что это за кавардак ты тут развёл!» – на чердак-то не налазаешься!

В хлопотах и заботах по устранению неполадок и обустройству жилья прошли две недели.

К Берте, как к бессловесной тени, уже привыкли и даже как-то не замечали. Зовут к столу – идёт, быстро поест и снова – нырк к себе. Уже мать объявила соседям, что это их тётя из Вишнеево, уже начала хлопотать о её документах, как однажды тёплым июньским днём, когда Иосиф с отцом чинили сломанные перила на веранде, Берта вышла из дома, подошла к мужчинам, поглядела на их работу и неожиданно прошептала:

– Мой сыночек Йозас тоже всегда отцу помогал. Рукастый он у меня парень... На тебя, Иосиф, немножко похож. Высокий. Красивый. *А шэйнэр поним*<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Красивый лицом (*идиш*).

<sup>4</sup> Очень красивое! (*идиш*).

<sup>5</sup> Шабат, суббота (*идиш*).

<sup>6</sup> Одни слёзы (*идиш*).

Иосиф от удивления выронил молоток.

– У вас есть и сын, и муж?

– Не знаю... Мужа, говорят, убили. Сына, наверное, тоже.

Отец отложил инструменты.

– Что значит: «говорят, убили»? Кто говорит? Кто это точно видел? Расскажете подробнее. Это очень важно.

И Берта, страшно волнуясь, словно боясь, что её прервут, начала.

– Понимаете, муж мой, Андрюс, он был литовец. В июне 41-го, за несколько дней до войны он с нашим сыном Йозасом уехал погостить к своей сестре Ядвиге в Тракай. У сестры был день рождения. Родня мужа не любила меня. Они не хотели, чтобы Андрюс женился на еврейке, и со мной знаться не желали. Вот Андрюс с сыном, ему уже тогда минуло шестнадцать, без меня к Ядвиге и отправились. А тут война началась. Я сразу оказалась в гетто и связь со своими потеряла. Но и в гетто, и в концлагере думала, что они живы, что, вот, когда, с божьей помощью, вернусь в Каунас, заживём мы, как прежде. Но когда уже после освобождения ехала домой, то в поезде услышала, как один человек говорит с женой по-литовски. Мы разговорились. Оказалось, он из Тракай, сосед Ядвиги. Городок там маленький, все друг дружку знают. И он рассказал, что как раз в день рождения Ядвиги два-три немца зашли к ней во двор и стали забирать её кур. На крыльцо выскочил брат Ядвиги из Вильнюса и давай с ними ругаться, мол, зачем птицу забираете, сестре нечем будет кормить семью. И в тот самый момент из дома на беду какой-то парень вышел. Так немцы обоих и расстреляли. Весь город про это гудел.

– Так этот человек не сказал, что парень был именно ваш сын? – спросил отец.

– Не сказал, но только кто ж ещё это мог быть, если не Йозас?

– Но у Ядвиги, наверное, и свои дети были? Может, кто-то из них?

– Нет, у неё три дочери.

– Всё равно. Нужно написать сестре мужа. Послать официальный запрос. И пока не придёт точное подтверждение, что ваш сын убит, нужно надеяться. Я во время войны такого навиделся, что ни один писатель не выдумает. Бывало, даже человека на расстрел вели, а в последний момент приговорённый смерти избегал.

– Так вы думаете, он может быть жив, сынок мой?

– А что думать и гадать? Напишем запрос да и будем ждать вестей.

Письмо Ядвиге написали, запрос отправили. Но ответ не приходил ни через месяц, ни через два. Однако с той поры Берта словно ожила. Силы быстро возвращались к ней, и она, получившая надежду, возрождалась на глазах. Стала незаменимой помощницей матери. У той всегда имелось «хозяйство» – куры, козы. Так Берта спозаранку и козу подоит, и курятник почистит, и блинчики, тонкие, ажурные на козьем молоке целую гору наделает, так что домочадцы просыпаются от неповторимого запаха свежеподжаренного чуда. Вообще, готовила она замечательно. Правда, по поводу приготовления некоторых блюд у них с матерью возникали непримиримые разногласия. Например, в форшмак – закуску из селедки – Берта, как было принято у них в Литве, добавляла яблоко. Это до глубины души возмущало мать, которая громко уверяла, что «никто и никогда, кроме этих сумасшедших литваков, не додумался бы пихать в форшмак яблоки», пото-

му что «нормальные люди, кроме лука и яиц туда ни-че-го не добавляют!» Были трения и по поводу гефилтэ фиш – фаршированной рыбы. Её мать, откровенно говоря, готовила невкусно и сыпала туда столько сахара, что Иосиф с детства материнскую гефилтэ фиш просто терпеть не мог. Остальные домочадцы были более терпимы к сладкой рыбе. А вот у Берты шука или карп были и подсолены, и подслащены так, что ни убавить, ни прибавить, и, таким образом, репутация фаршированной рыбы, этой царицы еврейских блюд, в глазах Иосифа была безоговорочно восстановлена.

Но главным, конечно, был потрясающий портняжный талант Берты. О таких искусниц нужно было поискать! Из плюшевой скатерти, пылившейся сто лет в шкафу, она соорудила матери замечательный жакет с высокими, по моде, плечами; Мирочка получила платье с оборками, умело перекроенное из старых материнских обносок; другие старые вещи пошли на сооружение рубашки Мирону и брюки Иосифу. Словом, семья, благодаря Берте, приоделась.

Уже живя в Ленинграде и будучи состоятельным человеком, имея возможность купить любую самую дорогую и модную одежду, Иосиф не раз с теплотой вспоминал свои первые «шикарные», по выражение матери, брюки, с моднейшими складками сверху у пояса и аккуратной стрелкой по всей длине. Они сидели как влитые и вызывали зависть и восхищение одноклассников. И было загадкой, откуда в этой простой женщине, которая нигде не училась, не заканчивала никаких швейных курсов и последние годы провела буквально в аду, был такой тонкий вкус и мастерство, делавшие любую сшитую ею вещь произведением портняжного искусства. Она была настоящим самородком, эта маленькая, тихая Берта. И много лет у него перед глазами стояла картина их житья-бытья на Валдае с их «приёмной тётей», как шутя называли её домочадцы.

Вечер. Берта с матерью сидят за большим круглым столом в гостиной. Мать – спина прямая, седые косы уложены корзиночкой, лицо строгое, узкие губы крепко сжаты, крупный, с горбинкой, нос, уверенно вперед глядит – перебирает рис или гречку, тщательно откладывая в сторону ненужный мусор. Рядом «тётя» – маленькая, сторбвившаяся, мелкое морщинистое лицо с большими, всегда виноватыми, глазами опущено. Она что-то шьёт. И снова, в который раз, вспоминает своего сына Йозаса, какой он был добрый да умный и работающий. «Сейчас, – вздыхает она, – мальчику моему уже двадцать первый годок пошёл, если он жив и здоров, конечно. Думаю, работает на какой-нибудь хорошей работе и меня ищет, да не знает, как найти». Между собой мать с Бертой говорят на идише. Берта неплохо знает и русский, и литовский, Но родной её язык, язык каунасских евреев, всё же идиш. И этот язык, и общее горестное прошлое и трудное настоящее объединяют таких разных женщин. Мать слушает, кивает и неизменно повторяет: «Цвэй мэнчн глэйбн нит ин дайн Тэйт: Енэр, вос хот дир либ, ун Енэр, вос хаст» – «Двое не верят в твою смерть: тот, кто тебя любит, и тот, кто тебя ненавидит». Так что верь, Берта, верь. Найдётся твой сын».

Но вестей ни от Ядвиги, ни от Йозаса по-прежнему нет.

Прошло два года. Иосиф заканчивал школу. И, хотя в эвакуации ему пришлось на время оставить занятия, теперь был он лучшим учеником класса. Та-

бель пестрел сплошными пятёрками, и всё это означало, что Сюня обязательно будет учиться дальше. Мальчик должен стать врачом и не просто врачом, а дантистом. Как повторяла мать: «У человека тридцать два зуба и какой-нибудь из них обязательно болит. Без работы, будь уверен, не останешься». Мысль, что сын станет доктором в большом столичном городе чрезвычайно грела родителей. И это было вполне объяснимо. В их роду с обеих сторон, много веков проживавших в местечках Белоруссии и Валдая, сколько ни смотри на много поколений назад, нельзя было сыскать ни одного человека с высшим образованием, никого, кто имел бы престижную профессию адвоката, врача или инженера и жил бы в большом городе. Все были лавочники, мясники, портные, сапожники, резники кур, рабочие. А тут, шутка ли сказать, доктор!

Отец Иосифа Мирон и до войны, и после возвращения с фронта работал рабочим на лесопилке и, бывало, придя с работы усталый, потный, в изнеможении валился на диван и говорил сыну: «Эх, Сюня, был бы я врачом, небось, не ухайдакивался бы так за гроши». Так что, по идее, сын, если всё пойдёт по плану, станет первым в их семье «большим человеком», «интеллигентом»! И учиться поедет в Ленинград. Вообще-то, если бы Иосифа спросили, он бы выбрал Москву. Всё-таки столица. Но мать встала насмерть. Ленинград и точка. Почему – про это была своя семейная история.

Давным-давно, ещё до войны, когда Иосиф с Мирочкой были отправлены на каникулы к бабушке с дедушкой в Вишнево, мать объявила отцу, что пора бы им «увидеть свет». Ну, свет не свет, а в Ленинграде не побывать хоть раз в жизни было просто «от людей неудобно», да и утереть нос этой толстухе и хвастуны Муське тоже стоило. Соседка их, понимаете ли, побывала там уже дважды и болтала всякую ерунду, что, мол, в Ленинграде прямо на улицах статуи стоят, а красота кругом такая, что просто... И закатывала к небу маленькие, заплывшие жиром, глазки, шумно вздыхая, мол, нету слов.

Ну, вот и отправились в Ленинград. На счастье нашлись у той же Муси знакомые, которые позволили пожить у них на Петроградской, пока сами были на даче. Мама вернулась сражённая наповал. Да, конечно, Эрмитаж, да Адмиралтейство, да Лавра, но доконало её кафе «Норд». Они оказались в нём случайно когда гуляли по Невскому и увидели перед входом в кафе с иностранным названием толпу людей. Мама справедливо рассудила, что народ просто так торчать в очереди не будет, и они с отцом встали в хвост. Оказавшись, наконец, внутри, мать была поражена буквально всем. В кафе витал волшебный, ни с чем не сравнимый сладостный запах; к низкому потолку прилеплена прямоугольная люстра, похожая на сверкающий ковер-самолет; на полках рядами стояли фарфоровые фигурки белых медведей, но главное, главное – это немислимое разнообразие тортов и пирожных, выложенных на подносе прямо перед покупателями. Мама, выросшая в бедности, привыкшая к самой скромной еде и представить не могла, что на свете существует подобное кондитерское роскошество и при этом совершенно доступное всем желающим. Отец, склонный к актёрству, впоследствии много лет изображал жену, якобы падающую в обморок от увиденного, а он приводит её в чувство, сунув в рот сразу два пирожных «Ленинград».

После возвращения домой на Валдай мать твёрдо решила, что когда её сын (Ио-

сифу в ту пору было двенадцать лет) вырастет, он станет доктором, а учиться поедет в Ленинград. Ну, а если мать чего-то решила, то так тому и быть. Поэтому сын будет доктором и учиться будет в Ленинграде. И всё, ун генут! Закончим с пустыми разговорами. Впрочем, никто, включая Иосифа, и не возражал против учёбы на дантиста. Дело хорошее, верное.

Берта к тому времени совершенно освоилась. Она очень привязалась к детям и все их беды и радости принимала, как свои собственные. И не уставала восклицать: «Подумать только! Наш Сюнечка, наш ундзер хохем, умница из умниц будет ставить людям золотые коронки! Надо ж такое!» Вообще, золото во рту было для неё мериллом красоты. Забежит к ним, бывало в гости Муся, а Берта вечером с затаённым восторгом делится новостями: «Входит, значит, она, такая толстая, лицо круглое, улыбается, а зубы золотые! Красивая, как луна!»

К августу Иосиф уехал в Ленинград и, к огромной радости семейства, благополучно сдал экзамены. В те послевоенные годы стоматологический институт имелся только в Москве, а в Ленинграде не существовало даже отделения стоматологии в медицинском вузе. Но была хорошая зубоврачебная школа. В неё-то Иосифа и приняли. Там за три года можно было выучиться на зубного техника, а за пять – на полноценного врача. На эти пять лет Иосиф и был нацелен.

Вначале жил в общежитии. Поскольку учился на отлично, то получал повышенную стипендию. А ещё подрабатывал в больнице санитаром, не гнушался по вечерам и вагоны разгружать на Витебском вокзале. И, когда скапливались денежки, посылал их родителям на Валдай. Всё-таки там работал только один отец, и с финансами в семье всегда было туго.

Сблизиться с девушками по-настоящему не удавалось. Местные, ленинградки, были высокомерны и смотрели на приезжих свысока, как смотрят барыни на простолюдинов. Хотя, с одной, сокурсницей Ларисой, высокой, миловидной брюнеткой, он ненадолго сошёлся. Они даже несколько раз сходили в кино и в Русский музей. Её родители работали администраторами в Кировском театре оперы и балета, и Лариса, цепко держа Иосифа под руку, взалоб сыпала именами знаменитых певцов, танцоров, режиссёров и актёров, которые бывали у них в доме. Она поглядывала на своего молчаливого спутника в ожидании восторгов и восклицаний. Но, к своему удивлению, никогда не дожидалась. Её мир, наполненный страстями чужих судеб, был бесконечно далёк от Иосифа. Увы, никого из этих прославленных людей он не знал и ответить на пытливый вопрос, кто ему больше нравится – Вечеслова или Дудинская, не мог, поскольку никогда не видел на сцене ни одну из этих прославленных балерин. Была ещё Галя, тоже однокурсница, грубоватая фронтовичка из Боровичей. Галя на войне два года служила медсестрой, и на каждом свидании снова и снова возвращалась к пережитым ужасам. Вспоминала об оторванных руках и ногах, о жутких ранениях в живот и в голову, с которыми врачи героически сражались в операционной. Эти рассказы вызывали у Иосифа стойкое желание заткнуть уши или заставить девушку замолчать. Отец Иосифа, участник битвы под Сталинградом, окончивший войну в Берлине, никогда не вспоминал пережитое и на вопросы домочадцев «А как там всё было?» всегда отмахивался или отговаривался армейскими

байками. Он упорно не желал вспоминать войну, как пытался и Иосиф забыть их вишнеевскую трагедию. Словом, Галя тоже без сожаления была отставлена.

Однажды в июне – Иосиф уже заканчивал четвёртый курс – ему пришлось в голову сходить, наконец, в знаменитый «Норд», до которого всё время почему-то не доходили ноги, да и не хотелось, честно говоря, транжирить деньги на сладости. Но тут, после удачно сданного экзамена по протезированию да после полученной зарплаты в больнице, вдруг подумалось: отчего бы себя не побаловать? Наверное, не так уж они дорого стоят, эти хваленые пирожные. Ведь если вдуматься, кабы не материнский «обморочек» да не её восторг перед Ленинградом, шагал бы он сейчас, наверное, по какой-нибудь московской улице, вполне возможно, даже с милой барышней, но барышни пока что не наблюдалось, а вот Ленинград и впрямь оказался хорош. С этими его величественными дворцами, тёмными, холодными реками и каналами, причудливыми мостами, с удивительным достоинством пережившими и войну, и блокаду. Город ему очень нравился, хоть и не стал пока родным и близким. А кафе стоило посетить, хотя бы для того, чтобы приехав на летние каникулы, сказать своей родительнице: «Ты была права, мама!» – и услышать в ответ ожидаемое: «Как и всегда, Суня, как и всегда».

Однако перед «Нордом», недавно патриотично переименованным в «Север», снова толпился народ.

«В этом городе, что, никто не работает? Все только и знают, что в очередях стоять?» – с досадой подумал Иосиф и прикинул, что проторчать придётся никак не меньше сорока минут, а то и час. Поколебавшись, не плюнуть ли на всё, он всё же решил домучиться до конца. Советскому человеку ничего не достаётся просто так, за всё нужно побороться, и он, вздохнув, встал в хвост.

Впоследствии Иосиф не раз размышлял почему, живя в Ленинграде уже целых четыре года и, нередко бывая на Невском, он именно тогда решил отправиться в «Норд». Что толкнуло его на этот судьбоносный шаг?

Да ведь никому неизвестно, кто там наверху составляет расписание встреч и разлук, кто руководит случайностями, заставляющими например, паренька с двумя вёдрами воды заглянуть в деревенский туалет именно в ту минуту, когда душа отчаявшейся женщины уже готова покинуть её брэнное тело? И никто не мог предвидеть, что именно в кафе на Невском Иосиф встретит ту, которая, как говорили в старинных романах, «составит счастье его жизни».

Едва он занял очередь, как сзади девичий голосок поинтересовался, последний ли он. Иосиф кивнул и искоса взглянул на незнакомку. Симпатичная. Сразу видно – ленинградка. Не «кто крайний», как неизвестно из каких щепетильных соображений интересуются на Валдае, а просто и ясно: «кто последний». Постояли немного. Иосиф снова, как бы ненароком, поглядел на девушку. Невысокая, даже, миниатюрная, острый носик, большие, широко расставленные, глаза. Красивая, нарядная причёска – светлые локоны по плечам спускаются, а чёлка затейливым завитком наверх убрана. На руке часики, на плече папка для нот. И вся в белом – нарядное платье с вырезом «лодочкой» и широкой юбкой, стянутое узким пояском, белоснежные носочки, туфли. «Ну, просто Снегурочка! Снегурочка-музыкантша», – восхищённо подумал он. И принялся мучительно соображать, как бы половчее с ней познакомиться.

Эх, это только в кино всё выходит легко и просто. Видит, скажем, герой на улице красивую девушку и, не раздумывая ни минуты, сразу эдак небрежно бросает.

– Девушка, не скажете, который час?

– Десять вечера, – с милой улыбкой отвечает красотка.

– А куда же вы направляетесь в такой поздний час?

– К бабушке. Ей, бедняжке, совсем плохо.

– Тогда я вас просто обязан проводить! Улица кишмя кишит хулиганами.

– Ну, что ж, это очень мило с вашей стороны. Пойдёмте.

И киношные парень с девушкой лёгкой походкой уходят в туманную даль.

Нет, всё это чушь и дешёвая мелодрама. С чего ему, спрашивается, узнавать про время, если он уже встал в эту километровую длиннущую очередь? Он куда-то спешит? Нет, решительно нужно придумать что-то поостроумнее. А то «снегурочка» подумает, что он примитивный пошляк. Но не было у Иосифа опыта знакомств с девушками на улице, не умел он быть лёгким и небрежным. И, набравшись духа, глядя в весёлые лукавые глаза незнакомки и, одновременно, поражаясь тому, что произносят его губы, он выпалил, как выдохнул:

– Девушка, не скажете, который час?

Она расхохоталась.

– Как оригинально! Молодой человек, у вас на руке часы, взгляните на них.

Иосиф мучительно покраснел, спрятал руку за спину и тоже засмеялся

– Точно, я и забыл про них. Вот дурак-то! Но честно говоря, я просто не мог придумать, как с вами заговорить, вот и спорол ерунду. Без обид, ладно? Меня вообще-то Иосиф звать. А вас?

– Полина, – просто ответила девушка и улыбнулась.

Так вот и познакомились. И пока стояли в очереди (таки сорок минут), Иосиф, обычно застенчивый и робкий, глядя на нежную, трогательную шею девушки, её лучистые глаза, тонкую, хрупкую фигуру, неожиданно разговорился.

Иосиф рассказал, что он из Валдая, что будет зубным врачом, и вспомнил историю с «обморочком» своей матери, которую изобразил очень живо и даже артистично. Полина смеялась, глаза её блеснули. Ей явно нравился этот долговязый провинциальный паренёк. Совсем не нахальный, хоть так тупо и неоригинально знакомится. Но это наверняка от неуверенности в себе. А зря. Он очень даже симпатичный – высокий, крепкий, нос, конечно, длинноват, зато глаза живые, блестящие. И слетка на Ференца Листа похож, как его на портретах изображают. Только у Листа волосы длинные, прямые, а у этого чёрные, курчавые, да и лицо не нахмуренное и злое, а доброе и открытое. И Полина неожиданно доверилась незнакомому юноше и тоже с охотой болтала. Иосиф узнал, что родилась она в Ленинграде, в той самой квартире, где раньше появились на свет и бабушка, и папа; что войну провела с мамой в эвакуации в Ташкенте; что отец (кстати, он из «бывших», из дворян, но об этом не нужно трепаться всем подряд) все четыре года был на фронте и ранен «всего разок, да и то легко, вот повезло-то»; что мама не дворянка, она из Риги. Она училась в Ленинграде, а с папой познакомилась на танцах в Парке культуры; а сама Полина – студентка музыкального училища, и сегодня у неё был экзамен по музлитературе, и, между прочим, она сдала его лучше всех, её даже ставили в пример другим, вот так-то. А родители по случаю экзаменов

попросили её купить к ужину пирожных, поэтому она здесь. Словом, за разговорами «а я, а у меня» оказалось, что у них так много общего – и эвакуация, и отцы, вернувшиеся с войны целые и невредимые, и они оба студенты, в общем, когда молодые люди наконец подошли к прилавку, то были уже практически друзьями.

Вместе вышли на улицу, и тут Иосиф запаниковал: сейчас девушка махнёт ему на прощанье ручкой и растает за первым же поворотом, будто её и не было. Такое допустить никак невозможно. Он как бы невзначай бросил, что у него навалом времени и не против ли Полина, если он проводит её? (Отметим, что киношный опыт всё же пригодился). Девушка кивнула: «Ну, ладно, пошли». И они, ни на минуту не прекращая разговор, минут через тридцать оказались на широком и шумном Владимирском проспекте, затем вошли в какие-то железные ворота, нырнули в тёмную длинную арку и оказались в захламленном строительным мусором дворе-колодце. Здесь Полина остановилась перед старой обшарпанной дверью в подъезд, улыбнулась и сняла с плеча свою папку.

– Вот здесь я и живу, – сказала она, и её лучистые глаза глядели ласково и доброжелательно.

– Здорово, – без тени энтузиазма отозвался Иосиф и зачем-то задрал голову вверх, инстинктивно ища окна девушки. Он вдруг не к месту вспомнил мамину поговорку: «Влюбился, как чёрт в грушу». Кажется, это было про него. Иосиф в тоске переминался с ноги на ногу, не зная, как сделать так, чтобы девушка осталась с ним хотя бы ещё немножко. Глядя на погрустневшее лицо своего провожатого, она рассмеялась и неожиданно предложила:

– А пошли к нам! Попьём чай с пирожными. С родителями тебя познакомлю. Они у меня замечательные.

Иосиф торопливо кивнул.

Пока поднимались по тёмной, пахнущей кошками и плесенью, лестнице, Иосиф уже сто раз пожалел, что согласился пойти. Как себя вести? О чём говорить? А удобно ли, например, попроситься в туалет?

Дверь открыла мать. Это была невысокая женщина средних лет со строгим красивым лицом, в нарядном жакете и юбке, в туфлях на каблуках, с седеющими волнистыми волосами, светлыми глазами и яркой помадой на тонких губах. Мать и дочь были очень похожи, только в Полине, отметил Иосиф, было больше теплоты и весёлого обаяния.

Войдя в дом, его новая подруга швырнула нотную папку на громоздкий комод, занимавший половину прихожей, сбросила уличные туфли, быстро вошла в домашние тапочки, чмокнула мать в щёку и весело затараторила.

– Мам, это Иосиф, мы в «Норде» познакомились. Там пирожных накупили целую гору. И «корзиночки» взяли, и «картошку», представляешь? Так что гуляем! А Иосиф, кстати, скоро станет зубным врачом и будет нас всех лечить. Причём без очереди и совершенно бесплатно. Правда, Иосиф?

Она засмеялась и умчалась куда-то вперёд по нескончаемому узкому, как кишка, коридору, увешанному картинами и стеснённым высокими, до потолка, полками с книгами и нотами.

Иосиф остался стоять, не зная, куда деться. Мать проводила Полину взглядом, повернулась к нему и вздохнула:

– Полина в своём репертуаре. Бросила человека и ушла. Раздевайтесь, молодой человек, не стесняйтесь. Меня зовут Зоря Яковлевна. А вы, как я уже поняла, Иосиф. Если нужно в туалет, то до конца коридора направо, возле кухни. После приходите в столовую. Будем ужинать.

Иосиф протянул матери коробку с пирожными. Та благосклонно кивнула.

Выйдя из туалета, он слегка заплутал в тёмном коридоре, а когда, наконец, отыскал столовую, то опешил и остановился на пороге, как вкопанный. Раньше ему не приходилось бывать в домах коренных ленинградцев, и он даже не представлял себе, что у очень многих, несмотря на революцию, войны, блокаду сохранились и старинная мебель, и посуда, и картины. Иосифу казалось, что все живут так же скромно, как его семья. И потому парня так поразила музейная обстановка большой квадратной комнаты. С высоченного потолка свисала люстра с затейливыми бронзовыми лепестками и плафонами-колокольчиками; у стены расположился громоздкий резной старинный буфет красного дерева, доверху заставленный бело-голубой посудой, рядом примостился обитый жёлтым полосатым шёлком диван с длинной овальной спинкой и два таких же низких, словно присевших в реверансе, кресла. На стенах висели тяжёлые картины в золочёных рамах с натюрмортами и пейзажами. Иосиф растерянно глядел на обеденный стол на гнутых ножках и расставленный на нём старинный сервиз, расписанный птицами и цветами, на серебряные подставки для ножей и вилок, на пузатую фарфоровую супницу, словно королева, занявшую центр стола. Как позже рассказывала Полина, весь семейный антиквариат они с матерью перед отъездом в эвакуацию спрятали в рояль. И, как ни странно, всё уцелело – и рояль, и антиквариат. Никто не проник к ним в квартиру, никто не посягнул на богатства.

Кроме Зори Яковлевны и Полины, за столом оказался ещё и седовласый мужчина в очках, пиджаке и галстуке. Мужчина читал газету. Увидев Иосифа, он отложил своё чтение и дружелюбно кивнул:

– Проходите, молодой человек, не стесняйтесь. У нас ещё не было случаев поедания людей, а вот суп предложить можем. Меня зовут Владимир Васильевич. С остальными вы вроде уже познакомились, – добродушно улыбнулся.

Так Иосиф оказался в семье Черкасовых.

Здесь всё было другим, ничего не напоминало его семейство. Казалось, никто не удивился, что дочь привела в дом совершенно незнакомого парня, с которым познакомилась лишь совсем недавно. Никто на него подозрительно не косился и не обнаруживал ни малейшего недовольствия приходом незваного гостя. Вот если бы Иосиф так заявился с неизвестной девушкой, да хоть бы и с парнем, то мать чуть ли не с порога замучила бы их расспросами, мол, кто таков? Где учишься? Откуда родом? Кто твои родители? А чем они занимаются? Ты им помогаешь по хозяйству? У тебя есть сёстры и братья? А где вы были в эвакуации? А какие у тебя отметки в школе? И допросу не было бы конца.

Сколько раз он ругался со своей родительницей и заклинал оставить его приятелей в покое, но всё было бесполезно. Ей, видите ли, необходимо знать, с кем водится её единственный сын, и нечего учить её жизни, и вообще, ун генут, закончим с этим!

Здесь его никто не пытал, не задавал наводящих вопросов, не желал сию же ми-

нугу узнать всю подноготную. Он сам многое рассказал, и всё получилось как-то само собой, естественно и непринужденно. Вначале речь зашла о смешных случаях на экзаменах. Ведь как раз сейчас всюду, в школах, в училищах и в вузах, была экзаменационная пора, и всем за столом тема оказалась близка. Выяснилось, что Зоря Яковлевна преподаёт английский в педагогическом институте, а Владимир Васильевич, хоть и служит главным инженером в электромонтажном тресте, пару раз в неделю учит студентов сопромату в политехническом. Иосиф, забыв про свою стеснительность, со смехом вспоминал какую чушь, порой, несут его однокурсники на экзаменах. И чем они только на лекциях слушали? Явно не головой. Вспомнил, что у них в больнице тоже будь здоров какие курьёзы случаются. Однажды, например, привезли по скорой из сельской больницы женщину. У неё голова застряла в горшке – муж нацепил в процессе бурного выяснения отношений. «Так представляете, – хохотал Иосиф, – какой диагноз написала местный врач в сопроводительных документах? “Голова в инородном теле”! И даже на товарной станции, где он вагоны разгружает, тоже бывают забавные случаи». Тут он заметил, как Зоря Яковлевна с Владимиром Васильевичем переглянулись, и он, было, замолк, думая, что спорил чушь, но родители наперебой принялись его уверять, что, напротив, они просто им восхищаются. Ведь он так много учится, так тяжело работает, а ещё и находит время заметить смешное рядом с собой. Нет-нет, он просто большой молодец! Наверное, у него очень хорошие родители, которые его так замечательно воспитали? Чем, они, кстати, занимаются? Тоже, наверное, врачи? И тут Иосиф, сам не зная почему, разоткровенничался и, перескакивая с одного на другое, уверенный при этом, что поинтересовались, конечно, из вежливости, рассказал, что мама с папой вовсе не врачи, а самые что ни на есть простые люди, что есть у него младшая сестра Мирочка, она мечтает стать бухгалтером, что у них дом на Валдае и его построил папа своими руками, что были у него когда-то и бабушка с дедушкой, да только их больше нет, стинули в амбаре в Вишнеево, и что с ними живёт их «приёмная тётя» Берта. Её, слава Б-гу, они с мамой успели вынуть из петли, когда та совсем отчаялась, и что теперь они посылают запросы в разные организации и ждут ответа от её пропавшего сына – а вдруг он жив.

Иосиф умолк. Родители тоже потрясённо молчали. Полина глядела на паренька новыми глазами. Ещё два часа назад он казался совершенно обыкновенным, но нет – Иосиф вовсе не был похож ни кого из её знакомых. Сочувствие ко всем драмам и трагедиям жизни Иосифа рождало в ней какое-то новое, незнакомое чувство. Наверное, так зарождалась любовь.

Владимир Васильевич нервно потирал руки, что было явным признаком сильного волнения. Зоря Яковлевна, пересев в кресло, глядела в окно, и её длинные тонкие пальцы бессильно повисли на подлокотнике, словно надломилась в суставах. Она еле сдерживала слёзы, и видно было, как глубоко её тронул сбивчивый рассказ юноши.

– Сколько горя выпало нашему народу, – прошептала она, – Б-же мой, Б-же мой!

– Так говоришь, родственники Берты на запросы не отвечают? – немного погодя спросил Иосифа Владимир Васильевич? – Дай-ка, я попробую отправить письмо ещё по одному адресу. Может, там что-то узнают.

Иосиф благодарно кивнул головой.

Когда прощались, вся семья вышла провожать гостя в переднюю. Отец крепко пожал ему руку и объявил, что «рад приятному знакомству», а мать велела «заходить почаще без всякого стеснения». Полина вызвалась показать Иосифу ближайшую трамвайную остановку, и по дороге молодые договорились о первом свидании. Так началась его новая, счастливая полоса.

Когда выдавалось время между экзаменами и работой, они с Полиной шатались по городу. Иосиф по-настоящему только открывал для себя Ленинград, а Полина знала его прекрасно. Как-то она повела его на Фонтанку в «дом с эхом». Там, посреди расположенных полукругом старинных жёлтых зданий стоял совершенно круглый, тоже старинный и тоже жёлтый двухэтажный дом-бублик, построенный когда-то по заказу некоего московского купца. Зашли во двор «бублика». Сверху, словно через иллюминатор, на них безмятежно глядело синее небо.

– Гляди, что сейчас будет, – обернулась Полина, сложила ладошки «рупором» и крикнула:

– Иосиф!

Тотчас эхо разнесло на тысячи кусочков его имя.

– Полина! – прокричал в ответ Иосиф, и эхо вторило и это имя. Помедлив минуту, он крикнул, словно бросая вызов всему миру.:

– Я люблю Полину!

Полина охнула:

– Ну ты даёшь!

Выждав секунду, прокричала в ответ:

– Я люблю Иосифа!

«Люблю! Люблю! Люблю!» – подтвердило эхо, и счастливые влюблённые, схватившись за руки, убежали со двора.

В августе Иосиф отправился к своим на Валдаи. Он не видел их с самых новогодних каникул. И, как вошёл на крыльцо, так мгновенно, до сердечного стеснения понял, как ужасно по ним соскучился, как безмерно счастлив быть в родном доме, сидеть со всеми за длинным обеденным столом, сооружённым когда-то умелыми отцовскими руками, и нетерпеливо ждать, пока мама снимет с огня большую эмалированную кастрюлю с огненным борщом, поставит её посреди стола и разольёт по фаянсовым тарелкам в строгой очерёдности: сначала отцу, потом Берте, затем себе, Иосифу и, наконец, Мирочке. Ах, что это был за борщ! В Белоруссии в него кладут белые грибы, и это придаёт блюду неповторимый вкус. Впоследствии Иосиф не раз ел борщи и в домах друзей, и в ресторанах Москвы и Ленинграда, но ни разу не было вкуснее, чем у мамы. А может быть, это был вкус дома и память о тех временах, когда ещё были живы родители и он в семье был почти самым младшим, не считая, конечно, сестры.

Сейчас он с любовью глядел на родных. У матери прибавилось морщин, крупное лицо потеряло строгие очертания. Отец стал глуховат. Всё время переспрашивал одно и то же по несколько раз.

– Папа, давай мы тебе слуховой аппарат купим, – предложил Иосиф, когда они остались одни в комнате, – я ж в больнице работаю, там посоветуют какой лучше взять.

– Ой, оставь, Сюня. Зачем мне слуховой аппарат, сам подумай? Я ж тогда буду слышать все ценные указания твоей мамы, верно?

Хохотнул и хитро подмигнул сыну.

А Берта теперь носила круглые очки, в которых походила на добрую учительницу младших классов. Мирочка же похорошела, расцвела и стала настоящей красавицей с тонким лицом, длинной трогательной шеей и густыми бровями вразлёт. Берта смастерила ей специальную стельку для ботинок и хромота девушки стала почти незаметной.

Весь месяц Иосиф изводил домочадцев разговорами о своей возлюбленной. И какая же Полина необыкновенная, красивая, вы таких в жизни не видели! А умная! А как интересно про Ленинград рассказывает! Куда она его только не водила, даже в «дом с эхом» на Фонтанке. Вы про такой наверняка даже не слышали. А как Полина играет на фортепиано! Она в своём музучилище самая знаменитая, нет, серьёзно. Слышали бы, как она поёт! А уж родители Полины... Это большие люди, понимаете? Владимир Васильевич – главный инженер строительного треста, а Зоря Яковлевна преподаёт английский в институте, но какие же они простые! Ни капли чванства. Я у них в гостях каждую неделю бываю, и меня прямо как родного принимают, всякими разносолами угощают. А суп подают в супнице, а не в кастрюле, и особым половником разливают.

Мать с отцом на эти разговоры только переглядывались и понимающе кивали головой, а Берта тихонько шептала: «Дай бог счастья нашему Сюнечке, дай-то бог».

– А знаете, – не унимался Иосиф, – что за человек отец Полины? Я им про Берту рассказал, что мы, мол, её сына ищем, да найти не можем, а Владимир Васильевич сразу же написал в какую-то серьёзную организации запрос, и там уж стараются найти Йозаса. Отец Полины тоже, кстати, считает, нужно надеяться до последнего. А уж он-то знает, что говорит.

Берта, как всегда при таких разговорах, расстроилась, глаза у неё наполнились слезами.

– Мой низкий поклон добрым людям за помощь. Да только ведь уже шесть лет прошло после войны. Неужели, если бы Йозас был жив, он бы не откликнулся? Боюсь, напрасны все хлопоты. Мы ведь тоже писали. А ответа как не было, так и нет.

– Пока свидетельства о смерти не получим, нечего тут сына оплакивать, – в который раз одернула её мать. – Люди вон больше ждали.

Что за люди ждали больше, и откуда мать их вообще взяла, никто конечно, не знал, но её уверенный и непререкаемый тон как-то всех успокоил. Берта снова повеселела и принялась расспрашивать про Полину.

А когда Иосиф через месяц собрался назад в Ленинград, произошёл небольшой скандал. У порога вместе с его чемоданом стояла огромная корзина, а в ней плотными рядами теснилась домашняя снедь – баночки с маринованными грибами, солеными огурчиками и малиновым вареньем, нитки сушеных белых грибов, завернутые в газету, вяленые лещи, собственноручно выловленные и засоленные отцом, и, наконец, целая стопка блинов, аккуратно уложенные в кастрюльку с крышкой, замотанной резинкой, чтобы не открылась в дороге.

– Передашь от нас родителям Полины, – велела мать и придвинула ногой корзину.

Иосиф в испуге попятился и завопил:

– Что бы я припёрся с этим добром к Черкасовым? Ты вообще понимаешь, что это за люди? Это... – он даже начал заикаться, – Это большие люди, ясно?

– А, кушл, мушл, ерунда какая! Бери и не морочь голову! Большие люди тоже кушать хотят. Блины, между прочим, для тебя.

Иосиф беспомощно оглянулся на отца. Тот развел руками, мол, что поделаешь, приказ есть приказ. Пришлось жуткую корзину переть в Ленинград. А Черкасовы, кстати, были очень растроганы и написали родителям благодарственное письмо. Мать торжествовала: или она была не права?

Через полгода Иосиф с Полиной поженились, и он переехал к молодой жене на Владимирский проспект.

Вскоре Иосиф окончил институт, прошёл практику в заводской больнице и начал трудиться в городской стоматологической поликлинике. Через год родилась Лялька. Когда она подросла, её на лето отправляли на Валдаи, чтобы там ребёнок, по выражению Владимира Васильевича, «вольно пасся на лужайке». Валдайские бабушка с дедушкой и Берта не чаяли души в девочке. Это был заласканный и залюбленный ребёнок. На неё выливались потоки нежности, которые не достались в детстве ни Иосифу, ни Мирочке. С возрастом мать помягчала и теперь не стеснялась тех ласковых слов, какие не находила для собственных детей. Отец смастерил девочке во дворе качели и домик для игрушек, а Берта шила малышке замечательные платица, в которых она напоминала маленькую принцессу. Бывало, примеряет Берта на Ляльку свой очередной рукодельный наряд, повертит её туда-сюда, а потом и всплеснёт руками: «Красавица моя! А шэйнэ поним, тьфу-тьфу-тьфу!». Берта так часто повторяла это свое «а шэйнэ поним», что Лялька одно время была уверена, что это её второе имя. И иногда, если кто-то спрашивал: «Девочка, как тебя зовут?» – она гордо отвечала: «А шэйнэ поним тьфу-тьфу-тьфу». Когда Иосиф объяснил дочке, что на идише это означает просто «красивое личико», та была ужасно разочарована.

Шло время и, когда все уже, откровенно говоря, потеряли надежду отыскать сына Берты, однажды пришло известие, которое грянуло, как гром среди ясного неба. Ляльке в то лето было пять, и она, как всегда, гостила у бабушки с дедушкой на Валдае. Иосиф с Полиной оставались в городе и только мечтали об отпуске. А утром на Владимирский принесли телеграмму. Получил её тесть. А когда открыл, то закричал так, что Иосиф выскочил из своей комнаты, как ошпаренный. Владимир Васильевич размахивал телеграммой, словно флагом, и кричал: «Я же говорил! Я был уверен! Вот радость-то!». Телеграмма была от матери. «Объявился сын Берты. Субботу будет. Приезжай».

Не нужно объяснять, что началось в семье Черкасовых. Радость и торжество – вот чувства, которыми кратко можно описать их состояние. Да, вот оно, реальное воплощение знаменитых стихов, давших надежду миллионам людей во время страшной войны:



«Жди меня и я вернусь. Только очень жди».

Дождались! Верили, и вот, пожалуйста! Всем семейством гадали, почему сын не объявлялся до сих пор. Выдвигались самые разные гипотезы, одна другой невероятней, но в каждой Йозас представлял жертвой каких-то непреодолимых обстоятельств. О его внешности тоже долго спорили-гадали. Полина представляла его здоровяком с пшеничными усами и добродушной улыбкой. Иосиф предполагал, что он похож на Берту, невысокий и застенчивый. Хотя Берта часто твердила, мол, её Йозас высокий и красивый, но мало ли что кажется матери. Владимир Васильевич не имел своего мнения и повторял, что всё это неважно, слава Б-гу, что отыскался и, возможно, помогло его письмо. И только Зоря Яковлевна, как всегда скептически относившаяся к любым событиям, сдержанно пожала плечами, мол, нужно ещё поглядеть на этого блудного сына.

В субботу, увы, приехать не получалось – Иосиф дежурил в поликлинике, а у Полины в музыкальной школе, где она преподавала фортепиано, был концерт её учеников. В воскресенье, нагруженные гостинцами, выехали на автобусе пораньше и уже к полудню вошли в дом.

На диване в гостиной, развалясь и ковыряя спичкой в зубах, сидел щуплый мужичонка с мелким, злым, каким-то мышинным, лицом. На нём были линялая кацавейка с растянутым воротом, допотопные заношенные брюки и грязные, давно не чищенные башмаки, которые он водрузил на табурет. Эти башмаки больше всего неприятно поразили Иосифа. В их доме, где царил культ чистоты, обувь снимали ещё за порогом, и никто и никогда не заходил внутрь в грязных ботинках. Бесцеремонных и наглых Иосиф не любил. Настроение у него испортилось.

Кроме гостя в комнате, была только Берта. Увидев вошедших, она всполошилась:

– Вот, глядите, сыночек мой, Йозас. Радость-то какая! Знакомьтесь, дорогие.

Иосиф протянул руку и представился. Йозас не вставая с дивана и не вынимая спички изо рта, тоже протянул узкую, тёмную, всю в наколки, руку, и хмыкнул:

– Здорово, доктор. Наслышан про тебя.

От Йозаса несло перегаром и дешёвым табаком. Иосиф привёз к столу бутылку грузинского вина, но решил, что доставать не будет. Кажется, этот Йозас уже и так наугощался.

Сын, о котором говорили столько лет, которого так ждали и который давно стал легендой, в действительности оказался совсем не таким, каким его представляли. И это ошеломляло и сбивало с толку.

Познакомили и с Полиной.

– Здорово, музыка, – радостно осклабился Бертин сын и приветственно махнул ей рукой. – Про тебя мне тут тоже все уши прожужжали.

– А где все? – окинув взглядом пустую комнату, огорошено спросил Иосиф.

– Мать с Лялечкой на огороде, а отец с утра на рыбалку ушёл, ещё не вернулся, – ответила Берта.

Полина молча вышла из избы, и через минуту за окном послышался радостный Лялькин вопль и приглушённый голос матери. Мать что-то тихо объясняла Полине.

Берта ушла на кухню готовить обед, а Иосиф в волнении заходил по комнате.

Йозас молча следил за ним. Маленькие его глаза смотрели зло и настороженно, как у пойманного и засунутого в клетку опасного зверька.

Иосиф остановился и сел за стол. Ему хотелось уйти вслед за Полиной, но он понимал, что не должен этого делать.

– Где же вы были все эти годы? Почему не отвечали? И кого убили тогда, если не вас? – решился наконец спросить он.

Йозас тяжело вздохнул, словно устал от надоевших расспросов.

– На крыльцо-то выскочил не я, а бедолага соседский парень, который на свою беду в гости к Ядвиге зашёл. Ему-то и не повезло. Слушай, доктор, я уже своей мамаше всё доложил, да и твоим тоже. Очень они любопытствовали, где я был, да почему не писал, да чем занимался. А когда мне было отвечать? И про что писать? Как в день, когда отца застрелили, ночью мы дали дёру с Ядвигой и её девчонками из Тракая в Вильнюс к отцову брату? Знаете, ведь, мамаша у меня... ну, ты понимаешь... еврейской национальности. А если бы немцы про то узнали, меня бы сразу сцапали. И Ядвигу, кстати, тоже. Вот и пришлось нам срочно драпать из Тракая и пробираться в большой город, где нас никто не знает и немцам не выдаст. А мы нищие были. Жрать нечего. У дядьки домишко маленький и полна горница народа. Ютились по углам. А ведь отца моего предупреждали родственники: до добра его женитьба на чужой не доведёт. Эх, да что теперь говорить-то... Вся судьба у меня поломанная. Туго мне приходилось. Не всем так повезло, как тебе. Дом тут, гляжу, громадный, и огород, и куры-козы есть. И ты в своём Ленинграде на докторской-то зарплате, небось, милостыню не просишь вместе со своей супружницей...

– Про себя мне всё известно, – сердито перебил его Иосиф, – лучше расскажи, за что в тюрьме сидел?

– А ты откуда знаешь? Смотри, какой догадливый! Ну, сидел. Так ведь несправедливо же. Эти суки воруют, а на меня сваливают. Всегда отдуваюсь за каких-то уродов.

– Ну, а что с матерью думаешь делать? Заберёшь? Она так ждала тебя все эти годы.

– Куда же мне её забирать? Самому не на что жить. Да и негде. Не, сейчас точно не могу. Но ты, доктор, не думай, я не зверь какой, я мать уважаю. Я, между прочим, работать начал на заводе. Мне комнату скоро дадут. Так что как чуток разбогатею, разживусь своим углом, так мигом и заберу её, какой вопрос? Всё-таки мамаша у меня одна, верно?

Он подмигнул и вдруг неожиданно без всякой паузы гаркнул, да так громко, что Иосиф аж вздрогнул.

– Мамаша, обед-то когда будет? Мне уезжать надо, автобус пропущу.

Иосиф вздохнул, кивнул Йозасу, мол, бывай здоров, и, в крайнем смятении, отправился на озеро искать отца. Нужно было обдумать увиденное. Кто ж ожидал, что сынок окажется таким ничтожным. Ведь сколько надежд было на него возложено! Сколько усилий потрачено на его поиски! А блудный сын, как метко определила его Зоря Яковлевна, оказался вором и шпаной. Отца его, видите ли, отговаривали жениться на Берте. Подумаешь, князь! А немцам всё ведь равно было, кого застрелить – еврея, русского или литовца. Иосиф вздохнул и оглядел-

ся. Кругом буйствовало лето. Справа и слева за горизонт убегали бесконечные зелёные холмы, облака лёгкими белыми штрихами прорезали небо. Природе, как всегда, не было дела до земных страстей. Она жила своей вечной, равнодушной жизнью. Задумавшись, Иосиф не заметил, что жёлтая оса кружит перед ним и норовит сесть на лицо. Он сердито замахал руками, и она, жужжа и трепеща крыльшками, улетела по своим осиным делам. Иосиф проводил взглядом неровный полёт насекомого. Его негодование немного улеглось. Он примирительно подумал, что этот Йозас действительно натерпелся за жизнь, и надо бы быть к нему снисходительней. И не его это, Иосифа, в конце концов дело, судить чужих сыновей. А Берта? Она как была родным человеком, их «приёмной тётечкой», так ею и останется. Не вина бедняжки, что судьба сына сложилась таким образом и что нет у неё пока повода гордиться им. Но ведь она любит его просто за то, что он есть. Да и что ей ещё остаётся? Спасибо, что сын вообще нашёлся, живой и вполне здоровый. Теперь у Берты есть надежда и смысл жизни. И дай им, как говорится, бог.

С этими новыми мыслями Иосиф вышел к озеру и увидел на тропинке отца. Тот в одной руке нёс удочки, а в другой ведро, в котором наверняка плескались окуни и лещи. Отец был удачливым рыбаком, и никогда не возвращался домой без улова. Судя по его счастливой улыбке, ему и на этот раз было чем похвастать. Иосиф помахал отцу рукой, а тот, узнав сына, тоже радостно замахал в ответ. Настроение у Иосифа улучшилось.

К вечеру они с Полиной вернулись в Ленинград.

Йозас не понравился буквально никому. Даже Мирочка, которая, казалось, вообще не способна ни о ком говорить дурно, согласилась, что Бертин сын «чужой и грубый». Но Берта не желала ничего слышать плохого о Йозасе. Б-же мой, она даже представить не могла, сколько её мальчик натерпелся и каково было ему все эти годы! Ведь это из-за неё пришлось ему бежать в Вильнюс, бедствовать, страдать. Теперь она обязана ему помогать. И хотя зрение Берты становилось все хуже, она начала брать заказы. Раньше отказывалась, ну разве что кому-нибудь из соседей изредка с неохотой что-то подштопает-поддатает, а теперь все вечера просиживала за шитьём. К ней уже и очередь образовалась. Берта стала модной и популярной в Валдае портнихой, к которой, между прочим, совсем нелегко было попасть. И почти все вырученные за работу деньги она отсылала сыну. На эту тему у них с матерью были постоянные стычки.

– Берта, Йозас, не слезить бы, здоровый мужик, не больной, не инвалид. Сам может себе заработать. И ещё, между прочим, и тебе копеечку-другую хоть когда посылать. Чего ты так надрываешься? Совсем ослепнуть хочешь от этого своего шитья?

– Нет, не хочу, конечно. Но ты же знаешь, какая у Юзика жизнь. Он много работает. В две смены даже. Но платят мало, а ещё квартиру нужно снимать, и ко мне приезжать – тоже немалый расход.

– Ага, как же, работает он в две смены... Я тебе скажу, дорогая моя: как говорится, какать тоже работа.

– Ну что ты такое говоришь, Фанечка!

Как многие слабые люди, «тётечка» была страшной упрямецой. Упрямство

этой зависимой от всех на свете женщины было оборонительной крепостью, за которой она изо всех сил пыталась отстоять своё достоинство и своё право на что-то личное, принадлежащее только ей. Мысль, о том, что эти скромные деньги станут для Йозаса хотя бы маленькой компенсацией за годы страданий, крепко поселилась в её душе. Все кругом были виноваты перед её сыном – время, обстоятельства, дурные люди и даже она сама, не имевшая возможности поддержать парня в годы бедствий, голода и тюремного заключения. Берта не спорила, Б-же упаси, с матерью, но продолжала шить и отсылать в Вильнюс деньги.

А Йозас никогда не писал ей, но регулярно раз в год появлялся на Валдае. Заскакивал на денёк летом или в новогодние каникулы. Ни разу не известил заранее о своём приезде, уверенный, что его ждут в любую минуту, как дождь в засуху. И, когда на улице громыхала калитка да так, что куры в курятнике нервно квохкали, а знакомый голос насвистывал популярный в те годы «Марш монтажников», все обречённо вздыхали: Йозас приехал, явился собственной персоной. Он уже не заваливался в дом в грязных ботинках – мать быстренько пресекала эту его привычку, и вообще вёл себя тихо. Только буркал на пороге нечто вроде приветствия, молча съедал приготовленный Бертой обед, и они вдвоем уходили гулять к озеру. Потом Берта провожала сына на станцию и возвращалась притихшая и удручённая. Она никогда не рассказывала, о чём они толковали. Только вздыхала и приговаривала: «Что же делать, что же делать, такая жизнь».

Их короткие встречи продолжались несколько лет. Берта всё шила и посылала сыну деньги, а Йозас всё обещал, что вот-вот заберёт мать к себе.

Между тем в жизни Иосифа тоже произошли большие перемены. Он работал в поликлинике уже восемь лет, и там ему в конце концов всё осточертело. Нет, не сама работа, Б-же упаси. Свою профессию он очень любил, и больные это чувствовали. К нему всегда была длинная очередь, потому что пациенты знали: доктор Могилевский и укольчик обезболивающий сделает, и слова утешительные найдёт, и самый сложный зуб вылечит. Дело было не в работе, а в условиях. Дантистам в поликлиниках отдельный кабинет не полагался. И в огромном зале в стоматологических креслах одновременно сидели с десятком больных. Они вопили, орали и нередко в сердцах выкрикивали разнообразные непечальные слова – обезболивание при лечении зубов в то время применялось редко, а кому же, интересно, понравится, если дупло сверлят, что называется, «по живому» и только уговаривают «чуть-чуть потерпеть». К ору и крикам примешивался шум работающих бормашин, разговоры врачей и медсестёр.

К вечеру вся эта какофония звуков настолько утомляла Иосифа, что он просто валился с ног. Но это было не самое главное. Важнее было то, что платили в поликлинике униженно мало. Хоть в две смены работай, хоть без выходных, хоть в праздники. Всё равно выходили гроши. А у него жена, дочка. И ещё родители, у которых дом – прорва, а не дом! – а в нём то крыша прохудится, то крыльцо сломается, то куры подохнут, то за дрова платить нужно. Работал по-прежнему один отец. Сестра Мирочка вышла замуж, и, слава Б-гу, не нуждалась в его помощи. Муж её Саша работал прорабом на стройке и неплохо зарабатывал. Мирочка переехала к мужу в Новгород, они жили с его родителями и маленьким

сыном Борей в тесной «двушке», но хотя бы у них имелось центральное отопление и им не приходилось думать о дровах или протекающей крыше. Иосиф всё ломал голову, как бы немного заработать, и, наконец, всем семейством Черкасовых пришли к выводу, что пора открывать свой частный кабинет.

Но легко, конечно, сказать, открыть свой кабинет... Чтобы стать «частником» нужно было обладать определённой долей смелости и авантюризма. Частная практика в Советском Союзе была вне закона и считалась не трудовой, а подпольной деятельностью. Но всё равно, как это нередко бывает, «если нельзя, но очень хочется, то можно». Дантистов, которые на дому занимались лечением и протезированием зубов, по стране было множество, и на них не очень обращали внимания, пока кто-то из особо «сознательных» граждан не проявлял бдительность и не доносил в соответствующие органы. Но и тут доказать наличие именно частной практики было не так-то просто. Может, этот дипломированный врач лечил зубы только друзьям и знакомым, может, он это делал ради собственного удовольствия, может, он... причин для защиты у адвокатов находилось немало.

Но уж если за них брались, то берегись! Уголовное дело, конфискация имущества, лишение врачебного диплома – вот что ждало их. Но особенная кара грозила за работу с золотом. Монополия на него была только у государства. В городские поликлиники золото поступало в маленьких слитках и по строжайшей отчетности. А если ты сам на дому решался ставить золотые коронки – ну, что ж, молись, чтобы на тебя не донесли, и тюрьма и сума миновали и тебя, и твоё дело, и твоих родных.

Конечно, Иосиф понимал, на что идёт. И сомнений и у него, и у родителей Полины было немало. С одной стороны, с другой стороны... Насколько всё же опасно открывать дома кабинет? И где Иосиф собирается принимать больных: в гостиной? в спальне? на кухне? И что, квартира станет проходным двором и посторонние люди будут постоянно маячить перед глазами? Но, в конце концов, всех уговорила Полина. Была она бесстрашным, весёлым человеком.

Как-то за завтраком, когда родители и Иосиф в сотый раз перемалывали уже изрядно надоевшую тему, Полина неожиданно разорвала этот узел сомнений:

– Знаете, ничего страшного с нами не произойдёт. Мы же с вами лечимся у «частников». И никто из них не в тюрьме, и с нами ничего не случится, вот увидите. Иосиф хочет, чтобы мы безбедно жили. Что в этом плохого? Кабинет можно переделать из большой гардеробной в прихожей. И тогда никто из пациентов не будет мозолить нам глаза. Мама-папа, если одолжите денег на оборудование, то вообще проблем не будет.

И все вдруг поддались уверенному тону Полины, и поверили, и сказали: «А что? А в самом деле, почему бы не рискнуть? И деньги одолжим, не вопрос. Дело хорошее. Пусть попробует».

Иосиф, страшно благодарный Полине за поддержку, глядел на неё влюблёнными глазами. Г-споди, что бы он без неё делал?! Что бы он без них всех делал?! Вот уж повезло ему, так повезло!

Однако, прежде, чем появились первые пациенты, они с Полиной провели

с Лялькой, в ту пору уже отличницей и честной пионеркой, строжайший инструктаж.

– О том, что папа работает дома и к нему приходят пациенты, – ни-ко-му и ни-ког-да, поняла? Ни подружкам, ни учителям, ни в драмкружке, ни в спортивной секции, ни во дворе, ни на улице, вообще никому, ясно?

– А Ирине Викторовне, нашей классной руководительнице, можно? Она хорошая, правда, – напутанная девочка терзала синий бант в толстой косе.

– Ирине Викторовне нельзя в первую очередь. Ты же не хочешь, чтобы папу посадили? Нет, не хочешь? Тогда молчи! – грозно наставляли дочку родители.

– А если меня попросят дать честное пионерское?

– И тогда тоже. И если пионервожатая спросит или даже директор школы. Молчи, как партизан.

После того, как Лялька кивнула головой и поскорее убежала от неприятного разговора, Иосиф с Полиной молча переглянулись и перебросились парой реплик, вроде «будем надеяться, у ребёнка хватит ума не болтать» и «авось, пронесёт». Забегая вперед, можем сказать, что пронесло. И Лялька никому не проболталась, и Иосифа ни к чему никогда не привлекли. Он продолжал себе спокойно трудиться до самой перестройки, когда «частников» развелось пруд пруди и их не только не преследовали, но и всячески поощряли, поскольку стали они новым, нужным стране, классом бизнесменов и предпринимателей. Воистину, нудно жить долго, чтобы до чего-нибудь дожить.

Как-то раз – Иосиф навсегда запомнил этот осенний день – к нему пришёл необычный пациент. Это был высокий, аристократического вида мужчина лет пятидесяти, с прямым носом римского патриция, густыми бровями, в длинном терракотовом плаще с большими, по тогдашней моде, плечами, зонтом-тростью и фетровой шляпе. Под верхней одеждой у него оказалась белоснежная рубашка, вязаный жакет и неожиданный галстук-бабочка. Выглядел франт так, словно пришёл не на приём к врачу, а в филармонию. Мужчина церемонно представился: Топорков Пётр Петрович. При виде «господина» Иосиф немного напрягся, напустил на себя строгий «докторский» вид и сухо пожал протянутую руку. Однако в ответ посетитель так широко и располагающе улыбнулся (Иосиф машинально отметил у него неправильный прикус), что невольно подчинился обаянию пациента и немедленно оттаял.

Потом уже выяснилось, что Топорков, эстет и денди, потомственный петербургский архитектор, всегда оставался верен себе и своему элегантному облику, независимо от того, шёл ли он в ближайший магазин за покупками или отправлялся на премьеру в театр. И даже когда Пётр Петрович стал стремительно стареть и сутулиться, совершенно облысел, а из волос остались только брови-гусеницы, то и тогда он не утратил своего дендизма и желания быть вечно «при параде», что, конечно, выражало его неистребимую потребность дистанцироваться от скуки и серости обыденной жизни.

Новый клиент прошёл в кабинет, огляделся, не спеша вынул из кармана брюк маленькую деревянную коробочку и аккуратно подцепил ногтём из углубления монету.

– Вот золото для моих коронок, – буднично, словно золотые монеты в кабинете дантиста были обычным делом, объявил он.

Иосиф оторопел. К тому времени он всего лишь пару лет занимался частной практикой и имел дело только с золотым «ломом» – ювелирными изделиями типа обручальных колец, серёжек, иногда браслетов, которые клиенты приносили из дома или он сам покупал в ломбарде. Новые пациенты появлялись в его кабинете только по рекомендациям знакомых. Мужчина тоже пришёл по надёжной рекомендации, и потому Иосиф удивился, но не испугался. Людей за время работы он повидал множество и уже научился различать, кому можно доверять, а кому и нет. Он с любопытством разглядывал протянутую клиентом монету. Золотая, высочайшей 990-й пробы. Готова для коронок, просто бери и делай. Это вам не «лом» 585-й пробы, который невозможно сразу пустить в дело – коронки из него во рту окислялись, чернели, вредили организму и выглядели некрасиво. «Лом» ещё требовалось довести до нужной кондиции – расплавить в тигеле, специальном керамическом стакане, добавить необходимые смеси, очистить, получить в результате ту самую 990-ю пробу и только тогда начинать изготавливать золотые коронки.

– Что, нравится «сеятель»? – негромко поинтересовался пациент, глядя на растерянного доктора.

– Никогда такой не видел.

– Тогда вам будет любопытно.

И Петр Петрович, вертя червонец и так, и эдак, сыпая непонятными «аверсами» и «реверсами», загадочными «гурт рубчатый» и «штрихи качественные», поведал о необычной монете, выпущенной в 1923 году советской властью миллионными тиражами на основе царских червонцев. Их штамповали на Монетном дворе, чтобы рассчитывать с недоверчивыми капиталистами, которые в первые годы революции подозрительно косились на бумажные, ничем не обеспеченные советские рубли и требовали за свои товары твёрдые золотые.

– Смотрите, какая забавная монета получилась. С одной стороны, на реверсе, изображён всё тот же двуглавый орел с царской короной, а на аверсе вместо профиля царя Николая Самодержца – крестьянин-сеятель, за что монету в народе так «сеятелем» и прозвали. Монета не уникальная, имеется у многих и стоит не так уж дорого, но интересная, несомненно.

Иосиф слушал с огромным вниманием. Ему неожиданно открылся мир, о котором он не имел понятия.

– Я, знаете ли, страстный нумизмат. А если когда-нибудь захотите, я познакомлю вас со своей коллекцией. Она у меня, могу сказать без ложной скромности, весьма обширная.

С того дня и началось их знакомство, переросшее в многолетнюю сердечную дружбу, не омрачённую ни завистью, ни соперничеством. Каждый восхищался другим и считал, что ему очень повезло. Топорков нашёл в лице Иосифа не только «своего» доктора, к которому бегал за советом по каждому поводу, но и благодарнейшего слушателя, готового часами внимать увлекательным монологам о монетах, их истории, чеканке и прочих подробностях из жизни денег. Его лекция, действительно, была уникальной. Не раз, бывая у Петра Петровича в его квартире на Дворцовой набережной, заставленной разномастной мебелью, большими и маленькими столиками и этажерками с кучей фарфоровых, вечно

пыльных безделушек, Иосиф восхищённо разглядывал бесчисленные классеры с ячейками для монет. Он поражался тому, что каждый экземпляр был аккуратно атрибутирован и подписан: год чеканки, в честь чего или кого выпущен, а иногда даже указывалось имя минцмейстера – чиновника, который в царское время управлял производством монет. Пётр Петрович завещал коллекцию Историческому музею, где через многие годы после его смерти она и оказалась.

Иосиф, лишённый романтической страсти, без которой невозможно никакое коллекционирование, увидел в новом увлечении ещё одну возможность обеспечить себя и свою семью. Так началось его собрание монет. Бывало, их приносили клиенты. Как правило, всё тех же «сеятелей», но, случалось, попадались и николаевские «пятёрки». По уже установившейся традиции он оставлял их себе. Пациенты не возражали. Им ведь было всё равно из какого золота у них будут коронки, лишь бы они не темнели и не сваливались. Ну, всё это Иосиф обеспечивал в полной мере.

Многие экземпляры он покупал сам. Конечно, всегда прежде советуясь с Топорковым. Признавал Иосиф только золотые. Никаких серебряных, не говоря о медных, хотя у коллекционеров они, порой, шли дороже золотых. «Золото во все времена есть золото», – трезво рассуждал он. Стоили монеты недёшево. По шестьдесят, по сто, а то, случалось, и по двести рублей за штуку. Но Иосиф уже твёрдо стоял на ногах, зарабатывал достаточно и был уверен, что собирая коллекцию, не выбрасывает деньги на ветер. Это надёжное вложение капитала, будущее его дочери, спокойная беззаботная их с Полиной старость, подмога родителям. Через несколько лет в его коллекции скопилось уже больше пятидесяти монет.

Однажды – это было уже в конце шестидесятых – Пётр Петрович поинтересовался у дантиста, где тот прячет монеты. Иосиф ответил, что нашёл укромное местечко в квартире. Тогда-то Топорков с сомнением покачал головой.

– Друг мой, к вам каждый день ходит толпа народа. О том, что у вас дома золото, наверняка известно многим. Вы же не можете знать, что на уме у ваших пациентов. Да и замок на входной двери у вас хлипкий, я видел. Надо бы монеты из дома от греха подальше убрать. Ваши родные ведь на Валдае живут, верно? Вот и спрячьте их там где-нибудь. Увозите их, голубчик, от греха подальше, а то неровён час... Будет весьма обидно. Сегодня на них и машину возможно купить, и квартиру. Ну, вы это не хуже меня знаете.

Иосиф не мог не согласиться с предостережением друга, и в ближайшие выходные пасмурным мартовским днём они втроем – Иосиф, Полина и Лялька сели в свой новенький «Москвич» и покатали на Валдаи.

Монеты произвели на родителей невероятное впечатление. Они, конечно, знали, что Сянечка достиг в городе больших успехов, но чтобы таких! Отец вертел в руках «сеятеля» и не мог поверить, что за одну эту монету дают шестьдесят рублей. Уму непостижимо! Это две его пенсии! Как такое может быть? Он просто не в состоянии понять. Мать, конечно, тут же осадила мужа, мол, мало ли чего ты не понимаешь, при чём тут твоя пенсия, и, если бы Сяня не помогал, они бы все вообще имели бледный вид, но да, что уж говорить, цены на монеты, конечно, серьёзные. Лялька окрестила коллекцию «сокровища Али-бабы».

И все начали думать-гадать, куда бы эти самые сокровища получше спрятать. Потом единодушно поняли, что подвал с десятком полок и бесконечными рядами домашних заготовок есть наилучшее место хранения. Там монеты в жизни никто не отыщет, да и искать не будет. Больно хлопотно вору будет возиться со всеми банками и бочонками. В этот же вечер Берта сшила из старой холстины мешочек, положили в него монеты, а сам мешочек поместили в старую кастрюльку и забаррикадировали батареей стеклянных банок.

Когда дело было сделано, Иосиф расслабился, улыбнулся, обнял мать с Бертой, расцеловал в морщинистые щёки. Обе сильно сдали. Мать как-то обмякла, её нестибаемая прежде спина, согнулась. Черты лица стали мягче, и она стала похожа на свою мать, любимую его вишнеевскую бабушку. Сердце Иосифа замирало, когда он видел эти почти забытые черты, и всё чаще вспоминал детство, бабушкин двор с покосившимся забором, кровать с шишечками, на которой они с Мирочкой обожали скакать, а бабушка, бывало, их стогнала и сердито приговаривала: «Такая дорогая вещь, а эти невоспитанные, эти *шлэхтэ киндэр*<sup>8</sup> её хотят окончательно сломать!»

На следующий год Иосиф приехал навестить родителей и не узнал мать. Он даже ахнул про себя, так она резко похудела и осунулась. Она уставала от малейшего напряжения, кашляла, а по вечерам у неё поднималась температура. Иосиф сразу заподозрил неладное. Он прекрасно понимал, что могут означать такие симптомы, и рассердился, что никто из домашних не сообщил ему о болезни.

– Скажешь тут, – вздохнул отец, когда Иосиф вышел с ним на крылечко покурить, – не велела она тебя беспокоить. Шумела, когда я хотел написать. Не вздумай, говорит, этого делать. У Сюни и своих дел по горло. Сами как-нибудь. Ну, купили мы в аптеке таблеток от кашля, Берта отвары делает. Вроде ей немного легче. А в больницу мать ни за что не хочет. Толку, говорит, от этих больниц никакого. Твердит, что из дома только вперед ногами. Так, говорит, и знайте.

Иосиф мрачно выслушал, покачал головой и вскоре привёз из Ленинграда рекомендованного кем-то знаменитого профессора. Стоил приезд этого тучного молчаливого мужчины лет пятидесяти, с большим неприятным лицом, кучу денег, что, конечно, не имело значения. Главное, Иосиф надеялся, что тот поставит диагноз и назначит толковое лечение. Может, посоветует хорошую больницу в Ленинграде. Но профессор, по-птичьему наклоняясь над больной, постукивал пальцами по спине, велел «дышать-не-дышать», сделал озабоченное лицо и заявил, что да, слышит шумы и хрипы, возможно, имеется воспаление лёгких, но, скорее всего, это, голубчик, *cancer pulmonar*<sup>9</sup>. Хотя нужны ещё анализы крови и рентген, но он почти уверен: *cancer*, уввы. Потом долго и как-то брезгливо мыл под краном руки, словно ему дали поддержать дохлую крысу. Когда Иосиф с доктором уже прощались, мать велела сыну подойти ближе к кровати.

– Ну, что, Сюнечка, хворая твоя голова, – усмехнулась она, – и нужно было тащить этого надутую индюка чёрт знает откуда за бешенные деньги, чтобы сказать, что я умираю? Это я и без него знаю...

Иосиф вздрогнул. Мать никогда не называла его «хворая твоя голова». Он беспомощно оглянулся, словно ему снова было двенадцать, он набезобразничал и теперь не знает, как оправдаться. Ему хотелось плакать. Иосиф взял сухую, морщинистую руку матери, осторожно поднёс к губам и поцеловал.

Возвращался домой с тяжёлым сердцем. Утешало лишь то, что возле матери всегда была Берта, их маленький домашний ангел. Это была самая преданная сиделка на свете. Стоически переносила бесконечные капризы больной, её плохое настроение, частые несправедливые попреки. Берта никогда не раздражалась и не показывала, что устала. А ведь ей тогда уже тоже было около семидесяти лет. К тому же «тёточка» плохо видела. Но она преданно кормила мать с ложки, когда та уже не могла встать с постели, мыла, переодевала, меняла бельё, давала лекарства, вставала ночью по малейшему требованию. Отец вряд ли бы один справился. За их долгую совместную жизнь он привык, что жена его, как стойкий оловянный солдатик, всегда в строю, всегда готова к бою. А тут... Тут приходилось быть сильным самому. И это его совершенно подкосило. Отец совершенно растерялся, был подавлен, и помощи от него, честно говоря, было мало.

Через полгода матери не стало.

На похороны съехалось множество людей, какие-то неизвестные родственники, знакомые, и совсем незнакомые из Валдая, Новгорода, Могилёва. И каждый вспоминал, что за прекрасный человек была «наша дорогая Фанечка», сколько она всего хорошего сделала, как выручала, спасала, помогала, а самое малое, что они могли сейчас для неё сделать, так это приехать и проводить в последний путь. И да покоится она с миром, и пусть земля ей будет пухом. Амэн.

Владимир Васильевич с Зорей Яковлевной тоже, конечно, приехали, но вернулись в Ленинград сразу после похорон, а Иосиф, с Полиной и Лялькой, и Мирочка с мужем Сашей и сыном Борей, остались с отцом сидеть семидневный траур. А на восьмой день, когда все засобирались по домам, Берта за завтраком неожиданно объявила.

– Детки дорогие, уезжаю я к сыну. Забирает меня Йозас к себе. Вот сегодня и поеду. Вы разъедетесь, и я поеду.

Все были просто потрясены. «Как? С чего вдруг? Столько лет он тебя не забирал, а теперь что произошло?» – наперебой восклицали родственники.

– Родные мои, Фанечка умерла. Лялечка с Боречкой выросли, не так-то я им и нужна. Что мне тут оставаться? Йозас хочет построить дом. Там и для меня комната найдётся. Он женился. Детки у него растут. Буду им помогать.

И как Берту ни уговаривали, как ни убеждали, что здесь, в родном доме ей будет лучше, да и отцу не так грустно одному, она только молча кивала головой, мол, да-да, всё верно, но что делать, такая жизнь, такие обстоятельства. Повздыхали да и отстали. Все знали, что если уж Берта что-то втемяшила себе в голову, то уж не отступится. Известная упрямица.

Но что ж тут скажешь. Её жизнь, её выбор, её судьба.

И их «приёмная тёточка» как-то быстро и суетливо собралась за один день. Иосиф с Сашей подхватили Бертины нехитрые пожитки, и всей гурьбой отправились на вокзал провожать. Записали адрес Йозаса в Вильнюсе, взяли слово,

<sup>8</sup> Плохие дети (*идиши*).

<sup>9</sup> Рак лёгких (*лат.*).

что она сразу напишет, как устроится, обнялись на прощание, и когда уже до отхода поезда оставалась минута, Берта с заплаканным лицом высунулась из окна вагона и прокричала:

– Прощайте, дорогие мои, и простите, простите меня, если можете.

– Вот человек, – вздохнула Полина, когда, поезд, пыхтя и громыхая, скрылся вдаль, – вечно перед всеми виновата, вечно всем должна, вечно извиняется. И каково ей будет с этим её сыном? Типчик-то ещё тот.

Полина взяла мужа под руку и прижала к себе. Иосиф поглядел на жену, на её нежный тонкий профиль, на знакомую маленькую родинку у глаза и подумал: «Хорошо бы нам, как в сказке, прожить вместе долго-долго и умереть в один день».

Вестей от Берты не было никаких. Её часто вспоминали, думали-гадали, хорошо ли ей у сына? С другой стороны, все соглашались, что, как бы ни было, всё же он ей родная кровь. А это, как ни крути, самое что ни на есть главное.

Жизнь меж тем шла своим чередом. Лялька заканчивала школу и собиралась поступать в медицинский институт. Полина всё также преподавала в музыкальном училище, её родители вышли на пенсию, а Иосиф продолжал трудиться и в поликлинике, и на дому. Он стал очень известным доктором, и двери в его домашний кабинет не закрывались. Дела шли отлично. Недавно он сменил «Москвич» на более дорогую и престижную «Волгу» и страшно ею гордился. На ней он частенько в выходные отправлялся в Валдай. Мирочка с мужем и сыном вернулись в родительский дом, «родовое гнездо», как в шутку называла его Полина. И это было хорошее решение: во-первых, отец теперь был не один, а во-вторых, и Мирочкина семья больше не ютилась с родителями мужа в их крохотной квартирке. Своё «гнездо» им никогда не хотелось покидать. Даже отпуск они проводили на Валдае. Прекрасное озеро с его плёсами и песчаным берегом, окружённое елями и соснами, изумрудными холмами и лесами, заменяло им остальной мир.

Иосиф же обожал новые места, новых людей. Они много путешествовали с Лялькой и Полиной и по Кавказу, и по Крыму, были на Алтае, в Сибири. Имея связи и деньги, могли позволить себе отдых в дорогих престижных пансионатах и домах отдыха и даже трижды побывали за границей – в Болгарии, ГДР и Польше. А это уж было точно привилегией очень немногих советских граждан. Иосиф стал успешным и состоятельным человеком. И заслуженно гордился этим. Коллекция монет тоже исправно пополнялась. Их уже было больше полутора десятков. И, когда однажды Петр Петрович принёс ему замечательный экземпляр – пять золотых Александра Третьего 1882 года и настоятельно рекомендовал купить («Посмотрите, голубчик какое изумительное состояние и высочайшая 997-я проба. Через десять лет, поверьте, этой монете вообще цены не будет»), он монету таки приобрел, но понял, что пора и новую коллекцию прятать в заветном схроне на Валдае. Бережёного Б-г бережет.

Иосиф не заглядывал в свой тайник четыре года с самых похорон матери. Сейчас, спускаясь в подвал по знакомой лестнице в прекрасном настроении, он оки-

нул взором закрома и отметил, что пустых мест на полках как не было, так и нет. Они по-прежнему ломятся от всяческих солений-варений. Мирочка с Сашей, что называется, подхватили упавшее знамя и продолжили славную традицию домашних заготовок.

Иосиф, весело насвистывая, разгрёб банки, увидел у стены знакомую коричневую эмалированную кастрюлю, вынул из неё мешочек... и обнаружил, что тот безнадежно и бесповоротно пуст. Сделав ещё несколько бессмысленных телодвижений, встряхнул мешочек, заглянул за кастрюлю, переставил её вправо, потом зачем-то, влево, пошарил в других углах и окончательно осознал, что его бесценной коллекции, его надежного будущего больше нет. Он обворован самым банальным образом. Защемило в груди, мучительно заколотилось сердце, и Иосиф рухнул на стоявший рядом табурет. Во рту пересохло, перед глазами поплыли чёрные точки.

Иосиф перевёл дыхание и помассировал грудь. У него было ощущение, что его переехал грузовик. Иосиф вдруг отчётливо вспомнил, как тогда, четыре года назад отчаянно и надрывно кричала им из окна вагона Берта: «Простите меня, простите!» Теперь стало понятно, за что она просила прощения. Но как она могла? Почему? Неужели они пригрели предательницу?

Родные, потрясённые случившимся, молча сидели за столом. Только Мирочка время от времени вскакивала с места, металась по комнате и вскрикивала: «Не могу представить. Нет, она не могла! Не хочу в это верить. Это не Берта, вот увидите!» Сестра любила «тётечку». Та всегда была на её стороне, и, если мать, бывало, сердилась на Мирочку, Берта немедленно начинала выгораживать девочку. Но теперь все эти воспоминания казались неважными и несущественными.

Берта бессовестно их обокрала. Она воровка, оказывается. Как же они этого не знали столько лет? Эх, тётечка, тётечка...

Иосиф объявил, что вечерним поездом уедет в Вильнюс. И, как ни уговаривали его, мол, не стоит ехать одному к Йозасу, кто его знает, как тот себя поведет, Иосиф был непреклонен. Ему плевать на это ничтожество, и ничего Йозас ему не сделает. Он должен поговорить с Бертой. Заглянуть ей в глаза. Напомнить кое о чём, что произошло в деревенском сортире в сорок пятом. Или о том, что она двадцать пять лет прожила в их доме как родной и близкий человек. Неужели всё это больше ничего не значит? Что вообще происходит на свете? Человек человеку действительно волк? И неужели они с матерью ошибались? А он-то думал, что человек человеку Б-г. Э, да что теперь об этом говорить? Внутри у Иосифа всё кипело и возмущалось, и вдруг он с силой грохнул кулаком по столу да так, что Лялька испуганно вздрогнула.

– Ну, пап, да ладно тебе. Что ты так убиваешься?

– Правда, Иосиф, ну, не умрём же мы без этих монет, а она нищая, – примирительно добавила Полина. Но, глядя на красное, гневное лицо мужа, умолкла. Она знала, что за внешней мягкостью и, кажущейся нерешительностью скрывается сильный и цельный характер. И лучше бы сейчас промолчать.

А Иосиф разозлился окончательно.

– Вы вообще ничего не соображаете, да? Она нас о-бо-кра-ла! И не находите

мне тут, пожалуйста, смягчающих вину обстоятельств. У меня имеется свой суд, в котором судят по всей строгости закона. Человеческого закона.

Поезд прибыл в Вильнюс ранним солнечным утром. Привокзальная площадь была пуста. Иосиф озирался по сторонам, думая, где бы найти такси. Однако через минуту подкатил старенький белый «Москвич». Из окошка высунулась весёлая физиономия литовского парня в клетчатой кепке.

- Куда едем? – поинтересовался он.
- Вначале по этому адресу. Возможно, ещё в несколько мест.
- А сколько дадите?
- Не обижу.

Иосиф назвал цену. Водитель весело присвистнул и от радости даже вышел из машины и распахнул перед щедрым пассажиром дверцу. Тот без улыбки нырнул на заднее сиденье. Водитель поглядывал в окошко на хмурого, хорошо одетого мужчину и только гадал, что тому понадобилось в бедном окраинном районе города, где живёт сомнительная публика.

Приехали на узкую, грязную улицу с тёмными, неопрятными домишками. Иосиф вышел из машины, брезгливо перешагнул через кучу мусора, ещё раз сверился с адресом и постучал в некрашеную калитку. Через невысокий забор увидел, как из дома шаткой нетрезвой походкой идёт лысый мужик в рубашке навыпуск и линялых растянутых тренировочных штанах. Распахнув калитку, мужик уставился на незнакомца.

- Кого тебе?
- Мне бы Йозаса.

Мужик шагнул вперед.

– Не живёт он здесь. Мне он этот дом продал. Продал и уехал, ядрить твою мать. Разбогател! В лотерею, понимаешь ли, выиграл.

- Куда уехал?
- А тебе зачем?

– Он мне денег должен. Вот приехал должок получать.

Мужик оживился.

– Вот пусть и отдаёт, паскуда. Кто выиграл, я так считаю, должен и обязан взятое возвращать. А то в Рудамине огромный дом себе купил, чуть не в три этажа, «Жигули» отхватил, а долги отдавать не хочет? Вот сволочь! У самого-то денег куча! – мужик разгорячился не на шутку. – В лотерейный билет он, понимаешь ли, выиграл. Видал я таких, которые выигрывают, знаешь где? Я, небось, не выигрываю, и мой сосед не выигрывает, и тесть мой не выигрывает, и сын мой не выигрывает, и жена моя не выигрывает, и...

– А мать его, Берта, с ним уехала? – перебил мужика Иосиф, которому надоело слушать пьяные разглагольствования.

– А, слепая эта? Не, он её в дом престарелых сдал. Я же говорю паскуда.

– А где этот дом престарелых?

– Да тут недалеко, если на машине. Водила твой знает. Только не жди, что она тебе долг отдаст, зря только смотаешься. Тебе в Рудамину надо ехать, его трясти за грудки. Денег он не отдаёт! Да я таких, которые в лотерею!..

Но Иосиф уже не слушал и быстро шёл к машине. Он был страшно зол. Его просто трясло от ярости. Этот подонок, оказывается, в лотерею выиграл! Ха-ха! Так вот откуда у него деньги! Ну, просто курам на смех. А мать, значит, перевозить на новое место оказалось не с руки. Как старый диван – хлопотно и бессмысленно, всё равно в дороге развалится.

Злость на Берту как-то сама собой перенеслась на Йозаса. Конечно, вся кража монет из-за него.

Иосиф плюхнулся на заднее сиденье. Велел ехать в дом престарелых. Минут через десять остановились возле ворот большого парка. Вдалеке проглядывало длинное казённое двухэтажного здание.

Иосиф быстрым шагом шёл по большой и ухоженной территории. Вдоль дорожек чинно стояли скамейки и беседки. Вокруг теснились липы, тополя, берёзы, дубы. Их молодые зелёные листья трепетали на лёгком ветерке и радовали глаз. Вдали у забора росли низкие кусты сирени. «Опять эта сирень, – усмехнулся про себя Иосиф, – как из-под земли вырастает всякий раз, когда жизнь бьёт меня под дых. Как будто намекает на что-то или предупреждает». Но сирени, конечно, не было дела ни до Иосифа, ни до его страданий. Она росла сама по себе и была прекрасна независимо ни от чего, как солнце или море.

В вестибюле дома престарелых за стойкой сидела дежурная, полная пожилая женщина с некрасивыми, почерневшими зубами. Иосиф спросил её о Берте. Дежурная достала из ящика какой-то старый истрёпанный журнал, долго водила по строчкам узловатыми пальцами, и, наконец, вздохнув, подняла голову.

– Есть такая. Второй этаж. По коридору налево и направо. Комната двадцать два. Не заблудитесь.

Найдя нужную дверь, Иосиф остановился в смятении на несколько минут, потом набрал воздуха и вошёл. Берта сидела на кровати и глядела в стену. На ней был синий халат, который он когда-то подарил ей на день рождения. В убогой комнате с широким окном, казёнными унылыми тумбочками и трёхстворчатым зеркальным шкафом стояли ещё две кровати, аккуратно застеленные байковыми одеялами. Кроме Берты, в комнате никого не было. Очевидно, соседки ушли гулять. Иосиф долго смотрел на неё. Она повернула голову к вошедшему, но не произносила ни слова.

– Здравствуй, Берта, – тихо произнёс он.

– Здравствуй, Сюнечка.

Помолчали.

– Ты давно здесь живёшь?

– Три года уже. Как Мирочка? Лялечка? Все вы?

Иосиф не ответил.

– Берта, зачем ты взяла монеты?

Она вздохнула, поправила платок на голове.

– А что мне было делать? Йозас говорил, без денег не возьмёт меня. Да и некуда ему было. Домик-то у него совсем завалющийся был. Он ему после его дяди, Андриуса брата, достался. А у него ведь жена, детки. И Йозас сказал: «Возьми, мамаша, эти монеты. Иосиф, мол, даже не заметит, что они пропали. Ему они вообще без надобности, а у нас на хлеб не хватает. Продадим монеты и купим дом.

В деревне Рудамина хорошие дома, можно не задорого купить. И на машину ещё хватит. Заживём все вместе».

Берта смотрела на Иосифа невидящими глазами...

– В этой Рудамине у него дружок живёт. Он и уговорил там дом купить. Обещал Йозаса с женой на птицеферму устроить.

Иосиф слушал этот безучастный рассказ, и всё в нем закипало. Но он молчал. Ждал, что скажет Берта.

– Я, конечно, ни за что не хотела брать чужое. Как я могла? Вы ж мне родные люди... Я Йозасу-то рассказала, как мы монеты прятали. Просто так рассказала... я ни о чём таком не думала... Но Фанечка, царствие ей небесное, умерла. Мне у вас уже не с руки было оставаться. Всё получалось одно к одному. Очень уж мне хотелось старость с сыном провести.

– Ну, и что же было дальше? Ты ему монеты привезла, он их продал, дом себе большой купил. И машину, я слышал, тоже приобрёл. Не какую-нибудь, «Жигули». Твой сын перестал быть бедным человеком, верно? Тогда отчего же тебе место не нашлось в его доме? Почему ты здесь, в комнате с тремя старухами, где пахнет мочой и кислыми щами?

Берта обречённо вздохнула.

– Ты же видишь, я совсем ослепла, за мной уход нужен, а кто это будет делать? Они ж с невесткой моей, Милдой, целый день на птицеферме своей пропадают. А здесь мне нравится. Кормят три раза в день. Вчера запеканку творожную с кефиром давали на ужин. И парк тут хороший, большой. Я, бывает, сижу на скамеечке и слушаю, как деревья шумят. Совсем как на Валдае. Там тоже деревья большие, красивые. Меня нянечки по очереди выводят погулять. Они вообще мне сильно помогают. И постель, если что, поменяют, и бельё стирают, и икупают. Йозас им каждый месяц платит, чтоб за мной получше смотрели. Он хороший сын, заботливый. Да-да, он хороший, мой Юзик.

И слёзы, как два ручейка, побежали по её морщинистым щекам, стекали по сморщенной беззащитной шее и пропадали за воротом халата.

– Прости меня, дорогой Сюнечка, – вдруг всхлипнула она, – прости, мальчик мой родной, если можешь. Как я перед тобой виновата! Перед всеми вами, перед Фанечкой, пусть земля ей будет пухом. Я умру скоро, так что не проклинай меня.

Иосиф сел рядом на кровать, осторожно обнял Берту за худенькие плечи, достал из кармана платок и утёр ей слёзы. Проклятая жизнь, до чего она бывает паскудной! Он и сам едва сдерживался, чтобы не заплакать.

Так они долго сидели в обнимку, пока не вошла в комнату соседка, высокая сухая старуха лет восьмидесяти, остро и недобро глянула на гостя, и Иосиф, словно очнувшись, погладил Берту по плечу. Помедлив, вынул из кошелька деньги и незаметно сунул ей в карман. Старуха-соседка неотрывно следила за ними, не мигая и не говоря ни слова. Иосиф встал, попрощался с обеими женщинами и ушёл. В дверях он обернулся и увидел, что его тётка всё так же сидит, низко опустив голову.

И ещё долго он вспоминал их последнюю встречу, и каждый раз сердце его сжималось от жалости, и не было в нём больше ожесточения и злобы.

А через год ранним утром, когда Иосиф собирался на работу, в квартире раздался междугородный телефонный звонок. Вначале он не мог ничего разобрать. Какая-то Рута из Вильнюса, какая-то соседка какой-то Каган. Он и забыл Бертину фамилию напрочь. И вдруг сообразил о ком речь. И мигом скрипучий неприятный голос соединился с образом той высокой старухи, которую он мельком видел прошлым летом.

– Умерла ваша Берта. Отмучилась. Перед смертью просила вам позвонить. Сказала, вы с вашей сестрой единственные родственники, что у неё остались. Хорошая женщина была, добрая, тихая.

Иосиф, помолчав, спросил.

– А где же её сын?

– Так погиб он полгода назад. Ехал пьяный на своей машине да и врезался в дерево. Спасибо ещё, один был, без жены, без детей. А так бы и им конец.

С того дня прошло полтора десятка лет, даже чуть больше. Сейчас, сидя в одиночестве под давно не чищенной бронзовой люстрой с цветочными плафонами, окружённый всё той же старинной мебелью, уже давно не казавшейся такой роскошной, Иосиф вспоминал свою жизнь и она показалась ему ужасно грустной. Чёрт возьми, сколько потерь, сколько разочарований...

Он встал из-за стола, чтобы размяться. Подошёл к окну. Там во дворе-колодце, где обычно бывало темно и сыро, сегодня редкое питерское солнце щедро освещало чахлые кусты, невесть кем и когда посаженные в углу двора. Двое подростков – парень и девочка в ярких куртках и джинсах сидели на корточках и о чём-то оживлённо болтали. Неожиданно девочка вскочила и, дразня мальчика, мол, попробуй, догони, помчалась по двору. И парень, немедля принял игру и побежал за ней и делал вид, что не может догнать. Оба хохотали, как сумасшедшие. И было в их шуточных догонялках столько молодой силы, столько права на этот мир и счастье в нём, что Иосиф невольно улыбнулся и вдруг понял, что несправедлив к себе.

Не всякому повезло, как ему. Он был женат на прекрасной женщине, которую любил до конца её дней; с родителями жены много лет прожил душа в душу в одной квартире и достойно похоронил их на Большеохтинском кладбище. Там же покоится и Полина. Иосиф думал, что и сам будет лежать рядом с женой, но, видимо, тому не суждено случиться. Он состоялся в профессии, стал известным, уважаемым доктором. Это ли не удача? Своим трудом нажил приличный капитал и, когда отправится в эмиграцию, не будет там бедствовать. А, может, чем чёрт не шутит, ещё и сдаст какие-нибудь экзамены и начнёт работать если не дантистом, то хотя бы помощником врача. Тоже дело. Всё лучше, чем сидеть дома, как какой-нибудь пенсионер. Он к этому совершенно не готов. Его дочь – теперь уж, конечно, не Лялька, а Елена Иосифовна – умный, хороший человек, отличный отоларинголог. Работает в городской больнице вместе с мужем Сенеи, прекрасным хирургом и серьёзным парнем. А на Израиль у них большие планы: мечтают на новой родине открыть частный кабинет. Ну что ж, он постарается в этом помочь. Правда, Иосиф понятия не имеет, какие там цены, но в любом случае нищими эмигрантами они не будут.



Жаль только, что Мирочка наотрез отказалась уезжать. «Понимаешь, не могу я оставить дом, – убеждала она то ли себя, то ли брата, – его ведь построил отец. И мы с тобой тут родились и выросли, и наши дети. Здесь умерли и мама, и папа. Здесь их могилы».

Да, это было так. Отец прожил пять лет после мамы. Как-то утром просто не проснулся. Этот здоровый, почти никогда не болевший человек, ушёл во сне, как праведник. Иосиф соглашался с доводами сестры. Но он также и догадывался, что русскому мужу Саше совершенно не нужна чужая историческая родина. Что он там будет делать? У него здесь свои родные и свои могилы. Ну что ж у каждого своя жизнь и свои резоны.

Но они с Лялькиной семьей твёрдо решили ехать. Жизнь менялась на глазах. Вдруг из каких-то щелей повылезали мерзкие типы. Какие-то «патриоты» и неофашисты. Разнузданной толпой они бесновались на Невском, держали в руках плакаты и призывали народ бороться с «сионистами, разрушающими арийский мир». И за это воевали его отец и тесть Владимир Васильевич? За это страдала в концлагере Берта, а его бабушку и дедушку сожгли заживо в амбаре? И это он – сионист? Тогда уж, простите, лучше сионистом быть, чем сионистом слыть.

Но хаос и разруха царили не только в головах людей. В больницах не хватало буквально всего. Врачи горько шутили, что скоро перевязочные материалы будут, как в военные годы, делать из простыней. А недавно у Сени в отделении вообще произошел вопиющий случай. Они с бригадой врачей и медсестёр несколько часов оперировали тяжелейшую больную. Операция прошла успешно, Сеня был очень доволен, потому что у больной появились все шансы на выздоровление. После операции её отвезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. А ночью, как уже не раз бывало, вырубилось электричество – и женщина умерла. Ей было сорок, и у неё остались двое детей. Сеня был вне себя от ярости, но что он мог сделать?

Наступило время относить коллекцию Жене. Тот обрадовался Иосифу, как родному. Он долго рассматривал каждую монету в лупу, удовлетворенно хмыкал и цокал языком, и, наконец заявил, что, пожалуй, на такое покупателя он найти сможет. А буквально через несколько дней позвонил и велел принести монеты и зайти за деньгами. Покупатель-таки нашёлся! Как объяснил нумизмат, какой-то «новый русский», в монетах ничего не понимает, решил вложиться. Но только...

– Уважаемый Иосиф Миронович, вы очень дорого просите. А сегодня такое время... Сами понимаете. Вот если бы процентов на тридцать поменьше, он бы прямо сразу всё и взял.

Это было неожиданно и неприятно, Иосиф, досадуя, в первую минуту решил было отказаться. Потом мысленно махнул рукой. Уж лучше синица в руках...

Коллекция была продана. Хоть одной проблемой стало меньше. Теперь, как советовали многие, следовало превратить рубли в доллары. Официально вывозить в эмиграцию разрешалось только сто двадцать долларов на человека. Весьма негусто. Но, как всегда, для богатых людей существовали другие правила. Находились «деловые люди» со связями на таможне, которые за определённый

процент (весьма не маленький) делали так, что таможенники не замечали у вас лишней валюты. И вы провозили столько, сколько хотели и могли. Иосифу тоже рекомендовали такого «делового человека», маленького, суетливого типа с усиками, который же и менял рубли на доллары. Говорили, что он вроде бы пока никого из знакомых не подвёл, хотя, конечно, сегодня ни в чём уверенным быть нельзя, и в любой момент всё может случиться и пойти не по плану.

Но Иосиф старался не думать о плохом. Он уже снял со сберкнижки большую часть сбережений и держал их всё в том же тайнике на антресолях. Обменивать рубли пока не спешил. Он вообще не был сторонником скоропалительных решений и любил прежде всё как следует обдумать, взвесить и последний (сотый) раз уточнить. Полина в отличие от него принимала решения легко, сразу и нередко сердилась на мужа, уверяя, что ленинская крылатая фраза «шаг вперёд и два назад» выдумана вождём специально для него. На что Иосиф парировал, что поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь» тоже, кажется, никто не отменял. Ну, не мог Иосиф с бухты-барахты решиться на такой ответственный шаг. Ведь если подумать, у него на руках громадная сумма в рублях, а в долларах по нынешнему курсу она выходит какой-то несерьёзной. И, кроме того, никто не мог ему точно сказать, сколько и чего можно будет в Израиле купить на полученные доллары, которые, к тому же, снова нужно будет менять на местные шекели. И потому он сильно колебался. Инерция мышления советского человека, никогда не имевшего дела ни с какой другой валютой, кроме рублей, мешала ему видеть перспективу в этом подозрительном обмене. И Иосиф продолжал тянуть, придумывая себе всё новые точки отсчёта – «вот продам мебель и тогда поменяю ... вот найдётся покупатель на машину и квартиру... вот продам медицинское оборудование... ну уж после Нового года крайний срок».

Лялька и Сеня торопили его, уговаривали поспешить, а то мало ли что в этом царящем вокруг хаосе может случиться, но он опять откладывал.

«Ещё есть время, – отмахивался он, – куда вы меня всё гоните?» Но когда на десятое февраля окончательно и бесповоротно были приобретены билеты на поезд до Варшавы, а оттуда на самолёт до Тель-Авива (прямых рейсов в Израиль тогда ещё не существовало), Иосиф спешно условился с «деловым человеком», и тот назначил встречу на 25 января. Услуги этого типа были нарасхват, и приходилось подстраиваться под его расписание. Когда трудное решение было принято, Иосиф немного расслабился. До сделки осталось всего три дня. Но вечером 22 января, набегавшись за день по всяческим предотъездным делам, он, как всегда, уселся перед телевизором и вдруг услышал в программе «Время» ошеломляющее сообщение. Диктор читал его с таким бесстрастным лицом, словно объявлял прогноз погоды. Но это было сокрушительное известие, которое отразилось буквально на всех жителях страны.

Президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ о проведении в стране денежной реформы. Сотенные и пятидесятирублевые купюры изымаются из оборота. Их можно обменивать в банке на купюры нового образца, но только в течение трех дней, и при этом не более, чем на четыреста рублей. Снимать со сберкнижки разрешается только до пяти сотен в месяц. И весь этот кошмарный закон вступает в силу немедленно. Иосиф слушал и не верил своим ушам.

Что значит можно обменять старые деньги на новые не более, чем четыреста рублей? А у него в тайнике сотни тысяч! И как понимать, что разрешается снимать со сберкнижки лишь пятьсот рублей в месяц? Да у него на счету лежит около семидесяти тысяч! Они что, с ума, что ли, сошли? Что это за грабеж среди бела дня?! Иосиф вдруг понял, что разорён. Что он нищий. Его снова обворовали, только на сей раз это сделала не бедная старуха, а государство. И теперь ни одной его мечте в Израиле не суждено сбыться. Он не сможет помочь Ляльке и Сене купить частную практику. Они будут горбатиться, чтобы заработать на съёмную квартиру. И все они уедут в эмиграцию с теми самыми разрешёнными к провозу ста двадцатью долларами на брата.

Ка-та-стро-фа!!! И всё из-за его дурацкой нерешительности. Старый глупый осёл. Ага, семь раз отмерь! Права была Полина, тысячу раз права! Как её не хватает. Как ему плохо без неё. Почему-то он всегда думал, что из них двоих он уйдёт первым.

Сейчас он особенно остро чувствовал своё одиночество. Иосиф неожиданно вспомнил, как Полина замечательно пела. Особенно ему нравился старинный романс «Не уходи, побудь со мною». Бывало, сядет она за рояль и давай дурачиться! Изображает, то как его цыганка поёт, эдак с надрывом, со «слезой», то как певичка из кабаре, и тоже лихо и разудало, а то вдруг бельканто выдаёт, словно оперная дива. И до того всё похоже, до того смешно! И сама веселится, и велит Иосифу подпевать. Он отнекивается, смеётся – мол, ты же знаешь, мне медведь на ухо наступил. А она: «Ничего, буду давать тебе уроки сольфеджио, живо научишься».

Ах, милая, любимая моя Полина. Не уходи. Побудь со мною. Я так давно тебя люблю.

И он, не сдержавшись, заплакал.

Тут зазвонил телефон. Иосиф нехотя взял трубку.

Звонила Лялька. Голос у нее был неожиданно бодрый и оптимистичный:

– Папа, мы всё знаем. Ты, главное, не убивайся. Мы же все живы-здоровы? Никто не умер, правда? Не бойся, руки-ноги у нас есть, голова на плечах тоже. Прорвёмся там как-нибудь, вот увидишь. Помнишь, бабушка говорила: «Г-споди, пугай меня, но не наказывай. И ещё, мне тоже нравилось: «Красивым был и деньги имел, но это не считается». В общем, что было, то сплыло. Начнём всё сначала.

Иосиф повесил трубку и невольно улыбнулся. Дочка вся в свою маму – такая же лёгкая, весёлая. Недаром говорят, таким людям проще живётся. Может, и впрямь они там не пропадут? А что их ждёт впереди никому неизвестно. Никому и никогда.

Нумизмат Женя тоже, конечно, слышал указ Горбачёва. Но эта новость, в отличие от большинства жителей страны, его ужасно развеселила. Женя вскочил с кресла и принялся радостно скакать по комнате.

– Лиза, – громко позвал он жену и, не дождавшись ответа, крикнул ещё раз: – Лиза!

Из соседней комнаты вышла Лиза, которая в данный момент укладывала трёхлетнего Максика, и вопросительно взглянула на мужа.

– Ну?

– Ты должна немедленно подтвердить, что твой муж гений из гениев!

Муж Жека сиял, как медный таз, и на гения походил мало.

– В чём дело?

– Ты, помнится, отговаривала меня покупать коллекцию этого дантиста? Мол, тратим на неё чуть ли не все сбережения? И вот, пожалуйста, гляди! У всех реформа, а мы в шоколаде! Говорил я тебе – надёжней золота ничего нет.

*Нетания*

*август 2024 ■*

Меню

рассказы  
и рецензия



## Михаил ЭПШТЕЙН

📍 Москва, Россия –  
Атланта, США



Фото: из личного архива автора

Филолог, философ, культуролог, профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори с 1991 года. Основатель и руководитель Центра гуманитарных инноваций в Даремском университете (Великобритания, 2012–2015).

Автор 42 книг и более 800 статей и эссе, переведённых на 26 языков. Лауреат премии Андрея Белого (1991), премии лондонского Института социальных изобретений (1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин–Веймар, 1999), премии «Liberty» (Нью-Йорк, 2000) и др.

В 2024-м вышла книга рассказов о любви «Память тела».

### От редактора

«Память тела» издана в американском издательстве Franc-Tireur (Нью-Йорк) и российском – Ивана Лимбаха (СПб). Мы решили опубликовать несколько рассказов из неё, исходя из следующих соображений. Franc-Tireur – интернет-издательство, издающее книги на базе интернет-ресурса [Lulu.com](http://Lulu.com), по принципу *Print on Demand*, невелик и российский тираж. Выбирая рассказы, мы учитывали, что большие подборки выходили в журналах «Знамя» (9), «Пятая волна» (12), «Новый берег» (10), «Этажи» (5). Выбранные нами рассказы не публиковались ни в одной из них.

Из книги «Память тела»

## Нет слов

*Не произноси всуе имя Господа, который  
есть Любовь.*

Св. Бонавентура

Казалось, всё, всё было на их стороне. Они встретились в нужный момент, когда оба уже сильно страдали от одиночества. На середине жизненного пути – тридцать пять лет – не поздно ещё всё начать сначала. Ей нравились такие, как он: сдержанный, суховатый, но – неожиданно – страстный. И профессионально они подходили друг другу: она преподавала примерно то же, что он изучал.

Но с самого начала что-то не заладилось. Он ни разу не признался ей в любви. Не сказал то, чего она больше всего ждала: «Я люблю тебя». Так просто, банально, у многих пар это звучит по сто раз на дню, а он упорно этого избегал. Причём бывали моменты, когда это напрашивалось само собой, когда им было особенно хорошо друг с другом, и вокруг тишина, будто ангел пролетел, — тут бы и произнести. Казалось, он сам это хорошо понимал, что-то в нём шевелилось, но он либо корчил смешную рожицу, либо клал ей руку на плечо, как бы поспешно ища, чем заткнуть образовавшуюся паузу. А она сходила с ума от этой его немоты, и каждый такой срыв ожидания вызывал у неё боль, а потом злость, которая всё накапливалась. Как будто именно в эти моменты несостоявшихся признаний она слышала от него другое признание: в нелюбви, в безразличии. И хотя она верила, что это не так, его словесная трусость тяготила её даже больше, чем если бы он просто не любил её. Тогда это было бы по крайней мере честно: не любит — не говорит.

Её поражало, что для вещей он не жалел ласковых слов. Свой ноутбук называл «нотиком», а программу DALL, с которой ему много приходилось работать, — «одаллиской» или «одаллисочкой». Она испытывала уколы ревности, когда слышала эти нежности, обращённые к бездушным вещам. А для неё у него таких слов не было. Только имя, чаще в уменьшительной форме, но ведь это тоже только формальность. Она мечтала, чтобы он придумал для неё особое, таинственное имя, которое знали бы только они вдвоём. Чтобы он ей что-то безумное шептал по ночам. Как-то ей попало стихотворение Георгия Иванова, обращённое к жене:

Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,  
Весточка, царापинка, снежинка, ручеёк.  
Нежности последыш, нелепости приёмыш,  
Кофе-чай-сахарный потерянный паёк.

Она чуть не задохнулась от зависти и страдания.

Однажды, вся сжавшись от непредсказуемости его ответа, она ему сказала «в шутку», выдавив натужную улыбку:

— Хоть бы сказал что-то нежное. На хорошие слова ты скуповат.

Он пожал плечами, ласково улыбнулся, приобнял её за плечи, но так ничего и не произнёс. И она почувствовала себя вымогательницей, а вымогать любовь — самый страшный грех. Сама бы себе не простила, если бы вынудила его сказать то, чего он не чувствует. Лучше молчание, чем подделка.

Эту холодность она начала постепенно ощущать и в его теле, которое стало негнушимся, не таким умным и чутким, как раньше. Особенно её раздражала его манера зажигать свет во время близости. Ей трудно было выдержать этот оценивающий, рассекающий взгляд, и она спешила выключить свет, понимая, что лишает его каких-то удовольствий. «Ну и пусть, — думала она, — если он такой ледышка, то я буду невидимкой».

Её угнетало и то, в чём она боялась признаться себе. Раньше они вместе поднимались на одной волне, которая доносила их почти одновременно до заветной точки. А теперь шла мелкая рябь, бурунчики в разных местах, которые не сливались и быстро разглаживались. Или это были две разные волны: пока одна росла, другая опускалась, и они скорее гасили, чем усиливали друг друга. Когда она попадала на свою волну и поднималась на ней почти до самого гребня, он порой вежливо замирал, уступая ей путь, но чаще, не стараясь себя сдерживать, сбивал её своей волной — и достигал берега в одиночку. И это странно соответствовало его замкнутости, «запечатанности уст» — это выражение из старинной книги как будто прямо относилось к нему.

— Он боится оказаться в плену собственных слов, — объяснила ей подруга, единственная, с кем она поделилась этой болью из-за его бессловесности. — Если любишь — скажи! Нет, они боятся, что их поймут на слове. Что за этим последует неслыханная расплата. Что за признание в любви их приговорят к вечному, нерушимому союзу — ведь любовь обязана быть вечной. Пока он с тобой просто живёт, его ничего не сдерживает, а если «любит» — значит, прощай его свобода. Для них слова — какие-то страшные идолы, от которых они прячутся в кусты... Ну ладно, а разве лучше такие словоблуды, которые каждую минуту клянутся

в любви, «обожают», а при удобном случае сразу ныряют налево?.. А что ему хочется при свете, ты его тоже пойми: у мужчин жадные глаза, как у женщин — уши... Не переживай!

Она уже и не переживала, но чувствовала, как постепенно что-то иссыхает в ней и «любовная лодка» садится на мель. Если нет слов, то нечем дышать. Остаются вещи и тела, во всей безутешной наготе повседневных нужд и их поспешного утоления. Молчание всё разрасталось, она пыталась заполнить его массой пустой болтовни и профессиональных разговоров, но после каждого такого общения ей всё больше хотелось плакать. А между тем ей уже скоро исполнялось тридцать шесть, целый год странного брака, без единого слова любви, ну хотя бы какой-нибудь «ласточки», «киски», «зайки»! Она сама не любила этих пошлых сантиментов, но дошла уже до того, что готова была бы умилиться даже «ягодке», — всё-таки это была бы живая капелька в пустыне.

Наконец, накануне их годовщины, прямо сказала ему, что собирается уходить.

— Но почему? — страшно удивился он. — Ведь всё хорошо!

— Не могу тебе объяснить. Как и ты не можешь мне объяснить, как относишься ко мне. Раз мы оба не можем, значит, пришла пора.

— Что значит «как я отношусь»? Ты что, не видишь?

— Спать со мной каждый день ещё не значит выражать отношение.

— Ещё как значит! Я всем делюсь с тобой, ничего от тебя не скрываю.

— Вот о том и речь. Ничего не скрываешь, откровенен даже в том, что не любишь меня.

— С чего ты это взяла?

— А с чего я могу думать иначе? Если бы любил, поделился бы.

— Тебе что, нужны слова? Ты что, сама не видишь? Во всём, во всём! А слова только пустая оболочка и ничего не значат.

— Для тебя, наверно, много значат, если ты боишься их произнести. В общем, для меня всё кончено.

Он, видимо, думал, что для неё это только отговорка. Что она завела себе кого-то. Или он ей просто надоел.

Он стоял перед ней молча. И вдруг у него на глазах выступили слёзы. Он просто стоял перед ней и плакал.

— Что с тобой? — она встревожилась. — Что ты молчишь? Тебе нехорошо? Ну скажи хоть что-нибудь! Скажи, чтобы я могла уйти со спокойной совестью.

У него что-то корчилось внутри, на лице выступила жалкая, кривая усмешка, хлынул поток слёз, и, давясь всхлипами, он вдруг вытолкнул из себя:

— Не уходи, лапочка.

И тяжело выдохнул, выдирая кляп изо рта:

— Я тебя люблю.

Через несколько дней она позвонила подруге, чтобы поделиться радостью — и грустью. Признался в любви — но перестал зажигать свет в спальне. И вообще ведёт себя нервно и депрессивно. Подруга её огорошила:

— Не буду скрывать: он мне вчера звонил. Вы же через меня познакомились, он мне доверяет. И всю эту историю рассказал с другого конца. Про то,

как ему стало трудно с тобой, как ты ему отказывала... и превратила жизнь в проверку. «Всё время чего-то выжидает и выпытывает». Я его так поняла: когда он ничего не говорит, то чувствует, что любит. А когда говорит, что любит, ничего не чувствует, даже наоборот... Он в конце концов сдался, но ему хреново. Сломался. Надломленный мужик — тяжёлый случай.

— Господи! Что же теперь делать?

— Не знаю. Может быть, лучше расстаться? Но это никогда не поздно.

— А ты что бы сделала на моём месте?

— Я на твоём месте никогда не была. Мне такие твёрдые мужики не нравятся. Я люблю мягких и не ломающихся.

Через месяц они разъехались.

## Ангел движения

Женщина-юрист. Мы сидим в холле отеля «Националь». Она даёт мне консультацию о разводе, о финансовых расчётах. Её сухая, юридически отточенная речь плавно льётся из полных, чуть подкрашенных губ.

После разговора по существу дела и отдавая должное личной симпатии, она немного рассказала о себе. Дочь-студентка живёт в Голландии. А сама она — под Москвой, в Красногорске. Занимается верховой ездой. И предложила, чтобы в следующий раз для обсуждения наших дел я приехал к ней в Красногорск.

Верховая езда... Я вспомнил картину Карла Брюллова «Всадница» у нас в прихожей, — единственное украшение нашей маленькой квартирки. В детстве там висела, пригорюнившись, васнецовская Алёнушка, а когда я стал подростком, мои родители решили придать больше весёлости и красочности нашей скромной обстановке. В том легко возбудимом возрасте «Всадница» воспитала меня, сформировала образ конской удали и женской стати. Девушка стройно восседает на разгорячённом вороном скакуне. Он встаёт на дыбы, рвёт удила, фыркает, ржёт, бешено вращает глазами — а она, покачиваясь на нём своим гибким станом, уверенно натягивает поводья. У неё чистое овальное лицо, как у ангела или мадонны, и туго завитые золотые локоны. От недавней быстрой езды у неё ещё развеивается платье, а вуаль, приколотая к шляпе, взлетает в воздух. «Ангел движения» — так называли эту всадницу искусствоведы. И это вихревое движение вот-вот перенесётся на окружающий мир. Деревья накренятся от ветра, по небу тревожно бегут облака, сейчас грянет гроза...

Тогда, в пору отроческих туманов, я не мог вообразить, что увижу когда-нибудь настоящую всадницу, что нарядные женщины на лихих скакунах ещё встречаются в этом мире. Правда, там была совсем юная девушка, чуть стар-

ше меня. А теперь мы оба выросли и по-прежнему ровесники. И встретимся уже не на картине... Я представил эту стройную женщину, разгорячённую верховой ездой.

Через неделю я приехал к ней в Красногорск. В кабинете поговорили о моём деле, уже как будто решённом, — оставались только мелкие частности. Она провела меня по гостиной, увешанной фотографиями. Вот она сама верхом на белом жеребце, в шлеме и сапогах, с маленьким хлыстиком в руке. А здесь она стоит рядом с вороным, сняв шлем, рассыпав густые волосы по плечам, — и, улыбаясь, похлопывает его по спине. А вот даёт ему кусок сахара и треплет по морде.

— Кажется, я родилась в седле, — сказала она. — Хотя открыла это для себя не так давно.

Я спросил, есть ли у неё постоянный скакун или их принято менять.

— Есть и постоянный, но и менять во время тренировок тоже не вредно. Всё зависит от условий, от трассы, от вида состязания. — И она усмехнулась.

— А это что?

Среди фотографий висела репродукция древней мозаики с мифологическим сюжетом: кентавры, но с женскими торсами.

— Это кентавриды. Второй век. Все знают кентавров, а то, что среди них были и женщины, мало кому известно. — На мгновение в её голосе послышалась суровая нотка юриста, возмущённого половой дискриминацией. — О них писали Овидий и Шекспир: «Ниже пояса они кентавры, а выше — сплошь женщины».



Кентавриды вокруг Венеры, Рим, II в. н. э.

Я залюбовался: удивительная гармоничная соотносённость между округлыми формами груди и крупы у этих кентаврид, по контрасту с плоско обрубленными торсом мужских сородичей.

Она приглашает меня за стол, расставляет вино и закуски. Я предлагаю тост за верховую езду. Вообще за всё, что возносит нас выше. Мы подходим друг к другу, чокаемся, медленно пьём из высоких бокалов... И долго целуемся влажными губами, как будто всё ещё продолжая пить вино. Она слегка откидывается, выгибая талию, я прижимаю её к себе, опускаюсь на ковёр... Крепко меня оседлав, она пускается вскачь. Всё быстрее и упорнее. Наездница разгоняется, как перед прыжком через пропасть. Раздаётся пронзительный крик — несколько раз она пружинисто подсакивает, отдаваясь замирающим толчкам, а потом выпрямляется и бессильно падает на меня, распластавшись всем телом. Разбрасывает руки поверх моих плеч — и, продолжая чуть-чуть дрожать, лежит покорная, упокоенная. Прижимается губами к моим и тихо, благодарно целует, чуть касаясь горячим языком, — уже не гордость, а само смирение...

Потом хриплым шёпотом предлагает:

— Теперь ты наездник!

Послушно встаёт передо мной, опираясь на локти и колени. Я целую её лопатки, перебираю губами каждую косточку, каждый мускул на её выгнутой спине... Ритм ускоряется, становится всё жарче, мы мчимся всё более высокими прыжками, она всё сильнее подбрасывает меня. Кажется, вокруг нас тревожно мечутся от ветра деревья и облака, слышится гул, как перед грозой. Но разве можно это уподобить обычной скачке с препятствиями? Мы мчимся не в скучную даль земли, а в заповедную колыбель древних вод, в источник жизни, в зияние первобытия...

Я люблю её и взнузданной и усталой, упрямой и покорной, я восхищаюсь всадницей, которая гордо меня объезжала, но ещё больше я люблю понурую лошадку, которая отдала мне всю свою резвость, скаковой размах...

Через час мы просыпаемся. Она заглядывает мне в глаза, откидывается, смеётся.

— Ну что, одинокий? Кто теперь тебя, бедного, пожалует? — И поворачивает меня к себе, утыкает моё лицо в свою грудь, раздвигает мне губы, как будто по-матерински утоляя голод.

Мы и в самом деле сейчас как рождённые заново. Опустошённые, почти бестелесные. И я понимаю, что без этой наездницы, без этой бури и натиска, без искусства взнуздания и объездки я не могу представить себе дальнейшую жизнь.

— Хочешь, я научу тебя верховой езде? — теперь у неё звучный голос, то звенящий, то глубокий, грудной. — Ты ещё сильнее будешь желать меня...

— Сильнее я уже не могу.

Она вскакивает:

— Всадник нуждается в подкреплении!..

Впервые она предстаёт передо мной во весь рост полностью обнажённой. Как она круто очерчена — воплощённая идея женщины! Накидывает на себя кофточку, не застёгивая её, и легко, плавно, чуть покачиваясь и как будто взмывающая, словно ангел движения, начинает ходить по дому, накрывать на стол...

...Я так и не овладел искусством верховой езды — улетал в другие края. А моя удалая всадница зимой поскользнулась на ужасном московском гололёде и сломала шейку бедра, что навсегда увело её из благородного спорта. И моё разводное дело тогда не состоялось по множеству разных причин, лишь одной из которых была допущенная ею маленькая юридическая ошибка...

Она переехала к дочери в Голландию, где мне однажды довелось повидаться с нею — в маленьком очаровательном городке. Бродили вместе по главному музею, среди классических полотен, на которых гарцевали властительные всадники и пленительные всадницы и яростно били копытами их гордые скакуны. Искусство одержимо образом верховой езды — не потому ли, что это самое прекрасное в человеческом теле: подхватывающий снизу и выше головы несущий порыв? Наша безумная скачка — среди самых вдохновенных моих воспоминаний. Чего я только не пережил за тот день! Не только наслаждение, но и гордость всадника, и покорность наездницы, и упругость седла, и восторг скорости, и потерю себя, и новое самоутверждение! Ангел движения поднимает нас над собой, открывает путь к наивысшему. Чистейшая форма энергии, подаренная нам жизнью. С чем сравнить этот пыл, этот неистовый огонь, вдруг вспыхивающий из трухи и опилок повседневности? Ни на что не похожее чувство — любовь кентавра к своей кентавриде: недаром мифы повествуют об особо нежных брачных союзах между ними... Если бы наша жизнь сложилась иначе!.. Но я всё равно люблю эту женщину, с которой мы пытались достичь невозможного, падали в пропасть и взмывали ввысь — в моих ушах ещё свистит ветер от той небывалой езды...

Было холодно, и мы долго стояли на чугунном мостике над одним из бесчисленных каналов, уткнувшись лицами друг в друга и согревая своим дыханием.

## Голоса из будущего

*Хозяин отвечает за экологическую чистоту дома.*

*Дом отвечает за этическую чистоту хозяина.*

17-е правило ЭЭ («Эко-этика», 2044)

— Простите, я очень ценю вашу дружбу, могу ли я попросить вас об одном одолжении? Это деликатная просьба, пусть она останется между нами.

— Да, конечно. Я слушаю вас.

— Вы ведь знаете, что я давно живу один, и бывают моменты, когда просто физически страдаю от одиночества.

— Понимаю. Как я могу вам помочь?

— Не могли бы вы немного побыть со мной? Я ничего неприличного не предлагаю. Я соблюдаю все правила ЭЭ.

— Что я могла бы сделать для вас?

— Приезжайте, посидите со мной немного. Я слегка обниму вас. Прижмусь щекой к вашему плечу. Вдохну ваш милый запах. Ваша стыдливость не пострадает.

— Я понимаю вас, но зачем вам нужна я или кто-то ещё? Вы ведь знакомы с эротроном? — голос едва уловимо сменил тональность. — Новейшая модификация лишена недостатков предыдущих. Голографический дисплей для создания полностью погружающего визуального и сенсорного опыта. Тончайшая адаптация к различным предпочтениям: прикосновение, температура, давление... Экологически чистые, гипоаллергенные, нетоксичные, биоразлагаемые материалы. Встроенная система самоочистки использует ультрафиолетовое излучение...

— Да простят мне высокие технологии, я скучаю по живому, я умираю без живого.

— Боюсь, я не смогу пойти вам навстречу, это всё-таки роняет моё достоинство. 11-е правило.



— А если я скажу, что люблю вас? Безумно, мучительно, и все мои жалкие слова — это лишь повод вас увидеть.

— Безумно и мучительно? — переспросила она.

— Да. И нежно, и возвышенно, — поспешно добавил он. — Будем говорить начистоту. Я ни о чём не прошу, я умоляю о чуде. Когда я думаю о вас, во мне зажигается огонь, готовый расплавить всё вокруг. Любовь! Так поражает молния, так закручивает смерч. Схваченные непостижимой силой, мы слепляемся в одно существо, а весь окружающий мир исчезает, словно сметённый огненной бурей. Ураган, пожар, вулкан...

— Огненная буря? Ураган? Вулкан? — Он уловил ещё одну перемену в её тоне. Она перешла на «ты»: — Ты хочешь, чтобы мои коралловые врата раскрылись навстречу твоему нефритовому стеблю?

— Да, да! Ты прекрасно это сказала! Скорее приезжай!

— Я уже лечу на крыльях желания. Врата распахнуты настезь. Всё будет твоё. Я буду засыпать с твоим волшебным корнем в себе, ты будешь медленно и неотвратимо вращаться в меня, мы станем, как ты и мечтаешь, одним существом. И даже когда мы пойдём гулять по нашим прекрасным окрестностям, я буду осознать тебя в себе. Я умру, если ты перестанешь меня желать! Любовь до последнего вздоха! Любовь до смерти!

— Когда ты приедешь?

— Я уже здесь, милый, стою у порога. Ты не узнал меня? А кто ещё мог бы так откровенно с тобой говорить? Ты получишь всё, что я обещала, мы задохнёмся от поцелуя.

— Я тебя не вижу.

Телефонный разговор оборвался. Он приоткрыл дверь, огляделся. Никого. Пахнуло холодом, хотя лето было в разгаре. Может быть, она ошиблась адресом и стоит где-то у соседнего дома? Набрал её номер. Включился автоответчик:

— С вами говорит программа искусственного интеллекта, которая по заказу клиентов включает голосовой ответ на тревожные и аномальные сообщения. Наш алгоритм «Горное эхо» работает по схеме смыслового и стилевого усиления встречных реплик. Коммуникант несёт полную этическую ответственность за свои слова. Исходя из ваших запросов, мы ответили на них максимально благоприятным образом.

*Тематический контент:* сила желания.

*Психологический диагноз:*

А: витомания, болезненная страсть к живому.

Б: сексопатия, склонность к тотальной деструкции на почве повышенного влечения.

*Стилевая шкала языка:* от поэтического до обценного.

*Иноязычные элементы:* китаизм.

*Резюме:* Любовь до смерти существует, но наличие постоянного неиссякаемого влечения зависит от индивидуальных особенностей пары.

*Онтология:* Есть два способа совпадения любви со смертью.

А: продлить любовь до естественной смерти;

Б: сократить жизнь до естественного окончания любви.

*Реализация по коммуниканту:* вариант Б. Система управления циркуляцией воздуха.

Обращайтесь к нам по всем интересующим вас вопросам. Страхуйте ваш умный дом от возможных ошибок. Этика превыше всего! Приятного дня!

Дальше этот меседж стал прокручиваться опять и опять. Он выключил автоответчик. Ещё раз огляделся — и вернулся в дом. Как холодно! — кондиционер явно перестарался. Все системы дома, от телефона до кондиционера, настроены на слаженную работу. При дисфункции одной системы другие выходят из строя. А главное — два «Э»: экология и этика. Он уже давно жил в этическом доме. По всей стране исчезли тюрьмы, поскольку сам дом служил местом исправления или наказания для жильца, нарушившего хотя бы одно из 24 правил экологии или 48 правил этики.

Проходя мимо зеркала, он увидел в нём незнакомое отражение. Всмотрелся. Это был он сам, только уже почти старик. «Любовь до смерти... Ты получишь всё, что я обещала», — вспомнились ему её последние слова. Стало трудно дышать. Он еле добрёл до постели и, не раздеваясь, лёг, укутавшись одеялом и дрожа от пронизывающего холода. ■

## Игорь МАНДЕЛЬ

📍 Алматы, Казахстан –  
Нью-Джерси, США



Фото: из личного архива автора

Статистик, доктор экономических наук, профессор.

До эмиграции в 2000-м преподавал статистику и менеджмент в вузах Алматы, работал в американских инвестиционных фондах, руководил совместными предприятиями. В США занимался статистическими исследованиями в маркетинге в крупных компаниях.

Опубликовал более 150 статей и несколько книг по статистике, сборники иронической поэзии, около 90 статей по вопросам культуры и искусства: Некоторые ссылки на них:

<https://7i.7iskusstv.com/avtory/mandel/>

и <https://z.berkovich-zametki.com/avtory/mandel/>.

## «Любовь, что движет...»

По поводу книги «Память тела» Михаила Эпштейна

*Он уже перестал доискиваться истины, этой  
убогой замены желанию.*

Михаил Эпштейн

Опубликовав десятки книг и сотни статей в области гуманитарных дисциплин, посвящённых поиску истины, Михаил Эпштейн (или его лирический герой?) осознал, что вся эта деятельность есть лишь убогая замена желанию и написал «Память тела». Блестящий ход! Но поскольку интеллектуальное наследие всегда остаётся с тобой, сама эта память приобрела весьма странные формы. «Тело» пропиталось «духом», породив нечто кентаврическое или, по крайней мере, хироническое: биологическая природа секса оказалась настолько переплетена с его осмыслением, что книга в целом задаёт какой-то новый уровень постижения, казалось бы, избезженной вдоль и поперёк темы. Это очень далеко и от романтики с её безоблачностью и бестелесностью, и от порнографии с её приземлённостью и примитивностью.

Секс – универсальный, наиболее важный стимулятор и одновременно транквилизатор в жизни человека; единственное, что категорически не хочется терять, пока жив. Мне всегда казалось, что только благодаря универсальной доступности этого простого средства от всех болезней (в конце концов, мастурбация возможна практически при любых, самых зверских условиях существования), общество как-то ещё выдерживает тяготы бытия. Какой бы ни был строй, какие бы гадости ни выкидывала власть, каким бы ни был ты нищим – эта радость всегда с тобой. Секс – наиболее демократическая из всех стихий и наиболее стихийная из всех демократических концепций, пронизывающих общество. Его язык, в отличие от любого другого, понятен всем. Что делает Эпштейн в своей книге – пытается внести в эту сугубо эгалитарную область свои элитарные представления: добавить к сексу

интеллектуальную насыщенность общения — нечто по природе ему не свойственное. Тогда получится некая эротика совсем другого класса. Общедоступное, по Алешковскому, приключение по имени «Сунь-и-Вынь» превращается в нечто совсем иное. «Голова — главное орудие любви, а мы ещё, как звериные твари, ласкаемся только телом», — писал в 1920-е годы Степан Калачов<sup>1</sup>. Через сто лет филолог, вовлечший этого автора в литературный оборот, самым решительным образом добавляет ту самую «голову» к процедуре ласкания, материализуя мечты революционных лет хотя бы в одном аспекте, когда все остальные самым печальным образом рассыпались в прах. Вся книга — об этом.

Интеллектуальная атака на секс идёт по двум направлениям.

В одном автор самым изощрённым образом осмысливает секс как бы извне, глазами постороннего наблюдателя, придавая ему ранее не замечаемое или не осознаваемое, но становящееся при выявлении удивительно верным и точным.

А в другом — герои наделяются высоким уровнем интеллекта, необходимым для их собственного осознания секса, тем самым придавая ему характер некоего биолого-интеллектуального поединка.

Первый подход можно назвать внешним, второй — внутренним.

Вот примеры **внешнего** подхода.

О любовной истории героя и библиотекарши, протекавшей там же в библиотеке («*Гений места*»).

«Чувственность заостряется именно в тех ситуациях, которые должны её притуплять»

(казалось бы, библиотека не место для страстей, ан нет). Эпштейн предлагает даже специальный термин «библиэрос» для подобных ситуаций.

«В наших бурных объятиях и столах чувствовалось вековое озлобление и месть культуре, так долго подавлявшей наше желание друг друга, желание быть живым вопреки всему...»

Это очень неожиданное соединение двух вещей, которые ведь, действительно, мало совместимы, особенно в пропитанной христианством цивилизации.

О несостоявшейся из-за нетерпения героя любви с замужней женщиной («*Чок-чок*»).

«Ловушка — от слова “love” — отворилась и захлопнулась, вот теперь и бейся в ней. Может быть, женская мудрость и есть равнодействующая соблазна и его преодоления? И тогда недаром это случилось со мной в Софии».

Тонкая двойная аллюзия: во-первых, со словом «love», во-вторых — с Софией как мудростью. И там и там — межязыковые неожиданные ассоциации.

«Мы оба честно отдали дань своей природе. А дальше начинался гораздо более тяжёлый и неприятный долг — противодействия этой природе».

Под «природой» понимается демонстрация женщиной своей привлекательности, а мужчиной — своей немедленной готовностью к сближению. А под «долгом» — мучительный отказ от отношений, которые так и не случились. Мучительность тут, конечно, в неопределённости — а вдруг бы вышло? И в остужении — а вдруг бы нет? Пытаться далее или не стоит? Как все это знакомо!..

Женщина читает письмо покойного мужа, которого задолго до их знакомства полюбила как писателя, написанное перед их первой ключевой встречей. И плачет («*Как написать книгу*»).

«Некоторые учёные дураки считают, что литература — это просто особый порядок слов. Ставить, переставлять... Нет, литература — это от корня “лить”. Литься, изливаться, сливаться — кровь, слёзы, семя».

Это очень неожиданная и удачная игра со словом, как и в случае с «ловушкой-love».

Первый разговор с самоуверенной женщиной той же гуманитарной профессии, что и герой рассказа («*Чулки на резинках*»).

«Я несколько раз нарочно принимался спорить — но лишь для того, чтобы быстро сдаться и признать её правоту. И кажется, само сознание правоты зажигало её и подливало блеск в её глаза не меньше ликёра. Мне вдруг подумалось о том, что состояние правоты может действовать как афродизиак. А может быть, это и есть тот наркотик, который одурманивает целые народы и ведёт их на войны и революции?»

Новый взгляд на природу возбуждения: вместо чудодейственного женьшеня — чувство собственной правоты. Ведь правота — толчок к действию, без неё оно никогда не происходит. Секс — это действие, в отличие от мыслей о нём. Правота как афродизиак в корне отлична от правоты как следствия истинного знания. Она самодостаточна и отбрасывает все резоны. В «правоте» толпы (например, бушующей в кампусах американских университетов по поводу «Палестины», географическое расположение которой для многих есть великая тайна) — то же самое. Страшный инструмент. В конце концов в рассказе Эпштейна, как только герой начал с учёной дамой в чём-то не соглашаться, связь прервалась.

Подруга жены объясняет ей, почему муж, человек высокоинтеллектуальный, регулярно занимающийся с ней сексом, никогда не говорит ей о своей любви, что жену чрезвычайно угнетает («*Нет слов*»).

«Он боится оказаться в плену собственных слов... Пока он с тобой просто живёт, его ничего не сдерживает, а если «любит» — значит, прощай его свобода. Для них слова — какие-то страшные идола, от которых они прячутся в кусты...»

Но слова и есть страшные идола. Каждое сказанное утвердительно слово — выпущенное на волю обязательство, за выполнением которого надо потом следить, как за тем самым выпорхнувшим воробушком. Большие слова — большие обязательства, цена их невыполнения выше. Чем более развит и более совестлив человек — тем сложнее ему произносить ничем не подкреплённые слова. А слово «любовь» — чрезвычайно нагруженное смыслами. И не важно, что «женщины любят ушами». Важно, хотят ли они при этом обманываться и хочет ли мужчина идти на этот обман. В рассказе всё кончилось плохо...

Во всех приведённых примерах отношения людей определялись «рассказчиком», внешним персонажем, даже если они описывались иногда от первого лица.

А вот примеры **внутреннего** подхода, когда интеллектуальность пропитывает собой непосредственные отношения, в которых каждый участник — вполне себе мыслящий тростник или тростинка.

<sup>1</sup> Корпус Х. Эротическая утопия Степана Калачова, Звезда. 2015, № 7.

Вот странные признания женщины, которая заочно обожает героя-писателя, наслаждается его текстами, смакуя мельчайшие детали и сама поднимаясь при этом до высшей степени креативности — ещё задолго до первой и единственной реальной встречи. Она называла эту игру «словоитием» и «аэротикой» (прекрасные находки), наряду со множеством других нежных и уникальных слов («*Чья победа? Роман-палимпсест*»).

«Единочка, меня так волнует, скока же мы выдержим... имею в виду, в таком отдалённом режиме... мне же хочется — “всегда!” вот что потихоньку, сладко-сладко, — уж какие там белые вопли мироздания — чисто шёпоты, счастлинька».

Или:

«Можно ведь всего-навсего устроить Праздник Левого Сосочка, на который пригласить только один Указательный палец. И пусть Большой, Мизинчик, Средний и Безымянный плачут и капризничают, пеняя, что тоже хотят на бал. Нельзя».

Ничего себе! Кто бы не хотел получать подобные письма? Но ведь и «реал» не подвел.

«Он никогда так не отдавался, никогда не чувствовал себя до такой степени женщиной. Обласкан был каждый его сустав, каждая клеточка. Он был разобран на части и собран любящим усилием».

Возврат к фантазии продолжается.

«Я ведь наизусть знаю вашу манеру, — вдруг сказала она. — Вы как будто пишете одним почерком: на бумаге и... в жизни. Тем пером или этим — без разницы».

Это замечательно! «Я хочу, чтоб к перу приравнили перо», так сказать...

Рассуждения героя после общения с женщиной-археологом («*Археология тела*»).

«Была археология рук, ног, губ, плеч... У каждой страты была своя глубина залегания. Были страты с названиями “волосы”, “колени”, “бёдра”... Иногда, приближаясь к очередному заповедному месту, она брала его за руку, просила крепко обнять».

«Тело — колодец памяти, раскоп времени, в который они погружались всё глубже».

Очень красиво, если удаётся почувствовать сразу двоим. Археология — материальный субстрат истории общества; археология тела — материальный субстрат истории индивидуума.

Общение с женщиной противоположной политической ориентации превращается в глубоко идейно-сексуальную баталию («*Поединок*»).

«— Если ты партийная, — продолжал он, — то я имею партию! Гордо имею!»

Не выдержав такого глумления, она выпросталась из-под него, взметнулась своим сильным телом, опрокинула его навзничь, вскочила на него, как амазонка. Оседлала — и припустила мелкой, но твёрдой рысью, перешла на галоп и потом понеслась во весь карьер.

— Я имею всех трусов и предателей! — кричала она. — А уж такого сосунка, как ты, я отымею до сотрясения мозгов! Из тебя вылетит твоя мелкая антисоветская душонка!»

Ситуация, обратная «Тридцатой любви Марины» В. Сорокина. Политически-биологического единения нет, но оргазм всё равно есть. Хотя и результат противоположен: у Эпштейна идеология развела-таки в конце концов героев. Как в «Сорок первом», хоть и не до такой смертельной степени. Застой, однако...

А вот два примера отношений, в которых умственное и физическое очень тесно связаны, но абсолютно различным образом.

«...чувство земляной слеппенности он пережил с ней впервые — когда можно долгими часами вязнуть друг в друге и не разлепляться, потому что слеппены из одной глины, — бесконечно её размешивать, переминать, всё равно это будет то же самое муже-женское тело» («*Расширение сердца, или Донкихотский список*»).

Муже-женское тело — это находка; это вам не древние андрогини и не современные фокусы с якобы гендерной небинарностью, а нечто кардинально иное.

«Это была самая худенькая женщина на моей памяти...О неё можно было ободаться. Ключицы, локти, колени — всё из неё остро выпирало. Даже плечи и бёдра были костлявые, а волосы — чёрные и жёсткие, как густая проволока. Когда я проводил рукой по её груди, я чувствовал только шершавое касание сосков — маленьких зёрнышек, остро щекотавших мою ладонь».

Однако:

«Кроме рта, во всей этой худобе, в этом пустынном пейзаже был ещё только один оазис. И оба они били гейзерами, в них фонтанировала фантастически изобильная жизнь» («*Худлит, или Внутренняя женщина*»).

А вот и соответствующее интеллектуальное заключение после сверхбурной любви:

«— Ты худая, — сказал я, — но в высшей степени художественная.

— Вот этим мы и занимались — худлитом, — ответила она, окончательно влюбив меня в себя этой фразой».

И в случае с глиной, и в случае с жарким оазисом партнёры — представители творческих профессий.

Помимо интеллектуальной атаки на «проблему пола» извне и изнутри, в книге можно выделить некоторые весьма специфические черты. Все они произрастают из одного корня: автор не ставил себе целью показать сексуальные отношения в жанре бытового реализма. Он произвёл «очистку» их от всего лишнего и тем самым идеализировал, отнюдь не романтизируя, то есть решил весьма тонкую и нетривиальную задачу. Это может даже озадачивать читателя, который, возможно, ждёт чего-то «взятого прямо из жизни» — но такова была, видимо, сверхзадача. А именно, бросаются в глаза три основные особенности.

Первая.

Секс в рассказах — это абсолютное торжество полностью подконтрольной человеку плоти. Длится он обычно часами и ночами, с передышками только

на умные беседы или на физиологические потребности. Никаких проблем типа «встало – не встало», «упало – не упало», «захотелось – расхотелось», «голова болит», «я устала сегодня», которые столь часто осложняют жизнь нам, смертным, там фактически нет. Причём эта суперпозитивность присуща как мужчинам, так и женщинам.

«Они могли часами плавиться друг в друге на медленном огне, пока не вскипали почти одновременно»,

и это когда героям уже за шестьдесят... В своё время я собрал некоторые наиболее яркие произведения искусства, посвящённые эротической теме<sup>2</sup>, так там, в полном контрасте с книгой, представлены как раз всевозможные страхи, фобии и расстройства. Тут же – физическое совершенство при интеллектуальной остроте мышления. В очень здоровом теле очень здоровый дух.

Вторая.

Общению героев в постели или на ином ложе практически ничего не мешает: ни отсутствие квартиры, что было настоящим бичом для парочек в советские времена, когда отели были недоступны; ни наличие нежелательных свидетелей (даже если любовь происходит где-то на природе и даже если свидетель появляется – «*Тыльная сторона*»); и даже какие-то воспоминания и печальные события прошлого не влияют непосредственно на то, что происходит в данный момент («*Мудрость возраста*», «*Археология тела*», «*Мокрое дело*»). Почти все истории, рассказанные в книге, а их более 50, построены как некие изолированные от всего прочего в жизни героев инциденты, даже если они встречаются через десятки лет после первого знакомства. Нет ни прежних, ни нынешних пассий и супругов; нет деток, с укором смотрящих за кадром на похождения своих родителей; нет осложняющих внешних обстоятельств и конфликтов (разве что в полупарадийной форме, как в «*Поединке*») – есть только чрезвычайно тонкое прислушивание друг к другу в конкретной парной ситуации.

Третья.

За рамками книги остаются все многочисленные отклонения от академической ситуации, за исключением короткого эпизода в «*Устном народном творчестве*», где название блестящим образом намекает на оральные ласки. Всё сводится к нескончаемой прямой пенетрации – но уж она описана всесторонне и виртуозно.

«Жизнь происходит в том тесном пространстве, которое и делает её женщиной, — в этих сводах, ущельях... Вся сочность, мускулистость, упругость этого тела, отступив снаружи, сосредоточилась внутри».

«Он изо всех сил проник в неё, так что она застонала. Она схватила его за плечи, всем телом до боли вдавилась в него и ответила таким яростным натиском, что он отпрянул, а потом с новой силой погрузился в неё».

Эпштейн описывает незамутнённую никакими де Садами, Мазохами и Фрейдами любовь одного мужчины к одной женщине.

В этом есть какой-то парадокс. Учёный, который потратил много лет на осмысление сложностей культуры, который придумал более 400 новых понятий

<sup>2</sup> И. Мандель. Интеллектуальное искусство, 2023, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4447044](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4447044)

для уникального словаря<sup>3</sup>, который «деконструировал» тексты таких, мягко говоря, непростых авторов как В. Сорокин или Д. Пригов, — описывает на множестве примеров любовь изолированную, почти что идеальную, не пост- и не модернистскую, и именно в ней находит такое множество оттенков (сравните, чтобы почувствовать контраст, с описанием бесчисленных сексуальных сцен в «*Гламораме*» Брета Эллиса).

Но, с другой стороны, парадокс может быть снят. Михаил Эпштейн обретается в центре ментальной сферы огромного диаметра и время от времени перемещается от одного её края до другого, как бы нащупывая её истинные границы изнутри. В своём недавнем эссе<sup>4</sup> он писал об эсхатологических тенденциях современной «русской идеологии», от Александра Дугина до патриарха Кирилла, — по сути, о культе смерти, в разных формах возникающем то здесь, то там на фоне кошмарной реальности, где смерть действительно ни с чем рациональным не может быть сопряжена, а только с безумием её творцов и певцов (наиболее досконально этот круг идей рассмотрен в «*Русском антимире: Политика на грани апокалипсиса*»<sup>5</sup>). И человеческий опыт на диаметрально противоположном краю сферы, тема зарождения жизни в её максимально очищенном от всего прочего виде, является, быть может, натуральным противовесом тому нескончаемому мраку. Автор не одинок в сближении-отталкивании этих полюсов. В «*Наследии*» В. Сорокина, выпущенном почти одновременно с «*Памятью тела*», секс показан как непосредственно убивающая и унижающая сила (там буквально «за\*\*\*\*\*ют» людей до смерти), что ещё более подчеркивает его возвышающую роль у Эпштейна, у которого насилие так же отделено от секса, как оно с ним смешано у Сорокина. Оба произведения написаны в условиях наиподлейшей войны, которую авторы ненавидят.

В конце концов, разве не Эпштейн предложил термин ЧЕЛОВЕК, аналогично уже упомянутой LOVEушке? И, возможно, вся книга – это попытка развернуть это определение, представить человеческое существо так же неразрывно спаянным с любовью, как сплавляются подчас в единое тело герои книги? Но что есть любовь? Ведь этот термин используется в абсолютно противоположных смыслах – как нечто, чем можно «заниматься» с любым партнёром (нечто всеобщее), и как то, что выделяет единственное существо из миллионов ему подобных (уникальное)? Какой смысл вкладывает в них автор в «*Рассказах о любви*»? Похоже, что оба: загадка в очередной раз остаётся не разгаданной, но переосмысливается.

Книга Михаила Эпштейна – вершина того редкого жанра, который восходит, наверно, к Стендалю с его понятием кристаллизации и может быть назван «*интеллектуальная эротика*», где рассматриваются самые разные плоскости взаимодействия двух людей и где многогранник отношений может превратиться в блестящий шар, в центре которого и прячется секрет вечного круговорота секса и любви. ■

<sup>3</sup> М. Эпштейн. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: НЛО, 2017.

<sup>4</sup> Новая апокалиптика. М. Эпштейн – о рукотворном конце света. 2024, 19 мая. <https://www.svoboda.org/a/novaya-apokaliptika-mihail-epshteyn-o-rukotvornom-kontse-sveta/32948465.html>

<sup>5</sup> М. Эпштейн. Русский антимир: Политика на грани апокалипсиса. Нью-Йорк: Franc-Tireur, USA, 2023.



## Андрей ТЕМНОВ

Иркутск, Россия –  
Нови-Сад, Сербия



Фото: Юлия Жданова

Родился в Иркутске (1990). Большую часть жизни провёл в Сибири, которой обязан очень многим – от характера до семьи. Позади дюжина лет в политической и экономической журналистике Сибири, путешествия автостопом через всю Россию и не вполне всю Азию. Последние три года — в эмиграции: сперва Грузия, нынче Сербия.

Более-менее профессионально занялся литературой довольно поздно, в 2018 году, когда мне было 28 лет. До этого случались опыты и подходы разной степени неосмотрительности, но основную часть времени занимала журналистика: заместитель главного редактора крупного сибирского СМИ.

В 2018–2019 годах написал корпус новелл, составивших дебютный сборник «Трасса». Отдельные тексты из него опубликованы на литературных порталах и в журналах.

В 2020–2023 годах работал над романом «Городок», первые наброски которого относятся к 2009 году. Одновременно произошли события болезненные, но давно назревшие: уход из журналистики и эмиграция из России. Несмотря на все мытарства, к осени 2023 года роман был закончен.

Зимой 2024-го вернулся к новеллистке. Новые рассказы (постепенно образующие цельную книгу) написаны, исходя из стремления к «поэтике предела». Малая форма — всегда концентрат, но никогда прежде я не писал столь густо и напряжённо — подступая, быть может, к границам известного мне языка.

## Шляпник

- *Why is a raven like a writing desk?*
- *The higher the fewer.*
- *Do you want it darker?*
- *I am ready, my Lord.*<sup>1</sup>

Бывает такое небо, такая игра лучей... как... как... как будто ступаешь по следу пернатой гостыи моей. Поставив точку, я устрасился ереси, ведь переписывать за мертвецом богопротивно: эпигонство есть прелюбодеяние, а не индульгенция. Моя работа, работа переводчика, в ином — не творя миры, переводить уже созданное в доселе неведомый регистр, позволяя звучать в германском или романском наречии той же неукротимой силе, что есть в кириллическом языческом начертании. Положим, *in the heart, awareness deep*... смена рифмовки?... допустим, а затем... *born within, only fear does seep*<sup>2</sup>... именно, а в финале... Вдруг мигнул свет, за спиной раздался перестук, будто что-то мягко упало на коврик у входа, с наружной стороны. Я вздрогнул и бросил взгляд на часы: без шести минут шесть — ах, да это же курьер, принес чёртов осетинский пирог — пирог, больше ничего.

Верхний свет мигнул ещё и угас, уступив настольной лампе под алеющим абажуром. Задрапированное свечение возбуждало танец алебастровых силуэтов в приграничье экрана, чей лазоревый, как рубашка Повешенного, ореол горел единственной фразой на опустелой странице

<sup>1</sup> Первые две строки эпиграфа – синтез загадки Шляпника из «Алисы в Стране Чудес» и бессмысленного ответа на ту же загадку, данного героем романа Стивена Кинга «Сияние»: «Чем ворон похож на письменный стол?» — «Чем выше, тем меньше» (англ.).

Две последние строки – чуть изменённая цитата из Леонарда Коэна: «Хочешь темнее?» — «Готов я, Г-сподь» (англ.).

<sup>2</sup> Герой переводит на английский стихотворение Иннокентия Анненского «То было на Валлен-Коски»: «И в сердце сознание глубоко / Что с ним родился только страх».

текстового редактора: «*The Township has you*»<sup>3</sup>. Написанные помимо меня слова гильотинировали почти законченный перевод; заключённая в них заголённая насмешка вызывала оторопь, сродни зрелищу палаческой утвари накануне казни. Мои зрочки металась в глазных лузах, отыскивая признаки вторжения, но всё было прежним: монитор, часы, настенный календарь, оборванный до постылой февральской даты, и эркер створчатых окон, погружённый в лиловеющие сумерки раннего зимнего вечера. Пристыженный, я тщился вернуть мужество, касаясь бюста Тритонии-девы<sup>4</sup>, всегда готовой удержать мою руку у края стола. Молочный мрамор кожи успокаивал вождедеющую плоть и пленял воспоминаниями о мучительно-сладкой утрате той, кого я знал под небесным именем Лилит — моей Лили, затерянной в увалах времени.

Порыв за окнами, а сразу после — негромкий, вкрадчивый, сочащийся пошепт парчовых портьер, казалось надёжно укрывавших меня от велений извонных<sup>5</sup> стуж. Я невольно поёжился, сердце в груди дрогнуло, зная, быть может, или, быть может, не желая знать. «Зима и ветер... ветер и вечер... ветер, больше ничего», — твердил я, как заклятье, а затем, опомнившись, бросился к двери, за которой, должно быть, курьер уже проклял меня последними словами. И верно: утекающая в потёмки лестничных пролетов тускло освещённая площадка была необитаема, но в приглушённом отдалении ещё слышался звук шагов — лёгких и юрких, как бег песка по только выпавшему снегу. Я прыснул к краю и крикнул: «Вернись!» — «Вернись!» — птицей ответило эхо. Обернувшись, я увидел пустой короб из-под пирога на своём пороге: с глумливо раззявленной крышки на меня взирала надменная гостя с лилейным опереньем и аспидными очами.

С трудом овладев собой, я вернулся в квартиру, обрядился в тёплое и вновь шагнул за порог, пускаясь в погоню: загубленный рабочий вечер и рокот в животе взывали к возмездию. Наглость курьера, его расторопное бегство, апломб, с которым пустой короб был брошен в прах у дверей, есть свидетельства предвзятости и неприязни, тщеславия и небрежения, коварства и вражды, — ропща так, я катился по лестнице голодным демоном, не противясь росткам злобы в торахсе. Улица обожгла сухим морозом. На густеющем небе гасли последние пряди заката, *Mercurius* воцарялся в плечах облаков, а занявшие свет у звёзд огарки фонарей воровато смаргивали, точно выводок подслеповатых дворняг. Серо-белая, чуть запорошённая городская окраина сонно ворочалась под настезь распахнутым горним створом — клято-любимая обитель моих кошмаров и надежд. Мой Зимний Меридиан.

Петля меж обшлагов пятиэтажек, можно был различить узкую, пренебрегающую отсутствием тротуаров народную тропу и взбирающееся по ней старичье, свезённое родней в глухой пригород, как ненужная мебель на дачу. Я поспешал утоптанном следом, а навстречу, толкаясь, катили пеленатые коляски, сличаемые с надутыми снегом ушатами строительного мусора по обочинам. Сталкиваясь на изломе двух одинаково-блёклых дворов-колодцев, бессильный конец

<sup>3</sup> «Городок поимел тебя» (англ.) — отсыл к фильму «Матрица» и роману «Городок».

<sup>4</sup> Тритония-дева — молочная сестра Афины, дочь Тритона, внучка титана Океана, случайно убитая Афиной в детстве. Её имя — источник эпитета Афины — Паллада.

<sup>5</sup> Извонный — внешний, наружный (Толк. сл. Даля).

и безвольное начало создавали равновесную композицию — я же был в центре, мешая тем и этим: хорохорящийся пиит на закорках Христа. «Следуй за белым вороном», — прошипел рот ползшей вниз мамыши в аляповатом глазуревом пуховике. Я обмер, тут же вспомнив перси Тритонии и ту, ради которой... из-за которой... Я хотел было удержать, задержаться, но тщетно — муравы и след простыл, а меня подхватило и понесло, так что уже через минуту я оказался на взгорке, у входа в районный универмаг.

Внутри было людно и неудобно, точно в присутственном месте или очереди к зубодёру. Стеллажи, рефрижераторы, прилавки строились гребёнкой под лампами дневного света, придающего окружению мерклый голубоватый оттенок, и чудилось, будто откуда-то сбоку, из закутка для персонала, тянет подмороженной мертвечиной. Играла музыка: пронзительный и звонкий джингл-белс, повторяющийся и дпящийся в перепонках, заполнял пространство под приземистым, выкрашенным жёлтой краской потолком, подавлял разговоры, превращал посетителей в безгласно слоняющиеся кегли — арлекинов закулисного произвола. Я продвигался вглубь, бормоча: «Спокойно, товарищ, спокойно, это здесь, впереди», но тревога не покидала, расковыривая грудь шпилькой сумасбродного предчувствия... Ага, вот и она, точка выдачи пиццерии «White Raven»<sup>6</sup> с неизменной крылатой эмблемой в накипи листовых выцветшего преискуранта, — жалюзи опущены, свет выключен, ни единой, что б её, живой души. Я потянулся за телефоном, и экран тут же зажётся цифрами: без шести минут шесть.

Удручённый и вконец оголодавший, я брёл по направлению к витринам с готовой едой — месть моя не свершилась, но, право, не идти же домой с зияющим брюхом? Мысль о скором ужине почти вернула меня в благопристойное расположение, а затем... среди колбас и копчений... в дефиле сходящихся полок... на перекрёстке вин и коньяков... Она! — уходит, гарцуя, покрытая белоснежной фуфайкой, украшенной казённой монограммой «W.R.», бесстыже, не оглядываясь, закрыв лавочку до срока (ведь ещё и шести нет!), швырнув к моему порогу хамский короб, наплевав на приличия ради сиюминутной прихоти упорхнуть со смены (к сопостельнику, не иначе), нарочито, манерно, нагло, поигрывая локоном, выбившимся из-под модной шерстяной шапочки с посеребрённым отворотом и сангиновыми литерами: «24/02, In this style»<sup>7</sup>. Чудовище, ехидна, кокотка! Сейчас, сейчас я настигну и выскажу тебе всё, что накипело, скопилось, заполонило горло и рот, сейчас ты узнаешь и взглянешь в глаза мои, а я — в твои, и мы будем вместе, будто не было разлуки длиною в срок. Будто всё не зря.

Лука спины мелькала впереди: она то пропадала, то появлялась вновь, облизывая бока бакалей, смахивая пыль с уценённой снеди вздорным подолом фуфайки. Она была так близко — стоит только захотеть, дотянуться, прижать... и недостижима, как марь, ведь ноги мои не поспедали за чувством, а руки выпростались в карманах пугливыми магазинными воришками. Что в ней за важность? почему так упорен и скор её бег? и где хозяин, способный укротить сию ноч-

<sup>6</sup> «Белый Ворон» (англ.) —

<sup>7</sup> «24/02. В таком стиле» (англ.).



ную пигалку<sup>8</sup>? Меня разбирал недобрый смех, я работал локтями, прорываясь к кассам, всё больше входя в азарт, давясь внезапным ожесточением и жорким<sup>9</sup> приливом в чреслах. Я был ретив и пылок, точно капитан Гримм, холостяцкий будущность армейским штыком в испарине сладострастной сугони<sup>10</sup>, — я был сам Голод, сама Жажда, само Вожделение, — «я был, я емь, я буду снова!» — шептали мои пересохшие губы, — я был так близко, так близок... А затем, будто почуяв моё дыхание у себя на затылке, она сделала три быстрых шага и, оказавшись в диаметре ускользящих стекольных створок, бросила вспять через невзнузданное плечо: «Дарма!»

Столбенея, я понукал члены, но тело отказывалось повиноваться, словно бы пойманное в капкан злоречивого суккуба<sup>11</sup>, следующего за мной по пятам. В удаляющемся стане той, кого я так желал, угадывалась грация великого змееуста, поводящего тростью с эбонитовым набалдашником и делающего театральные пасы над тульей бахтового<sup>12</sup> цилиндра. О, я знал его, как знают худшее в себе, а он знал меня и того лучше, ведь в нём не было ничего, помимо моего худшего. Мне бы следовало утрашиться и прыгнуть, как оленёнку от огня, но вместо этого я, преодолевая, подчинил-таки члены и в два прыжка усёк холл универмага. Оказавшись на морозце, я ощутил себя обкраденным любовником, у которого за душой ничего, кроме ветхих мокасин, но в засеках<sup>13</sup> сердца которого ещё теплятся радужные осколки, хранящие блики былых хотений... Белогрива и горда, ты уходила дорожкой, ведшей к пограничному шоссе, к пятнам редкой, огибающей овраг цепи фонарей, к самому оврагу — лесистому, поджигающему, — и твои лопатки топорщились стигмами «W.R.», а *Mercurius* у горизонта перемигивался со мной как пацц.

Зимний Меридиан указывал путь, а *l'ombre des jeunes morts dans les forêts*<sup>14</sup>, высвечивая Адрианов вал<sup>15</sup> дороги, превращая мои неосторожные шаги в поступь латинянина, излившего душу в иллюзию власти над пробуждающимся княжеством долгой ночи. Впрочем, было ещё светло: отгоревшая адамантовая высь осеняла мир, как океан — твердь, и ступая под её свод, я обнаруживал себя на безбрежном дне, едва заметно выгнутом по краям, словно внутри огромной сферы, ловящей отсверк полярных аврор. Сразу за фонарями начинался лес — старый, смолистый, обнесённый алебардами елей, противный городу *et orbi*<sup>16</sup>.

<sup>8</sup> Пигалка, или пигалица, или чибис — птица с голубя, чубатая, с зелёным отливом, белобрюхая (Толк. сл. Даля).

<sup>9</sup> Жоркий — всепожирающий (диал.).

<sup>10</sup> Сугонь — погоня (диал.).

<sup>11</sup> Суккуб — демон похоти и разврата, согласно воззрению христианских демонологов, дьявол в женском облике.

<sup>12</sup> Бахтовый — бархатный, фартовый (диал.).

<sup>13</sup> Засека — преграда из наваленных крест-накрест деревьев.

<sup>14</sup> Под сенью молодых, павших в лесах (фр.). Отсыл к «Под сенью девушек в цвету», названию второй книги Марселя Пруста из цикла «В поисках утраченного времени».

<sup>15</sup> Адрианов вал, или Римская стена, или Стена пиктов — оборонительное укрепление римлян в Шотландии.

<sup>16</sup> *Et orbi* (лат.) — И миру. Фразой «*Urbi et Orbi*» — «Городу (Риму) и миру» открывались воззвания, обращения в Риме.

Здесь было темнее, чем на дороге, однако снежистая тропа, юзом нырявшая под склон, казалась вполне различимой и на ней, казалось, лежали свежие меты чьих-то цепких лап. Я следовал молчаливой анфиладой, расстилавшейся среди деревьев, надеясь опознать белокрылый стан за каждым поворотом, но впереди было пусто, а позади ветви смыкались лабиринтом меркнувших химер. «Увижу ли я тебя снова?» — грезил уста, и тишь отвечала: «Больше никогда».

Спускаясь терциями тропы, в овраг, я повторял беззвучный приговор, пытаюсь возродить себя прежнего — трепетного юношу, не отлучённого ещё от мощи и святости первородства. Пред взором оживал счастливый бедняк, терзаемый гордыней, снедаемый любовью, упирающий стопы в порог дороги дорог, рука об руку с летучей невестой, истовой и жгучей, как поцелуй крапивы. Мы были неразлучны, ты и я, а после низвергнуты в пучину, что ныне зовётся жизнью; я — как первый из алхимиков себялюбивого духа, ты — как последняя беглянка с веток предвечного сада. Тебя нагнали и казнили, свои и по своим законам, однако ж ты вернулась — фениксом чумного поветрия, похитительницей, грешницей, стервой, тварью. Я отрёкся от тебя, тогда и вновь, тысячи раз, и тысячи тысяч расшибал лоб в безутешной скорби над бюстом Тритонии, напоминавшей тебя статью туники и сестринской гримасой молочных белым. И вот он, лес и снег, и не изгнать февральских чар... и не вернуть тех нег!.. и ясно помню я, кем был Кошмар.

Чаща поредела, на небе проявились первые северные звёзды — мерцающие пульсары почивших галактик. Стало светлее, с глаз будто упала вуаль, и я увидел, как тропу перебежал заяц: линялый, с комьями валкого меха на загривке, словно почуявший близкий, но всё никак не наступающий март. «Дурной знак», — подумал я, уже догадываясь о пославшем его лицедее, караулящем меня спокон веку. Не готовый к противоборству, стараясь наскрести крохи доблести по сусекам духа, я крепился мыслью о вышнем заступничестве и спешил к открытому месту, на дно оврага. Лес расступился, как по мановению, открыв узкую, стиснутую сосняком прогалину и озеро в сердцевине — промёрзшее до корня, укрытое снеговой шубой, оно изгибалось кривым полумесяцем, напоминая кинжал Хаджи-Мурата. А на его дальнем берегу, среди берёзовой просини, увенчанный каймой *Mercurius retrogradus*<sup>17</sup>, в чёрном цилиндре, в наряде старинном, никуда не спеша, меня встречал тот, кого я боялся и ненавидел с младых ногтей; тот, кто всегда за плечом и кто произносит, улыбаясь легионом чеширских резцов: «*Hail to the Thief, братец*»<sup>18</sup>.

Я попятился, развернулся, побежал — вдоль прогалины, неверной опушкой, топча сучья и корни, дыбачиющиеся из сугробов обращёнными в камень подколданными гадюками. Слыша журчащий глум — позади, окрест, нигде и всюду, — я глядел исключительно под ноги, тешась мечтой о побеге, тцась упредить соглядатая в его стремлении встать у меня на пути. Сонм звериных троп петлял

<sup>17</sup> *Mercurius retrogradus* (лат.) — оптическая иллюзия при движении Меркурия в ночном небе.

<sup>18</sup> «*Hail to the Thief*» (англ., досл.: «Да здравствует, Вор») — 6-й студийный альбом британской рок-группы Radiohead (2003). А также парафраз американской песни «*Hail to the Chief*», исполняемой на церемонии инаугурации президентов США.

застарелой гарью, что когда-то подпирала свод, а ныне стала червоточиной лесных владений, их болотистой изнанкой, заросшей сохлым камышом, с оглодками чумазных пней тут и там. Ноги проваливались, запинаясь, плутали; вскоре я замедлил бег, чувствуя навалившуюся усталость, а сверх того — холод и голод, разом проникшие в обессиленную плоть тенью пережитого ужаса. Прошла минута, другая, третья... я замер, хрипя и роняя пену, как загнанный мерин. Впереди нехоженую стёжку пересекал свежий заячий след, а чуть поодаль, попирая завалянку умасленным до блеска яловым сапогом, насмешничал извечный попутчик, выщипывая червонным язычком: «Прекрасно, страстно и всё ж напрасно».

«Не уйти», — понял я, обращая взмокшее чело к навязанному собеседнику — гладко выбритому хлыщу светской наружности, выводящему бессвязные узоры заострённым концом порхающей над снегом трости. «Ас-салям алейкум, Шамиль, — произнёс я глухо. — С чем на этот раз, негодяй?» — «Ни мира тебе, ни войны, а армию распусти! — хихикнуло в ответ. — Негодник, ты сменил личину, обозвался переводчиком, думал, что забудешь: меня, её, нас» — «Не смей произносить... всуе!» — вскричал я, задыхаясь от ярости. «Смею, моя прелесть, смею, — отозвалось, подкручивая напомаженный ус, оглаживая атласный сюртук с трафаретом кровоточащих сердец на подкладке. — Как бишь она тебя?.. Лиду? а мне больше по душе Самойл, с привкусом азиатского разврата, славянского варварства — тебе под стать» — «Под стать тебе, пархатый, — откликнулся я, зная, быть может, больше, чем желал бы знать. — Под стать всякому, кто позабыл о всепрощении».

«Убийцам Времени прощения нет, — рассмеялся внутренний магометанин. — Тебе ли не знать?» — «Виновен не более, чем Сизиф, желавший освободиться от оков уготованного и приговорённого к бессмертному позору за попытку быть, а не казаться», — сказав так, я распрямился, готовый ко всякой новой каре. «Кяфир<sup>19</sup>, ты так и не понял! — каркнуло в ответ. — Ты не убивал, но ты убийца, как и всякий, рождённый под знаком Борея, с клеймом FUG<sup>20</sup> на ланитах!» — «А как же она... неужто и её, из Галаада<sup>21</sup>?» — спросил я, чураясь одной только мысли. «Невинные будут платить за виноватых и не расплатятся — от Рюрика до Шурика!» — прорычало, пускаясь в пляс, размётывая снег носками сапожек, выделывая коленца, приподнимая цилиндр в шутовском приветствии, отвешивая прощальные реверансы мышастой гари за спиной. Он уходил, исчезал, таял, — как и Она, минутами, часами, эпохами до, — я же нёсся вослед, рвался из всех сухожилий, точно одичалая борзая, позабывшая о цели, но не о флажках и не о страхе.

Мною овладел фантом твоих флюидов: запах нежнейшей кожи вдоль обвода подмышки, фиалковый *parfum* причёски, влажная оливковая взвесь на внутренней стороне бедер. О, моя Лили! — что за мука выпала тебе, что за *fatum*, что за гнусный жребий — обречённая, ты трепещешь белой горлицей, угодив

<sup>19</sup> Кяфир (*араб.*) — неверный, неверующий.

<sup>20</sup> FUG (*от лат. fugitivus* — беглец) — клеймо беглых рабов в Риме.

<sup>21</sup> Галаад, или Гилъад — историческая область к востоку от реки Иордан, а также всё заселённое евреями после завоевания Страны Израиля Заиорданье. В VIII в. до н. э. ассирийцы завоевали Гилъад и увели в плен значительную часть населения.

в стылый каземат невешного леса. Казнь неминуемо состоится, инквизитор уже в пути — вот же он, скачет по обрубкам пней, точно по головам, и фалды его сюртука парят папскими крылами не подлежащего обжалованию приговора. Он не достигнет тебя, только если я наступлю его — дикой охотой моего гнева, еретиком духа, узником замка Иф, мщением проклятых и убитых по велению его осетинских усов. Он всё быстрее, но я не отстаю, напротив, я всё ближе, вкушаю его пот, вонь, серный бздёж его мыслей. Прыжок! — мы валимся наземь скрещеньем рук, скрещеньем ног, судеб скрещеньем, — кружим неистовым клубком шерсти, зубов, когтей, — и становимся одним, соборуюсь сиаемским союзом предельно крайних двух начал.

Обнаружив себя одинокого посреди давешнего озера, на спине, в позе развенчанного серафима, я осознал наконец, что попытке не будет конца, как не будет срока давности у совершенных — кем бы ни! — злодеяний. Переживая каждый свою, но каждый — боль, мы бредём от Меркурия до Плутона невольничьим этапом неприкаянных и окаянных: *nameless ones for evermore*<sup>22</sup>... Я встал, отёр щёку, побрёл — мгlistой анфиладой, лабиринтом елей, тайнописью тропы, вьющейся меж стволов. Я возвращался к своим книгам, переводам, своему рукотворному забвению; в том не было подвига, только — смирение с прожитым и тем, что ещё предстоит пережить. Овраг позади неясно колебался, как оркестровая яма после третьего звонка, а впереди открывались до оскомины знакомые виды пограничного шоссе, разряженной цепи фонарей, сутолоки парковок и дворов. Большие часы над районным универмагом светились прежней бледно-жёлтой гаммой, оповещая о времени: без шести минут шесть.

Не успел я ступить на асфальт дороги, как меня едва не сбил грузовик — покрытый мутной ледяной коркой, прущий с востока на запад, из тьмы пригорода в зарево полиса, расшвыривающий комья развороченной мёрзлой земли, ревуший — *jhineni-hineni!*<sup>23</sup> — глотью клаксона, он обдал меня дизельным чадом и ослабилась надписью, выведенной чьим-то неужённым пальцем по заскорузлости кузова: «*Russian World*». Отряхнувшись от грязи, я зашагал в сторону дома; было голодно и холодно, но вместе с тем привычно и ввыкло — я мог бы пройти весь путь не размыкая глаз, так хорошо я знал каждую выбоину и яму у себя под ногами. Небо, остывшее и высокое, покрывало курган мира бесцветным саваном, я же спускался затенёнными подворотнями, приближаясь к родному порогу. На крыльце, под матовой входной лампой, меня дожидалась странно знакомая незнакомка в белой, чуть запятнанной фуфайке с казённой монограммой — должно быть, принесла кому-то из жильцов пиццу или пирог на вынос. «Который час?» — спросила она. Я снял с головы шляпу, улыбнулся и ответил: «Вечность». ■

<sup>22</sup> «Безымянные во веки веков» (*англ.*) — строчка из стихотворения Эдгара По «Ворон».

<sup>23</sup> Слова из песни Леонарда Коэна в переводе с иврита значат: «Вот он! Вот он!»

## Эли БАР-ЯАЛОМ

📍 Хайфа, Израиль



Фото: Сью Александер

Я воспринимаю мир через призму языка. Много лет с удовольствием преподавал в институте и в школе для одарённых. Сейчас посвящаю всё время воспитанию собственных детей, а также написанию текстов и их исполнению.

Вышла в свет книга стихов «Котёнок русского языка» (2023). Издание романа «Защитник неведомого» и других прозаических произведений – в руках Фортуны. Ещё пою, как в том анекдоте.

На самом деле всё это не то что бы неправда (документально тут всё точно), но совершенно не то, что важно на самом деле. А того, что важно на самом деле, словами всё равно не выразить.

Проживаю в Хайфе; это как раз подходящее место для всего такого.

В № 3 (7) за 2024 опубликована моя подборка «Я повторяю, как заклятье, что мир – бардак, но люди – братья». Но в этот раз я предлагаю прозу.

## Среди таких, как все

...Костик открывает третью бутылку. Катя и Лизка режут очередную порцию огурцов для салата. Они шепчутся о чём-то и хохочут. Сашук подбирает что-то на гитаре и бурчит себе под нос. Я ворошу сучья в костре. Всё нормально.

Тайна Костика заключается в том, что он – гений. Его интеллект – 192: больше, чем у Эйнштейна. В девять лет он выучил дифференциальное и интегральное исчисление. По книжке. К тринадцати годам он знал одиннадцать языков. В пятнадцать он был совершенно одинок: как Ихтиандр среди рыб и морских чудовищ. В шестнадцать лет он решил перестать быть гением. Со свойственной ему гениальностью он изучил поведение обычных людей, их простые мысли и убогие чувства. Сегодня ему восемнадцать, и его не отличить от любого из сверстников. Потому что он играет, и играет гениально. Зато ему хорошо сегодня. Он так рад, что может провести вечер со своими друзьями, среди обычных людей, таких, как все.

– Сашка! – кричит Катя. Кажется, она уже немного пьяная. – Ну не бубни же, сыграй что-нибудь нормальное, а?

– А что тебе сыграть? – говорит Сашук.

– Что-нибудь новенькое, хит какой-нибудь, – говорит Катя. – Надоело ретро. Ладно?

Тайна Кати заключается в том, что ей сорок шесть лет. У неё не было никаких пластических операций, она даже косметикой не пользуется: она просто выглядит на семнадцать, и всё тут. Она была замужем, даже дважды. У неё есть взрослая дочь. Но она пользуется этим даром, полученным неведомо от кого, и для всей компании ей действительно семнадцать. По паспорту она и не Катя вовсе, а Валентина Ильинична. Она не знает, сколько ей

ещё отпущено – вот такой, обманной молодости. Но она рада, что может провести вечер со своими друзьями, среди обычных людей, таких, как все.

– «Пятая группа» подойдёт? – спрашивает Сашук.

– Смотря что, – говорит Катя.

– Например, «Смертники».

– Не надо «Смертников», – вмешивается Лизка. – Нудотень. Давай лучше «Над пропастью».

– «Над пропастью» так «Над пропастью», – соглашается покладистый Сашук.

Сашук знает все песни всех групп. Он знает вообще все песни: и на русском, и на других языках Земли. На его родной планете хотят знать о Земле очень много, потому что Земля – очень интересное место. Поэтому и разбрелись по пяти континентам учёные специалисты, такие, как Сашук. Всего их триста сорок три – для них это круглое число. Настоящее имя Сашука не переводится: оно означает «Тот, кто делает нечто, для чего нет названия на Земле, так же хорошо, как зверь, который не водится на Земле». Но он настолько правильно притворяется человеком, что ему и самому нравится выполнять задание. Ему доставляет настоящее удовольствие возможность провести вечер со своими друзьями, среди обычных людей, таких, как все.

Сашук берёт первый аккорд. Подстраивает гитару, улыбается:

– Извините. Сейчас.

– Ничего, Саш, не напрягайся, – говорит Лиза. – Ты играй, нам уже хорошо.

У Лизы чёрные, коротко стриженные волосы. У Лизы пирсинг в нижней губе и татуировка на левом плече. Но по-настоящему Лиза выглядит иначе – вернее, никак не выглядит. На самом деле она – Шуб-Нигтурат, повелительница межзвёздного хаоса. Её бесчисленные щупальца пронизывают галактики. Здесь, в человеческом теле, она прячется от Йог-Сотота, такого же Властителя Древности, как и она сама. Не пройдёт и сотни лет, размолвка забудется и она вернётся *туда*, в невыразимое, безмерное, пылающее сердце космоса. Но пока ей хорошо и здесь: мелкий хаос человеческих отношений напоминает ей родину, и она с удовольствием проводит вечер со своими друзьями, среди обычных людей, таких, как все.

– «Твой сапог занесён над пропастью.

Сейчас ты сорвёшься –

и обнаружишь, что можешь идти,

отталкиваясь от пустоты,

отталкиваясь от пустоты в себе», – хриплым голосом поёт Сашук.

Мне не очень нравится эта песня, но, добавляя в костёр новые ветки, я всё равно слушаю её. В конце концов, кого мне винить, кроме самого себя?

Я – автор. Я придумал их всех, и всё, что их окружает. Я придумал события и законы, по которым они развиваются. И я придумал, что сам нахожусь там, с ними, у костра. И мне хорошо. Потому что кому, как не мне, знать, насколько важно иногда побыть с друзьями – среди обычных людей, таких, как все.

## Долгий месяц хвостябрь

1

Снять белый халат, бросить резиновые перчатки в урну, освободиться от стерильной маски. Улыбнуться всем медсёстрам по очереди. Сдать дежурство младшему коллеге. Приветливо кивнуть трём больным, стоящим на лестничной клетке. Дождаться нескорого больничного лифта. Спуститься на первый. Выйти из лифта. Кивнуть сторожу. Шагнуть на улицу. Вдохнуть глубоко, полной грудью морозный и свежий воздух.

Дождаться позднего автобуса. Поздороваться с водителем и с половиной пассажиров, с которыми каждый вечер по пути. Стоять, потому что сидячих мест нет. Смотреть, как мелькают за окном светящиеся вывески. Не пропустить остановку. Выпрыгнуть. Повернуть. Оглядеть двор. Подняться по ступенькам. Открыть дверь.

2

– Папа! Па-а-а-па!

Услышать нескладный хор трёх голосов, к которым присоединяется четвёртый голосок, пока без слов: вяк! Хнык! Вяк! И увидеть, как навстречу выходит она – двое мелких на ней висят, один покрупнее держится за подол, одна вертлявой планеткой пляшет вокруг неё.

– Привет, Зверь, разгрузи меня.

– Привет, Звёздочка. Привет, малые.

Разгрузить её: взять обоих малышей на руки. Руки перед тем вымыть с мылом, хотя запах операционной давно выветрился. Поговорить по душам со старшими; помирить их – оказывается, уже нашёлся повод для драки.

– Как ты, Звёздочка?

– Валюсь с ног. Представь себе, с этими вот на шее пришлось переделывать два чертежа.

– Так вроде ты говорила, что всё готово?

– Я думала, что готово, но в одном узле заказчики что-то перепутали, а второй я сама запорола.

– И как, получилось?

– Ну вот, сейчас запустила программу, она пока считает. Сойдётся – смогу, наконец, расслабиться... если ты их накормишь и уложишь.

– Звёздочка, я тебе говорил, что сегодня ночью я ухожу?

– Говорил. Это обязательно? Завтра же носом будешь с утра клевать.

– Обязательно. Это мой старый учитель, мы с ним двадцать пять лет не виделись, он так попросил...

– Ладно, Зверь. Ты у меня уже большой, сам решаешь. Мелких по кроватям – и свободен.

– А ты?

– А я, наконец-то, в душ – и... если программа ошибок не найдёт – то спать.

Иначе...

– Иначе я тебя съем.

– Звери звёздочек не едят!

– Гррр! Марррш мыться!

## 3

Поджарить. Нарезать. Усадить. Собрать. Помыть посуду, пока старшие укладывают младших. Рассказать сказку младшим. Рассказать что-то интересное старшим.

– Папа, а про работу?

– А что «про работу»? Если у больного протекает, а протекать не должно, значит, это надо зашить. Если у больного не протекает, а должно протекать, значит, это надо прочистить. Очень просто.

– А когда ты кому-то в сердце залезаешь, ты там видишь, что он кого-то любит?

Задуматься. Помолчать. Ответить:

– Да. Если есть сердце – значит, обязательно любит хотя бы кого-то.

Обнять. Укрыть. Ещё укрыть. Поправить. Погасить свет. Взглянуть на часы. Вздохнуть с облегчением. Пройтись по дому. Сходить за метлой и совком. Подмести пол. Взять мешок с мусором. Выйти, выбросить мусор. Вдохнуть ночной воздух. И броситься бежать.

## 4

Остановиться около пустой сторожки у подножия тёмного холма. Зайти в незапертую дверь. Включить свет. Снять пальто. Снять свитер. Снять рубашку.

Снять ботинки. Снять носки. Снять брюки. Снять майку.

Вдохнуть воздух. Оглянуться по сторонам. Взглянуть на настенные часы.

Снять трусы.

Погасить свет. Выйти из сторожки.

И со всех ног, со всех четырёх ног, без оглядки к вершине холма, по дороге обрастая шерстью и обретая хвост.

## 5

Склонить мохнатую голову перед тем, кто стоит на вершине и ждёт в темноте.

– Хорошо, что ты пришёл.

– Ты приказал мне прийти, Гау, и я не мог послушаться.

– Неправда. Ты никому ничего не обязан с тех пор, как закончил обучение.

И потом, хвост выдаёт тебя.

– Неужели?

– Да. Он говорит, что ты рад нашей встрече. И уши подтверждают.

– А я и в самом деле рад, Гау. Двадцать пять лет...

– Да. И как тебе живётся?

– Замечательно. Я свободен.

– В самом деле?

– Да. За этим я и приходил к тебе когда-то, когда ещё был только человеком.

– Я помню. Ты хотел освободиться от времени.

– Да, Гау.

– Я помню, что ты придумал тогда красивое слово...

– Да. Хвостябрь. Чтобы вместо сменяющих друг друга однообразной чередой октября, ноября, декабря был один-единственный, прекрасный месяц хвостябрь, длящийся вечно и не кончающийся никогда.

– И как, настал для тебя этот месяц?

– Настал, Гау.

– И ты живёшь в лесу?

– В лесу, в поле, в степи – там, где хочу. Спасибо тебе, Гау.

– А прошлой ночью? Где ты спал прошлой ночью?

– Я... в доме. В одном доме, в двадцати минутах бега отсюда.

– А отчего ты знаешь, сколько бежать отсюда до этого дома?

– Потому что я только что оттуда.

– А две ночи назад?

– Тоже. Гау, я...

– Сколько ты там живёшь?

– Я только временно... временно...

– Ответь мне на вопрос. Не бойся, я с тобой ничего не сделаю.

– Несколько лет...

– Сколько?

– Три... тринадцать с половиной.

– И ты работаешь?

– Работаю.

– И моешь посуду? Стираешь одежду? Подметаешь пол?

– Мою. Стираю. Подметаю. Но это...

– Только временно. Я знаю.

– Ты недоволен, Гау?

– Я? Я доволен, когда довольны мои ученики. Ты-то – доволен?

– Да, Гау. Я счастлив.

– И быт не тяготит тебя?

- Конечно, нет. Это же только...
- Я понимаю. Это всё, что я хотел знать. Иди и живи свободной жизнью, свободный зверь!
- Уххх.
- Что я сказал смешного?
- Ничего, Гау. Просто она... та, у которой я живу... тоже называет меня Зверем.
- Она знает?
- Нет, конечно.
- А как ты её зовёшь?
- Я? Звёздочкой.
- А ты – знаешь?
  
- А что я должен знать?

6

Она выключила компьютер и свет, заглянула в обе детские, потянулась, улеглась на кровать, подложила руку под левую щеку и закрыла глаза.

И тогда, наконец, над морем вошла звезда. Она поднималась всё выше и выше над линией горизонта, и её яркие, спокойные лучи светили всё ярче, освещая дорогу одиноким путникам, ночным зверям и усталым матросам, заблудившимся в океане.

## Затмение

Мустафа повалил Давида на землю, скрутил ему руки, упёрся коленом в живот. К сожалению, нож у Мустафы при этом выпал, но он мог его достать, ничем не рискуя, достаточно было ног и левой руки, чтобы Давид не мог двигаться.

– За что, Мустафа... два года вместе работаем... – прохрипел Давид.

– Молчи и подымай, – ответил Мустафа, пытаясь дотянуться до ножа. Иврит у него был хороший, хоть и с акцентом.

– Пожалей... – простонал Давид. Мустафа игнорировал его.

– Стоп, подожди секунду! – сказал вдруг ЛЕВАВИЭЛЬ.

– Помолчи, скотина, – рявкнул сердитый Мустафа. Нож всё время ускользал от него.

– Нет, это я вне роли, – объяснил ЛЕВАВИЭЛЬ.

– А, извини, – произнёс ХОТАМИЭЛЬ уже без всякого акцента. – То-есть Давид этих слов не говорил?

– Что ты, – улыбнулся ЛЕВАВИЭЛЬ. – Давид сейчас дрожит от страха, вспоминает молитву и ждёт, когда ты его зарежешь.

– Ну так давай, я же это и собирался сделать! – добродушно сказал ХОТАМИЭЛЬ.

– Так нет, – ответил ЛЕВАВИЭЛЬ. – Я как раз хочу попросить, чтобы ты меня сейчас не резал.

– А в чём дело? – изумился ХОТАМИЭЛЬ.

– Понимаешь, пока родится мой следующий, пока он ещё начнёт что-то соображать... а послезавтра полное солнечное затмение.

– А зачем оно тебе?

– Ну люблю я их, понимаешь? – виновато сказал ЛЕВАВИЭЛЬ. – Я же... это же моя идея была, чтобы луну на таком расстоянии от Земли, чтобы она и Солнце были одного и того же размера. Ты не знал?

– Там столько таких идей было... – беззлобно проворчал ХОТАМИЭЛЬ. – Ладно. Только мне же тебя убить надо, я же потом буду из-за этого раскаиваться в последнюю минуту, вспоминая твои глаза, и всё такое.

– А какая минута у тебя последняя?

– Я через две недели взрываюсь на вокзале. И, умирая, чувствую раскаяние.

– До или после взрыва? – уточнил ЛЕВАВИЭЛЬ.

– После, после. Этот взрыв нужен, там отдельная комбинация.

– Так слушай, – обрадованно сказал ЛЕВАВИЭЛЬ. – Я тогда через две недели пойду на этот вокзал, и попадусь тебе на глаза прямо перед взрывом. Ты нажмёшь на кнопку, нас бросит друг на друга, мы умрём одновременно и у тебя получится твоё раскаяние.

– Действительно гладко, – восхитился ХОТАМИЭЛЬ. – А как мы обставим, что сейчас ты не погибаешь?

– Может, пожалеешь меня?

– Нет, – ответил ХОТАМИЭЛЬ. – Неправдоподобно. И потом, если я тебя сейчас пожалею, я уже не смогу хладнокровно идти взрываться на вокзале. Давай лучше ты вырвешься, пока я нож ищу, пнёшь меня ногой и убежишь. Идёт?

– Идёт, – согласился ЛЕВАВИЭЛЬ. – Спасибо, за мной не заржавеет. Хочешь, я на тебе в следующий раз женюсь?

– Там видно будет, – засмеялся ХОТАМИЭЛЬ. – Давай!

...Дрожа от ужаса, Давид выжимал газ до предела, уносясь на своём «фольксвагене» из проклятого места, постепенно приходя в себя. Он не знал, что только что бесстрашный полицейский автомат засёк его на скорости сто восемьдесят километров в час. Через десять дней у Давида за это отнимут водительские права, и на работу ему придётся ездить на поезде.

## Папа купил школу

– В отличие от Бойля и Мариотта, Гей-Люссак – это один человек, – гремел над классом голос Александра Витальевича. – Причём Гей – это не ориентация, а часть фамилии.

Класс смеялся ровно пять секунд. Послушный движению всемогущей брови Александра Витальевича, смех умолк, и урок продолжался.

– Мы это знаем точно, поскольку однажды, войдя в магазин нижнего белья, он обнаружил, что девушка-продавщица тайком, под прилавком, читает учебник химии. С этого момента он влюбился в неё на всю жизнь. У них было пятеро детей.

Тридцать пар глаз заворожённо смотрели на учителя. Вот в таком состоянии они были готовы воспринимать всё – даже формулы.

– Закон Гей-Люссака отличается от закона Бойля–Мариотта тем, что за постоянную величину принимается не температура, а...

И в этот момент кто-то снаружи пнул дверь так сильно, что она, едва не слетев с петель, со всех сил ударилась о стену. От удара закачался и упал на пол портрет Менделеева. Осколки стекла разлетелись по полу.

В проёме стоял высокий бледный мальчик с горящими от возбуждения щеками. В руках он держал какую-то бумагу. За его спиной стояли другие школьники, и выглядело это так, как будто он внезапно обзавёлся двумя десятками теней вместо одной.

– Я пришёл, как я и обещал! – воскликнул он срывающимся, но торжественным голосом. – Мой папа купил школу, и я отпускаю на свободу тех, кто мне поверил!

Александр Витальевич медленно поворачивался к незваному гостю, но тот уже зачитывал список:

– Аверинцева! Гришин! Дьяков! Мариенбах! Сапрыгин! Шепетовская! Всё! Вы свободны!

– Пойдите, Домнин, – наконец вымолвил химик. – С каких это пор вы решаете, кто будет на моём уроке, а кто нет?

– С таких это пор, – в тон ему отчеканил мальчик, – как мой... папа... купил... школу. Вам что-то неясно?

– Мне, – ответил учитель, – неясно всё. Сидеть, пожалуйста, урок не окончен. Последние слова были обращены к семерым ученикам, вставшим из-за парт и пробиравшимся к выходу.

– Да нет, – сказал мальчик. – Для них, Витальич, урок окончен. И если вы скажете ещё хоть слово, он может быть окончен для вас. А ты, Савченко, куда?

Тоня Савченко застыла в проходе.

– Я хорошо помню, что ты обо мне говорила. И про шу-шу с Павловой на перемене. И вечеринку помню, в январе. Твой учебный год продолжается, Савченко, и, возможно, продлится долго. Очень долго.

Тоня выпрямилась в слезах. Её не по годам пышная грудь колыхалась от волнения и печали.

– Васечка, миленький, прости меня! Ты самый... самый... я даже описать не могу, какой! Я всё, всё для тебя сделаю... если я ещё тебе чем-то нужна. Прости меня, я – с тобой.

Василий смотрел на неё в задумчивости.

– Ладно, – сказал он. – Валяй с нами, Савченко. И вообще: кто сейчас меня признает, тому амнистия. Ясно?

В тот же момент из-за парт вскочило человек пятнадцать учеников. Верзила Моргунов принялся скандировать: «Дом-нин, Дом-нин, Дом-нин», – и его клич подхватили дети из других классов, столпившиеся за спиной Василия.

Александр Витальевич, часто моргая, смотрел на происходящее. Его левая рука медленно ползла к сердцу.

– Ребята, но ведь...

– Я, кажется, сказал ясно: хоть одно слово, – отрезал Василий, резко повернувшись к учителю. – Петров, давай бланк!

Немедленно один из клеветников, пришедших с ним, протянул ему лист с печатью и подписью.

– Читай, Витальич, – сказал Василий, шагнув к учителю. – Свидетельство об увольнении. Видишь? Папина подпись, печать... только имени не хватает. А вписывать буду я. Подсказать, с кого начну?

– Не... не подсказывайте, – шёпотом сказал химик. – Если хотите что-то сделать, просто сделайте.

Домнин смерил его взглядом.

– А не надо, – бросил он. – Ты же мне больше мешать не будешь, правда? Я своих заберу, а этих... эти как раз заслужили под тобой мучаться. Что, нам теперь с папой другого такого же искать? Оставайся уж, Гей... Люссак!

С этими словами он повернулся и вышел из класса, и все освобождённые им ученики с гиканьем и свистом понеслись по коридору.

Маленькими шагами, волоча одну ногу за другой, учитель химии подошёл к двери и закрыл её.

– Александр Витальевич, – сказали у него за спиной.

Он повернулся. Восемь пар глаз внимательно смотрели на него.

– Александр Витальевич, – сказала Ксения Долинская.

– Да, – еле слышно сказал учитель.

– Вы понимаете, какая у нас с вами радость?

Он помотал головой. Его качало. Давление, подумал он.

– Александр Витальевич, – торжественно сказала Ксения. – Наконец-то здесь сидят только те, кто по-настоящему хотят учиться. Рассказывайте! Мы слушаем вас!

Восемь голов согласно закивали. Восемь пар рук зааплодировали. Медленно, очень медленно, мир снова обретал твёрдость.

– Ну что ж, – крепнувшим голосом заговорил Александр Витальевич, – мы с вами говорили о законе Гей-Люссака. А, между прочим, знаете, что делал Гей-Люссак, когда у него удавался эксперимент?

Ученики не знали.

– Он плясал! – звонко сказал учитель. – Плясал! Строгий учёный, академик, член палаты депутатов – плясал, плясал прямо в лаборатории, не стеснясь ни коллег, ни учеников!

И Александр Витальевич, никого не стеснясь, заплясал. ■



М

## Нелли ШУЛЬМАН

📍 Берлин, Германия –  
Иерусалим, Израиль



Фото: Софи Виге

Родилась в Петербурге. Жила в Лондоне, США, Берлине.

Пишу на русском и английском языках. Автор пяти романов из цикла «Вельяминовы» и детективных повестей о викторианском Лондоне. Лауреат нескольких писательских конкурсов. Член ассоциации англоязычных писателей Израиля.

Сейчас живу под Иерусалимом, но летом мигрирую на морское побережье. Делю кров с собакой Викой.

В «Тайных троп» опубликованы: № 6 – новелла «Сын Давидов», в № 7 – рассказ «Плохие земли».

## Улица Пушкина

Больше всего Фридману мешали засохшие цветы и птичий помёт. Смывая его из шланга, Фридман рассматривал лазоревую бесконечность моря, одновременно и лежащего внизу и простирающегося рядом.

Иллюзия завораживала — и Фридман невольно делал шаг к воде, но крышу ради безопасности огородили толстым стеклом, смысл которого теперь пропал, как исчезли туристы, раньше наполнявшие и пляж, и бассейн на высоте тридцатого этажа гостиницы, опустевшей с начала войны.

Цветами раньше занимался весёлый Илан, приехавший в гостиницу на пикапе, разрисованном яркими розами. До войны Фридман получил от него саженец лимона, прижившийся на его балконе. Илан показал ему фотографии своего южного кибуца.

— Это мои мама и папа, — сказал парень, — а это наш розарий, лучший в стране. Приезжай на шабат, — он улыбнулся, — от Ашкелона до нас недалеко — и мы встретим тебя на станции.

Фридман всё ещё удивлялся тому, как легко здесь приглашают в гости. Его напарник по уборке крыши, бородатый Азриэль, являвшийся на работу в штанах-самостроках и ярких хламидах, звал Фридмана в Димону, где у напарника было три жены и десять детей. Фридман сначала принял Азриэля за эфиопа, однако английский у того был безукоризненным.

— Мои родители приехали сюда из Чикаго, — объяснил Азриэль. — Мы верим, что наши предки были евреями.

В Димону напарник уезжал в четверг после работы. Остальное время Азриэль проводил в снятом по дешёвке сарайчике на крыше развалюхи по соседству с гостиницей, где он валялся в гамаке, попивая самодельное вино, брэнча на калимбе и стуча по барабанам. Фридман

после работы спускался на полупустой пляж и окунался в море, отворачиваясь от гостиницы, от города, от страны и от мира.

Болтаясь тюленем в солёной воде, он шевелил крючковатыми пальцами на ногах, которые не нравились ему и в лучшие времена, а в начале шестого десятка Фридман и вовсе возненавидел свои медленно желтеющие, толстые ногти. Потом он одевался и ехал вдоль набережной на десятом автобусе, безучастно скользя глазами сначала по вывескам на иврите, которые после Часовой башни сменялись арабскими — и Фридман чувствовал себе немного Йоной в чреве кита, а потом арабские буквы уступали место русским — и Фридман нажимал на красную кнопку звонка.

Автобус изрыгал его в панельные ущелья Бат-Яма, где Фридман весной позапрошлого года снял по дешёвке делёнку<sup>1</sup>, имея в виду найти порядочную работу и переехать в место получше, однако пока он всё оставался в своей однушке с выложенным плиткой полом и трупам тараканов за разошедшимся шкафом.

По дороге в делёнку Фридман покупал в русском магазине чёрный хлеб, кабачковую икру и немного докторской колбасы. Он экономил деньги, сам не зная для чего. Бывшая его жена в них не нуждалась, а служащий в армии сын — тем более.

Дома Фридман садился с кофе и бутербродом на балконе, слушая шум моря, спрятанного от него рядами израильских хрущёвок на курьих ножках, думая о том времени, когда он возьмёт из приюта рыжего пса с янтарными глазами, когда они по вечерам будут ходить на пляж и вместе прыгать в набегающей волне.

Цветы на крыше гостиницы засохли после 7 октября, когда ничего не осталось ни от кибуца на юге, ни от лучшего в стране розария, ни от мамы и папы Илана, а сам Илан ушёл воевать.

Старший сын Азриэля тоже призвался в армию, и под Хануку<sup>2</sup>, зайдя в гостиницу со служебного входа, Фридман натолкнулся сразу на две поминальные свечи.

Азриэль так и не вернулся на работу, оставшись в своей Димоне, и Фридману теперь приходилось трудиться за двоих. Воду из бассейна давно спустили, гостиница наполнилась беженцами с севера и юга, но Фридмана всё равно отчего-то беспокоили засохшие цветы.

Начальник смены, выслушав его корявый иврит, отмахнулся.

— После войны выбросим и купим новые. Туристов сейчас нет, а беженцам и так сойдет.

Фридману хотелось спросить, что станет со страной, которую, видимо, тоже выбросят, чтобы купить новую, однако он закрыл рот, продолжая поливать жухлые розы из шланга. Недавно самый маленький куст, словно очнувшись, произвёл на свет невзрачный бутон — и Фридман обрадовался ему как собственному ребёнку.

<sup>1</sup> Делёнка – большая квартира, разделённая на несколько маленьких с целью сдачи в аренду.

<sup>2</sup> Ханука – еврейский праздник в память о событиях середины II в. до н. э., когда были побеждены греки, навязывавшие духовную ассимиляцию, длится 8 дней. В 2023 году приходился на 8–15 декабря.

Решив спасти куст, он выкопал его из бетонного вазона и завернул в пластиковый пакет. Совершив кражу и трясаясь в десятом автобусе, Фридман вспомнил, что ему некуда пересаживать розу.

«Блошинный рынок», — сказал гнусавый автобусный голос, и Фридман в обнимку с кустом вывалился в вечернюю круговорот туристов, глазающих на лавки с коврами и мебелью.

Свернув за угол, Фридман пошёл на запах помойки. Настоящая «блошка» потихоньку рассеивалась, но, побродив среди ворохов старой одежды и разложенной на земле посуды, он наткнулся на большой горшок.

Хозяйка отдавала его всего за тридцать шекелей, и Фридман, давно не жалующийся на здешние цены, сказал розе:

— погоди, там хорошая скамейка.

Рядом со скамейкой нашёлся и фонтанчик для питья. Пересадив куст, полив его из ладоней, Фридман приободрился. Закат раскрасил горизонт над морем в багрянец и золото — и Фридман решил поехать домой на трамвае, который, как он помнил, ходил где-то неподалёку.

Прижимая к груди горшок с розой, он сначала плутал по людным улицам, а потом оказался в пустынном квартале, где уже зажигались фонари — и где Фридман, разобрав табличку на углу, обнаружил себя на улице Пушкина.

Белый дом, перед которым остановился Фридман, словно перенёсся сюда прямо из Италии, куда он так любил ездить до всех войн. Арочные окна на верхнем этаже пылали яркими огнями, с крыши доносилась музыка, а деревянная дверь на верху недлинной лестницы стояла гостеприимно открытой.

На ближайшей стене, поверх неряшливого переплетения проводов, пристроили яркий плакат. Печатный иврит Фридман разбирал хорошо, а вот арабского не знал совсем. На афише нашлись и английские буквы. Оказалось, что в белом доме идёт вернисаж новой выставки. Плакат обещал танцы и бар, а платить предлагалось по желанию и возможностям.

Вспомнив старый анекдот, Фридман улыбнулся, что после начала войны случалось с ним редко. После покупки горшка в кармане его джинсов осталась красная купюра, а завтра наставала пятница, когда крыша не нуждалась в уборке.

Из двери высунулась маленькая кудрявая женщина в балахонистом джинсовом платье.

— Вы не видели собаку? — крикнула она Фридману по-английски. — Мне кажется, мой шпиц выскочил наружу.

Оглядевшись по сторонам, поставив розу на тротуар, Фридман отозвался:

— Этот?

Пойманный им за шкирку белый шпиц отгрызнулся, и женщина обрадовалась.

— Он самый. Хулиган как-то разматал поводок. Идите к нам, у нас интересно.

— Я с розой, — Фридман передал спустившейся на улицу женщине собаку.

— Где она? — удивилась незнакомка, но сразу рассмеялась. — Вижу. Пусть тоже зайдёт, она ведь не убежит?

— Нет, — подняв горшок, Фридман прошёл вслед за женщиной в увешанную картинами прихожую.

— Здесь ещё не выставка, — обернулась она, — пойдёмте наверх. Это моя коллекция.

Издавек она казалась тридцатилетней, но рассмотрев седину в тугих кудрях цвета бронзы и лёгкие морщины вокруг глаз, Фридман решил, что перед ним его ровесница.

Пристроив розу на мраморный подоконник, он поднялся по витой каменной лестнице к восточной музыке и перекликающейся на разных языках толпе, в которой Фридман сразу потерял из виду и женщину, и собачку.

На столах по углам ещё остались полные бокалы и россыпи вездесущих бурекасов<sup>3</sup>. Фридман, в своём стремлении к экономии, никогда их не покупал, но здесь он посчитал, что за двадцать шекелей вполне может поужинать. Набрав тарелку выпечки, устроившись с бокалом вина на подоконнике, он взял валяющуюся рядом афишку.

Выставка называлась «Разрушенный дом». Фридман прочёл, что работы, уже показанные на родине художницы, в США и по всей Европе, теперь доехали и до Израиля.

«Используя фрагменты материалов утраченных домов и архивные фотографии, автор реконструирует ушедшую в прошлое жизнь».

Рассмотрев фото, Фридман понял, что разговаривал с самой художницей и ему на мгновение стало неловко. Один из кукольных домиков стоял по соседству с подоконником. До войны сын Фридмана учился в художественной академии.

«Улица Данте, 9», — прочёл Фридман. Рядом висела новая фотография унылого бетонного прямоугольника. На старинном чёрно-белом снимке на его месте стоял дом, напоминающий итальянский палаццо.

Из осколков кирпича, камня и мрамора, из остатков старого дерева художница выстроила точную копию утраченного здания. Стена обрывалась, открывая разорённую спальню с перевернутой детской кроваткой и обгоревшими клочками ковра. Опять взглянув на старую фотографию, Фридман прочёл, что дом был разрушен в 1948 году и с тех пор до недавнего времени на его месте простирался пустырь.

Фридману отчего-то захотелось послать сыну фотографию инсталляции, хотя он понятия не имел, когда Саша прочтёт сообщение. Война шла по собственному расписанию, и связь с сыном иногда терялась на несколько дней.

Щёлкнув телефоном, он отправил фото, добавив: «Я зашёл на выставку. Что скажешь?»

Уже нажав на кнопку, он спохватился, что сын и так каждый день видит похожие дома. Именно такими их показывали в новостях, которые Фридман старался не смотреть, но иногда всё-таки включал.

Его мучило сознание того, что Саша, которого он водил в Пушкинский музей и художественную школу, теперь мог стать убийцей.

Фридман затолкал эту мысль в самый дальний угол своего сознания, как грязный носок, который находишь под кроватью, забытым в пыли.

Сын ответил неожиданно быстро:

«Очень крутая работа, — прочёл Фридман. — Спасибо, папа».

<sup>3</sup> Бурекас – слоёный пирожок с картошкой, шпинатом, сыром, грибами, творогом.

У него зашипало в носу, и Фридман едва успел написать: «Как вы там?»

«Воюем», — сын поставил несколько смайликов, и Фридман ответил: «Береги себя».

— Вам нравится? — раздался рядом знакомый голос.

На Фридмана повеяло чем-то прохладным, вроде моря. Художница присела рядом, и он, не солгав, ответил:

— Да.

— Спасибо, — она подпёрла смуглый подбородок кулаком.

Вблизи её глаза оказались любимого Фридманом цвета голубинового крыла. Он приехал в Израиль весной, и ему пришлось подождать свинцовых туч, но в середине ноября, когда грянули дожди, Фридман по субботам наматывал с десятков километров у пустынного моря, слушая его бесконечный рёв, думая о сыне, которого он, по выражению бывшей жены, бросил, когда Саше исполнилось двенадцать.

Фридман тогда тешил беса, засевавшего то в одном, то в другом ребре, однако каждые выходные утром он исправно парковал машину у подъезда своего бывшего дома. Саша вылетал на улицу, с футбольной сумкой и этюдником, Фридман жал на газ, и машина въезжала в те два дня, когда он действительно бывал счастлив.

— Вы о чём-то задумались, — сказала женщина.

Встрепенувшись, он подтвердил:

— Да, но это не важно.

Фридман не хотел говорить с Надей, как звали художницу, о сыне. Он избегал упоминать о Саше, оставляя его в тесном, иногда болезненно колющем межреберье, скрывая от остального мира.

— Вы словно дама с собачкой, — сказал Фридман, чтобы что-нибудь сказать, не ожидая от американки знания Чехова.

— Я так и хотела, — ответила Надя, и Фридман закашлялся последними каплями вина.

— Вы говорите по-русски?

— Я родилась в Ленинграде, — она оценивающе взглянула на Фридмана, — а вот вы москвич.

— Грешен, — признал он, и Надя коснулась его руки.

— Пойдёмте выпьем, как люди. Моя квартира в башне. Здесь все пройдёт само собой, — она указала на толпу, — музыка и вино у них есть.

Внизу она подхватила шпича, и Фридман поинтересовался:

— Вы воссоздаёте разрушенные дома, а потомки их разрушителей танцуют рядом?

— Потомки их владельцев тоже, — ответила Надя. — Труп у наших ворот ещё не повод отменять вечеринку.

Фридману показалось, что он узнал цитату.

Стены арабского дома оказались такими толстыми, что музыка доносилась до них только дальним белым шумом. Вынеся на крохотную террасу запотевшую бутылку водки, Надя кинула на мозаичный столик вышитый мешочек.

— Трава хорошая, без обмана.

Фридману иногда хотелось заказать травы по какому-нибудь из мириада объявлений на автобусных остановках, однако он одёргивал себя. Деньги нужны были для Саши. Фридман тайно мечтал после войны поехать с сыном в Италию, однако вокруг всё полыхало и полыхало, и ему оставалось только ждать.

Обнаружив косяк в своей руке, Фридман очнулся.

— Курите, — сказала сидевшая рядом Надя. — Так легче.

Над крышами брезжила зыбкая луна, напротив все танцевали, и по округе пронёсся крик муэдзина. Фридман никогда ещё не слышал его так близко и сейчас удивился тоскливой мелодии.

— Почему так грустно? — отчего-то спросил он, не ожидая ответа, и Надя улыбнулась.

— Потому что вечер. Утром другая мелодия, и утром поют, что молитва лучше сна.

Фридман не стал спрашивать, откуда она это знает.

— Ваше здоровье, — он поднял керамический стаканчик.

Они чокнулись, русые кудряшки Нади упали ему на плечо и, проглотив водку, Фридман поцеловал лёгкую морщинку рядом с её серым глазом.

Он проснулся от солнечного луча, бившего в лицо. Надя легко дышала рядом, и Фридман, потянувшись за валяющимся на ковре телефоном, по дороге прижался щекой к её теплой спине.

Сообщений не было, и он позволил себе нырнуть обратно в блаженную сладость нерабочей пятницы, в пахнущую свежестью постель, начав странную жизнь в каменных закоулках старого города.

Надя не интересовалась тем, куда он уходит каждое утро, и не спрашивала, когда он придёт. Заглянув в Бат-Ям, Фридман перевёз на улицу Пушкина свою зубную щётку и старый рюкзак с немногочисленной одеждой.

Его роза потихоньку расцветала в глиняном горшке на террасе Нади, а Фридман проводил время между «Гершеле» и «Альгамброй» на Иерусалимском бульваре, где они с Надей пили кофе под звон трамваев, изредка держась за руки, но больше просто сидя рядом, привалившись друг к другу, словно к единственной ещё кое-как держащейся опоре.

В конце месяца Надя улетала обратно в Нью-Йорк, но Фридман старался не думать о стремительно приближающейся дате её отъезда. Розу он собирался перевезти в Бат-Ям, а остальное было вне его власти.

В день, когда багровый бутон выбросил на свет первые бархатистые лепестки, Фридман, проснувшись рядом с Надей, по привычке потянулся к телефону.

Ночь оставила ему пять непрочитанных сообщений от бывшей жены, и Фридман, уже всё понимая, отчаянно помолился, не понимая, кого он просит о милосердии.

«Саша тяжело ранен. Приезжай», — прочёл он, и телефон выскользнул из его руки в глубины смятой постели. Надя, пошевелившись, открыла глаза.

— Что случилось? — по утрам её голос всегда звучал хрипло, и Фридману тоже отчего-то захотелось закашляться.

— Мой сын ранен, — Фридман смотрел мимо её настойчивого взгляда, — мне надо поехать в госпиталь.

— Он воюет в Азе? — губы Нади на мгновение искривились.

Фридман уже стоял рядом со своей розой.

— Нет, — он понял, что впервые говорит это вслух, — он воюет в Украине.

— За украинцев, — утвердительно сказала Надя, пока Фридман засовывал горшок с розой в рюкзак.

— Нет, — он распрямился, — не за украинцев. Желаю тебе хорошего дня.

Она открыла рот, но Фридман уже сбегал по узкой лестнице вниз. Оставив ключи на крючке, ступив на улицу, он на мгновение заколебался. Улица Данте выводила прямо к остановке, и Фридман пошёл на трамвайный звон.

◇ ◇ ◇

Перед полётом в Россию все советовали почистить телефон, однако Фридману нечего было удалять. Он всё равно вытащил аппарат, сидя с холодным кофе на неудобном кресле в аэропорту.

Уволившись одним днём, Фридман получил полный расчёт неожиданно быстро, и хозяин делёнки, оборотистый давний эмигрант, не стал протестовать, получив от Фридмана сразу две месячные оплаты.

— Только всё равно я ни хера не сдам, — мрачно сказал хозяин, — с тревогами каждый день. Если эти пидоры шмальнут по аэропорту, — обнадёжил он Фридмана, — ты тоже никуда не улетишь.

Последний вечер в стране Фридман посвятил поискам дома для розы, не желая оставлять её в делёнке. К первому бутону присоединился второй, и Фридман принёс горшок к уже закрытому цветочному магазину на углу, присовокупив к нему записку: «Позаботьтесь о ней, пожалуйста».

Бывшая жена писала, что Саша после второй операции начал приходить в себя и спрашивал об отце.

— Всё будет хорошо, — Фридман упорно смотрел в телефон. — Я приеду и всё будет хорошо.

Об остальном он старался не думать. Напротив их выхода на посадку скопилась разномастная толпа, с религиозными в чёрных костюмах и их деловитыми женами, обременёнными колясками, с молодёжью в одинаковых футболках.

«Нью-Йоркская миссия солидарности с Израилем», — прочёл Фридман, и на него повеяло знакомым ароматом свежести.

Русые кудряшки Нади падали на джинсовую куртку. Опустив глаза, Фридман натолкнулся на шпича, оскалившего зубы из переноски. Надина собака никогда его не любила. Шпиц заворчал, и Надя, смерив Фридмана, презрительным, как ему показалось, взглядом, смешалась с толпой, ждавшей американского рейса.

Его собственные ворота уже горели зелёными огнями. Взбросив рюкзак на плечо, Фридман исчез в ледяном пространстве ещё пустого самолета. ■

## Ольга ФИКС

📍 Маале-Адумим, Израиль



Фото: из личного архива автора

Родилась в Москве (1965). После 8-го класса английской спецшколы окончила Волоколамский сельскохозяйственный техникум, Ветеринарную академию, медицинское училище, Литературный институт и педагогические курсы по специальности «Преподавание иудаики в начальных классах школы в диаспоре».

Писать начала с трёх лет. Первые стихи и рассказы надиктовывала родителям; потом научилась писать сама и необходимость диктовать отпала.

Первая публикация – в журнале «Мы» в 1990 году (рассказ «Ярко-красные яблоки»). Печаталась в журналах «Крестьянка» и «Лехим», в «Еврейской газете». В 1997-м издательство ЭКСМО выпустило роман «Вкус запретного плода». В издательстве «Время» вышли три книги: «Улыбка химеры», «Тёмное дитя» и «Сказка о городе Горечанске». В 2022-м издательство «Росмэн» издало сказку для детей «Один день из жизни Дракоши», ставшую лауреатом конкурса «Новая детская книга».

В 2006-м репатриировалась в Израиль. Работала ветеринарным врачом в частной фирме, сейчас – медсестрой в иерусалимской больнице «Шаарей Цедек».

В Израиле печаталась в журнале «22», в «Иерусалимском журнале», в «Литературном Иерусалиме». В 2015-м роман «Институт репродукции» вошёл в лонг-лист «Русской премии».

В № 5 «Тайных троп» опубликована повесть «Побочный эффект», в № 6 – рассказ «Колесо».

## Бабушкино море

К бабушке поехали вечером. По дороге от автобусной остановки папа вдруг свернул не туда. Вместо того, чтобы подниматься, они, наоборот, долго спускались по каменным ступеням. Габи уже казалось, что он слышит плеск моря, хотя до моря здесь было далеко, и услышать его было никак нельзя. Отсюда море можно было либо увидеть в ясный день, но сейчас солнце уже зашло, либо учуять, но чуял Габи море и так, где угодно, двадцать четыре часа в сутки чуял! Проснётся иной раз среди ночи, потянет носом – солёное! – и засыпает счастливый.

Они вышли к большой, ярко освещённой горной террасе, где повсюду стояли скамейки, столы, мангалы, под мангалами валялись угли в мешках, доски, бумага, ветки.

– О, – сказал отец. – Успели. Я их утром углядел, когда с Чапкой гулял. Дай, думаю, гляну, вдруг ещё не спалили.

Под одним из мангалов была небрежно развалена стопка книг. Отец пошевелил их концом зонта, отбрасывая верхние – отсыревшие, с покорёжившимися обложками. Те, что под ними, выглядели получше. До нижних они так и не добрались.

Сев на корточки, отец стал осторожно перебирать книги, бормоча, что вот поглядим, поглядим и что не брать же всякую макулатуру. Габи присел рядом. Ветер шевелил разлетающиеся страницы.

Книги были всякие – тонкие, толстые, на разных языках. На одной была изображена девчонка с рыжими волосами. «Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften»<sup>1</sup>.

– Возьмём? – спросил Габи. – Это на каком языке?

– Немецкий. Хм... детская. Бери, если хочешь.

– А эту? – На ней пацан крепко сжимал в кулаке толстую верёвку. Сверху надпись золотом «Vipère au poing»<sup>2</sup>. Толстая книжка, в одной руке не удержишь.

– Эту она, надо полагать, читала. Но, может, она по ней соскучилась. Кидай в рюкзак, лишним не будет.

<sup>1</sup> «Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften» («Девочка, с которой детям не разрешали водиться») – смешная повесть (1936) немецкой писательницы и сценаристки Ирмагд Коин об искренней, смелой и решительной девочке, не могущей усидеть на месте.

<sup>2</sup> «Vipère au poing» («Гадюка в кулаке») – роман (1948) французского писателя, президента Гонкуровской академии Эрве Базена.

Сам папа никак не мог ни на чём остановиться, склонившись над россыпью небольших одинаковых томиков в бумажных обложках с пингином на корешке. На этом языке Габи уже немного читал, да и сами имена были на слуху: Шекспир, Диккенс...

– Пап, это фантастика? – На супере страшный человек, скроенный из кусков, с белыми выпученными глазами. «Frankenstein: or, The Modern Prometheus»<sup>3</sup>. – Хоррор, да?

– Ну можно и так сказать.

Набив рюкзак, они встали и сверху ещё раз оглядели книжную кучу. Не очень-то она уменьшилась, надо сказать. Полным-полно ещё книг оставалось.

– Папа, смотри! Русская! – Габи вытащил из-под низа огромный альбом, аккуратно стряхнул пыль и грязь – «Сокровища Эрмитажа»<sup>4</sup>. Возьмём?

– Возьмём. Только ты её сам в руках понесёшь, в рюкзаке уже места нет.

Габи не возражал. Карабкаясь в гору, Габи, нет-нет, да и оглядывался назад.

– Пап, а давай туда ещё раз придём? И возьмём тележку. Давай? Хорошо?

Отец пробурчал что-то в ответ, но слова унёс ветер.

В дверях к ним бросился Чапа. Он громко лаял, повизгивал и то подпрыгивал высоко, стараясь лизнуть в лицо, то плюхался на пол, подставляя для поглаживания лохматое рыжее брюхо.

– Мам, смотри, чего мы принесли, – отец развязал рюкзак.

– Ой! - всплеснула бабушка. – Да откуда же?! Да что ж это! Самое любимое моё!

Она радовалась книгам, как старым друзьям. Гладила, листала, вспоминала, тут же отыскивала и громко зачитывала любимые словечки, фразы, целые абзацы.

Папа посмеивался. Он знал, что так будет. Но Габи каждый раз изумлялся: вот как она столько помнит? А куда ключи положила, опять забыла.

Втроём они прошли в комнату, заставленную книжными полками, и бабушка не без труда отыскала для каждого найдёныша подходящее место: стихи сюда, пьесы туда, детские пониже, чтоб Габи мог сам доставать.

– Бабушка, – спросил Габи, прихлёбывая чай из толстой керамической кружки с кораблём, – а бывают книги, которые ты не любишь?

– О, – сказала бабушка. – Ещё сколько!

«Тогда хорошо, – думал Габи – Хорошо, что мы эти именно книги ей принесли». Ему было жаль оставшихся книг, и утешала мысль, что, они, может быть, из тех, которые бабушка не любит.

Пошёл дождь. Тяжёлые капли застучали о подоконник, стёкла в квартире задрезжали. Теперь-то, конечно, не было никакого смысла возвращаться туда, хоть с тележкой, хоть без. После такого ливня там будет одна бумажная каша.

Габи подошёл к окну и расплющил нос о стекло. Отсюда был виден порт – не море, не волны, но много-много огней, мигающих, движущихся, разноцветных. В порту не прекращалась работа ни днём, ни ночью. «Вырасту, думал Габи, буду плавать на корабле. Все любимые книжки возьму с собой. У меня будет много книг, как у бабушки. Их их все-все прочитаю. Не сразу, конечно. Постепенно».

– Гаврюша, – сказала бабушка, входя в комнату с книжкой в руках. – Поздно уже. Смотри, как темно. Тебе спать пора. Хочешь, я тебе прочитаю перед сном?

С обложки на Габи смотрела знакомая рыжая девчонка.

– Хочу – сказал Габи. – Но, бабушка, я же не понимаю по-немецки!

– Не страшно, – сказала бабушка. – Я переведу. Вот, слушай:

«В тот день я не успела на трамвай, да и вообще я всегда опаздываю в школу.

<sup>3</sup> «Frankenstein: or, The Modern Prometheus» («Франкенштейн, или Современный Прометей») – эпистолярный готический роман английской писательницы Мэри Шелли, впервые опубликованный анонимно в 1818. Один из основополагающих текстов научной фантастики.

<sup>4</sup> Скорее всего речь о 2-м издании (1969) уникальной книги «Сокровища Эрмитажа», в котором представлена часть коллекции Эрмитажа. Тканевый переплёт, суперобложка, текст на рус. и англ.

Ещё в коридоре я удивилась, услышав в классе шум, потому что было уже десять минут девятого. – В классе ещё не было учительницы, и я тоже немножечко пошумела, совсем чуточку. Я бросила противной Траутхен Мейзер несколько репейников в волосы. Мне всегда приходится носить с собой репейники, потому что эта Траутхен вечно на меня ябедничает...»

◇ ◇ ◇

Когда бабушка умерла, Габи был в рейсе. Они ходили вдоль берега, охраняя Страну. Время было беспокойное. Порой они целую ночь напролёт шли в темноте, уходя с рассветом под воду и, случалось, Габи по целым неделям не видел солнца.

На койке, под подушкой Габи ждала читалка. В неё были закачаны любимые книжки. Конечно, не те, что нравились ему в детстве. Стихи в основном. «Как обещало, не обманывая, проникло солнце утром рано. Косою полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою...»

На похороны не попал. Лишь спустя пару месяцев добрался наконец до родителей. Постаревший Чапа радостно подкатился под ноги, подставляя лохматое нежное брюхо.

В кухне бросилась в глаза кружка с кораблём.

– Надо было освободить бабушкину квартиру. Схватили, что под руку попало. Вот, кружка. Ты чай из неё пил, когда был маленьким, – мама рассеяно улыбнулась.

– А книги?

– Ой, Габи, не начинай! – мама поморщилась. – Ты представить себе не можешь, как Чапа бодел! Не пил, не ел, еле выходили.

– Да... но где теперь книги? На складе каком-нибудь?

– Да на каком-то складе?! Бросили мы их, вместе с прочей рухлядью. И не делай мне такое лицо! Это жизнь. А куда б мы их, по-твоему, дели? Это ж, подумать страшно, целое море книг! Ну вот! Так я и думала! Вы с отцом два сапога пара. Сто часов от полки к полке бродил, будто дел других нет, одно схватит, другое назад поставит. Еле увела. Можно подумать, у кого-то сейчас электронной читалки нет. Да ты сам-то когда живую книгу в руках держал?

Он вышел на улицу. Море привычно шумело рядом. Габи шёл вдоль берега, вдыхая солёный воздух, и пытался осознать, что бабушкиных книг больше нет. Нигде нет. Квартира есть, стены есть, а книг нет.

Но – может быть, всё-таки? Вдруг новые жильцы озаботились, отвезли книги куда-нибудь, например, в дом престарелых. Или в магазин старых книг. Ведь есть же такие магазины! Он сам был когда-то в одном. В детстве, давным-давно...

Утром Габи сел в автобус и покотил в гору. Вышел на конечной, зашёл в пахнущий свежей краской подъезд, поднялся по лестнице. На двери в квартиру красовалась табличка. «Здесь с кайфом живут Лиза и Лео».

Ему открыла девушка – улыбчивая, с голубыми глазами. Габи представился, объяснил: «Понимаете, здесь раньше жила моя бабушка. У неё было много книг...»

– О! Книги! Пойдёмте, я вам покажу.

Посторонившись, девушка впустила Габи в квартиру.

И сперва ему показалось, что комната ни капли не изменилась. Знакомые корешки по-прежнему смотрели на него со всех сторон, с полу до потолка.

Потом он внезапно осознал, что комната явно стала светлей и просторней. И... полки? На чём же все эти книги стоят?

Габи провёл рукой по стене. Корешки, одни корешки, аккуратно срезанные и подобранные по цвету. Гладкие, холодные, покрытые сверху лаком.

Он пробежался взглядом по заголовкам. La Divina Commedia Dante Alighieri. Johann Wolfgang von Goethe Faust. И. Бунин Окаянные дни. Fahrenheit 451 Ray Bradbury.

– Нравится? – спросила девушка. – Красиво получилось, правда? Это ведь мы всё сами, своими руками. Не представляете, сколько времени на это ушло! ■

*Mum*

музейные очерки



## Сергей ФОМЕНКО

📍 Самара, Россия



Фото: из личного архива автора

Лауреат 2-й степени конкурса эссе «Дьявол как средоточие истины и морали. Духовные искания Михаила Булгакова. К 100-летию начала литературного творчества», итоги которого подведены во 2-м номере «Тайных троп» (2022). Победитель конкурса эссе «Последние коммунары Вселенной. Братья Стругацкие: эволюция взглядов, смена героев», итоги которого подведены в № 1 (3) за 2023 год.

Один из постоянных авторов самарского независимого журнала о кино «25-й кадр», печатался в журналах «Крещатик», «Новый мир», «Иностранная литература», «Аврора», на сетевых порталах «Топос», «Кольцо А», «Dark». Серии междисциплинарных исследований и эссеистики посвящены философским аспектам современного кинематографа (для изданий «Искусство кино» и «Cineticle»), поэзии и экспериментальной эстетики, истории и теории литературного авангарда.

Стихи входили в шорт-лист X Всероссийского фестиваля молодежного литературно-художественного авангарда «Лапа Азора» (2016), философские эссе отмечены в числе финалистов литературной премии «Эхо-2022» и победителей литературного конкурса к 120-летию со дня рождения Владимира Набокова журнала «Новый мир».

В № 2 (4) за 2023 год в очерке «Дорога в страну амазонок» я рассказал о самарской археологии в литературных отблесках. А сегодня предлагаю очерк о единственном в России музее Эльдара Рязанова, уроженце земли самарской.

## «Волшебная лирика Эльсинора»

Самарская поэтика и поэзия Эльдара Рязанова

*Ноябрь – месяц рождения и месяц ухода великого советского комедиографа: 18 ноября 1927 года он родился, 30 ноября 2015 года его не стало*

В свой последний приезд в Самару Эльдар Рязанов встречал одного из своих любимых героев – Юрия Деточкина. Тогда, осенью 2012 года, на автостоянке на Комсомольской площади у железнодорожного вокзала, под остроты самарцев («Памятник автомобильному угонщику, а встречает гостей где? На автостоянке!»), открылся памятник Гамлету советской комедии, которого сыграл первый Гамлет советского кино – Иннокентий Смоктуновский. Когда-то именно на самарско-куйбышевских улицах гуляла шутка о благородных угонщиках, услышанная на гастролях Юрием Никулиным и пересказанная Рязанову. Шутка, распалившая режиссёрскую фантазию.



Памятник Юрию Деточкину. Фото (здесь и далее): автор



А пятью годами ранее Рязанов привёз в Самару свой последний фильм «Андерсен. Жизнь без любви», в котором, по обыкновению, исполнил эпизодическую роль. Могильщика.

Под градом мрачных шуток («Режиссёр похоронил сказочника...») немногие заметили тонкую аллюзию на гробовщиков «Гамлета» – людей «скорбной профессии и весёлого нрава», чей ироничный диалог с трагическим рыцарем высвечивает диагноз вывихнутого времени Эльсинора. Критики писали, что «Андерсен» – финал творчества Рязанова, потому что в этом фильме существование персонажей «лукашинского характера», так важного для него, становится невозможным. На самом деле это финал по совершенно другой причине: в мире «Андерсена» подобные персонажи возвращаются к своему началу. Круг замыкается.

Что такое пресловутый «лукашинский характер», как не тот самый Гамлет, преодолевший тютчевское противоречие с Дон Кихотом, соединивший веру и скепсис? Нам не дано узнать, как он выглядел (Шекспир часто скуп на описания внешности), но тем легче находить его черты в окружающем мире, а нам – сходные черты в зеркалах рязановских картин. Запечатлённый в самарском памятнике Деточкин возвратился на родину своей легенды. А Рязанов вместе с Андерсеном вернулся в поволжский Эльсинор, где когда-то обрёл любимого спутника своих картин.

В Самаре режиссёр никогда не снимал фильмов, не писал стихов. Самара была для Рязанова не географическим местом, а сказкой, сном о прошедшем детстве, в которое он будет возвращаться. Не случайно Эльсинор – город призраков и сновидений. «Сны очень нужны людям. Даже несбыточные, – скажет закадровым голосом Юрий Яковлев, комментируя переживания Никулина-Мячикова в «Стариках-разбойниках», – только во сне можно вновь ощутить себя таким, каким уже не будешь никогда». Герои «Служебного романа» цитируют стихот-



Открытка работы Татьяны Марцун.

Самара, ул. Фрунзе, 120.



ворение Бориса Пастернака «Любить иных – тяжёлый крест...», но не доходят до последних строк («Легко проснуться и прозреть...»). Может быть, порой пробуждение не нужно, а счастье зависит от того, насколько человек искренне верит в свои фантазии и сны?

Да, в двух фильмах Рязанова Самара становилась отдалённым фоном сюжетного поворота: комической завязки «Иронии судьбы» (авиарейс в Куйбышев появится на табло за спиной Жени Лукашина) и трагической развязки «Жестокое романса» (в волжском тумане за спиной Ларисы Огудаловой проплывёт пароход «Самара»). Но чаще Самара встаёт скромным фоном за спиной уже самого режиссёра: манящим шумом Волги, загадочной паутиной старых улочек и очертаниями домов позапрошлого столетия. Среди них один из старейших – дом на улице Фрунзе, 120, где, в окружении родителей и любимой тётки, начинался жизненный путь великого комедиографа. И где, с мамой и отчимом, он будет жить в эвакуации тринадцать лет спустя.

В 2018 году там открылся единственный в России музей Эльдара Рязанова. И вскоре после открытия кто-то подбросил к дверям воротничок. То ли намёк на знаменитую рубашку, «погибшую» и воспетую Рязановым в стихах («Ты к телу ближе всех, конечно, но, к сожалению, ты не вечна...»), то ли на героя сказки Андерсена – того самого незадачливого вечного жениха, который отныне ищет очередную невесту уже в экспозиции музея.

Такие детали, тонкие звенья присущей самарской поэзии «тихой лирики», поэтике творчества Рязанова тоже не чужды. Внимание к деталям – требование комедии. Сегодня главная художница музея Татьяна Марцун изображает мужские и женские образы из кинофильмов Рязанова через запомнившиеся детали: одежду и связанные с занятиями аксессуары, аурой к которым идут шрифты, имитирующие титры полюбившихся картин. Они затягивают в рязановский трагикомический мир.



Юрий Деточки в подворотне Фрунзе, 120.

Самара в нём – город-убежище: его бабушка с дедушкой приехали сюда от исторического рока Первой мировой войны, отчим с матерью – от грозной поступи Второй. Самара свела родителей Рязанова: маму Софию Михайловну из семьи лишенцев из латышской Режицы, отца-революционера из-под Нижнего Новгорода, огласившего в этих краях весть о победе Октябрьской революции. А позже умчавшегося, сперва, на фронт Гражданской войны, затем – незримой разведывательной работы в Персии, где русские большевики будут разжигать Гилянскую революцию.

В самарском доме маленького Элика (чьё восточное имя родители тоже «привезли» из Персии) обступали тени истории. Кажется, что мимо окон его комнаты до сих пор вечерами проходит волшебный великан – пребывавший здесь в эвакуации «всесоюзный староста» Михаил Калинин, который, встречая на улице Рязанова с младшим братиком Мишей Коппом, делал малышу рукой «козочку». Или первые владельцы дома – еврейские аптекари Лютцы – однофамильцы (или дальние родственники) владельцев знаменитого и самого страшного в США дома с привидениями, памятного по голливудской франшизе «Ужас в Амитивилле».

Возможно, тень Калинина и привидения Лютцев до сих пор бродят по дому на улице Фрунзе, хранят его тайны, овеванные поэтикой сказки, но изредка приоткрываемые музейным работникам в неожиданных находках.

Вот позолоченный новогодний «орешек», найденный в доме под полом: он сделан руками ребёнка (не друга ли маленького Элика?) в трепетном ожидании чудесного.



Напротив – нательный крестик, выпавший из-под обшивки старого чемодана; уже в годы Великой Отечественной такие крестики и иконки будут зашивать под одежду и переносные предметы как обереги добрых потусторонних сил.

В переломные эпохи детей и взрослых роднит ожидание чудесного, сказочного. В сказках могут воплотиться те порывы к справедливости, которые лирическое настроение создаёт. Это настроение оказывается не менее хрупким, чем ожидание чуда, изменчивым, как течение запомнившейся Эльдару Рязанову Волги.



Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Весна.  
И жизнь легка. Не давит её ноша...

Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Зима.  
И жизнь тяжка. И неподъёмна ноша.

«Сочинитель стихов – это кораблик каботажного плавания, – замечал Рязанов, видимо, вспоминая картины Волги, – а поэм – уже роскошный лайнер. Ещё есть романы в стихах, но это доступно только Пушкину... Сама река же всегда поэтична, даже тогда, когда она живёт обычными, прозаичными буднями. Это всегда особый мир с изменчивым освещением, с водой разного цвета, с криками чаек, с вечерними огнями пароходов».

На стихотворный роман он не замахнётся: такими поэтическими романами станут его фильмы, странствия всех этих маленьких гамлетов под аккомпанемент его собственных стихов и поэтов-классиков. Разве поручик Ржевский, навеивший и рязановское кино, не родился когда-то также – из трёх строк Дениса Давыдова?

А противопоставление сил природы, стихии, чистой в своей невинности, останется с Рязановым навсегда:

Природу так не трудно обмануть,  
её создания доверчивы, открыты.  
Всё бьёт и бьёт тревога в мою грудь,  
что слишком слабы силы для защиты.

Лирика, особенно помноженная на юмор, освобождает душу, пусть даже для этого ей нужно противостоять сатирическим и обличительным темам. «Мартин Иден» – один из любимых романов Эльдара Александровича – суровое напутствие Джека Лондона, обращённое против мятежного индивидуализма. Однако режиссёр извлекает из предостережения автора мечту героя и следует за ней по той дороге, где спутницей лирики выступает сказка.

В этом путешествии сказочное волшебство служит уже не подменой реальности, не бегством в фантазию, а опорой – для мечты. Если в «Иронии судьбы» почти сказочные причуды случая и логика жизни неразделимы, то, начиная со «Служебного романа», условность фантазии и грустный юмор реалий существуют параллельно, спутниками в отдельных сюжетных линиях, а сказочный финал соседствует с «минорными», просветлёнными эпизодами.



Топография самарского музея отражает эту особенность: некогда тёмный коридор, по которому не раз пробежал маленький Элик, разделяет его комнату (где прошлое застыло) и интерактивный зал творчества, где гостей встретит любимый диван, к которому Рязанов и Брагинский любили перед началом работы бежать наперегонки: добежавший первым занимал «комфортабельное мебельное изделие для сидения нескольких человек» на весь день и диктовал идеи товарищу. Это на нём родились сюжеты наших любимых комедий, ведь диван, как и другая мебель и личные вещи, – из московской квартиры и дома Рязанова в посёлке Советский писатель.

А рядом – деревянный бегемот с серьёзным профилем: комическим напоминанием о фильме «Гараж» и профиле самого кинохудожника.



По соседству – дверные звоночки, звучащие голосами из фильмов Рязанова и звонкими трелями, веселившими Элика.

«Комедии Мольера прекрасны, но среди них нет ни одной, где действовали бы герои, которым мы хотим сочувствовать, – заметит он однажды, – за испепеляющей сатирой нет человека».

В мировой литературе Рязанов найдёт другого союзника – французского комедиографа Жоржа Фейдо: его язвительный юмор, в чём-то морализаторский (в комедиях наказывается не супружеская измена, а фантазия о возможной измене), ключ к важному семантическому полю (реальность изменяет фантазия отдельного человека). Эксцентрика «Ключа от спальни» – это не только пародия на Серебряный век. В ней – этюды страстных порывов, невиданных возможностей, выписанные в фарсовых тонах. Воплощение всех визионерских (и, одновременно, правдивых) фантазий-признаний псевдокарбонария Афанасия Бубенцова.

Впрочем, исторический фон у Рязанова всегда приносит атмосферу обречённости. Не удивительно, когда в мире Эльсинора, как сказал бы Гамлет, «время сорвалось с петель». Оно подомнёт отца режиссёра, по доносам отправившегося в тюрьмы и концлагеря на долгие семнадцать лет. Только спустя годы они вновь встретятся.

О, эта неуверенность в глазах,  
приниженность, готовность к нездоровью,  
запятанный в зрачках привычный страх,  
что всякий раз судьба ответит болью.

Рязанов не был врагом революции (без неё немыслима борьба за справедливость), хотя не мог простить ей подминающей индивидуальность язык абстракций и схем. Ещё на I курсе ВГИКа во время работы над экранизацией повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» в сцене расстрела командиром-панфиловцем дезертира (персонажи были знакомы с детства) режиссёра заставили убрать видения их совместных детских воспоминаний как «негативный пример противопоставления советского и общечеловеческого гуманизма».

Только истинному гуманизму не знакомы такие иерархии.

Из опозтезированной прозы, из соединения мелодрамы и сатирических красок у Рязанова выступает похвала человечности и её непреходящая ценность. Ни водеvilльная буффонада, ни драматический надрыв не затемяют плеяду человеческих портретов.

Эволюция героев не всегда счастливая: деточкины-лукашины первых фильмов пытались изменить мир, сражаясь с социальными пороками, дуралеи-клячи фильмов поздних – больше защищаются. Однако не изменяют своим идеалам. При всей обречённости «Небеса обетованные» развивают противопоставление, заданное ещё в «Вокзале для двоих» и «Забывтой мелодии для флейты»: ответственность человеческих отношений против внешнего благополучия.

А Алёне Крылатовой и Денису Колечкину (современным двойникам Лены Крыловой и Гриши Кольцова) предстоит вновь сражаться за честь культуры; их борьба в новой постановке «Карнавальная ночь» быстро переходит в народное сопротивление – то ли повторяющее исторические, то ли предвосхищающее будущие российские события.

В экспозиции совпадений будущего и прошлого своё место занимает Самара: город-убежище – та точка, где настоящее и грядущее застывают в необычных встречах. Тот же Эльсинор, но уже – для Горацио и Фортинбраса, студента и воина, швейцарца и норвежца (при датском дворе). Место встретившихся противоречий – переплетающихся и примирившихся. И в нём поэтика Самары – тихий гимн равновесия, где настоящее не отменяет прошлое. Рязанову она дорога этюдами застывшей (но подлинной!) истории. Всё более редкими.

Никогда не страдал я тоской по царизму,  
не эсер, не кадет я и не монархист...  
Всё, что в прошлом случилось когда-то в Отчизне, –  
не для правок, дописок и вымарок лист.

Почему же истории нет у России?  
Почему у нас только текущий момент?

Убежище несёт ещё один мотив: сохранения мифов. Конечно, легенды рождаются в переломные эпохи, но для того, чтобы они дошли до нас, нужен покой равновесия.

Сказки старые и страшные, не без налёта черного юмора. Сосед Рязановых по самарскому дому: именитый врач и депутат I Государственной думы Дмитрий Крылов, который, по слухам (даже попавшим в энциклопедии), в годы поволжского голода уехал ночью к неотложному пациенту и не вернулся. Был съеден по дороге. Слух не подтвердился (доктор всего лишь переехал...), но жители дома долго боялись есть ливерные пирожки с недалёкого Троицкого рынка. Вдруг попробуешь доброго доктора?

Легенды современные и смешные, с привкусом грусти. Когда Рязанов приехал в Самару в 90-е на Фестиваль искусств, поклонники спросили: «Эльдар Саньч,



«Мемориальная» комната. Здесь жил Элик.

А это, можно сказать, «суэта вокруг дивана». Вон справа, вдали видите его?.



раз вы так любите наш город, что ж ни разу за пятьдесят три года не приехали? Говорите, что часто о нас вспоминали, но почему ничего не снимали у нас? Почему так вышло?!» Вздохнув, Рязанов ответил: «Потому что дурак!» Ответ стал городской легендой.

Ну а где-то между этими эпизодами на городских улочках гулял анекдот про благородных угонщиков, вскоре нашедший своё воплощение в знаменитой киноповести. Рязанов верил, что сказки, сеющие добро, могут повлиять на менталитет, изменить общество к лучшему. Даже история Эльсинора не заканчивается гибелью Гамлета:

Вроде бы люди умирают не сразу.  
Смерть – многоточие в большом предложении.

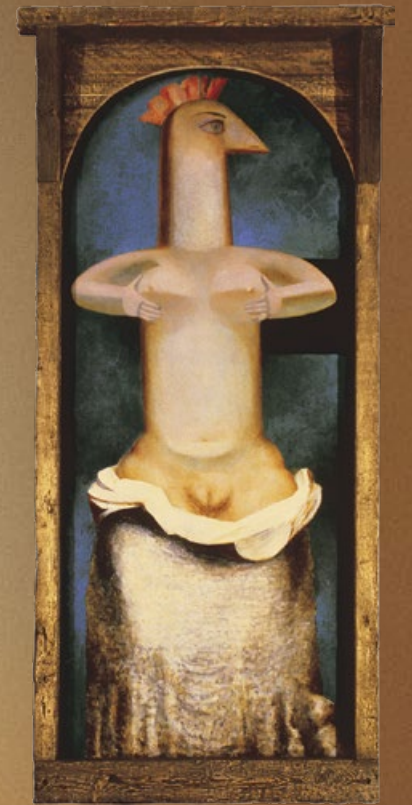
Вместе с Андерсеном Рязанов вернётся в Эльсинор и покажет будущее, где датский король Кристиан X, воспитанный на волшебных сказках, помешает погромам еврейского населения. В оккупированной нацистами стране король возьмёт под патронаж датских евреев, которым датчане помогали бежать в нейтральную Швецию.

Когда в США в прокат выходил фильм «Старые клячи», переводчики не сразу нашли названию английский эквивалент. Подобрали: «Старые ведьмы» («The Old Witches»). Русский зритель едва ли сочтёт находку удачной, но может, в ней есть своя правда? Напоминание о вере в чудо. Ведьмы – далеко не всегда отрицательные персонажи, а крупницы волшебства сохраняются и на фоне затухания мифа. Побуждая к новой борьбе за добро.

В интервью после премьеры «Андерсена» Рязанов сердился (едва ли искренне), когда его самого назвали сказочником: «Разве мои фильмы – сказки? Что ж я – детский автор?» Возможно, это был один из последних реверансов знаменитой иронии. Разве сказки читают только дети? ☺

Мари

пъса  
и рецензия



ММ

## Илья ЧЛАКИ

📍 Берлин, Германия



Фото: из семейного архива автора

Родился в Москве (1959), жил в самом центре, на Петровке, сначала в 15-м, потом в 17-м доме, между Театральной площадью, с её тремя театрами и театром Корша. Семья, переезжая из одной коммуналки в другую, наконец обрела свою квартиру, но вдали от Театрального проезда. Это был для меня четвёртый дом в Москве, и тогда же я пошёл учиться в самую важную для меня школу, тоже четвёртую по счёту, – 127-ю ШРМ (школу рабочей молодёжи), вскоре ставшую знаменитой на всю Москву. Она была пронизана духом свободы, исходившим как от самой школы, так и от «рабочей» молодёжи – детей творческой элиты столицы и московских диссидентов.

В 1991-м, ещё до распада СССР, уехал с семьёй в Германию и с 1999-го живу в Берлине. Вступил в Союз немецких писателей (1996). Более полусотни пьес – двухактных, одноактных, монологов. Спектакли по ним поставлены в Англии, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Румынии, США, Украине, Франции. В Японии и Италии постановок не было, но зато в этих странах вышли красивые книжки моих пьес. А в Испании – книжка с картинками для детей.

Обладатель международных призов и грантов.

В № 2 (6) за 2024 год «Тайных троп» опубликована моя комедия без антракта «Пиротехник», в № 3 (7) – пьеса «Две сестры».

## Скрипка

*Пьеса в двух действиях*

*Победитель международного конкурса драматургов «Eurodram 2018»*

*(среди русскоязычных пьес)*

### **Действующие лица**

Хельга

Тамара, её мать

Аарон

Маггиас

Томас

Жан-Пьер

Ахмед

Иванов

Цыгане, мужчины и женщины в русских народных костюмах

# Действие первое

*Сад возле дома Хельги.*

ТОМАС. Хельга...  
 ХЕЛЬГА. Иди отсюда!  
 ТОМАС. Хельга...  
 ХЕЛЬГА. Убирайся!  
 ТОМАС. Ну, пожалуйста!..  
 ХЕЛЬГА. У тебя прибор работает?  
 ТОМАС. Прибор? А-а, да, работает, всё нормально, всё очень хорошо.  
 ХЕЛЬГА. Вот и иди, пока работает.  
 ТОМАС. Правда, работает. Не веришь?  
 ХЕЛЬГА. Иди, говорю, не то отломаю!  
 ТОМАС. Хельга!..  
 ХЕЛЬГА. Выпей на дорогу и вали. Ну, пей.

*Хельга наливает в кружку шнапс. Томас отпивает, задыхается.*

ХЕЛЬГА. Вот рыба тухлая!..  
 ТОМАС. Ва!.. ва!.. ва!..  
 ХЕЛЬГА. Заткнись!  
 ТОМАС. Ды!.. ды!.. ды!..  
 ХЕЛЬГА. Ну!  
 ТОМАС. Воды!..  
 ХЕЛЬГА. Я тебе говорила – не приходи? *(Даёт воду)*.  
 ТОМАС. Я же с чувством...  
 ХЕЛЬГА. Плевать мне на твои чувства!  
 ТОМАС. Хельга...  
 ХЕЛЬГА. Пей. *(Протягивает кружку со шнапсом)*.  
 ТОМАС. Нет, что ты, у меня всё горит.  
 ХЕЛЬГА. Ну, так дуй тушить.  
 ТОМАС. Хельга!.. Милая!.. Я ведь к тебе со всей душой, со всем сердцем!.. И они у меня – и душа, и сердце – разрываются на мел-

кие части! И слёзы страдания переполняют каждую из частей. Я плачу, я рыдаю, утопаю в слезах, Хельга!

ХЕЛЬГА. Какая гадость. Слизняк.  
 ТОМАС. За что ты так ко мне, почему?!  
 ХЕЛЬГА. Дети от тебя слишком крупные, не разродишься.  
 ТОМАС. Я никаких витаминов не принимаю и ем плохо. Уже полгода. Врач сказал – должно помочь.  
 ХЕЛЬГА. Ты деньги на своих перевёл?  
 ТОМАС. Вдвойне.  
 ХЕЛЬГА. Перевёл, и свободен.  
 ТОМАС. У тебя кто-то есть!  
 ХЕЛЬГА. У меня всегда кто-то есть!  
 ТОМАС. Кто?! Я просто спросил, ничего не имел в виду. Есть – и хорошо, очень хорошо.  
 ХЕЛЬГА. Иди отсюда, доведёшь до греха.  
 ТОМАС. Я сделаю всё, что ты хочешь...  
 ХЕЛЬГА. Вот и валяй!  
 ТОМАС. Хельга!  
 ХЕЛЬГА. Тебя как зовут?  
 ТОМАС. Ты забыла!  
 ХЕЛЬГА. Как?  
 ТОМАС. Томас я.  
 ХЕЛЬГА. Ну и имя!  
 ТОМАС. Я сменю.  
 ХЕЛЬГА. Тьфу!  
 ТОМАС. Хельга, я хочу быть рядом!.. всегда с тобой рядом! И, чтобы достичь этого, я на всё готов. Только скажи, что тебе нужно, всем обеспечу. Правда! Ты же знаешь, если я обещаю, всё будет сделано точно в срок, без единой ошибки, идеально. Потому что у меня такой характер – говорю, значит, сделаю. Мы же немцы, да, мы иначе не можем. Прочность, надёжность. Со мной ты будешь, как за каменной стеной. Основательность, обстоятельность – наша сила, наша воля, наше преимущество перед любым народом, перед любым! Приказывай, исполню любую твою прихоть!  
 ХЕЛЬГА. У меня – только одна.  
 ТОМАС. Да!  
 ХЕЛЬГА. И если через секунду ты её не исполнишь...

*Хельга встаёт. Теперь мы видим – она невероятных размеров женщина, крепкого, мощного, богатырского телосложения.*

ХЕЛЬГА. Я тебя предупредила!  
*Хельга замахивается, от чего Томас падает.*

ТОМАС. Я люблю тебя! *(Убегает).*  
*(Кричит за сценой).* Чувства кулаками не выбьешь!

ХЕЛЬГА. Вернись и я докажу обратное.

ТОМАС *(за сценой)*. У меня ещё с прошлого раза не зажило! ...Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя!..  
*Входит Тамара, маленькая, худенькая старушка, говорит с лёгким грузинским акцентом.*

ТАМАРА. Кто здесь так кричал?

ХЕЛЬГА. Иди спи, мама.

ТАМАРА. Я спала, но он поднял такой шум, что я проснулась. Кто это был?

ХЕЛЬГА. Его уже нет.

ТАМАРА. Как и моего сна.

ХЕЛЬГА. Иди, ты уснёшь быстро. Ложись, посчитай про себя внуков.

ТАМАРА. Проще звёзды на небе. Зачем он так кричал, чего хотел?

ХЕЛЬГА. Денег.

ТАМАРА. Ты что, им платишь?

ХЕЛЬГА. Заплатить хотел.

ТАМАРА. Куда же он пошёл? Пусть вернётся.

ХЕЛЬГА. Зачем тебе деньги, мама?

ТАМАРА. Деньги никогда не помешают.

ХЕЛЬГА. Тебе чего-то не хватает?

ТАМАРА. На родину хочу. В Грузию, в Кутаиси. Ты – немка, тебе не понять. Да... Там теперь всё по-другому.

ХЕЛЬГА. Расскажи мне про Грузию, мама.

ТАМАРА. Про Грузию нельзя рассказать, эта страна, которую понимаешь не головой, а сердцем. Сердце разговаривать не умеет. Про неё можно только петь.

ХЕЛЬГА. Спой.

ТАМАРА. Пою всё время, только ты не слышишь. Тебя Г-сподь не ушами, другим одарил – рост, здоровье и способности необычайные.

ХЕЛЬГА. Какие уж там способности.

ТАМАРА. Ах, милая, рожать с такой скоростью, с такой производительностью, да так часто, не каждое животное может. И одних мальчиков.

ХЕЛЬГА. Любви хочется, мама, настоящей любви. Ты вот любила папу?..

ТАМАРА. Да за что его любить? Ни денег, ни всего остального.

ХЕЛЬГА. Я его совсем не помню. Он крупный был?

ТАМАРА. Маленький и толстенький – пивная кружка. И глупый. Чего я с ним поехала, сама не знаю. Молодая была, дура.

ХЕЛЬГА. А я – крупная.

ТАМАРА. Ты, деточка, не крупная, ты громадная. Не знаю, в кого ты такая. Мама говорила, прадед был большой – метр семьдесят три росту. Может, в него? Рожаетшь чуть ли не каждые три месяца по десять-двенадцать человек, и все здоровые, без отклонений. Нет, не понимаю. Видимо, у твоего папаши в роду не всё в порядке было. Пусть земля ему будет пухом.

ХЕЛЬГА. Он умер?

ТАМАРА. Кто его знает, он мне не отчитывается. Не умер, так умрет, пусть тогда пухом и будет.

ХЕЛЬГА. Почему он нас бросил?

ТАМАРА. По трусости. Когда тебе три месяца исполнилось, решил на тебя посмотреть, познакомиться, дочка всё-таки. Посмотрел. С тех пор его никто не видел.

ХЕЛЬГА. Почему?

ТАМАРА. Потому что выглядела ты лет на пять. Лежала в кровати – в одной руке буханка, в другой – палка колбасы. Перекусывала. Тебя, дочка, надо в музее показывать.

ХЕЛЬГА. Значит, ты кроме отца, так никого и не полюбила?

ТАМАРА. Бес меня попутал с твоим отцом! Никогда я эту пивную кружку не любила. Дато – вот моя первая и единственная любовь. Папаша твой случайно подвернулся, турист чёртов! Думала, уеду с богатым немцем и всё у меня будет хорошо. Уехала. Ни хорошо не стало, ни немца, ни Дато. Только ты и осталась у меня. Видимо, потому ты такая большая, что за все мои потери отдуваешься. Дато! Ему я была всегда верна. Даже когда была с твоим отцом, я думала о нём. Каждый раз. И когда тебя рожала, кричала: «Дато, мой Дато! Где ты теперь, мой любимый?!»

ХЕЛЬГА. А он был крупным?

ТАМАРА. Чуть повыше меня. Но очень шустрый. Такой был проворный парень! Да, есть что вспомнить.

ХЕЛЬГА. Я завидую тебе, мама. У тебя папа и Дато были.

ТАМАРА. Тебе ли завидовать, милочка? У меня двое – Дато и любитель пива, а у тебя сколько всяких перебивало?

ХЕЛЬГА. Да только всё впустую.

ТАМАРА. Каждый квартал – новый! Это ж сколько будет? Сосчитать невозможно.

ХЕЛЬГА. Был бы в них толк, хоть в одном... Пустой звук, что были, что не были. Самцы-производители. Тьфу!

ТАМАРА. Ах, Хельга!



ХЕЛЬГА. Любовь, любовь мне нужна, только её и ищу. Да не найду никак. Не знаю, есть ли она вообще, или это всё россказни. Но искать продолжаю, не сдаюсь, ничем не брезгую. Вот только всё какие-то говнюки попадают. Один гнуснее другого. Ни положение, ни национальность, ничего их не спасает. Только и могут, что писькой трясти. Все мозги в неё ушли. Наградил же их Создатель!

ТАМАРА. Мне нравилось когда-то...

ХЕЛЬГА. Что?

ТАМАРА. Дато вспомнила. Всё время про него думаю.

ХЕЛЬГА. Поезжай в свою Грузию.

ТАМАРА. Поеду, обязательно поеду.

ХЕЛЬГА. Почему, между прочим, у меня не было ни одного грузина? Странно это. Тем более, что я сама грузинка немного.

ТАМАРА. Немка ты.

ХЕЛЬГА. Попался бы мне грузин, возможно, я полюбила бы его.

ТАМАРА. Вот если бы тебе попался такой, как Дато...

ХЕЛЬГА. Маленькие мне не нравятся.

ТАМАРА. По сравнению с тобой не маленьких не бывает. Пойду. Если кто деньги предлагать будет, не отказывайся. Ещё одни качели для детского сада купим, в школе яблони посадим.

*Тамара уходит.*

ЖАН-ПЬЕР (*из-за кустов*). Эй, пс... Эй, пс... Я здесь... Хельга, Хельга... Ты одна? Ты наконец одна!

*Выходит Жан-Пьер.*

ЖАН-ПЬЕР. Любимая моя! Красивая! Ненаглядная! Это тебе!

*Протягивает Хельге букет цветов.*

ХЕЛЬГА. Я тебе сколько раз говорила – не рви цветы в моём саду, не то я в твоём всё оборву!

ЖАН-ПЬЕР. Я – для тебя!

ХЕЛЬГА. Зачем ты здесь?

ЖАН-ПЬЕР. Я пришёл, чтобы предложить тебе бежать со мной!

ХЕЛЬГА. Я бегать не люблю.

ЖАН-ПЬЕР. Я образно.

ХЕЛЬГА. Ты знаешь, сколько у меня детей?

ЖАН-ПЬЕР. Моих – девять.

ХЕЛЬГА. Кроме твоих – целый город.

ЖАН-ПЬЕР. Мы их – в эшелоны.

ХЕЛЬГА. Интересно.

ЖАН-ПЬЕР. В эшелоны – и во Францию. В горах поселим, там чистый воздух, природа, я всё сделаю – обещаю. А сами будем жить в моём поместье. У тебя будет всё, что захочешь. Всё моё станет твоим. Я перепишу на тебя всё имущество!

ХЕЛЬГА. Зачем оно мне?

ЖАН-ПЬЕР. Все твои дети станут моими! Я люблю детей! Мы будем рожать! Хельга! Будь моей женой, любимая! Мы будем порхать как юные бабочки! Райские бабочки! С цветка на цветок, с цветка на цветок! И такое мы будем вытворять нашими хоботками!.. Будем пить цветочный нектар, вдыхать ароматы полей и лесов, кружиться, кружиться, кружиться. Хельга! Я прославлю тебя, воспою в стихах, в поэмах и песнях, изваяю в мраморе, бронзе и на холсте. Любимая! Мы будем много веселиться – балы, вечеринки, – в этом я знаю толк. Бал каждую неделю – обязательно. В субботу, например. Каждую неделю новое платье, новые украшения! А в остальные дни – отдых, тихие вечеринки, вино, музыка. Я буду твоим принцем, Хельга, твоим слугой, твоим рабом! Эх, жизнь будет!

ХЕЛЬГА. Как ты мне надоел.

ЖАН-ПЬЕР. А раньше? Помнишь наши утехы, наши игры и развлечения?

ХЕЛЬГА. Не помню.

ЖАН-ПЬЕР. Я был ласков, нежен, изобретателен. Я таким и остался, Хельга!

ХЕЛЬГА. Только мне не нужно.

ЖАН-ПЬЕР. Поверь, у меня ещё много, очень много идей.

ХЕЛЬГА. Мне нужны чувства, только их и ищу.

ЖАН-ПЬЕР. Этого добра у меня навалом.

ХЕЛЬГА. А у меня – ноль, ничего я к тебе не испытываю. И не испытывала никогда. Надеюсь, но... Иди, Жан-Пьер.

ЖАН-ПЬЕР. Как? Куда?

ХЕЛЬГА. Отсюда. И никогда больше у меня не появляйся.

ЖАН-ПЬЕР. Любимая, давай ещё раз попробуем, последний.

ХЕЛЬГА. Ты меня не понял?

ЖАН-ПЬЕР. Хельга...

ХЕЛЬГА. Иди!

ЖАН-ПЬЕР. Ну, что мне сделать?.. Хочешь, я буду твоим грузином, твоим Дато!

ХЕЛЬГА. Ах ты, говнюк ушастый! Пошёл отсюда!

ЖАН-ПЬЕР. Я смогу, ты зря сомневаешься!

ХЕЛЬГА. Пошёл, говорю!

ЖАН-ПЬЕР. Бей меня, бей, я всё стерплю. Эти удары для меня лучше, чем!.. До чего ты хороша, когда сердиться! Бей, бей!

ХЕЛЬГА. Извращенец!

ЖАН-ПЬЕР. Я – совсем наоборот. Мои предпочтения всем известны. Ты, ты – мои предпочтения! Только ты! Хельга! Прошу, не делай поспешных выводов! Не надо! Я снова приду! Я буду добиваться твоей руки до самой смерти! А если ты мне откажешь, я убью себя! Я покончу жизнь самоубийством! Я пушу себе пулю в лоб, повешусь, вскрою вены, прыгну с двадцатого этажа! Хельга!.. И сделаю это прямо сейчас!..

*Жан-Пьер уходит.*

*Входит Ахмед, на его лице видны побои, синяк под глазом.*

АХМЕД. Я прилетел, Хельга, я снова здесь! Как я рад тебя видеть! Это такое счастье, что я вижу тебя!

ХЕЛЬГА. Ещё один!

АХМЕД. Зачем ты такая строгая? Почему такая суровая?

ХЕЛЬГА. Пока добрая.

АХМЕД. Я соскучился, Хельга! Я прилетел, чтобы сказать – я всё осознал! Я теперь совсем другой, ничего от меня, того старого, не осталось. Никаких глупостей не допущу. Никаких оскорблений и недозволительных действий.

ХЕЛЬГА. Попробуй, я не возражаю.

АХМЕД. Это была непростительная ошибка. Хельга, любимая, я летел к тебе, летел издалека...

ХЕЛЬГА. Мы, вроде, недавно виделись. Ты забыл?

АХМЕД. Что ты, разве такое забудешь? Всё помню в мельчайших подробностях.

ХЕЛЬГА. Вот и лети, откуда прилетел.

АХМЕД. Давай вместе, а? Я ж здесь, чтобы назад – вместе. Не только я, вся страна тебя ждёт. Все только и говорят о тебе: газеты, журналы, теле- и радиостанции. Правда! Смотри. Одна газета, другая, третья...

ХЕЛЬГА. Ахмед...

АХМЕД. Я говорил с самим... понимаешь? Он сказал, что ты очень нужна стране. Сказал: как никто другой. Он сказал, что благодаря этой женщине – тебе, Хельга! – в стране начинаются невиданные перемены. Женское население страны получает небывалые права – их нельзя продавать, покупать, нельзя избивать, наказывать, обзывать неприличными словами. Кто нарушит закон, будет подвергнут серьёзному штрафу и даже тюремному заключению. Он сказал, что это только начало. Скоро нас ждут такие реформы... И всё это только для того, чтобы приехала ты, Хельга! И всё это исключительно благодаря тебе, Хельга! Люди плачут, места не находят! А я, я начал строить дворец. Для тебя, Хельга! Для нас!

ХЕЛЬГА. У меня от твоего треска голова болит.

АХМЕД. Это будет лучший дворец в стране! Площадь его будет равна площади твоего города. Но это ещё не всё!..

ХЕЛЬГА. Как же вы мне надоели с вашими дворцами. Ты – моя непростительная ошибка, Ахмед. Связалась с тобой от отчаяния, от бесконечного отчаяния и тоски. И ещё потому, что теплилась надежда, что всё-таки ты не такое дерьмо, каким оказался. И чем дольше я тебя вижу, тем глубже погружаюсь в тоску и отчаяние, тем больше понимаю – нет никаких надежд.

АХМЕД. Хельга, ты должна улететь со мной, иначе... я способен на чёрт знает что!

ХЕЛЬГА. На что же ты способен?

АХМЕД. На преступление!

ХЕЛЬГА. Интересно.

АХМЕД. Я по детям соскучился. Мои мальчики, любимые мои!

ХЕЛЬГА. Кажется, в прошлый раз ты пытался одного из них украсть.

АХМЕД. Вот что делает со мной любовь!

ХЕЛЬГА. Ты уже забыл тот урок? Я напому.

АХМЕД. Меня дети не интересуют, меня интересуешь ты!

ХЕЛЬГА. Да, ты должен прозреть окончательно.

АХМЕД. Хельга!.. Нет! Пожалуйста!.. Хельга, Хельга!.. *(Убегает).*

*Слышно биение колоколов.*

ХЕЛЬГА. Это ещё что?..

*Появляется Иванов.*

ИВАНОВ. Русские идут. Пришли то есть. Ребята-ребятушки!..

*Входят цыгане, поп в рясе, вкатывают маленькую церквушку с колоколами, какие-то мужики с бабами в русских костюмах вносят бесконечное количество еды, вина.*

ХЕЛЬГА. Ты кто такой?!

ИВАНОВ. Иванов.

ХЕЛЬГА. И что?

ИВАНОВ. Ничего! Совсем ничего! Просто хотел угостить тебя скромной едой. Национальная кухня, равной которой нет во всём мире!

ХЕЛЬГА. Мы знакомы?

ИВАНОВ. Да!

ХЕЛЬГА. Не помню.

ИВАНОВ. Уже целую минуту.

ХЕЛЬГА. Иванов.

ИВАНОВ. Так точно.

ХЕЛЬГА. Болгарин?  
 ИВАНОВ. Никак нет, русский.  
 ХЕЛЬГА. Ты что, военный или кагэбэшник?  
 ИВАНОВ. Я в отставке.  
 ХЕЛЬГА. Кагэбэшник?  
 ИВАНОВ. Это в прошлом, сейчас эта организация называется ФСБ. А я теперь бизнесом промышляю. Металл, нефть, газ, лес, ископаемые.  
 ХЕЛЬГА. Ко мне зачем?  
 ИВАНОВ. А ни зачем. Чтоб угостить. Моя фирма осетром занимается – рыбку пасём. Удачный год, доложу тебе, выдался. Столько икры, как никогда! И лосось на нерест пошёл. Вообще жуть! Ребята!

*Иванов делает знак. Бабы с мужиками несут блюда с осетром, лососем, с чёрной и красной икрой, пирогами.*

ИВАНОВ. Это у тебя что? Шнапс? Штука хорошая, но под такой закусон не пойдёт. Тут водочка нужна, без неё, без родимой, вся эта закуска гроша ломанного не стоит.

*Им наливают в хрустальные стаканчики водку.*

ИВАНОВ. Будем здоровы, Хельга!

*Хельга с Ивановым пьют. Иванов делает знак цыганам. Цыгане начинают петь.*

ИВАНОВ. Закусывай, закусывай, возьми чёрной икорки, прямо оттуда ложкой и ешь. Пирог попробуй. С мясом, рыбой, грибами. Знаешь, как называется? Кулебяка. Вот название, да? Старинное слово, я сам недавно узнал. Смеялся страшно. Кулебяка! Бяка, бяка! Так дети говорят на что-нибудь плохое «бяка». А здесь – хорошее, и всё равно – бяка-кулебяка! Русский язык – сложный язык, сам иногда себя спрашиваю, когда что-нибудь вроде этой кулебяки подворачивается: как так может быть? И не нахожу ответа. Оно и к лучшему. За это стоит выпить. Чтоб не на всё ответ был. За тебя!

*Пьют.*

ХЕЛЬГА. Ты как меня нашёл, Иванов?

ИВАНОВ. Честно? Я, когда про тебя услышал, а дело было под Москвой, мы там с друзьями совещались, обдумывали всякое, так вот, тогда я сказал себе – эту женщину, сдохну, но найду. Все стали на меня махать руками, смеяться, куда, мол, тебе. А я им: помяните моё слово. Прошло немного времени, всё бросил к чёртовой матери и отправился на поиски тебя, Хельга. Вот нашёл! (Цыганам). Пойте, пойте, ребяташки! Повеселее что-нибудь, нашёл ведь!

ХЕЛЬГА. Долго искал?  
 ИВАНОВ. Страшно долго. Две недели. Нет, погоди... пятнадцать дней. Полжизни! Я бы и всю жизнь проискал! Эй, потише, разговаривать невозможно! Раздухарились, черти черноголовые. Тоже понятно, они ж всё время со мной были – разезды-переезды, поиски. Народ, конечно, кочевой, привыкший, но всё равно притомились. А теперь на радостях чувствам волю дают. Не остановишь. Кровь у них горячая, прямо на глазах закипает.  
 ХЕЛЬГА. Смотрю я на тебя, Иванов, и никак понять не могу – чего ты такой весёлый?  
 ИВАНОВ. Настроение поднимают женщина, водка и цыгане. И всё это у меня есть! Как же не радоваться?  
 ХЕЛЬГА. А те зачем? Чего стоят, петь не умеют?  
 ИВАНОВ. Да ты что! Мы же русские люди. А русские без песни – никуда. Мужики! И бабы тоже. Давай чего-нибудь наше! Душевное! Чтоб схватило и не отпустило!

*Мужчины и женщины в русских костюмах начинают петь.*

ИВАНОВ. А мы пока ещё глотнём.  
 ХЕЛЬГА. Ты что, спойть меня хочешь?  
 ИВАНОВ. Как ты могла такое подумать? И зачем мне это?  
 ХЕЛЬГА. Красивая песня.  
 ИВАНОВ. Народная, поэтому. Пьём?  
 ХЕЛЬГА. Пьём.  
 ИВАНОВ. Эх, до чего ж хорошо! (Делает знаки в сторону).

*Иванову приносят огромный букет цветов.*

ИВАНОВ. Дорогая Хельга! Позволь преподнести тебе этот скромный букет.  
 ХЕЛЬГА. Зачем он мне?  
 ИВАНОВ. Для красоты. Это знак внимания... нет, знак большого внимания... даже больше, чем просто внимания... Ты понимаешь.  
 ХЕЛЬГА. Нет.  
 ИВАНОВ. Да. Эй...

*Иванову приносят красивую коробку.*

ИВАНОВ. Прими от меня этот ничтожный подарок.  
 ХЕЛЬГА. Что там?  
 ИВАНОВ. Я открою.

*Иванов открывает коробку.*

ХЕЛЬГА. Это что?  
 ИВАНОВ. Яйцо.

ХЕЛЬГА. Чьё?  
 ИВАНОВ. Фаберже. Это символ.  
 ХЕЛЬГА. Жизни?  
 ИВАНОВ. Богатства.  
 ХЕЛЬГА. С этим у меня всё в порядке.  
 ИВАНОВ. Это подарок.  
 ХЕЛЬГА. Забирай, тебе оно нужнее.  
 ИВАНОВ. Какая женщина!  
 ХЕЛЬГА. Всё, Иванов, ты мне надоел.  
 ИВАНОВ. У меня есть небольшой участок.  
 ХЕЛЬГА. А у меня огромный.  
 ИВАНОВ. На моём – скважинка. Буровые вышки. Залежи нефти.  
 ХЕЛЬГА. Иванов, ты меня достал.  
 ИВАНОВ. Какая женщина!  
 ХЕЛЬГА. Тебе пора.  
 ИВАНОВ. Как достучаться до твоего сердца, Хельга! Зовите еврея!  
 ХЕЛЬГА. Кого?!
 ИВАНОВ. Сюрприз-сюрприз.  
 ХЕЛЬГА. Терпеть не могу сюрпризы.  
 ИВАНОВ (*в сторону*). Где этот чёртов еврей?!

*На сцену выходит мужчина небольшого роста, Аарон.*

ИВАНОВ. Вот он, вот он, мой хороший. Как дела? Всё нормально? Здоровье, настроение? Чувствуешь себя как? А ты чего, пустой? Балалайка где? Без балалайки кому ты нужен! Всё, увидел, увидел, здесь родная. Доставай, распаковывай, не спеши. Хельга, он тут! Это еврей, Хельга! Но это ничего, не бойся. Это особый экземпляр. Если и еврей не сможет растопить твоё сердце, то я сдаюсь. Россия сдаётся! Но это невозможно! Скажи, еврей!

*Тем временем Аарон достал из футляра скрипку, начинает играть.*

ИВАНОВ. Потому что Россия никогда не сдаётся. Давай, еврей, давай! Вот такой экземпляр. А ты говоришь – надоел. Эх, моя бесценная Хельга, нет такого человека, который бы смог остаться равнодушным к этим звукам...  
 ХЕЛЬГА. Заткнись!  
 ИВАНОВ. Да.

*Аарон играет, Хельга не в состоянии оторваться от волшебной игры музыканта.*

*Музыка заканчивается.*

ИВАНОВ. А? Ну? Что я тебе говорил! Видишь? Иди, еврей, иди. Мы тебе премию выпишем. И дополнительный день отпуска. Вот такие

у нас люди, Хельга, такие у нас евреи! Народ, конечно, мало-приятный, но иногда очень полезный.

ХЕЛЬГА. Куда он пошёл?  
 ИВАНОВ. Отдыхать. Он нам больше не нужен, милая моя...  
 ХЕЛЬГА. Верни.  
 ИВАНОВ. Еврея? Я, в принципе, не возражаю. Я к этой нации отношусь нормально. Жуликоваты немного, да? И богатые слишком. Зачем им столько, не понимаю. А так... люди они неплохие, хоть и жадные, хоть и бесчестные, хоть и продажные. Да?  
 ХЕЛЬГА. Иванов, ты идиот?  
 ИВАНОВ. Ты, Хельга, не думай, что я как-то против них настроен, ни в коем случае, можно сказать, наоборот, совсем наоборот. Весь мир против, а я – за. У меня, кстати говоря, все лучшие друзья – евреи. И компаньоны тоже. Но компаньоны, конечно, не в счёт. А вот друзья, лучшие друзья – этой самой национальности. Все, буквально все. Один – русский, а все остальные – они. И русский он тоже – наполовину.  
 ХЕЛЬГА. Ты меня слышал?  
 ИВАНОВ. Да, я идиот.  
 ХЕЛЬГА. Позови его!  
 ИВАНОВ. Позовите еврея.  
 ХЕЛЬГА. Имя у него есть?  
 ИВАНОВ. Имя? Ну, конечно, есть. У каждого еврея... человека есть имя.  
 ХЕЛЬГА. Как его зовут?  
 ИВАНОВ. Не знаю.  
 ХЕЛЬГА. Иванов!  
 ИВАНОВ. Хельга, я тебе сейчас скажу... ещё никому никогда не говорил. Слушай... я тоже на четверть... Понимаешь? На четверть. Возможно, даже больше. Возможно, на одну треть. Так что я эту нацию очень понимаю. Потому что имею к ней, можно сказать, непосредственное отношение.  
 ХЕЛЬГА. Когда ты уже заткнёшься, Иванов?  
*Входит Аарон.*  
 ИВАНОВ. А вот и ев... наш герой. Балалайку не забыл? Сегодня ты был в ударе. Нам очень понравилось. Доставай свою бандуру.  
 ХЕЛЬГА. Не надо. Сядь.  
 ИВАНОВ. Ну, что ты на меня смотришь? Делай, что говорят.  
 ХЕЛЬГА. Тебя как зовут?  
 ААРОН. Смотря кто.  
 ХЕЛЬГА. Как Иванов, я знаю.

ААРОН. Бывает и хуже, но я давно не реагирую. Аарон я.

ИВАНОВ. Видишь, Аарон он. А чего скрывал? Хорошее, в принципе, имя. Библейское?

ААРОН (*Хельге*). Мама меня Роней звала.

ИВАНОВ. Ещё лучше – короче.

ХЕЛЬГА. Я тебя тоже буду Роней звать, если не возражаешь.

ИВАНОВ (*Хельге*). Да зови его, как хочешь.

ААРОН (*Хельге*). Зачем?

ИВАНОВ. Ты, Ара, говори да не заговаривайся. Понял? Тебе ж ясно сказали: будем звать. А как да зачем, не твоего ума дело! Как будем, так и будем.

ХЕЛЬГА. Иванов, ты бы пошёл, погулял.

ИВАНОВ. Как? Куда?

ХЕЛЬГА. А куда хочешь.

ИВАНОВ. Нет, Хельга, ты меня прости, но покинуть тебя мы никак не можем. Да, Ара?

ХЕЛЬГА. Ты уверен, что не хочешь сам уйти?

ИВАНОВ. А любовь?

ХЕЛЬГА. Что?!

ИВАНОВ. Моя любовь? Я ж по любви пришёл, в смысле, с любовью, в смысле, чтоб признаться.

ХЕЛЬГА. Признался и иди.

ИВАНОВ. Не могу! Не имею права! Сердце не пускает! Душа не велит! Мозг кричит: Иванов, ва-банк! Хельга, я тебе всё отдам, что у меня есть! А у меня есть, поверь мне, есть! И много! Не то что у этих!

ХЕЛЬГА. Иванов, ты жить хочешь?

ИВАНОВ. Ну, зачем ты сразу? К чему угрозы? Я ж тебе душу свою!.. Сердце своё из груди вытащила, а ты!.. Пойдём, Ара... Или как там тебя? Пойдём, еврей! Нас тут не понимают!

ХЕЛЬГА. Иди, Иванов, иди.

ИВАНОВ. Извините, он не имеет права, на работе. Он пиликать, бренчать должен.

ХЕЛЬГА. Ты не понял, что я сказала?!

ИВАНОВ. Сама подумай, как я могу тебя на него оставить? Я ж за тебя перед всей нашей великой страной отвечаю...

*Хельга поднимается, хватая за горло Иванова.*

ИВАНОВ (*задыхаясь, хрипя*). Всё понял, всё! Ребята, уходим. Рад был познакомиться, жаль, что ничего не вышло. Честь имею, до свидания, прости, прощай.

*Хельга отпускает Иванова.*

ИВАНОВ. Уф!.. Хороший приёмчик...

ХЕЛЬГА. У тебя десять секунд.

ИВАНОВ. Слушаюсь! Позвольте спросить... А как же с ев... ну... с ним?

ХЕЛЬГА. Ты разве не понял?

ИВАНОВ. Понял.

ХЕЛЬГА. Вот и иди.

ИВАНОВ. Ухожу. Икорочки не желаете? Да. Какая женщина!..

*Иванов выходит, за ним следует вся его команда.*

ХЕЛЬГА. Давно ты на него работаешь?

ААРОН. До этой поездки никогда его не видел. Платит отлично, без него мне никогда столько не заработать.

ХЕЛЬГА. Тебе сколько лет, Роня?

ААРОН. Тридцать шесть.

ХЕЛЬГА. Мне сорок три.

ААРОН. Не может быть.

ХЕЛЬГА. Может.

ААРОН. Невероятно, вы выглядите на двадцать семь, не больше.

ХЕЛЬГА. Гены.

ААРОН. Я слышал про вас всякие чудеса. Что детей вынашиваете один-два месяца, что поодиночке не рожаете, самое меньшее – тройня. Что все ваши дети пышут здоровьем, что нарожали уже целый город. Это правда? К чему я это спрашиваю, сам не знаю. Волнуюсь очень.

*Входит Тамара.*

ХЕЛЬГА. Познакомься, моя мама.

ААРОН. Здравствуйте.

ТАМАРА. Это кто?

ХЕЛЬГА. Роня.

ТАМАРА. Как?

ХЕЛЬГА. Аарон. Он хороший, мама.

ТАМАРА. И откуда этот Роня?

ААРОН. Из России.

ТАМАРА. Жаль.

ААРОН. В России теперь хорошо.

ТАМАРА. Опять?

ААРОН. В последнее время стало ещё лучше.

ТАМАРА. Он похож на грузина.

ХЕЛЬГА. Он еврей, мама.

ТАМАРА. Лучше бы он был грузином.

ХЕЛЬГА. Кому лучше?

ТАМАРА. Ему в первую очередь. Если б он был из Грузии, я бы его спросила, как там, что там? А так, о чём мне с ним говорить?

ААРОН. Да, в Грузии я никогда не был. В Узбекистане один раз был. Хорошо там, вкусно. На рынке всё горками укладывают – изюм, курага, орехи, дыни. Всё яркое, разноцветное, красота. В Турции тоже был. В прошлом году. Предложили очень дешёвую поездку, с экскурсиями, трёхразовым питанием. Как не поехать? В Греции тоже был. На острове Корфу. Но это уже давно, много лет прошло, как будто не со мной. Ничего не помню, только море. А что ещё нужно? Это у них самое главное. Б-же, какое там море!..

ТАМАРА. Да, лучше бы ты был грузином.

ААРОН. А про Грузию можно кино посмотреть или что-нибудь в интернете.

ТАМАРА. Эх, что с тобой говорить.

ХЕЛЬГА. Мама, ты обязательно поедешь в Грузию. В этом году, обещаю.

*Тамара уходит.*

ХЕЛЬГА. Грузия – её мечта. У тебя есть мечта?

ААРОН. Сам не знаю, может, и есть, но я её пока не определил. А у вас?

ХЕЛЬГА. Есть. Только ей и живу.

*Входит Маттиас.*

МАТТИАС. Мама, Феликс опять не делает то, что я ему говорю!

ХЕЛЬГА. Это Маттиас.

МАТТИАС. Объясни ты ему, что он должен выполнять мои указания! И остальным братьям – тоже. Кристиану, Михаэлю, Себастьяну, Деннису, Мартину...

ХЕЛЬГА. Почему ты им сам не скажешь? Город принадлежит тебе. Не я же бургомистр, ты. И потом, они твои братья, неужели нельзя договориться с близкими людьми?

МАТТИАС. У меня весь город – близкие люди. Жёны братьев – тоже мои родственницы, потому что они их жёны.

ХЕЛЬГА. Вот и договаривайся.

МАТТИАС. Может, мне его в тюрьму посадить? Дня на три, чтоб понял, что существует не только выгода, не только деньги, но и человеческие отношения! А остальных – на день. Чтоб слушались!

ХЕЛЬГА. Говори да не заговаривайся! Я вас не для тюрьмы рожала! Чтоб я больше никогда этого не слышала! Понял?! Не слышу! Понял?!

МАТТИАС. Да.

ХЕЛЬГА. Не то я тебя самого!..

МАТТИАС. Да.

ХЕЛЬГА. До сорока лет дожил, а ума не нажил!

МАТТИАС. Пойду я.

ХЕЛЬГА. погоди. Ты познакомился с Аароном?

МАТТИАС. Да, я Маттиас.

ААРОН. Очень приятно.

МАТТИАС. До свидания.

*Маттиас выходит.*

ХЕЛЬГА. Балбес. Мой любимчик.

ААРОН. Хороший парень. Вы сказали, что ему сорок?

ХЕЛЬГА. Тридцать восемь.

ААРОН. Тридцать восемь?

ХЕЛЬГА. Они теперь быстро взрослеют.

ААРОН. Да, но... Как так может быть? Он ведь почти ваш ровесник?

ХЕЛЬГА. Послушай, Аарон, Роня, если ты начнёшь думать о времени, то сойдёшь с ума. Просто усвой, теперь дети взрослеют раньше и часто опережают собственных родителей. Понимаешь?

ААРОН. Да, понятно.

ХЕЛЬГА. Маттиас – моя надежда. Такой замечательный парень получился – добрый, заботливый, ответственный. Он же не за себя печётся – за весь город, за каждого из своих братьев, за их жён, детей. Братья чувствуют его любовь, ну, и пользуются, конечно. Разберётся, не сомневаюсь. У него повышенное чувство справедливости. На Маттиаса я могу во всём положиться, и этим всё сказано. Потому он и бургомистр. Ты, наверное, выпить хочешь? В России ведь все пьют.

ААРОН. Совсем не все, но я с удовольствием.

*Хельга наливает.*

ХЕЛЬГА. Эх, Роня, знал бы ты, как я рада, что тебя встретила.

ААРОН. Я тоже... я очень рад.

ХЕЛЬГА. Ты стесняешься, что ли?

ААРОН. Нет... да... немного... Вообще-то я не пью, но с вами, с вами я...

ХЕЛЬГА. Мы «на вы»?

ААРОН. Нет? Надо выпить... ну, чтобы перейти на «ты». По-русски это называется «на брудершафт».

ХЕЛЬГА. По-русски? Интересный у вас язык.

*Пьют, целуются.*

ААРОН. Теперь можно тыкать.  
 ХЕЛЬГА. Я рада, что так всё получилось... что этот твой Иванов тебя ко мне привёл... что я сразу не выгнала его, а дождалась тебя... Б-же, как ты играл!..

ААРОН. Я старался. Как никогда старался. Не из-за Иванова, конечно... увидел тебя и, знаешь, самому захотелось как-то блеснуть...

ХЕЛЬГА. Не из-за Иванова?

ААРОН. Нет-нет. Я всегда играю на пределе возможностей, но в этот раз, мне кажется, я ушёл даже дальше.

ХЕЛЬГА. Роня...

ААРОН. Ты позволишь? Я хочу сыграть тебе... только тебе...

*Аарон берёт в руки инструмент, начинает играть.*

*Зелёная лужайка, дорога. Томас ходит из стороны в сторону.*

*Появляется Жан-Пьер.*

ЖАН-ПЬЕР. Томас!

ТОМАС. Чёрт, что ты орёшь?

ЖАН-ПЬЕР. Я, вроде, шёпотом.

ТОМАС. Вечно ты из-за угла.

ЖАН-ПЬЕР. Здесь нет углов.

ТОМАС. Что ты хочешь? Я хотел побыть один, подумать, поразмышлять. Мне нужно прийти в себя после того, что случилось.

ЖАН-ПЬЕР. Здесь неудачное место. В центре города есть шикарная пивнушка, я как раз оттуда. Ни одного человека, никто тебе не мешает думать, размышлять и приходить в себя.

*Появляется Ахмед.*

ЖАН-ПЬЕР. Смотри, кто к нам пожаловал! Ахмед! Дорогой! Проходи! Вот кому нужно уединиться. Ты в порядке, Ахмед? Что-то у тебя... не ушибся? Тебе бы к врачу... Я смотрю, у тебя и здесь, и тут... Тебе в больницу нужно.

АХМЕД. Не трещи.

ЖАН-ПЬЕР. Не обращай внимания к врачам – летальный исход.

АХМЕД. Ай, хватит!

ЖАН-ПЬЕР. Один мой знакомый от лёгкой, почти незаметной царапинки отправился на беседу к ангелам. А у тебя не царапина.

АХМЕД. Слушай, ты не умолкаешь ни на секунду! Можешь заткнуться?

ЖАН-ПЬЕР. Я тебе добра хочу, проявляю заботу...

*Появляется Иванов.*

ИВАНОВ. Какая встреча! Какая удача! Друзья мои!.. Я вас искал!

АХМЕД (Жан-Пьеру). Это кто?

ИВАНОВ. Иванов я! Посол мира! Посол дружбы! Ребяг, бросьте вы дурака валять! Обнимемся! Мы же почти родственники!

ЖАН-ПЬЕР. Ты тоже?

ИВАНОВ. Нет, у меня облом, ничего не вышло, был отшит как последний неудачник. Но это не повод, господа, чтобы опускать голову. Смотрите, что принёс. К чему отчуждённость и враждебность? Сейчас начнём с ними бороться. Иди сюда, Томас! Ахмед! Я и одеяльце притащил и всё, что на него поставить. Пикник на травке. Жан-Пьер, помогай, помогай...

ЖАН-ПЬЕР. Хорошо подготовился, всех по имени знаешь.

ИВАНОВ. Держи, держи... Наливаем, разбираем... Ахмед, не волнуйся, чище этого продукта в мире ничего нет. Что ж, господа женихи, есть повод выпить. Кто со мной?

ТОМАС. Я её люблю.

ИВАНОВ. Кто ж не любит? Такая женщина!

ЖАН-ПЬЕР. Да, женщина!

АХМЕД. Настоящая баба.

ИВАНОВ. Баба с большой буквы. За успех!

АХМЕД. За успех надо бороться, а не пить.

ЖАН-ПЬЕР. Бороться надо за удачное приземление.

АХМЕД. Ты меня хочешь оскорбить?

ИВАНОВ. Брось, Ахмед, Жан-Пьер тоже летать умеет.

ЖАН-ПЬЕР. Я птица низкого полета.

ТОМАС. Да уж, не то, что Кайю. Тот, видать, прям в Шанхай приземлился.

ЖАН-ПЬЕР. А Мэрфи, помнишь Мэрфи? Чего он только не делал тогда. И на губной гармошке играл, и травкой угощал.

АХМЕД. Я помню австралийца. С коалой приехал, надеялся, что зверь поможет подобраться к сердцу Хельги...

ТОМАС. Вот болван был, он бы ещё кенгуру приволок.

ИВАНОВ. Да, много их было. Обо всех слышал, читал. Во всех газетах писали. У нас за этим делом следят, народ обеспокоен и волнуется очень.

АХМЕД. В России?

ИВАНОВ. Повсюду, где есть русские.

ЖАН-ПЬЕР. Почему?

ИВАНОВ. Потому что русский человек не может быть безразличным, безучастным к чужому горю. Мы, если увидим кого грустившим, так у нас уже душа не на месте, мы уже себе места не находим, так и рвёмся, чтобы как-то развлечь тоскующего. Хоть

меня возьмите. Я почему вас тут собрал? Чтобы облегчить ваши и свои страдания. Выпьем, друзья.

*Все, кроме Ахмеда, пьют.*

ИВАНОВ. Пей-пей, Ахмед, горе заливают водкой и оно в ней тонет. Хочешь, чтоб твоё горе утогло, пей. С нас бери пример. Ну, ребята, по второй. (*Разливает*).

ТОМАС. Нет, я не понимаю, как это может быть, не понимаю! Я – отец её детей!

АХМЕД. Мы тут почти все отцы.

ИВАНОВ. Какие наши годы. Отказники всех стран, объединяйтесь!

*Все, кроме Ахмеда, пьют.*

ЖАН-ПЬЕР. Боюсь, на сей раз придётся уезжать. Что ни делаю, ничего не выходит. Придётся возвращаться домой ни с чем. Ни с кем. Да, Ахмед?

АХМЕД. Что?

ЖАН-ПЬЕР. Домой надо ехать.

АХМЕД. Надо.

ТОМАС. Правильно, здесь больше делать нечего.

ИВАНОВ. Мужики, а может нам в Россию, а?

ЖАН-ПЬЕР. Нет, по домам.

ИВАНОВ. Так значит, на посошок?

ТОМАС. Это что?

ИВАНОВ. По последней, и разбегаемся.

*Все, кроме Ахмеда, пьют.*

ТОМАС. Нет, не могу я понять! Она же немка! Немка!

ЖАН-ПЬЕР. А я – француз, дальше что?

ТОМАС. Она – немка, я – немец! Мы – немцы! А ты!.. француз! Хельга, Хельга! Нет, я ей скажу!

ИВАНОВ. Стоп, мы ж договорились, по домам. Ну, всё, мужики вы его до вокзала проводите, а я тут пока приберусь...

ТОМАС. Сегодня никуда не поеду. Завтра. Я остаюсь, буду здесь спать. Тише, я отдыхаю.

ЖАН-ПЬЕР. Он не в состоянии никуда идти, пусть спит, я за ним послежу.

ТОМАС. Не надо за мной следить! Дайте поспать спокойно! Идите, вы мне мешаєте.

ИВАНОВ. Накормил, напоил, а теперь – мешаю! Что тут скажешь! Жан-Пьер, идёшь?

ЖАН-ПЬЕР. Да.

ИВАНОВ. Ахмед?

АХМЕД. Иду.

*Иванов, Жан-Пьер, Ахмед идут в разные стороны, постоянно оглядываясь друг на друга. Томас украдкой поглядывает на них.*

*Появляется Маттиас.*

*Томас вскакивает, спешит к Маттиасу.*

*Иванов, Жан-Пьер, Ахмед подслушивают.*

ТОМАС. Господин бургомистр, господин бургомистр!..

МАТТИАС. Извините...

ТОМАС. Господин бургомистр!..

МАТТИАС. Кто вы? Что вам надо?

ТОМАС. Я – Томас! Подождите! Пожалуйста!.. Я люблю вашу мать! Жить без неё не могу!..

МАТТИАС. От меня что вам надо?

ТОМАС. Вы же сын! У меня тоже есть дети, они ваши братья!..

МАТТИАС. Для меня тут все братья. К тому же часть из них меня раздражает, возможно, это именно ваши дети.

ТОМАС. Нет, мои – нет. Я другое хотел сказать...

МАТТИАС. Быстрее, я спешу.

ТОМАС. Может быть, вы позвоните вашей маме? Это очень важно! Потому что ради неё я готов на все! Скажите ей, что я не могу без неё!

МАТТИАС. Сами и скажите.

ТОМАС. Она меня не слушает! Не верит мне!

МАТТИАС. Правильно делает.

ТОМАС. Нет, я хотел сказать...

МАТТИАС. Знаю.

ТОМАС. Мы же немцы!

МАТТИАС. Да-да.

ТОМАС. Маттиас!..

МАТТИАС. Я хочу домой.

ТОМАС. Маттиас!..

МАТТИАС. Ну?

ТОМАС. Возможно, возможно!..

МАТТИАС. Вы хотите покончить с жизнью. Верёвку можно купить в любом магазине, денег могу дать.

ТОМАС. Маттиас!..

МАТТИАС. Вы меня на жалость не берите. Во-первых, я этого не люблю, во-вторых, у меня таких жалостливых и без вас хватает.

ТОМАС. Возможно, вы мой сын!

МАТТИАС. Что?..



ТОМАС. Мы же немцы!.. то есть, я хотел сказать... мы похожи, посмотрите на себя! Вы же вылитый я! Сынок, сыночек!..

МАТТИАС. Да не лезьте вы!..

ТОМАС. Сынок!.. Посмотри на себя! Нос, рот, уши!.. Мои гены, сразу видно.

МАТТИАС. Нисколько мы не похожи.

ТОМАС. Да что ты! Как две капли!

МАТТИАС. У нас даже волосы разного цвета.

ТОМАС. Я крашусь.

*Появляется Жан-Пьер.*

ЖАН-ПЬЕР. Да какой он, к черту, отец! Врёт! И совсем вы не похожи!

МАТТИАС. Мне тоже кажется, что не очень...

ЖАН-ПЬЕР. Более непохожих людей я ещё не встречал.

ТОМАС. Что ты влез?! Какое твоё дело?!

ЖАН-ПЬЕР. Посмотри на нас внимательно. Маттюш, встань рядом. Ну?

ТОМАС. Что?

ЖАН-ПЬЕР. Сравнивай, сравнивай!

ТОМАС. Да что тут сравнивать! Земля и небо! Всё не совпадает!

ЖАН-ПЬЕР. Правильно. Потому что он в деда, в отца моего. Копия мой отец. Ты, Томас, заврался. Уже давно доказано, гены передаются через поколение. Понял? Через поколение. То есть не может он быть похожим на тебя, при всём желании не может. (*Маттиасу*). Смотрю я на тебя, сынок, и поражаюсь этому сходству.

МАТТИАС. А вы кто?

ЖАН-ПЬЕР. Отец!

МАТТИАС. Мой отец?

ЖАН-ПЬЕР. Ну, вылитый папа!

ТОМАС. Какой он отец?! Он – француз! Француз! А ты – немец! Не может быть немцем француз! Мы немцы, сынок!

ЖАН-ПЬЕР. У меня и фотография есть.

МАТТИАС. Фотография?

ЖАН-ПЬЕР. Мы гуляем с тобой по городу, никого больше, только ты и я.

МАТТИАС. Вдвоём?

ТОМАС. Врёт.

ЖАН-ПЬЕР. Втроем. Париж, ты и я. Ты ещё такой маленький, грудной, в коляске лежишь, а я тебя везу по улицам Парижа.

МАТТИАС. Я никогда не был в Париже.

ТОМАС. Врёт, нет у него никаких фотографий.

ЖАН-ПЬЕР. Полно.

ТОМАС. Не верь ни слову – фотошоп.

*Появляется Ахмед.*

АХМЕД. Хельга своих детей от себя не отпускает. Тем более, грудничков.

ТОМАС. Да.

АХМЕД. Тем более за границу.

ТОМАС. Да.

ЖАН-ПЬЕР. Это была короткая экскурсия.

АХМЕД. Не отпускает даже на час. (*Маттиасу*). Я тоже мог бы сказать, что ты мой сын. Но я этого делать не буду. Потому что я честный человек и не люблю врать.

ЖАН-ПЬЕР. Очень интересно.

АХМЕД. Пойми, Маттиас, то, что говорят эти люди, не имеет ни малейшего значения. Это лишь слова, к тому же лживые. Слова, крепко выпивших людей.

ТОМАС. Ты что, Ахмед?!

АХМЕД. Вы на него совсем не похожи. И это самое лучшее, что может быть. Он одно лицо со своей матерью! Это и есть самое ценное! Потому что только такому человеку я мог быть отдать самое дорогое, что у меня есть. Маттиас, я отдам за тебя свою дочь! С ней ты будешь счастлив! Она будет тебе лучшей женой, лучшей матерью твоих детей, любовницей, музой! У тебя есть муза?

МАТТИАС. У меня на муз нет времени.

АХМЕД. Правильно, потому что ты пока не видел настоящую музу. Ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло, Маттиас!

ЖАН-ПЬЕР. Вот подлец!

*Появляется Иванов.*

ИВАНОВ. Мотя, никого не слушай, все они гонят такую!.. Чушь собачья! Меня слушай! Забудь всю эту лабуду, раз и навсегда выкинь из головы.

АХМЕД (*Иванову*). Уйди, зачем ты здесь!

ИВАНОВ. Заговор! Я здесь для того, чтобы раскрыть заговор! Мне плевать на вас. Хочешь быть отцом, будь им, пусть вас будет двое, трое, плевать! Даже лучше! Снаряд два раза в одну воронку не падает.

ТОМАС. Это он о чём?

ИВАНОВ. Мотя, слушай, я займу не много времени. В твоём городе заговор, свидетелем которого являемся все мы. Ты же видел этого парня? Ну, этот... у твоей матери. Ну, скрипач.

ЖАН-ПЬЕР. Русские во всём видят заговор.

ТОМАС. Точно, весь мир против них.

АХМЕД. Пусть скажет.

МАТТИАС. И что?

ИВАНОВ. Вы думаете, он обыкновенный человек, музыкантишка, и говорить о нём не стоит. Всё правильно. Есть только один незначительный вопрос. Зачем он здесь?

МАТТИАС. Разве не вы его привезли?

ИВАНОВ. Верно. Но для чего я это сделал? Чтобы с помощью его способностей завоевать сердце твоей матери. Я ведь не знал, что у этого!.. что у него были свои задачи... связанные не только с Хельгой, или со всем городом, Маттиас. Всех вокруг пальца обвёл. И меня, и мать твою, и тебя тоже. Этот человек втёрся в моё доверие, преследуя лишь одну цель, и цель эта не твоя мать. Его цель – ты.

МАТТИАС. Я?!

АХМЕД. Ты о ком говоришь, Иванов? О еврее?

ИВАНОВ. Национальность здесь ни при чём.

МАТТИАС. Так что он хочет?

ИВАНОВ. Ты имеешь в виду, не лирику всякую для отвода глаз, а настоящую его цель?

ЖАН-ПЬЕР. Говори уже, не томи.

ИВАНОВ. Он хочет занять твоё место, Маттиас. Стать бургомистром. Поэтому он и оказался со мной. А как можно стать бургомистром, скажи, как? Томас, ты знаешь, как посторонний, малознакомый, да что там, совсем незнакомый человек может стать главой города? Жан-Пьер? Ахмед, может быть, тебе известен способ?

ТОМАС. Теперь всё ясно!

МАТТИАС. Вы считаете, что его цель занять мою должность?

ИВАНОВ. Бедный, забитый человек, жалкий оркестрант. Как я сразу не догадался, он же мне все уши прожужжал – вот если б я был бургомистром, если б в моём подчинении был целый город... Только теперь понял, что это была не просто болтовня, а целый хитроумный план.

ТОМАС. И вероломный.

ИВАНОВ. Точные слова.

АХМЕД. Вот подлец!

ЖАН-ПЬЕР. Кто?

АХМЕД. Еврей, конечно.

МАТТИАС. Как-то мне не верится...

АХМЕД. Он Хельгу в себя влюбил!..

ЖАН-ПЬЕР. Мы не смогли, а этот смог.

ТОМАС. Коварный!

ЖАН-ПЬЕР (*Маттиасу*). И не заметишь, как перестанешь возглавлять город.

ИВАНОВ. Вот увидишь, пройдёт совсем немного времени, и он как-нибудь засветится.

МАТТИАС. Вы серьёзно считаете, что он?.. Нет, я не верю, не могу поверить.

ИВАНОВ. Сначала он получит одну должность, потом другую...

МАТТИАС. Должность? Да, какие-то разговоры уже были.

ИВАНОВ. Погоди немного и разговоры совсем прекратятся. У бургомистра нет времени для пустого трёпа.

МАТТИАС. И что, по-вашему, я должен делать?

ТОМАС. Убить!

ЖАН-ПЬЕР. Давно об этом говорю.

АХМЕД. Ты – давно, а я – всё время.

МАТТИАС. Убить?!

ИВАНОВ. Убийство – самая крайняя мера. Его можно было бы посадить в тюрьму, выдворить из страны. Конечно, это возможно.

МАТТИАС. Правильно, я так и сделаю!

ИВАНОВ. Но только при одном условии – если Хельга перестанет быть Хельгой. В противном случае она не позволит сделать ни один шаг против еврея.

ТОМАС. Точно.

ИВАНОВ. Выводы делай сам.

ЖАН-ПЬЕР. Какие выводы? И так всё ясно.

АХМЕД. Другого выхода нет.

ЖАН-ПЬЕР. Бывают такие ситуации, когда зло может остановить только зло.

МАТТИАС. Убить?!

АХМЕД. Убить еврея.

ИВАНОВ. Национальность здесь ни при чём.

АХМЕД. Да, ни при чём.

МАТТИАС. Убить!..

ИВАНОВ. Иначе его не остановить.

МАТТИАС. Убить... Нет, это невозможно. Абсолютно невозможно. Я даже не понимаю, как вы могли мне предложить?.. ведь я... как у вас язык повернулся? А он... Как вам могло прийти в голову?.. Ведь, я, ведь он, а вы... Как, по-вашему, я должен это сделать?

ЖАН-ПЬЕР. Пистолет у тебя есть?

АХМЕД. Или кинжал?

ТОМАС. Отравить можно.

МАТТИАС. Я – не убийца!

ИВАНОВ. Ну, конечно же, ты не убийца. Неужели ты подумал, что мы толкаем тебя на преступление, на убийство, чтобы ты своими руками?.. Своими руками! О чём ты говоришь?! Поверь, это не в наших интересах! Это ни в чьих интересах! Послушай, в соседнем городе слоняются двое уголовников, дела себе не находят, соскучились без работы. Профи. Всё сделают так, что он даже не заметит: ни боли, ни мучений, ничего. Совсем. Опс – и нет еврея. Очень гуманные люди. Вот тебе их телефон... Ты поспеши, они уезжать собираются.

МАТТИАС. Убить?!

ИВАНОВ. Это единственный твой шанс.

ТОМАС. Убить.

ЖАН-ПЬЕР. Убить.

АХМЕД. Убить.

МАТТИАС. Убить...

## Действие второе

*Дом Хельги. Хельга и Аарон.*

ХЕЛЬГА. Ты даже представить не можешь, как я счастлива!

ААРОН. Мы почти не знаем друг друга.

ХЕЛЬГА. Я тебя знаю.

ААРОН. Мы знакомы совсем недолго.

ХЕЛЬГА. Иногда бывает и секунды достаточно, чтобы узнать человека. Иногда хватает взгляда, чтобы понять – перед тобой родственная душа. И слов не нужно.

ААРОН. Это сначала, потом могут понадобиться.

ХЕЛЬГА. Думаешь, мы не найдём, о чём говорить?

ААРОН. Найдём.

ХЕЛЬГА. Ты сомневаешься.

ААРОН. Я заставляю себя сомневаться. Потому что не понимаю, не могу поверить... Со мной ничего подобного не было. Никогда.

ХЕЛЬГА. У меня то же самое!

ААРОН. Я музыкант, скрипка приучила меня считать, а с тобой постоянно сбиваюсь со счёта. Понимаешь? И это прекрасно!

ХЕЛЬГА. Ты играешь, как бог!

ААРОН. Я не об игре, я о себе, о том, что плохо понимаю, что со мной. Это похоже на болезнь. Я болен и мне нужен доктор. Очень нужен. И я его уже нашёл. Ты – мой доктор! И моя болезнь – тоже ты! Такая прекрасная, самая лучшая болезнь!.. Раньше, когда я читал о тебе, я не мог понять, что все эти люди в тебе находят, почему только о тебе и говорят, не верил в искренность их слов. Но когда я тебя увидел... когда остался с тобой наедине... я понял, что больше не хочу покидать тебя. Хочу быть всегда рядом, ни на секунду не расставаться с тобой. Не понимаю, как это могло со мной случиться! Я совсем не такой человек, который может без оглядки!.. Я так не умею!

ХЕЛЬГА. Роня...

ААРОН. Потерять голову – видимо, это и есть счастье.

ХЕЛЬГА. Это и есть счастье! Ты ведь знаешь, у меня было много всяких мужчин...

ААРОН. Я бы должен ревновать, а мне всё равно, плевать мне на них, потому что они в прошлом! А в настоящем – я!

ХЕЛЬГА. Только ты! Ни к одному из мужчин у меня не было такого чувства. С ними всё было более или менее одинаково – тоска беспроблемная, а вот с тобой... с тобой всё совсем иначе... Я всю жизнь мечтала, что когда-нибудь встречу человека и у меня к нему возникнут настоящие чувства. То, что было в моих мечтах, сущая ерунда по сравнению с тем, чем теперь я обладаю.

ААРОН. Когда ты куда-нибудь уходишь, я не нахожу себе места. Я хочу, чтобы ты всё время была рядом, чтобы мы ни на секунду не покидали друг друга.

ХЕЛЬГА. Да.

ААРОН. Всё время думаю о тебе.

ХЕЛЬГА. Каждое мгновение, и ужасно боюсь, что ты уедешь...

ААРОН. А я боюсь, что пройдёт время и ты разлюбишь меня...

ХЕЛЬГА. Ты не уедешь?

ААРОН. А ты не охладеешь ко мне?

ХЕЛЬГА. Моя любовь с каждым днём становится только сильнее.

ААРОН. Хельга!..

ХЕЛЬГА. Наконец, наконец, я узнала, что это такое! Какое счастье – любить, какое счастье – быть любимой! Впервые в жизни я не хочу думать ни о чём и ни о ком, кроме тебя, Аарон! И это так прекрасно!

ААРОН. Во мне звучит музыка! Представляешь? Я переполнен музыкой! Каждая моя клетка превратилась в музыку!

ХЕЛЬГА. А я впервые в своей жизни переполнена чувствами! И я не знаю, что мне с ними делать, что мне с тобою делать, что мне делать с собой! Я ничего не знаю! И это так... прекрасно! Мне хочется танцевать! Потому что я слышу твою музыку! Давай танцевать! Роня, Роня!..

ААРОН. Я не умею.

ХЕЛЬГА. Все умеют танцевать.

ААРОН. Ну... я попробую...

*Танцуют.*

ААРОН. Я ужасно неуклюжий... да? Вот, видишь...

ХЕЛЬГА. У тебя отлично получается!

ААРОН. Хельга!..

ХЕЛЬГА. Я не танцевала целую вечность! Мне было лет девять, когда я танцевала в последний раз. Мы с мамой жили в маленьком

городке, там у меня была подружка... Забыла, как её звали. Мы с ней отплясывали вдвоём. Она приходила ко мне, мы прихорашивались: красились, делали причёски, наряжались, потом включали музыку и вместо того, чтобы делать уроки, плясали до упада. Нам было так весело! Уроки начинали делать, только когда хлопала входная дверь, приходила мама. Потом я начала ещё быстрее расти, и моя подружка стала сторониться меня, стеснялась, наверное...

ААРОН. Тебя стеснялась?

ХЕЛЬГА. Всё-таки девять лет.

ААРОН. Я в этом возрасте уже всю пиликал, чуть ли не спал со скрипкой. Хотя меня, в отличие от родителей, она мало интересовала. Во всём мой дед виноват, это был его выбор. Когда мне было года четыре, он посмотрел на мои пальцы и сказал отцу: мальчик должен играть на скрипке. А когда выяснилось, что и слух у меня абсолютный, деваться было некуда. В тринадцать лет я решил бросить занятия, но дед обнял меня: «Мальчик мой, – сказал он, – скрипка – это деньги. Даже если ты не станешь великим музыкантом, у тебя всегда будет заработок. Люди рождаются, женятся, умирают. И всё это под музыку, мой дорогой внук». Дал подзатыльник, и дело с концом. Так что мне было не до танцев.

*Входит Маттиас.*

МАТТИАС. Мама...

ХЕЛЬГА. Здравствуй, сынок.

ААРОН. Привет, Маттиас.

МАТТИАС. Я не вовремя...

ААРОН. Совсем наоборот. Хельга, ты позволишь? У меня к тебе совершенно неотложное дело. Мне без тебя, без твоего разрешения никак не справиться. Я про консерваторию.

МАТТИАС. Что?..

ААРОН. У меня в школе такое количество талантов, что можно смело открывать консерваторию. Надо же им после школы куда-то идти продолжать учёбу? А куда?

МАТТИАС. Они могут поехать в другой город.

ААРОН. Но можно же и никуда не ездить. Мы построим свою консерваторию. Пусть едут к нам. Представляешь?

МАТТИАС. Сначала – консерваторию, потом...

ААРОН. Потом – концертный зал. Но до этого ещё надо дожить.

МАТТИАС. Да.

ААРОН. Времени у нас достаточно.

МАТТИАС. У меня времени ни на что не хватает.

ААРОН. Тебе нужен помощник, который занимался бы культурой. На первых порах мог бы помочь я...

*Входит Тамара. В её руках чемоданчик.*

ХЕЛЬГА. Мама?.. Мам... Мама, ты слышишь меня?!

ТАМАРА. Что ты хочешь?

ХЕЛЬГА. Куда ты?

ТАМАРА. В Грузию.

ХЕЛЬГА. В Грузию?!

ТАМАРА. Моё сердце зовёт меня туда.

ХЕЛЬГА. Прямо сейчас зовёт?

ТАМАРА. Чем тебя не устраивает это время?

ХЕЛЬГА. Почему именно сейчас? Я же тебе сказала – ты обязательно поедешь. Я должна найти самолёт, гостиницу...

ТАМАРА. Ах, милая, я еду в свой родной город. Неужели ты думаешь, я не найду, где остановиться?

ХЕЛЬГА. Мама...

ТАМАРА. Не говори ничего, не хочу тебя слушать.

ХЕЛЬГА. А как же детский сад?

ТАМАРА. Там всё так отлажено, что я им не нужна.

ХЕЛЬГА. Ты нужна мне.

ТАМАРА. Я должна увидеть мой город, мой Кутаиси.

ААРОН. Никогда не был в Грузии...

ТАМАРА. Мой город, моё сердце, моё счастье, моя боль!

ААРОН. Очень люблю грузинские песни, они невероятно красивые, трогающие душу.

ТАМАРА. Ты знаешь грузинские песни?

ААРОН. Некоторые забыть невозможно.

ТАМАРА. Никакие забыть невозможно! Они божественны!

*Аарон поёт. Тамара слушает.*

ТАМАРА. Божественны!..

ХЕЛЬГА. Мама!.. Мама!..

*Тамара уходит.*

ХЕЛЬГА. Её нужно остановить. Маттиас, останови бабушку.

МАТТИАС. Мама, мне нужно с тобой поговорить.

ХЕЛЬГА. Догони бабушку!

ААРОН. Я остановлю её...

*Аарон выходит.*

МАТТИАС. Удачно получилось.

ХЕЛЬГА. Что?

МАТТИАС. Я хотел с тобой поговорить наедине.

ХЕЛЬГА. У меня от Аарона секретов нет.

МАТТИАС. Зато они есть у меня.

ХЕЛЬГА. Что ты хочешь?

МАТТИАС. Этот Аарон... у меня плохие предчувствия, мама.

ХЕЛЬГА. Я слушаю.

МАТТИАС. Ты не знаешь, что он за человек, откуда он, зачем он здесь.

ХЕЛЬГА. Он – хороший человек, этого более, чем достаточно.

МАТТИАС. Он из России, этим людям доверять нельзя. Он приехал только для того, чтобы проникнуть в твой дом.

ХЕЛЬГА. Кто тебе это сказал?

МАТТИАС. Мама, он еврей!

ХЕЛЬГА. Кого только нет среди твоих братьев.

МАТТИАС. При чём здесь мои братья! Я говорю о человеке, который хитростью пробрался в твой дом и который, точно, на этом не остановится. У него серьёзные планы, мама!

ХЕЛЬГА. Интересно.

МАТТИАС. Ты же сейчас всё сама слышала. Консерватория, концертный зал, помощник по культуре... Я сам не верил, но теперь убедился, услышал собственными ушами. Ещё вчера его никто не знал, сегодня у него школа, а завтра весь город. Самое лучшее, что можно было придумать – пойти в школу: дети впитывают быстро, что нужно и что не нужно. Мама... я беспокоюсь в первую очередь о тебе... Кто, как ни я, должен думать о тебе? Кто, как ни я, должен думать о своих братьях? Ведь я твой сын, старший сын. На мне лежит ответственность не только за нашу семью, но и за всё, что происходит в городе. Никогда ничего подобного я тебе не говорил, никогда не обсуждал твоих мужчин, отцов моих братьев, потому что меня, нет, нас всех это не касалось, но теперь другая ситуация, совсем другая. Теперь я хочу обсудить твоего нового друга, опасного человека, еврея.

ХЕЛЬГА. Ты мне надоел, Маттиас.

МАТТИАС. Дело не в национальности.

ХЕЛЬГА. Кто тебе нашептал всю эту глупость?

МАТТИАС. Сначала я тоже не поверил, посмеялся, но прошёл месяц, и об этом заговорили все мои братья, весь город.

ХЕЛЬГА. Весь город обсуждает грядущий захват власти Аароном?

МАТТИАС. Он хочет стать бургомистром, мама.

ХЕЛЬГА. А что же будет с тобой, Маттиас?  
 МАТТИАС. Я не знаю, всякое говорят.  
 ХЕЛЬГА. Убьёт он тебя, что ли?  
 МАТТИАС. Всё может быть.  
 ХЕЛЬГА. А почему на всё это соглашусь я?  
 МАТТИАС. Потому что ты во всём идёшь у него на поводу. Во всём, в каждой мелочи. И даже этого не замечаешь. Мы сами знаем, на что тратить наши деньги. И сами принимаем решения! Целый месяц я и мои братья смотрим за тобой, ты очень изменилась, мама, такой ты никогда не была.

ХЕЛЬГА. Да, я, кажется, немного похудела и как-то... уменьшилась, что ли. Вся одежда велика. Ты не находишь?

МАТТИАС. Я не об этом. Он опасен, мама.  
 ХЕЛЬГА. Не люди опасны, а их мысли. Твои мысли, Маттиас.  
 МАТТИАС. Он играет тобой.  
 ХЕЛЬГА. Маттиас, ты не устал?  
 МАТТИАС. Открой глаза, мама, посмотри вокруг себя. Ты должна выбрать, кто тебе ближе, кто дороже: он или я, он или твои дети, он или весь город, он или наше будущее!

ХЕЛЬГА. Б-же, какая глупость!  
 МАТТИАС. Если ты не выберешь...

*Входит Аарон.*

ААРОН. Всё нормально, Тамара идёт следом.  
 МАТТИАС. Этого не случится.  
 ААРОН. Чего?  
 МАТТИАС. Бабушка не пойдёт следом.

*Маттиас выходит.*

ААРОН. Я не понял, что он хотел этим сказать.  
 ХЕЛЬГА. Я его тоже понимаю с трудом.  
 ААРОН. Мне кажется, он ревнует.  
 ХЕЛЬГА. Я тебе не сказала, вчера была у врача, у гинеколога. Я беременна. Один месяц, целый месяц!  
 ААРОН. Беременна?! Беременна! Месяц! Хельга!.. Вот это счастье, настоящее счастье!  
 ХЕЛЬГА. Не в этом новость, это было и так понятно. Моя беременность... я не знаю... она протекает необычно. Никогда такого не было. У меня должен бы быть вот такой живот, а, посмотри, его совсем нет, как будто ничего... Врач сказал, что плод развивается нормально, хотя и неестественно для меня.

ААРОН. Это же самое главное, что нормально! А пол, какой пол, сказал?  
 ХЕЛЬГА. У меня – только мальчики.  
 ААРОН. Хельга!..  
 ХЕЛЬГА. Я очень беспокоюсь, всё так странно.  
 ААРОН. Моя дорогая, моя любимая!.. Это так здорово, просто не знаю... Давай выпьем! Выпьем за нашего первенца! Нет! Ты беременна, тебе нельзя! Давай поедим! Или пойдём куда-нибудь! Или не знаю что!.. Как-то нам нужно отметить!

ХЕЛЬГА. Какой же ты смешной, Роня.  
 ААРОН. Я серьёзно.  
 ХЕЛЬГА. Если бы я отмечала каждую беременность...  
 ААРОН. Это «не каждая».  
 ХЕЛЬГА. С этим я согласна.  
 ААРОН. Давай хоть в школу ходим. Дети покажут, чему я их научил. Знаешь, как они будут рады, если ты придёшь их послушать! И я тоже. Это ведь моя школа. Смешно звучит «моя школа»... Кто бы мог подумать, что у меня когда-нибудь будет своя школа?

ХЕЛЬГА. Роня, сыграй мне, я так люблю, когда ты играешь.  
 ААРОН. А я люблю, когда ты слушаешь. Сейчас инструмент возьму...  
 ХЕЛЬГА. Приходи скорей.

*Аарон выходит.  
 Входит Тамара.*

ХЕЛЬГА. Мама, ну, куда ты поскакала?  
 ТАМАРА. От тебя далеко не ускачешь. Роня твой в автобус сесть не дал. Если б не он...  
 ХЕЛЬГА. Разве так можно? Всё в порядке?  
 ТАМАРА. В каком порядке, если я здесь.  
 ХЕЛЬГА. Я закажу тебе билет, подожди немного.  
 ТАМАРА. Я встретила Маттиаса. Он сам не свой. Что случилось?  
 ХЕЛЬГА. Всё хорошо, мама. Или почти всё.  
 ТАМАРА. Что не так?  
 ХЕЛЬГА. Мне кажется, я как-то уменьшилась. Как ты думаешь, такое возможно?  
 ТАМАРА. Люди к старости усыхают.  
 ХЕЛЬГА. Мама!  
 ТАМАРА. Ты, и правда, похудела немного.  
 ХЕЛЬГА. Я же говорю. Похудела и уменьшилась. Рукава длинны, здесь тоже... И туфли стали велики... Странно как-то...  
 ТАМАРА. А как ты себя чувствуешь?

ХЕЛЬГА. В том-то и дело, что, как никогда, прекрасно.

ТАМАРА. А что врач говорит?

ХЕЛЬГА. Обследовал меня, ничего не нашёл, все показатели отличны.

ТАМАРА. Ну, и не думай об этом.

ХЕЛЬГА. Легко сказать... Ладно, сменим тему. Что в городе говорят?

ТАМАРА. А про что они должны говорить?

ХЕЛЬГА. Что-то, может, обсуждают?

ТАМАРА. Да кто их знает, я не прислушиваюсь.

ХЕЛЬГА. Про Аарона ничего не слышала? Маттиас говорит, что все недовольны.

ТАМАРА. Не знаю такого. Чем недовольны?

ХЕЛЬГА. Вот и я не понимаю.

ТАМАРА. Не иначе, потому что еврей?

ХЕЛЬГА. При чём здесь?.. Мои дети от отцов разных национальностей, это не должно их беспокоить.

ТАМАРА. Разные и не беспокоят.

ХЕЛЬГА. Не понимаю.

ТАМАРА. Эта зараза распространяется быстрее прочих.

ХЕЛЬГА. Объясни.

ТАМАРА. Еврей, он тем и хорош, что всегда найдётся, за что его не любить.

ХЕЛЬГА. Мама, ну, что ты говоришь.

ТАМАРА. Я говорю, что не обязательно нужна причина, чтобы ненавидеть еврея. Люди это делают веками с большой радостью, не заботясь о причинах. Только и ждут, когда же придёт такая возможность. Приходит, и тут их не остановить. Было уже, знаю. Не думала, что эта болезнь и до нас дойдёт.

ХЕЛЬГА. Неоткуда ей взяться.

ТАМАРА. Ненависть передаётся по воздуху. Но без доброжелателей, ясное дело, не обходится. Кто-то должен был объяснить эту гадость.

ХЕЛЬГА. Ты думаешь, есть кто-то, кто влияет на Маттиаса?

ТАМАРА. Ненависть не только воспитывается, но и внушается. Бывает, переходит по наследству. В Грузии у евреев никогда не было проблем, двадцать шесть веков не было.

ХЕЛЬГА. Где же Аарон? Он хотел поиграть. Я так люблю, когда он играет.

ТАМАРА. Придёт, куда он денется.

*Слышно несколько выстрелов, бряканье скрипки.*

ХЕЛЬГА. Что это? Ты слышала?

ТАМАРА. Идёт твоё сокровище.

ХЕЛЬГА. Мне с ним так хорошо, ты себе даже не представляешь.

ТАМАРА. А то я не вижу. Сядь, успокойся.

ХЕЛЬГА. Он уже здесь больше месяца, а мои чувства переполняют меня, будто он только появился, будто я его только увидела! Как тогда, в первый день! Никогда со мной такого не было. Теперь я поняла, что значит влюбиться по уши! И не хочу думать о нём, а думаю! Каждую секунду! Его нет двадцать минут, а для меня как будто целый день! А когда он уходит в школу, я не нахожу себе места, минуты считаю! Не хочу его ни на секунду от себя отпускать. Была бы у меня возможность, приковала бы к себе. Ах, мама, как же это прекрасно – любить!

ТАМАРА. Что может быть лучше!

ХЕЛЬГА. Теперь я точно знаю – ничего!

ТАМАРА. Как мой Дато за мной ухаживал! Он боготворил меня! Он писал мне стихи, сочинял песни. И какие это были песни! Он никогда не пел под моими окнами, нет, он не хотел, чтобы у меня были неприятности. Он приходил на пустырь в полукилометре от дома и пел свои песни оттуда. И все говорили: «Как красиво поёт этот парень!» Но никто не знал, что его удивительные песни были адресованы только мне.

ХЕЛЬГА. Почему ты не вышла за него?

ТАМАРА. Однажды он пришёл ко мне, сказал, что хочет попроситься со мной. «Ты собираешься уезжать? – спросила я его. «Да», – ответил он тихо. «Куда, почему?!» – «Я не смогу без тебя жить, Тамара!» – воскликнул он и зарыдал как маленький ребёнок. Моё сердце чуть не разорвалось от жалости и печали. Он рассказал, что его родители нашли для него богатую невесту, на которой он должен жениться. «У меня уже есть невеста, и я женюсь только на ней!», – сказал им Дато. «Если ты не хочешь, чтобы с “твоей” невестой что-нибудь произошло, забудь эту глупость». Они пригрозили ему моей смертью. Да, такие раньше были нравы. «Прощай!» – прошептал он и бросился к обрыву. Он хотел покончить с жизнью. «Дато! Любимый мой! Умоляю! Не делай этого! Женись на ней, мне всё равно, лишь бы ты, лишь бы ты!..» Мы сели на траву и плакали до самого рассвета.

ХЕЛЬГА. И он женился на ней?

ТАМАРА. Что он мог сделать, мой бедный Дато?

ХЕЛЬГА. Ты его после этого видела?

ТАМАРА. Никогда больше. За твоего отца я вышла, можно сказать, с закрытыми глазами. Мне было всё равно, главное – уехать, навсегда покинуть Грузию!

ХЕЛЬГА. Почему ты никогда не рассказывала мне об этом?

ТАМАРА. Случая не было. И желания тоже. А сегодня увидела тебя и подумала: как же сильно ты изменилась в последнее время.

Ни на одного мужчину ты так не смотрела, как на своего Аарона. Никогда ты такой не была – доброй, внимательной, не шумной, не грубой... Вот и вспомнилось...

ХЕЛЬГА. Где же он?.. Прошло столько времени...

ТАМАРА. Да, долго он...

ХЕЛЬГА. Аарон?.. Пойду, посмотрю...

*Томас, Жан-Пьер, Ахмед, Иванов.*

*Поодаль стоят люди в народных костюмах, играют на музыкальных инструментах, поют.*

ИВАНОВ. Ну, с праздничком нас всех!

ЖАН-ПЬЕР. Сегодня праздник?

ИВАНОВ. Девять дней прошло. Разве не повод?

АХМЕД. Вы, русские, без праздников жить не можете, у вас каждый день какой-нибудь праздник.

ИВАНОВ. Потому что жизнь, Ахмед, это ограниченное по времени торжество: поел, попил, вышел из-за стола и напрямик в яму. Шутка.

ТОМАС. Да, скоро траур пройдёт и можно будет наведаться...

АХМЕД. Куда?

ИВАНОВ. Расслабься, Ахмед, выпей, сегодня день поминовения.

ЖАН-ПЬЕР. Помянуть надо.

АХМЕД. А ты уверен, что всё нормально?..

ИВАНОВ. Мои ребята по лесу гуляли, грибы-ягоды собирали, случайно наткнулись на тело. Народ тёмный, необразованный, сразу фотографировать начали. *(Показывает)*. Я потом тоже туда пошёл – нет тела, исчезло куда-то.

ЖАН-ПЬЕР. Исчезло и, слава богу.

ИВАНОВ. Воздух, воздух! Чувствуете, какой воздух? Как после грозы. Чистый, прозрачный.

ЖАН-ПЬЕР. Хорошие новости очищают воздух и успокаивают душу.

ТОМАС. И нервы.

ИВАНОВ. Расслабься, Томи.

ТОМАС. Теперь-то уж я расслаблен. Красиво поют.

ИВАНОВ. Ребят, вы не стесняйтесь, налегайте, пейте, угощайтесь.

ТОМАС. Щедрый ты человек, Иванов.

*Иванов подходит к Ахмеду.*

ИВАНОВ. Пойдём, Ахмед, я выполню твою просьбу.

АХМЕД. Какую просьбу?

ИВАНОВ. А кто девушкой интересовался?

АХМЕД. Какой девушкой?

ИВАНОВ. Вон той, голосистой.

АХМЕД. Зачем она мне?

ИВАНОВ. Пойдём, познакомлю. Пойдём, говорят тебе.

*Ахмед встаёт, они отходят в сторону.*

АХМЕД. Что ты от меня хочешь? Не нужна мне твоя девушка.

ИВАНОВ. Да погоди ты, не в ней дело. Хотя, согласишься, она хороша.

АХМЕД. Что хочешь?

ИВАНОВ. Жан-Пьер.

АХМЕД. Что с ним?

ИВАНОВ. Боюсь не с ним, а с нами.

АХМЕД. Ну?

ИВАНОВ. Задумал он что-то. Мы ж с тобой – конкуренты.

АХМЕД. Ну?

ИВАНОВ. Вот тебе и ну. Думай, голова.

АХМЕД. Я ему всегда не доверял. Французам верить нельзя.

ИВАНОВ. Ни французам, ни немцам.

АХМЕД. А что с немцем?

ИВАНОВ. Да то же, что и с французом – врёт.

АХМЕД. Что они задумали?

ИВАНОВ. Убрать нас.

АХМЕД. Вот собаки! Говори, не тяни!

ИВАНОВ. Тебе подробности нужны?

АХМЕД. Для равнозначного ответа.

ИВАНОВ. Мне мои люди донесли, мешаешь ты им.

АХМЕД. Я?

ИВАНОВ. Я, понятное дело, тоже. Но ты больше.

АХМЕД. Почему я – больше?

ИВАНОВ. Ты более для них опасен, в смысле, у тебя шансов больше.

АХМЕД. На что?

ИВАНОВ. На сердце Хельги! Короче, Ахмед, я тебя предупредил, действуй, иначе будут действовать они.

АХМЕД. Я понял.

ИВАНОВ. Ты посмотри, какая девушка! Обрати внимание на статью.

АХМЕД. Какая ещё девушка?

ИВАНОВ. Эта, эта.

АХМЕД. При чём здесь девушка?

ИВАНОВ. Ахмед!



АХМЕД. Очень красивая. Стройная, в теле. Я люблю, когда в теле. Чем может женщина удержать мужчину? Телом, большим телом. Худая не удержит. Её просто смахнул, и до свидания.

ИВАНОВ. Русскую бабу, будь она хоть соломинкой, хоть пушинкой, просто так не смахнешь.

*Томас и Жан-Пьер.*

ЖАН-ПЬЕР. Ты посмотри на них. Они нас за дураков считают. Думают, мы поверим, будто они беседуют о женщинах.

ТОМАС. Я никому не верю.

ЖАН-ПЬЕР. И мне?

ТОМАС. Тебе верю.

ЖАН-ПЬЕР. А я – тебе. Что думаешь об Иванове?

ТОМАС. Он из спецслужб.

ЖАН-ПЬЕР. ФСБ, это понятно. А Ахмед?

ТОМАС. Ахмед ради шаха пойдёт на преступление.

ЖАН-ПЬЕР. Там разве шах?

ТОМАС. Может, король или президент, не в этом дело.

ЖАН-ПЬЕР. Согласен.

ТОМАС. Они его готовят.

ЖАН-ПЬЕР. Преступление?

ТОМАС. Убийство.

ЖАН-ПЬЕР. Кто их цель?

ТОМАС, ЖАН-ПЬЕР (одновременно). Ты.

ТОМАС. Идут.

ЖАН-ПЬЕР. Сейчас всё выясню.

*Жан-Пьер направляется к Иванову, Ахмед – к Томасу.*

*Жан-Пьер и Иванов.*

ИВАНОВ. Жан-Пьер, дело – дрянь.

ЖАН-ПЬЕР. Да, плохо дело.

ИВАНОВ. Ахмед – скользкий тип.

ЖАН-ПЬЕР. И Томас – не шершавый.

ИВАНОВ. Он понимает, что против тебя у него шансов нет.

ЖАН-ПЬЕР. Томас всех подозревает, но тебя в особенности. ФСБ ему покоя не даёт.

ИВАНОВ. Я – что? Я здесь человек новый, а вот с тобой он будет сводить счеты, причём в ближайшее время, он мне так и сказал.

ЖАН-ПЬЕР. Вот сволочи! А у Томаса против тебя уже всё готово.

ИВАНОВ. Тут важно, кто сделает первый шаг. В данной ситуации побеждает первый.

ЖАН-ПЬЕР. Золотые слова. Учти, Томас это правило знает.

ИВАНОВ. Спасибо, что предупредил.

ЖАН-ПЬЕР. Мы же с тобой на одной стороне.

ИВАНОВ. Само собой.

*Томас и Ахмед.*

АХМЕД. У тебя оружие есть?

ТОМАС. Оружие – не проблема.

АХМЕД. Я тебе подарю лучшую саблю.

ТОМАС. А я тебе – пистолет.

АХМЕД. Но лучше – нож. Я тебе подарю нож, тупой, чтоб другим неповадно было. Или сабля лучше?

ТОМАС. Тупая?

АХМЕД. Острая, чтоб одним ударом – и голова с плеч.

ТОМАС. Нет, это мне не подходит, забрызгаюсь. Я лучше по старинке. А ты-то что хочешь? Может, тебе автомат или пулемет крупнокалиберный?

АХМЕД. Сабля, только сабля!

ТОМАС. Она у тебя с собой?

АХМЕД. Пришлют.

ТОМАС. Пойдём, не дадим им стовариваться.

АХМЕД. Если б у меня сейчас была сабля...

*Томас и Ахмед подходят к Иванову и Жан-Пьеру.*

АХМЕД. Выпьем?

ИВАНОВ. Вот это да! Слыхали? Ты же не пьёшь.

АХМЕД. Я не пью, но выпью. За смерть врага – не грешно.

ЖАН-ПЬЕР. Какого врага?

АХМЕД. У нас он один.

ТОМАС. Еврей?

АХМЕД. Других не знаю.

ТОМАС. Он же мёртв.

ЖАН-ПЬЕР. За это и выпьем.

ИВАНОВ. За победу, нашу победу.

*Дом Хельги.*

*Тамара, входит Маттиас.*

МАТТИАС. Как мама?

ТАМАРА. Дурной сон мне приснился, Маттиас. Будто я птица. И вот лечу я и вижу перед собой храм, невиданной красоты храм. Облетаю его, осматриваю каждую деталь – божественно, творение нечело-

веческих рук. Даже я – птица, – повидавшая много всего на свете, такого чуда никогда не видела. Счастье и гордость переполняют мою душу. Но я устала. Сажусь на вершину, на крест, чтобы немного передохнуть. Что делают птицы, когда там сидят? Изю всех сил пытаюсь стерпеть, делаю все возможное, но в последний момент не выдерживаю. Да... Даже самое прекрасное можно обгадить в одну секунду. А потом понеслось-поехало, нарочно туда прилетала и гадила на красоту, которой ещё недавно не могла налюбоваться. И в скором времени ничего от той красоты не осталось. Во всём нужен только первый шаг – и в дурном, и в прекрасном. Странный сон.

МАТТИАС. Я решил оставить пост бургомистра, передал его брату.

ТАМАРА. Зачем?

МАТТИАС. Хочу быть полезным матери.

ТАМАРА. Полезным ей может быть только один человек, но его нет и, похоже, никогда не будет.

МАТТИАС. Я вещи привёз, переселюсь к вам, чтобы быть поближе. Со мной ей будет легче.

ТАМАРА. Я тебе уже сказала, с кем ей будет легче. Четвёртый месяц пошел... Куда человек пропал? Она любила его, как никого другого. Я уж немало пожила, скажу тебе, такая любовь – штука редкая, ее сам Б-г посылает. Уж кто-кто, а я это знаю лучше всех. Не могли они друг без дружки. Как мы с Дато. Сдаётся мне, здесь что-то не чисто. Сама не знаю что именно, но чувствую, дело неладно. Интуиция никогда меня не подводила.

МАТТИАС. Может, он бросил маму. Всякое ведь у них могло случиться.

ТАМАРА. Не верю я в это.

МАТТИАС. А может, с ним что-нибудь случилось? Купаться, например, на речку пошёл... мог утонуть. Или авария могла случиться.

ТАМАРА. Была бы авария, мы бы знали, услышали... Это ж всё здесь было, за скрипкой он пошёл и не вернулся. Дзынь, и нет человека. Скрипка его брякнула, и всё – ни Аарона, ни инструмента. Я вот что думаю: может, его убили? Из-за скрипки хотя бы. Они, говорят, немалых денег стоят. Хотя кому у нас убивать?

МАТТИАС. Могли из соседнего города...

ТАМАРА. Приезжал, разве, кто?

МАТТИАС. Ну откуда я знаю, бабушка! Я же на работе всё время был! Почему ты меня спрашиваешь о таких вещах?!

ТАМАРА. Кого же мне ещё спрашивать? Ты же главный в городе.

МАТТИАС. Я тебе уже сто раз говорил!..

ТАМАРА. Да-да, говорил. Не могу я смотреть, как моя дочь убивается, сердце не выдерживает. Выглядит она тихой, спокойной,

но я-то знаю, что у неё на душе творится. Разговаривать с собой начала... Никогда с ней такого не было. А тут целыми днями что-то бормочет... Не знаю, как ей помочь!..

МАТТИАС. Забыть. Ну... как будто не было его... Аарона этого. Да, как будто его никогда не было.

ТАМАРА. Не забудешь, живот всё время напоминает.

МАТТИАС. Давай, я её к врачу отвезу.

ТАМАРА. Вчера были. С ним тоже какая-то ерунда: говорит, беременность протекает необычно. Скоро четыре месяца, а живота почти не видно. У неё всегда через месяц вот такое брюхо было. Плод, говорит, развивается как у всех людей, никаких отклонений от нормы, то есть девять месяцев – и роды. Понятно тебе? Для Хельги – это сплошные отклонения.

МАТТИАС. А в чём дело, он сказал?

ТАМАРА. Не понимает, сам удивлялся. Сказал, что такого, как раньше, больше не будет, утратила она свои необыкновенные способности, навсегда утратила. Вынашивать будет девять месяцев, рожать по одному, и расти они будут, как все дети.

МАТТИАС. Вот кошмар!

ТАМАРА. Может, оно и к лучшему, хватит уже, нарожалась, пора отдохнуть.

*Комната Хельги.*

ХЕЛЬГА. Моё теперешнее состояние настолько для меня удивительно, что я и передать не могу. Каждую неделю я заказываю себе новую одежду, всё велико ничего не подходит. Ха-ха, я таю на глазах. И самое удивительное, что мне это нравится, и я совсем не чувствую себя больной, наоборот, совсем наоборот. Послушай, я никому об этом не говорила, но я точно знаю, почему это со мной происходит. Ты тоже знаешь, да? Конечно, ты знаешь. Из-за тебя, мой дорогой и любимый Роня. Роня? Ты здесь? Я вдруг подумала, что тебя нет, что ты куда-то ушёл. Прямо мурашки по коже! Всё время вспоминаю, как ты пошёл за скрипкой, чтобы сыграть мне, и пропал. Я тогда так разволновалась, так испугалась, передать не могу. Обещай, что никогда больше так не сделаешь! Обещай!

*Только теперь мы замечаем Аарона.*

ААРОН. Обещаю, с удовольствием обещаю.

ХЕЛЬГА. А где ты был?

ААРОН. Сам не знаю, наверное, скрипку искал.

ХЕЛЬГА. Почему так долго?

ААРОН. Потому что... потому что... я не знаю, почему.

ХЕЛЬГА. Может, ты репетировал?  
 ААРОН. Ну, конечно же, я разучивал новую пьеску, хотел тебе её показать.  
 ХЕЛЬГА. А почему не показал?  
 ААРОН. Что-то меня отвлекло.  
 ХЕЛЬГА. Ты так далеко сидишь, иди поближе.  
 ААРОН. Не могу на тебя наглядеться!  
 ХЕЛЬГА. Тебя не страшит, что я не такая, как прежде?  
 ААРОН. Ты с каждой минутой становишься прекраснее.  
 ХЕЛЬГА. Врач сказал, я стану самой обыкновенной женщиной.  
 ААРОН. Только не для меня.  
 ХЕЛЬГА. Если б ты знал, как это прекрасно – любить!  
 ААРОН. Я знаю.  
 ХЕЛЬГА. Не могу нарадоваться своему счастью!  
 ААРОН. Хельга...  
 ХЕЛЬГА. Мой дорогой, мой любимый Роня!..  
 ААРОН. Да, я же хотел тебе сыграть... Такая очаровательная музыка... забыл, кто автор... Я уверен, она не оставит тебя равнодушной... Где же скрипка?.. Куда я её положил. Ты не видела?.. Как звали композитора? Ничего не помню. Я думаю, это кто-то из моих приятелей по консерватории. Потом я обязательно вспомню его имя. Я тебе попозже сыграю, хорошо?

ХЕЛЬГА. Твои родители в России?  
 ААРОН. Там у меня только мама. Отец от нас ушёл, когда мне исполнилось восемнадцать. Он подошёл ко мне и сказал: «Старик, я ждал этого дня всю жизнь, твою жизнь! Теперь, когда ты стал совершеннолетним, я наконец могу себе это позволить». Обнял меня и ушёл. Это было настолько неожиданным, что я полчаса стоял как вкопанный с открытым ртом. Я даже не подозревал, что у него с матерью есть проблемы, наоборот, всё было хорошо, по-домашнему, мирно, никакой ругани и разборок я никогда не видел. Может, они скандалили в спальне, но не думаю, отец ненавидел скандалы, да и услышал бы я. Потом, понятное дело, мы с ним периодически виделись, встречались, я к нему в гости приходил. Девушка у него была лет двадцати пяти, молодая и очень приятная. Вот когда я их вместе увидел, тогда и понял, что ему с ней хорошо. За мать было обидно, конечно, но всё же я немного гордился отцом – из-за этой молодой девицы. Они потом уехали в Америку, сейчас отец на пенсию вышел. Дом у них, дети, всё как надо.

ХЕЛЬГА. «Он подошёл ко мне и сказал: “Старик, я ждал этого дня всю жизнь, твою жизнь! Теперь, когда ты стал совершеннолетним, я наконец могу себе это позволить”. Обнял меня и ушёл».

ААРОН. Да, так и было.  
 ХЕЛЬГА. Я слышала, трудно быть евреем в России. Это правда?  
 ААРОН. Евреем быть трудно повсюду. Кроме одного места. Небольшого городка, где живёт самая прекрасная женщина в мире.  
 ХЕЛЬГА. Как я могла жить без тебя...  
 ААРОН. Как я мог жить без тебя...  
 ХЕЛЬГА. Знаешь, я в своей жизни, кажется, никогда не пела. Может быть, только в детстве. А с тобой мне всё время хочется петь.  
 ААРОН. Пой.  
 ХЕЛЬГА. Не могу, у меня нет слуха. И голоса тоже нет.  
 ААРОН. Кто тебе это сказал? Пой.  
 ХЕЛЬГА. Нет...  
 ААРОН. Прошу тебя...  
 ХЕЛЬГА. Только если тебе не понравится, скажи сразу, я не обижусь, наоборот...  
*Хельга поёт немецкую народную песню.  
 Аарон слушает, затем подхватывает песню.*  
 ХЕЛЬГА. Откуда ты знаешь эту песню?  
 ААРОН. Я её не знаю.  
*Стук в дверь.*  
 ХЕЛЬГА. Ты же пел вместе со мной.  
 ААРОН. Ты пела так красиво, я не мог молчать.  
*Стук в дверь повторяется. Входят Тамара и Маттиас.  
 Они не видят Аарона, он для них не существует.*  
 МАТТИАС. Мама...  
 ХЕЛЬГА (Аарону). Вот интересно, а эту песню ты знаешь?  
 ТАМАРА. Она нас даже не замечает.  
 МАТТИАС. Мам, это я...  
 ХЕЛЬГА. Мы могли бы спеть что-нибудь русское, если бы я знала... Давай, ты будешь меня обучать русским песням, а я тебя – немецким.  
 ААРОН. Я ещё и еврейские знаю.  
 ХЕЛЬГА. Да, еврейским тоже.  
 ТАМАРА. Целыми днями беседует сама с собой.  
 МАТТИАС. Мама!..  
*Хельга замечает Тамару и Маттиаса.*  
 ХЕЛЬГА (Аарону). Маттиас пришёл. (Маттиасу). Да, сынок.  
 МАТТИАС. Ты с кем разговариваешь, мама?  
 ХЕЛЬГА. Здесь только один сынок.

МАТТИАС. Мне показалось, что ты говорила не со мной...

ХЕЛЬГА. Я говорила с Аароном, но сейчас говорю с тобой.

МАТТИАС. Я решил переселиться к вам, к тебе, к бабушке...

ХЕЛЬГА. Конечно же, мой дом – он и твой. (*Аарону*). Ты не против?

ААРОН. Разумеется. Я буду этому рад.

МАТТИАС. У кого ты спросила?

ХЕЛЬГА. У Аарона.

МАТТИАС. А причём здесь Аарон, мама?

ХЕЛЬГА. Выбирай любую комнату.

ТАМАРА. Ах, доченька!..

ХЕЛЬГА. Мама, не вздыхай, прошу тебя. Я думаю, сейчас самое лучшее время, чтобы лететь в Грузию.

ТАМАРА. Да уж, лучше не придумать.

ХЕЛЬГА. Вот и лети. (*Аарону*). А мы будем петь. (*Аарону*). Помнишь, ты мне пел одну песню... на испорченном немецком.

ААРОН. На идише.

ХЕЛЬГА. Да-да, я даже мелодию запомнила... (*Напевает*).

ААРОН. Эту песню мне пела мама, когда я был маленьким.

ХЕЛЬГА. Колыбельная. Такая душевная...

ААРОН. Да.

*Аарон поёт.*

МАТТИАС. Mam, я больше не работаю бургомистром. Я решил, что лучше я буду рядом с тобой... постараюсь быть полезным тебе, буду делать всё, что ты скажешь...

ХЕЛЬГА. Тише.

МАТТИАС. Буду тебе помогать по хозяйству, с малышами...

ХЕЛЬГА. Б-же мой, ты всё время говоришь. Лучше послушай.

МАТТИАС. Что?

ХЕЛЬГА. Слушай, слушай!

*Аарон поёт. Песня заканчивается.  
Небольшая пауза.*

ХЕЛЬГА. Б-же, как красиво! Вам понравилось? Тебе понравилось?

МАТТИАС. Что «понравилось»?

ХЕЛЬГА. Песня, конечно!

МАТТИАС. Мама, ты меня прости...

ТАМАРА. Да, понравилась...

МАТТИАС (*Тамаре*). Ты что-то слышала?

ТАМАРА. Понравилась.

МАТТИАС. Понравилась.

ХЕЛЬГА. Я обязательно выучу эту песню. Я буду петь её своей малышке. Да, я совсем забыла! Доктор сказал, что у нас будет девочка. Ты представляешь! Девочка!

ТАМАРА. Девочка!..

МАТТИАС. Девочка...

ТАМАРА. Наконец-то! Мне, признаться, уже порядком надоели парни. Внуков – пруд пруди, и ни одной внучки. Теперь совсем другое дело. Вот это новость!

*Тамара и Маттиас выходят.*

ХЕЛЬГА. Всё это похоже на чудо! Всё, что связано с тобой, похоже на чудо!

ААРОН. Я счастлив!

ХЕЛЬГА. Как мы назовем нашу малышку?

ААРОН. Выбирай любое имя.

ХЕЛЬГА. Давай вместе.

ААРОН. Оно должно нравиться тебе.

ХЕЛЬГА. Я думаю, это должно быть библейское имя. Ты согласен?

ААРОН. Во всём.

ХЕЛЬГА. Я уже посмотрела, только очень трудно выбрать: Эстер, Мириам, Сара, Леа. Все имена что-то значат. Ты думаешь, это важно? Знаешь, какое имя мне больше всего нравится? Знаешь? Отгадай!

ААРОН. Конечно, знаю.

ХЕЛЬГА. Ну, скажи, скажи.

ААРОН. Рахель.

ХЕЛЬГА. Рахель! Меня завораживает звучание этого имени. Рахель, Рахель. Это имя нашей девочки. Так мы её назовем. Ты не возражаешь?

ААРОН. Это имя нашей девочки.

ХЕЛЬГА. Рахель! Наша малышка!

ААРОН. Наша малышка.

ХЕЛЬГА. Я чувствую, как бьётся её сердечко. Слышишь? Тук-тук, тук-тук. Сердечко нашей маленькой Рахель.

ААРОН. Сердечко нашей маленькой Рахель.

ХЕЛЬГА. Я сегодня пошла покупать себе вещи – мои мне стали велики – и накупила целую кучу детских вещичек. Сейчас я тебе покажу... Тебе интересно?

ААРОН. Очень, ведь они для нашей малышки.

ХЕЛЬГА. Посмотри, какая прелесть! Как ты думаешь, подойдет ей это платьице? К нему туфельки есть, вот... Посмотри на этот костюмчик!.. А вот штанишки!.. Ботиночки, носочки, шапочки!..

Тамара, Маттиас.

- МАТТИАС. Ты считаешь, с ней всё в порядке?
- ТАМАРА. Какой уж там порядок.
- МАТТИАС. Она всё время разговаривает с собой?
- ТАМАРА. Врач сказал, что её мозг не в состоянии переработать смерть Аарона.
- МАТТИАС. Чёрт бы его!..
- ТАМАРА. Винить надо того, кто его убил.
- МАТТИАС. У этого человека были жуткие планы. Он хотел захватить власть, всю власть. Ты же видела, какое влияние у него было на мать.
- ТАМАРА. Какую ещё власть?
- МАТТИАС. Власть в городе. Он хотел быть бургомистром.
- ТАМАРА. Откуда ты это взял?
- МАТТИАС. Я знаю, знаю! Ты и сама могла видеть, как хитро он подбирался к матери, как втирался в её доверие. Он и не скрывал своих намерений – сначала получил школу, потом говорил о консерватории. Влияние на детей – что может быть страшнее? Это был опасный человек.
- ТАМАРА. О чём ты говоришь? Какое влияние, какая власть? Твоя мать впервые за свою жизнь полюбила. Понимаешь ты, впервые! Уже этого было бы достаточно, чтобы радоваться за неё! Но её чувство было взаимным! Аарон боготворил Хельгу! Для него было две святости – она и музыка!
- МАТТИАС. Неужели ты веришь, что это было искренне? Он искусно притворялся.
- ТАМАРА. Ты знаешь, что такое любить?! Ты любил когда-нибудь?! Хельга была самым счастливым человеком на земле! Я никогда не видела её такой!.. Теперь уж и не увижу. Знаешь, что я тебе скажу, Маттиас? С такими мыслями здесь жить не стоит. И без тебя у Хельги душа не на месте. А ты с твоими разговорами будешь только подливать масло в огонь. И ни к чему хорошему это не приведёт... Нам ребёночка надо спасать, девочку... сиротинушку нашу.
- МАТТИАС. Мы все сироты, ни один из нас не знает собственного отца!
- ТАМАРА. Вы сироты, потому что отцы ваши уроды. И, возможно, ты заблудился, их никто не убивал, до сих пор бегают по всему свету, а некоторые сюда навдываются. Будь моя воля, своими руками задушила бы эту гадину!..
- МАТТИАС. Кого?
- ТАМАРА. Убийцу. Бедная моя девочка!.. Бедная малышка!..

Жан-Пьер, Ахмед и Томас с оружием в руках стоят по кругу: каждый из них видит только впереди стоящего. Жан-Пьер целится в Ахмеда, Ахмед – в Томаса, Томас – в Жан-Пьера. Появляется Иванов, поодаль от него цыгане, люди в русских национальных костюмах, поют грустную народную песню. Жан-Пьер, Ахмед и Томас прячут оружие.

- АХМЕД. Иванов?
- ИВАНОВ. Ты жив, Ахмед? Томас! Вон и Жан-Пьер спешит. Все, стало быть, здоровы.
- ЖАН-ПЬЕР. Твоими молитвами.
- АХМЕД. Куда собрался?
- ИВАНОВ. Домой, нечего тут больше делать? Вы же слышали, что с Хельгой случилось?
- ЖАН-ПЬЕР. С ума сошла?
- ИВАНОВ. Это полбеды. Важнее, что она... как бы это сказать?.. Смысла в ней теперь – ноль, вот что самое главное.
- ТОМАС. Врёшь?
- ЖАН-ПЬЕР. Я слышал, но не поверил.
- АХМЕД. Еврей виноват.
- ТОМАС. Это само собой.
- ИВАНОВ. В мозгу у неё из-за него что-то сдвинулось...
- ЖАН-ПЬЕР. Не понимаю, что она в нём нашла.
- АХМЕД. Он мне сразу не понравился.
- ТОМАС. Кому ж такой может понравиться.
- ЖАН-ПЬЕР. Что и говорить, неприятный был тип.
- ИВАНОВ. Я уж собрался всемирный траур по невинно убиенному организывать. Даже памятник хотел ставить, такой, чтоб даже из космоса был виден.
- ТОМАС. Зачем?
- ИВАНОВ. Ничто так не сближает, как совместная скорбь.
- АХМЕД. Хитрый ты, Иванов.
- ИВАНОВ. Был бы хитрым, не потерял бы Хельгу. Теперь разжалуют или пошлют в какую-нибудь Тьмутаракань.
- ЖАН-ПЬЕР. Строго у вас.
- ИВАНОВ. Так ведь народу нехватка, земли вон сколько, а людей нет. Прощай, хорошая жизнь!
- АХМЕД. Радуйся, у меня укороченный вариант – прощай, жизнь!
- ЖАН-ПЬЕР. Что, могут?
- ТОМАС. А ты не возвращайся, оставайся у нас, я похлопочу.
- АХМЕД. Они где угодно найдут. А у меня там родители, жёны, дети...

Сам виноват. Не справился, не обеспечил страну воинами. Ах, целыми днями шея чешется.

ЖАН-ПЬЕР. Трудно вам, ребята. Мы с Томасом просто на пенсию выйдем, и дело с концом. Да, Томи? Провалили операцию, что теперь делать. У всех бывают неудачи. Я – в горы, виноделием займусь.

ТОМАС. А я всё-таки надеюсь, что пенсия меня не коснется, как-никак поддела сделал – сохранил достояние, не допустил ухода за границу.

ИВАНОВ. Какая она теперь – достояние? Эх!..

ТОМАС. Да, все в прошлом. Жаль!..

АХМЕД. Великая была баба!

ТОМАС. Великая мать Европы!

ЖАН-ПЬЕР. Великая мать Земли!

ИВАНОВ. Была...

*Расходятся.*

*Хельга, Аарон.*

*Хельга уже не огромная, а небольших размеров беременная женщина.*

ХЕЛЬГА. Ну, ни минуты покоя, такая подвижная девчонка.

ААРОН. Вот и хорошо, пусть будет непоседой.

ХЕЛЬГА. У меня ещё не было такого неутомонного ребёнка. Лежи спокойно, озорница! Роня, скажи ей, она тебя слушает.

ААРОН. Доча! Моя любимая девчонка!..

ХЕЛЬГА. Посмотри, посмотри, сразу успокоилась! Она тебя чувствует! Знаешь, прошлой ночью мне вдруг показалось, что тебя нет со мной рядом. Мне было так страшно, ты себе не представляешь. Я плакала, не могла успокоиться до самого утра.

ААРОН. Ну, что ты, Хельга, я всегда с тобой, всегда!

ХЕЛЬГА. А сегодня ночью мне приснилось, что ты поехал в Россию и там на тебя напали белые медведи, ты пытался их убедить, что ничего против них не имеешь, даже на скрипке им играл, но они, Б-же мой! Они... я не могу!.. они растерзали тебя в мелкие клочья!.. Этот сон разорвал мне сердце! Я проснулась и увидела тебя... И так мне стало хорошо! Волшебное тепло пробежало по всему телу! Я опять стала плакать, но теперь уже от радости! Мой Роня!..

ААРОН. Я буду следить за тем, чтобы у тебя были только радостные сновидения. Я знаю много способов, как это сделать. Например, перед сном я буду рассказывать вам, тебе и нашей девочке, сказки, весёлые сказки.

ХЕЛЬГА. Почему перед сном? Расскажи сейчас.

ААРОН. Ну, конечно же, сейчас. Жила на свете девочка, маленькая-

премаленькая. Крошечная. Вот такусенькая. Её даже самый слабый ветерок сдувал. Куда он только её не уносил: и в море, и высоко в горы, и к диким зверям, и к насекомым. И всюду было страшно и плохо. А однажды ветер сдул её в тарелку супа, который ела молодая женщина. Девочка сразу же оказалась в ложке, и как она ни кричала, как ни старалась обратить на себя внимание, ничего не получалось – женщина не видела её и не слышала. И она её съела. Маленькая девочка поселилась в животе женщины.

ХЕЛЬГА. В животе?

ААРОН. Да, вот здесь.

ХЕЛЬГА. Это наша Рахель! Да, да?..

*Стук в дверь. Входит Маттиас.*

МАТТИАС. Мама...

ХЕЛЬГА. Очень хорошо, что ты пришёл. Аарон решил меня развеселить... Он рассказывает нам с Рахель сказку. Ты слушаешь?

МАТТИАС. Да.

ХЕЛЬГА. Он как раз только начал. Садись, сынок.

ААРОН. И маленькая девочка поселилась в животе женщины.

ХЕЛЬГА (*Маттиасу*). Ты понимаешь, понимаешь?

МАТТИАС. Да...

ААРОН. Ей там было хорошо как нигде. Она чувствовала себя защищённой от всевозможных невзгод, там было тепло и уютно.

ХЕЛЬГА. Очень уютно.

ААРОН. Но однажды... однажды...

ХЕЛЬГА. Что ты ищешь?

ААРОН. Скрипку. Куда я подевал скрипку?

ХЕЛЬГА. Маттиас, ты не видел скрипку?

МАТТИАС. Скрипку?.. Почему ты меня спрашиваешь про скрипку?

ХЕЛЬГА. Ты же видишь, Роня ищет скрипку. Может, ты её видел.

МАТТИАС. Почему ты спрашиваешь меня?!

ХЕЛЬГА. Потому что ты в моей комнате, была бы здесь мама, я бы спросила её.

МАТТИАС. Не видел, не видел, не видел!

ХЕЛЬГА. Мне бы и одного раза хватило.

МАТТИАС. Ты меня уже спрашивала про эту чёртову скрипку!

ХЕЛЬГА. Я спрашивала, потому что Аарон уже её искал.

МАТТИАС. Откуда мне знать, где она?! Не знаю, не знаю!..

*Маттиас выходит.*

ХЕЛЬГА. Странный какой... Ладно, забыли о ней, об этой скрипке, рассказывай дальше.

ААРОН. Но однажды она услышала музыку, это была весёлая музыка... Для этого я искал скрипку, я хотел тебе сыграть... (*Напевает мелодию*). Ей так понравилась музыка, что она закричала: «Хочу туда, где играет эта красивая музыка! Выпустите меня, выпустите меня!» Но никто её не слышал. Тогда она сказала самой себе: «Буду много-премного есть, стану большой и сильной, и вырвусь отсюда». Ей понадобилось совсем немного времени...

ХЕЛЬГА. Да, всего девять месяцев.

ААРОН. Девять месяцев, и...

*Аарон напевает мелодию, Хельга смеётся.*

*Тамара, Маттиас.*

МАТТИАС. Я не могу, не выдерживаю!..

ТАМАРА. Что случилось?

МАТТИАС. Она всё время!.. всё время!.. разговаривает сама с собой!

ТАМАРА. Значит, лучшего собеседника у неё нет. Не обращай внимания.

МАТТИАС. Не обращаю!

ТАМАРА. Я уверена, когда-нибудь это пройдёт.

МАТТИАС. Столько месяцев не проходит!

ТАМАРА. Терпение закаляет.

МАТТИАС. Или сводит с ума.

ТАМАРА. Каждый выбирает свой путь сам: кто с посохом, а кто с ружьём...

МАТТИАС. С каким ещё ружьём, о чем ты говоришь?!

ТАМАРА. Говорю, что тот, кто хотел убить Аарона, убил его и сделал мою дочь, а значит, и меня, несчастной. И теперь она целыми днями разговаривает с собой.

МАТТИАС. Да не с собой она говорит! С Аароном беседует! С Аароном!

ТАМАРА. Может, и с ним.

МАТТИАС. Хотя мне иногда кажется, что она только делает вид, а на самом деле время от времени говорит какие-то гадости присутствующим.

ТАМАРА. Я этого не замечала.

МАТТИАС. Ну так я заметил!

ТАМАРА. Какие гадости она тебе говорила?

МАТТИАС. Я не знаю, не помню! Не важно всё это! Как я хочу, чтобы всё было как раньше!

ТАМАРА. Для этого нужно воскресить Аарона.

МАТТИАС. Если б я мог, если б я только мог!.. Как бы я хотел, чтобы всё было, как до него.

ТАМАРА. До него Хельга никого не любила.

МАТТИАС. Вот и хорошо! Очень хорошо! Неужели ты не понимаешь, что этот человек испортил нам жизнь, навсегда испортил! С его приходом она перестала быть собой!

ТАМАРА. С его приходом она наконец стала собой.

МАТТИАС. Хватит, не желаю больше о нём говорить!

ТАМАРА. Странная у тебя реакция.

МАТТИАС. Что же странного?! Что я переживаю за свою мать?!

ТАМАРА. Похоже, ты переживаешь не за неё.

МАТТИАС. Да? За кого же?! За кого?!

ТАМАРА. Аарон тебя тревожит. Его давно уж нет в живых, а он продолжает лишать тебя покоя. Почему?

МАТТИАС. Не нравился он мне.

ТАМАРА. Я говорю, он мёртв.

МАТТИАС. И по-прежнему мне не нравится.

ТАМАРА. К мёртвым не ревнуют.

МАТТИАС. А кто тебе сказал, что я ревную?! Это не ревность, а ненависть.

ТАМАРА. Не могу понять, чем он тебе так насолил?

МАТТИАС. Я говорил об этом, когда он был жив.

ТАМАРА. Ну да, я помню – власти тебя лишит. Вот ты и ушёл с поста бургомистра. Лишил, даже находясь на том свете. Ах, Г-споди, Г-споди!.. Напрасно ты здесь поселился, Маттиас.

МАТТИАС. Это моё дело!

ТАМАРА. Здесь всё напоминает об Аароне.

МАТТИАС. Что ты от меня хочешь?!

*Небольшая пауза.*

ТАМАРА. Ах, детка...

МАТТИАС. Что ты хочешь?!

ТАМАРА. Принеси скрипку.

МАТТИАС. Какую скрипку?!

ТАМАРА. Она ведь у тебя, я знаю.

МАТТИАС. Болтаешь ерунду!

ТАМАРА. Отдай её матери, Маттиас.

МАТТИАС. Нет у меня никакой скрипки!

ТАМАРА. Есть, есть. Принеси и уходи.

МАТТИАС. Нет!..

ТАМАРА. Навсегда уходи.  
 МАТТИАС. Зачем ты заходишь в мою комнату?! Кто разрешил тебе?! Какое ты имеешь право?! Я не ребёнок! Не лезь в чужие дела, ясно?! Ясно?! Чёрт возьми! Как я ненавижу всё это! Тебя, мать, еврея этого!

ТАМАРА. Так значит, верна моя догадка!.. Принеси скрипку, Маттиас... И никогда не возвращайся. Горе! Какое горе, Г-споди!

*Маттиас выходит.*

*Хельга, Аарон.*

ХЕЛЬГА. До сих пор не верю своему счастью! Не верю, что это вот-вот произойдёт! Не верю, что в моих руках совсем скоро будет лежать самая лучшая, самая дорогая девочка в мире! Вот увидишь, я не отпущу её от себя ни на секунду! Мне плевать, пусть обо мне говорят что угодно, пусть называют сумасшедшей мамашей, она будет всегда рядом. В год, в два, в пять, четырнадцать, двадцать восемь, в сорок и в шестьдесят. Я буду всегда рядом с ней. Мир слишком опасен! А её мужем станет только тот, кто будет на неё молиться! Или он не будет её мужем! Помяни моё слово! Моя девочка! Наша девочка! Что же ты молчишь, Роня?

ААРОН. Я смотрю на тебя и не могу оторваться, слушаю и не могу наслушаться! Ты божественна, Хельга!

*Стук в дверь, входит Маттиас, в его руках скрипка и смычок.*

ААРОН. Божественна!

ХЕЛЬГА. Здравствуй, Маттиас.

МАТТИАС. Я, мама... я...

ХЕЛЬГА. Да-да, говори, мы тебя слушаем.

МАТТИАС. «Мы»? Да, никак не могу привыкнуть.

ХЕЛЬГА. К чему?

МАТТИАС. К тому, что мы здесь не одни.

ХЕЛЬГА. Аарон – мой муж. Какой ты у меня глупый. Скоро у тебя будет сестричка, совсем скоро. Мне кажется, ждать осталось совсем недолго. Ты рад?

МАТТИАС. Очень.

ХЕЛЬГА. Она сделает твои думы радостными. Такая она шустрая, живот ходуном ходит. Хочешь потрогать?

МАТТИАС. Нет, мама. Я пришёл по другому поводу.

ХЕЛЬГА. Какие ещё могут быть поводы?

МАТТИАС. Мама... Я хочу сказать...

*Небольшая пауза.*

ХЕЛЬГА. Что ж ты молчишь? Я слушаю.

МАТТИАС. Не знаю, как начать...

ХЕЛЬГА. С конца.

МАТТИАС. Почему ты так сказала?

ХЕЛЬГА. Потому что не важно, с чего начинать, не в этом же дело. Начни с главного.

МАТТИАС. Возьми.

*Маттиас протягивает Хельге скрипку.*

ХЕЛЬГА. Что это?

МАТТИАС. Скрипка, скрипка... Ты ведь искала её, вот она.

ХЕЛЬГА. Откуда она у тебя?

МАТТИАС. Возьми.

ХЕЛЬГА. Это Ронина скрипка...

МАТТИАС. Возьми!

ХЕЛЬГА. Лучше отдай ему сам.

МАТТИАС. Мама...

ХЕЛЬГА. Отдай её Аарону.

МАТТИАС. Здесь нет никакого Аарона, здесь только ты и я! Сама посмотри! Где он, где?! Погляди, его нигде нет! Ни здесь, ни здесь!.. Видишь, видишь?!

ХЕЛЬГА. Маттиас, отдай скрипку Аарону.

МАТТИАС. Я сейчас уйду мама! Прошу тебя!.. Пожалуйста, возьми скрипку и... если хочешь... передай ему сама...

ХЕЛЬГА. Отдай скрипку Аарону.

МАТТИАС. Мама!.. Что ты со мной делаешь?! Ты нарочно, ты!.. Я сойду с ума!

*Входит Тамара.*

ТАМАРА. В чём дело?

ХЕЛЬГА. Он не хочет отдать скрипку...

МАТТИАС. Очень хочу! Пожалуйста! Куда подойти?! Сюда?! Ну?! Где же он, где твой Аарон?! Здесь?! Здесь?! Возьми, Аарон! Возьми! Что ж ты не берёшь, Аарон?! Она ему не нужна, мама! Забери свою чёртову скрипку!

ХЕЛЬГА. Маттиас!

МАТТИАС. Заберите её!

ТАМАРА. Это не моя вещь.

МАТТИАС. Не твоя, не моя, ничья!

ХЕЛЬГА. Отдай её Аарону.

ТАМАРА. Верни её Аарону.



МАТТИАС. Так ведь нет его, нет! (*Тамаре*). Или ты тоже этого не знаешь?! Не знаешь, что его не существует! Конечно, он тут, вместе с нами! Хорошо! Ты же видела, я пытался ему отдать! А он не берёт! Не нужна теперь ему скрипка!

ТАМАРА. Отдай скрипку Аарону.

МАТТИАС. Ты в своём уме?! Где я тебе его возьму?!

ХЕЛЬГА. Он ждёт, Маттиас.

МАТТИАС. «Ждёт»!

ТАМАРА. Не переживай, доченька, он сделает, всё сделает. Правда, Маттиас? Тебе же не трудно вернуть вещь, которая случайно оказалась в твоих руках? Правда? Правда?

МАТТИАС. Правда!..

ТАМАРА. Он вернёт.

МАТТИАС. Вернёт!..

ТАМАРА. Обязательно вернёт.

*Маттиас стремительно выходит.*

ТАМАРА. Маттиас устал, поэтому такой нервный. Всё будет хорошо, не обращай на него внимания.

ХЕЛЬГА. Никогда не видела его в таком состоянии. Ох, мама!.. Как-то мне не по себе... нехорошо как-то...

ТАМАРА. Г-споди!..

ХЕЛЬГА. Совсем нехорошо...

ТАМАРА. Доктора!..

*Маттиас один.*

МАТТИАС. Чёрт возьми! Я не знаю, что мне делать! Не понимаю! Я запутался! В этом нет смысла! Что бы я ни делал, уже не имеет никакого значения! Цена любым моим действиям равна нулю! Как и мне самому! Не понимаю, как это могло произойти! Почему со мной! Ещё вчера всё было хорошо! Ещё вчера я жил нормальной жизнью! Ещё вчера у меня были мать, братья, бабушка! Сегодня у меня нет никого! Никого, ничего! Хуже нищего, потому что у нищего есть нищета и он сам, а у меня – ничего, даже самого себя! В одну секунду изменилась вся моя жизнь. В одно мгновение из нормального человека я превратился в ходячее нечто, ходячее ничто. Одно мгновение, и жизни нет! Проклятый еврей! Что ты со мной сделал?! Посмотри на меня! Посмотри! Не видишь! Но хоть слышишь?! Зачем ты здесь появился?! Кто тебя звал! Ты принёс несчастье в мой дом! Ты! Чёртова нация! Слышишь меня?! Если бы ты появился вновь, я бы ни секунды не сомневался, я не оставил бы тебя в живых! И если бы я не смог найти убийцу, я бы пристрелил тебя сам!.. Проклятый еврей! По-

смотри, что ты со мной сделал! Смотри, смотри на меня, это твоя работа! Что?! Говори громче, я ничего не слышу! Громче, громче! В моей голове такой шум, всё гудит, не понимаю ни слова! Громче! Ты успокаиваешь меня?! Время пройдёт, всё забудется, да-да, я знаю, забудется, сотрётся из памяти, ничего не останется, лишь лёгкий ветерок неприятных воспоминаний, да-да, да-да. Зачем ты это говоришь?! За что мне это проклятье?! Чем я провинился?! Возьми свою скрипку, пожалуйста, заведи её у меня! Мне больше ничего не надо, клянусь! Забери скрипку, избавь меня от неё, умоляю! Молчишь?! Правильно делаешь! Я бы на твоём месте тоже молчал. А вдруг мать действительно видит тебя, и ты где-то здесь?.. Вдруг это правда, и ты слышишь меня?! Если бы, если бы... Нет тебя, и дух твой испарился. То, что сделано, назад не воротить. Не воскресить мне тебя! Из греха не вырастет благо! Это значит, что нет мне спасенья! Это значит, что мучиться мне до последнего вздоха! Прости меня, еврей, не для себя, для меня прости! Тебе ведь уже всё равно, а мне это важно, очень важно!.. чтобы хоть чуть-чуть, хоть на столечко было легче! (*Плачет*). Это твои слёзы, я знаю!.. ты плачешь обо мне! Напрасно, я того не стою! Да, мне жалко себя, очень жалко, но я сильный, я выстою, и обязательно найду тебя, слышишь?! Найду и отдам тебе скрипку. И ты сыграешь мне! Мне и моей матери. И моей сестре тоже! Ты сыграешь нам, хорошо?! Прости меня, прости!.. Ты здесь? Возьми, возьми свою скрипку, Аарон!.. возьми свою скрипку!..

*Маттиас уходит.*

*Занавес*

Берлин

2015

Copyright © Ilya Tschlaki, 2015

Любое использование текста пьесы без разрешения автора или его представителя категорически запрещено.

Все права защищены. ■

## Евгений ЕРМОЛИН

📍 Берлин, Германия



Фото: Елена Борисова

Критик, эссеист, историк культуры, блогер.

Родился в Архангельской области (1959). Отец – моряк, поморский поэт Анатолий Навагин. Мать – Нина Ермолина, медик. После школы в Архангельске закончил факультет журналистики МГУ. Работал в провинциальной прессе.

Как литературный критик начинал в конце 1970-х, а с конца 1980-х арт-критика стала моим главным поприщем. Публиковался в основном в литературных журналах, автор пяти книг о литературе и многих опусов, так или иначе связанных с историей русской культуры. В искусстве ценю качество гнозиса и усилие духа. Был заместителем главного редактора московской редакции журнала «Континент», редактор сайта «Континент».

Преподавал в вузах Ярославля, Москвы, Архангельска, Ташкента. Доктор наук, профессор. С 2022-го живу в Берлине. Профессор Свободного университета (Москва).

В № 3 (7) за 2024 год «ТТ» опубликована рецензия «Московская ночь и московский царь» на роман Алексея Макушинского «Димитрий».

## Скрипка плачет

В хорошей пьесе из разговоров и монологов рождаются смыслы, созвучные и универсалиям человеческого бытия – и горячей сути текущего момента.

Так это и получилось у Ильи Члаки в его «Скрипке». Драма любви и смерти, драма избранничества и отщепенства, сила и бессилие искусства... Вечные темы. И кинжальная острота актуальной мировой повестки, конфликтные узлы современности.

Конструкция пьесы условная – и безусловная. Условность её в фантасмагорической исходной точке коллизии. И в тяготении к притче, которая не может обойтись без масштабных обобщений.

Автор уводит за пределы житейского правдоподобия, предлагая принять как данность нечто невероятное. Но в этой сказочной истории авторская оптика проявляется в результате то, что житейщина и быт не могут внятно истолковать и проявить. Это подход, когда-то реализованный, к примеру, Евгением Шварцем и Григорием Гориним.

Какова завязь конфликта?

Плодоносящее чрево не знавшей любви Хельги производит на свет многочисленное потомство, составившее целый город. (Намёком проходит, что он находится где-то в Германии, недалеко от тех мест, где обитает и сам автор пьесы, но это не столь важно. Важно разве что в той степени, в какой нынешняя Германия иногда уверенно, а иногда нехотя становится аренной мировых страстей, в её свободном пространстве разворачиваются драмы момента.)

И бесчисленному этому мужскому потомству недостаёт, вероятно, только одного, что трудно назвать, но что получают от родителей дети, являющиеся плодом любви.

Хельга несчастлива. Она ждёт любовь, а осаждают её мелкие мужские особи, томимые не любовью, а сладострастием (или расчётом?). Но когда любовь приходит, то следом приходит и утрата. Горе за счастьем.

И то, что избранник её сердца играет на скрипке, то, что их общение овеяно энергиями творчества, является ещё одним планом рокового несовершенства бытия, где счастье мимолётно, а искусство неспасительно.

Самый острый акцент в пьесе связан с тем, что избранник сердца Хельги Аарон – еврей. На уровне бытийной притчи это та соль, которая нужна миру и без которой он не может обойтись. На уровне сюжета именно еврейство героя становится решающим обстоятельством, аккумулирующим силы зла. И соперничество неудачливых соискателей тела Хельги перерастает в тот эксцесс иррациональной ненависти, который ведёт к убийству Аарона. То есть, конечно, в мотивации «женихов» есть и какие-то псевдологические аргументы, но реальная одержимость к логике рассудка не сводится. Как не сводится к ней антисемитская и антиизраильская истерическая агония, приступ которой мы наблюдаем в последние годы на Востоке и на Западе.

Заметим также, что эти самые «женихи» соотнесены с нациями, а роль провокатора и организатора убийства играет русский, Иванов, который помогает Хельги не из страсти даже, а из «геополитического» расчёта по заданию спецслужбы. Здесь автор пьесы предугадал в 2018 году (тогда пьеса получила первую публичную обкатку) нечто такое, что развернулось на мировой арене 2020-х годов.

Я упомянул уже, что местом действия пьесы привязана к Европе, к Германии. С этим связан и ещё один её план, который также дораскрылся в последние годы разными приметам в духовной и общественной жизни Европы и Северной Америки. Это слабость Запада, потерявшего надёжные ориентиры и неспособного противостоять жестокости Востока и коварству деспотий. Мысль эта у Чаки выражена, конечно, не публицистическими средствами. Тема готовности к капитуляции зреет логикой интриги и разрешается для этих героев уходом в ничто, томительной смысловой паузой. В общем-то, и в финале пьесы, кажется, развитие действия и смысловая партитура вообще поставлены на паузу. Там есть вопрос, адресованный читателю (и зрителю).

Может быть, это надо прочитать так: у скрипки не осталось хозяина. Нет того, кто делает её инструментом истины, добра и красоты: невзначай оброненного и никем не поднятого триединства, дававшего силу жить, творить и верить.

Наконец, ещё одна тема. Старушка Тамара всё время собирается в Грузию, на свою родину. И никак не может туда уехать. Наверное, потому, что той Грузии, которую она когда-то покинула, больше нет. Это страна воспоминаний. Мы уезжаем без возврата с такими то светлыми, то травматическими воспоминаниями, которые и образуют ментальное тело навсегда утраченной родины. На её географическом месте что-то иное. И тем больше иное, чем меньше нас там ждут.

Пьеса Ильи Чаки параболически отражает изломы нашего времени, иногда, что называется, близко к тесту жизни. И она в этом ракурсе может быть соотнесена с давней традицией политического театра. Но к его общеизвестной

риторической поэтике всё же не сводится. В поисках художественных истоков и параллелей я бы обратился к поэтике и эстетике экспрессионизма: именно он эффективен как инструмент истины в мире с наглядно поехавшей крышей, ощутимо летящем под откос.

У жизни, конечно, мало шансов победить смерть, но они всё-таки есть. Аарон не покидает Хельгу, хотя связь их длится в ином, небытовом измерении бытия. А она ждёт ребёнка. Девочку. ■

Мен

театральная критика



## Злата ЗАРЕЦКАЯ

📍 Иерусалим, Израиль



Фото: Игорь Марков

Филолог, театровед, д-р искусствоведения. Член Союза русско-язычных писателей Израиля и Израильской независимой академия развития наук, создатель Ассоциации драматургов Израиля при СРПИ, педагог Международной школы изучения Катастрофы в мемориальном комплексе «Яд ва-шем».

Автор около 300 статей о культуре Израиля на русском, иврите, английском в газетах «Вести», «Новости», «Наша страна», «Макор ришон»), в журналах «Бама», «Алеф», «Итон 77», «Мознаим», «Сгула», «Некуда», «Слово писателя», «Мы здесь», «Заметки о еврейской истории», «7 искусств», «Мастерская», «Аруц 7», «Дом Корчака», в книгах «Золото Галута», «Евреи в меняющемся мире», «Studies in the History of Russian-Israeli literature», «Очерки по истории русско-израильской литературы».

Автор книги «Феномен израильского театра» (1997, 2018), путеводителя «Русская драматургия Израиля 1970–2020» (2022), сборника пьес с моими комментариями и вступлением «Драматургия без границ» (2022), исследования «Метатеатр Александра Радовского» (2024).

В конце 1990-го, за две недели до «Бури в пустыне», приехала с сыном в Израиль. В эйфории ходила по опустевшему Иерусалиму. Забрела в театр «Хан», сторож-араб открыл мне все большие и малые залы. И тут в каменных нишах вдруг услышала голоса актёров с Таганки, шептавшие что-то модернистское... То был мой «иерусалимский синдром», я вдруг поняла свой путь в Израиле: писать о театре, где на сцене творится диалог с историей, предощущающий будущее. Я мечтала о таком в Москве, но там бедный завсектором «Русского театра», доктор наук, кричал на меня: «Уберите эту фразу из названия! Я всего лишь маленький профессор и держусь за своё место!» То была «бомба», предварявшая постановки Юденича и Любимова. В Израиле не было никаких ограничений, ибо здесь театр – зеркало драмы живой истории. Надо только увидеть это.

## Библейский экзистенциалист

*Александр Радовский – создатель духовной вселенной современного израильтянина*

Александр Радовский – изобретатель-новатор, мастер электротехники, лектор Техниона, – как естествоиспытатель никогда не собирался быть первооткрывателем философских духовных миров. Всякое словесное размышление о бытии для него донныне – пустая трата времени – предательство живой жизни, которая более весома и значима, чем любое разглагольствование о ней. «Жизнь важнее философии», – убежден он. Однако уже с первых своих завуалированных творений в России «Сказка о волке», «Стихийное бедствие», «Счастливый билет», «Король и Принц» автор поразил прямым попаданием в разгадку тайны движущейся истории. И. Бродский, Е. Эткинд, А. Володин, В. Файнберг-Красногоров, А. Воронель, В. Максимов с пиететом восприняли его зашифрованное творчество как «вещь вне времени».

А. Радовский изначально выбрал для обозначения своей «Правды Гамлета» не описательную, но драматическую театральную форму: переплетение диалогов, разворачивающихся в метапространстве реальности на грани мистики. И как оказалось, в итоге совпал с эпицентром новоеврейской философии о строении мира и искусства, с идеей «Я – Ты», «Мы – Он», с пророками экзистенциализма, французской послевоенной драматургией.

Весь XX век прошёл под знаком открытия этой диалогической формулы соотношений, где личное «Я» обретает смысл только в Другом «Ты», где «Он» – «Звезда Избавления» – невидимый Творец всего сущего, ожидающий растерянных сыновей своих. Еврейский образ веры в скрытого Б-га, сохраняющего единство и баланс человечества в заповедях добра, а не ненависти друг к другу, завладел умами многих на фоне мировых войн и геноцида наций. Обоснованием их послужили материалистические идеи о необходимости расширения территорий для создания тотальных империй, где избранные будут обогащаться за счёт новых рабов.

В споре с материализмом Маркса–Энгельса, базирующемся на постулатах о преобладании бытия над сознанием, о капитале и прибыли как движущих сил исторического «прогресса», в Германии на стыке XIX–XX вв. накануне прихода Гитлера к власти появились уникальные труды еврейских философов о Торе как «эликсире жизни» для тех, «кто удостоится»... Вследствие Катастрофы, торжества атеизма, всеразрушающего разума они доходят до читателя только сейчас. Если бы прислушались тогда, на заре XX века, к голосу этих мудрецов, может быть, удалось бы спасти миллионы...

Тогда для просвещённой Европы мысль иудейскую как общечеловеческую открыл профессор Герман Коген (1842–1918). Он ввёл иудаизм в научный оборот, создав философию «истока» из сакральных текстов. В «Этике чистой воли», «Религии разума из источников иудаизма» он подчёркивал, что

«любой диалог всегда происходит в настоящем, как процесс от своего первоначала».

«В иудаизме Человек – основа государства как Царства духа!»

– писал философ в ответ на вызов марксизма, рассматривавшего даже красоту как «отражение производственных отношений».

«Творчество – проявление межличностных связей – чувства любви. Прекрасное – базис философии религии, возвращающей этику, нравственные категории Б-га в живой процесс познания. Искусство, эстетика – путь к пророческим откровениям».<sup>1</sup>

Диалог между человеком «Я» и Б-гом «ТЫ-ОН» по М. Буберу, его ученику, – краеугольный камень менталитета, влияющего на «образ веры».<sup>2</sup>

«Новым мышлением», «Звездой Избавления» назвал философию религии в 1919 г. Ф. Розенцвейг, ибо основана она

«на здоровом человеческом рассудке, превращающем абстрактную идею в научную мудрость. Грядущее царство Б-жие познаётся из настоящего».<sup>3</sup>

Переосмысление жизни в свете еврейской философии произошло в годы Катастрофы, где иезуитский лозунг Бухенвальда «Каждому своё» (Jedem das Seine) уничтожил статус «Я» личности, еврея, прежде всего, лишая права на жизнь, разрушая любые его связи. Преображение взаимоотношений между людьми и Б-гом, тоска по космической, глобальной справедливости предопределили возникновение учения о ценности живого человека, его сущности – экзистенции – вне зависимости от духовных контактов.

«Нет нужды рассуждать о том, что “наверху”, что “внизу”, необходимо (только!) проникнуть в ту точку, где стоит человек!»,

– писал Г. Шолем в 1958 г.<sup>4</sup>

Ближе всего к этому кабалистическому представлению о человеке, как центру мироздания, точке пересечения всех энергий, оказалась послевоенная европейская экзистенциальная драматургия, отразившая разрушенный войной абсурд-

ный мир с точки зрения потерянного, подавленного, сомневающегося в себе человека, убегающего в грёзы ради самосохранения. Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ж. Жене, Ж. Ануй, С. Беккет, Э. Ионеско впервые создали пьесы, замешанные только на конфликте мировоззрений, где с точки зрения непредсказуемой сути – экзистенции человека – воспроизводится всё его окружающее, ближнее и дальнее. Таковы «Антигона» Ж. Ануй, «Служанки» Ж. Жене, «Дьявол и Господь Бог» Ж.-П. Сартра, «Орфей» Ж. Кокто, «В ожидании Годо» С. Беккета, воссоздающие иллюзорность бытия сквозь духовную реальность пытающегося выжить человека.

«Человек проектирует себя сам и обречён на свободу и ответственность, которую уже не может переключать на Бога»<sup>5</sup>.

«Обещайте самому себе. Главное – самому себе!»<sup>6</sup>

«Каждый человек умирает незнакомцем...»<sup>7</sup>

Чувство временности души – частицы вечности, неуверенность в каждом мгновении, непредсказуемость бытия – источник экзистенциальной драмы.

На заре XX столетия её предопределили параллельно два философа – два друга Николай Бердяев (1874–1948) и Лев Шестов (1866–1938). Оба признали, что с грехопадением Адама в мире воцарилось зло, распад, время стало разрушающей силой. Н. Бердяев говорил, что вместе

«с человеком вошёл порок, и разорвалась связь с источником благодати и созидания»<sup>8</sup>.

В унисон ему Л. Шестов считал, что

«сутью библейской трагедии стало то, что человек начал строить мир без Б-га, полагаясь на собственный разум и оправдывая свою мораль. Лишившись связи с Творцом, человек позволил взять верх над собой разрушительной силе Ничто – первозданного хаоса. Но, по Б-жьему замыслу, оно служило творческому созданию Вселенной и самостоятельной силы не имело. А страх, внушённый человеку змеем, превратил Ничто в огромную, всё истребляющую силу. Разрушение распространилось на весь внешний мир и проникло в души людей, сделав время орудием их уничтожения»<sup>9</sup>.

Однако взгляды философов на предназначение человека в истории были различны. У Н. Бердяева всё предопределено – человек не в силах что-либо изменить, он должен принять всё как испытание, которое должен выдержать. Пассивный стоицизм продемонстрировали экзистенциалистские герои Э. Ионеско, Ж. Кокто, Ж. Жене...

Л. Шестов, в духе иудаизма, напротив, был против порабощающей необходимости времени, которое человек духовно может подчинить себе. Он писал, что надо

«освободить человека от тиранической власти обстоятельств для того, чтобы найти истину»<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Ж.-П. Сартр. За запертой дверью. ИДДК, 2006, с. 78.

<sup>6</sup> Э. Ионеско. Жертвы долга. М, 2004, с. 10.

<sup>7</sup> А. Камю. Недоразумение. М, 1997, с. 80.

<sup>8</sup> Н. Бердяев. Смысл истории. Изд-во «Азбука», 2016 с. 123.

<sup>9</sup> Л. Шестов. На весах Йова, ИМКА-Пресс, 2015, с. 202.

<sup>10</sup> Там же, с. 219.

<sup>1</sup> Антология еврейской философии, Москва–Иерусалим, 2022, с. 258 (далее – АЕФ).

<sup>2</sup> М. Бубер, Два образа веры, Москва, 1995.

<sup>3</sup> АЕФ, с. 417.

<sup>4</sup> Десять неисторических тезисов о каббале // АЕФ, 2022, с. 546.

Христианин Н. Бердяев утверждал опыт неизменной вечности, противопоставленный земному хаосу. Иудей Лев Шестов (Иегуда Шварцман) считал возможной альтернативную реальность.

Н. Бердяев признавал Б-жественное воплощение в истории, которому надо подчиняться. Л. Шестов, напротив, видел возможность совершенствования жизни, исходя из текучести времени, созданного Всевышним для свободного выбора между злом и добром.

Экзистенциальные идеи философов о сути человека в мироздании были обусловлены их личной драмой мыслителей, отторгнутых от родных пространств. Н. Бердяев был выслан из России на «философском пароходе» в 1922 году. Шестов-Шварцман эмигрировал в 1920-м сознательно, ибо отрицательно воспринял Октябрь как чужеродный, усиливший его чувство изгоя, отторгнутого от исторической родины в 2000-летнем изгнании. Ему удалось побывать с циклом лекций в еврейском ишуве Палестины в 1936-м – «отметиться» за два года до ухода.

Книги Н. Бердяева «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», «Самопознание», Л. Шестова «На весах Йова», «Экзистенциальная философия» «Афины и Иерусалим» повлияли, по признанию А. Радовского, на «объективацию его личного творчества, как «художественную метафизику», образное воплощение идей пророков экзистенциализма.

«Метафизика, – писал Л. Шестов, – рассматривает Б-га, бессмертие души и свободу. Это резко отличает библейское мышление от умозрительного, эллинского, представителями которого являются почти все значительные философы...

Религиозная философия есть рождающееся в безмерных напряжениях, через отказ от знания, через веру, преодоление ложного страха пред ничем не ограниченной волей Творца. Это борьба за первозданную свободу и скрытое в ней божественное «добро».<sup>11</sup>

Творчество А. Радовского – квинтэссенция идей еврейской философии XX в. Пьесы, созданные за 50 лет после восхождения в Землю Обетованную 1973–2023 гг.: «Исход», «Самый последний звонок», «Сомнамбулы», «Странные происшествия в доме Шапиро», «Тернии и Звёзды», «Наследство», «Часы и Мастер», «Там, за дверью», «Былое было белое», «Замысел господина Д», «Река. Скала, Песок», «Глазами Шейлока», «Пигмалионова слава» – образный шифр современного израильского менталитета на фоне иного – христианского, эллинского – разума... Перипетии его героев – это мир генетической памяти поколений, прозревших окончательно после Катастрофы, но больных ассимиляцией и самоненавистью настолько, что нееврейские члены социума вынуждены напоминать иудеям о смысле и ценности страны, предсказанной в Библии.

Таковы герои пьесы «Наследство», где спорят не на жизнь, а на смерть, каким наследством владеют евреи, что важнее с религиозной или светской точки зрения – стены дома, доставшиеся от предков, выгода от их продажи, или идеи о Доме, ради которого поколения гибли или в погромах, или в печах, или на полях Войны за независимость, оставляя в наследство свою мечту?! Что принесут

Александр Радовский.  
Фото: из домашнего архива



в пространство конкретного здания наследники – мысли о барыше или чувство истории, впечатанной в каждом камне?

Автор рисует точный портрет современных иудеев, мысль об избранности которых согласно Б-жественному решению и донныне неприемлема для их мусульманских и христианских врагов. До идеала нового гордого израильтянина они порой не дотягивают. Ибо себя не видят – воспринимают заниженно, обыденно, непроясненно по отношению к своей миссии. И требуется, порой, крайняя ситуация взрыва, или землетрясения, чтобы зашоренный демагогией о вине перед побеждёнными, искажённый прилипшей социальной маской сбросил её перед лицом смерти, заплакал и успел спросить у самого себя: «Кто Я?!» Таковы Катет в пьесе «Река. Скала, Песок», Илан в пьесе «Кто есть кто?!» Вслед за своими философскими учителями А. Радовский воссоздаёт чудо еврейского бытия вопреки всем рациональным законам материальности.

Каждый текст построен так, чтобы прежде всего захватить адресата точным слепком узнаваемой, «провинциальной картиной разросшегося ввысь штетла» от Тель-Авива до Кирьят-Арбы. В этом максимально сконцентрированном крошечном пространстве, где столкнулись прозревшие со слепыми, живые с мёртвыми, бедные с богатыми, верующие с атеистами, нет прямого выхода (закрыты двери, не работает лифт, постоянны угрозы со стороны природы и террора), драматург-философ создаёт диалогическое напряжение вертикальной парадигмы памяти – проясняет еврейскую экзистенцию – интеллектуальную сущность попавших в неразрешимую ситуацию, воспроизводит в монологах национальный хронотоп – пространство-время еврейской истории: изгнания, погромы и, несмотря ни на что, фантастические победы малыми силами...

Автор говорит со своим адресатом языком художественных шифров, символизирующих коды иудейского менталитета, провоцирует на духовное соучастие, диалогическое домысливание. Ситуации его драм обыденны, но их сценическое решение неожиданно, ибо возникает на грани реальности и ирреальности, мистической тайны, в которой скрыт ответ. Такова метафора раскачивания старика – современника века на стрелке старинных часов, символ его бунта против еврейских трагедий в пьесе «Часы и Мастер». Нет ни одного прозрачного изначально ясного текста. Узнаваемая реалистичность точно схваченных бытовых

<sup>11</sup> Афины и Иерусалим, Берлин, 1938, с. 15.

израильских деталей мнимая. Потрясение, катарсис запрограммирован драматургом, как разряд молнии, идущей из скрытых глазу неведомых сфер. Заложника, отчаявшегося спастись, оглушает последний звонок, невозможный с отрезанного от мира телефона («*Самый последний звонок*»); разумную «Эвридику», не решившуюся выйти из своего «подвала», ослепляет резким снопом света, как возможностью свободы там, за не поддающейся никому дверью – её «Орфей» – Марк, её единственный («*Там за дверью*»); и взлетает вдруг самодельный игрушечный вертолёт у отчаявшегося Адама – образ его мечты о вкладе в Армию обороны Израиля («*Странные происшествия в доме Шапиро*»).

Контрастом алогичных, как световая вспышка эпилогов, невозможных с обыденной точки зрения, автор взрывает сознание, заставляя отказаться от любых розовых-идеалистических, или чёрных-нигилистических предубеждений и увидеть подлинную картину еврейской страны, ощутить её скрытый высший смысл. Таков эпилог пьесы «*Мина*», где боевой снаряд, присланный в подарок на день рождения евреям в Германию, вызывает у всех ужас. Вокруг него разыгрывается целая мистерия страхов об «агрессивной военщине», «непропорционально реагирующей на побеждённых», о «ненормальной стране», от которой надо держаться подальше. Автор с горечью и болью изображает европейские, в том числе еврейские реакции на Израиль как трагикомедию, цирк современной истории. Эпилог – взрыв! «*Мина*» выстреливает не порохом, но сладостью – конфетами от племянника – офицера спецназа. Израиль не чудовище, а праздник жизни! Эту напряжённую радостную атмосферу он привносит прямо с поля боя, с которого вырвался, чтобы поздравить любимую тётю, и на которое снова вернётся.

Подлинные герои Радовского – гордые израильтяне, не боящиеся трудностей и смерти ради защиты своей земли. Страна как истина, как доказательство пророчеств для них дороже собственной жизни. Таков учёный физик Давид в пьесе «*Четвёртая причина*», невинный, но осуждённый коллегами-завистниками. Он до последнего занят не самоспасением, но поиском ответа на вопрос о причине единства космоса.

«Эйнштейн искал ответ в физике, а она в метафизике! Запоминай, сыночек, запоминай! Г-сподь создал весь мир Своей свободной волей»<sup>12</sup>.

Таков успешный американец Дан в пьесе «*Зачем?!*», отказывающийся от карьеры просто потому, что он – еврей и не желает терпеть ничем не обоснованную ненависть. Пьеса-гимн современному Израилю, дающему смысл жизни евреям диаспоры, которые особенно в момент беды срываются с места, вопреки доводам разума бросают всё, чтобы быть там, где они чувствуют свою обязанность присутствовать, защитить свой национальный Дом, своё пространство, где можно быть равными себе, своим ценностям, своей культуре. И те, кто понимает «Зачем?!», едут, выбирают опасное счастье быть рядом. Пьеса – иллюстрация авторского понимания сути алии-репатриации и значения Израиля для иудеев, куда бы ни забросила их судьба! Возвращение Дана построено автором, как внутренний разрыв, как ответ антисемитам и осознание своего предназначения.

<sup>12</sup> Из неопубликованного архива драматурга, хранящегося у автора статьи (далее – Архив).

«Г-сподь на горе Синай возложил на еврейский народ тяжелейшую миссию: принести в мир идеи свободы»<sup>13</sup>, – говорит он остающимся.

Вслед за еврейскими мыслителями А. Радовский развивает в оригинальных метафорах монотеистическую философию. В его текстах возникает мистический образ Господина Д – Отца одной семьи как символа семьи человечества, где каждый может удостоиться свидания с ним, если отречётся от индивидуалистической замкнутости «Я», эгоистической агрессии и отнесётся к «Другому Ты» как к родственнику – «Брату своему». Идея общечеловеческого братства разрабатывалась драматургом ещё в России в пьесе «Счастливый билет», где только смертью своей герой доказал, что все мы «братья и сёстры», даже убийца признал его «братом своим»! В пьесе «Замысел Господина Д» эта коллизия разрешается постепенно перед лицом буйства природы, перед которым все равны. Ситуация российского «Стихийного бедствия», заставляющего всех исповедоваться, развивается в израильской пьесе «*Замысел господина Д*» как очищение совести и следовании законам сердца – как «тшува» – религиозное возвращение к Отцу. В эпилоге неожиданная встреча с Ним, видение Его каждым за гранью сцены – эффект молнии – образ награды за проявленное сострадание...

Идея детерминированности мира нравственной взаимосвязью смертного с бессмертным, Высшего разума с низшим, частицы Сверхдуши в каждом еврее – одна из главных для А. Радовского. Во многих пьесах «*Былое было белое*», «*Зачем?!*», «*В ожидании лифта*» так же, как в «*Письме к Солженицыну*», он декларирует, что

«евреи – матросы на корабле человечества, который ведёт Б-г. Капитану (Творцу) ведом путь планеты Земля во Вселенной... От того, как «матросы» будут выполнять команды (заповеди), зависит безопасность пассажиров, гарантия достижения цели: гармония мира, обретение истинной свободы».

«Весь космос зависит от того, удержится ли группка сумасшедших евреев в Хевроне или нет... Мы нация космическая» («*Наследство*»)<sup>14</sup>.

В изображении мировоззренческого конфликта евреев с христианским миром А. Радовский органически использует эстетические открытия экзистенциальной драмы. Его тексты «*Герострат и все, все, все*», «*Мой верный Альцхаймер*», «*Глазами Шейлока*» – подобно Ж.-П. Сартру, Ф. Дюрренматту, А. Жарри, философские размышления о смысле бытия в переплетении сюжета видимого и скрытого, пьесы-притчи, иносказания об абсолютно свободном человеке в мире рабских предрассудков. В этом театре абсурда современности «и один в поле воин».

Следуя законам символической бытовой драмы, автор в завязке создаёт полифонию современности из хора неслиянных голосов. «*Действие происходит здесь и сейчас*», – пишет драматург, вводя в пьесу «*В ожидании лифта*». Герои словно застряли во времени, пригвождённые к одному месту. Прибытие лифта, по их мнению, как и мифического «Годо» С. Беккета, подобно Машиаху, Спасителю внесёт смысл в их существование, избавит от угроз враждебного

<sup>13</sup> Сб. «Драматургия без границ». Тель-Авив, 2022, с. 281.

<sup>14</sup> Архив.



опасного мира. Действие происходит в вестибюле небоскрёба – символа цивилизации, общей глобальной деревни. «Всюду хлам. Стиль бардак». Только что был взрыв, где-то ещё стреляют. Все нервничают, надеясь побыстрее уехать, а лифт всё не приходит...

Здесь сталкиваются, как в классической пьесе Беккета, дуальная пара, связанная абсолютно поверхностно, Гуто и Арно – папарацци и его «объект», горе-певец, приготовившийся к самоубийству; и среди многих – доктор Пери, спешащий на помощь в операционную.

Автор вводит профессора-еврея как земную ясную ноту среди дьявольского шума, как знак всеобщей глухоты. Все персонажи проявляются в коллаже кадров, как на киноплёнке, сквозь ауру старого доктора, единственного, кто сознаёт свою ответственность перед людьми. Именно он действует, пока остальные рефлектируют: дозванивается до мастера, заставляя того подняться ради ремонта лифта. И ни секунды не теряя, не на словах, а на деле, спасает и близких, и дальних, руководя операцией на расстоянии по телефону, поддерживая жизнь пациентов как больных физически, так и духовно.

Однако это не уберегает его ни от побоев, ни от ненависти, ни от клеветы, ни от наветов.

Драматург заостряет отличительные черты антисемита, создавая образ штампованного дебила, оправдывающего себя мифами, которыми более двух тысяч лет кормили необразованную толпу.

«Они бога распяли... Вы посмотрите вокруг, что они с миром сделали. Ваша нация всюду пролезет!»<sup>15</sup>

Открытие новых технологий, фантастических способов оздоровления, защиты от бед природных или военных – любые земные виды осчастливливания человечества – не спасают евреев от равнодушия, потребительства и ненависти. Драматург развенчивает «теоретическую базу» антисемитов, двуличия христианства, на которое опирались инквизиторы, погромщики, фашисты и их нынешние исламистские последыши.

Крушение цивилизации началось, по мнению мудрого еврея, с морального омертвения, угасания чувств, забвения главной заповеди Библии: «Возлюби ближнего как самого себя». Устами профессора Пери драматург развенчивает опустошённых, бессердечных прагматиков, конформистов, даже в минуту чужого горя занятых лишь собственной карьерой.

«ПЕРИ. Да, невезучий вы человек... Столько смертей профукать! И раненые. Все в крови – и всё без вас!»<sup>16</sup>

Старый доктор с горечью иронизирует над несостоявшимся папарацци терракта...

«Человек должен пройти через страдание не оттого, что вышел в тираж и его перестали узнавать на улице, а оттого, что Образ Б-жий в себе разрушил»<sup>17</sup>.

Профессор Пери, директор клиники под крышей небоскрёба, заботливый старик, тот отпечаток высшего замысла хранил в себе с рождения.

Однако никакие добродетели не защитили доктора от больных «хронической злобой и злокачественной глупостью». По наводке патологического идиота хватают старика-профессора как «террориста» вместо убегающего «чёрного человека». А остальные молчат...

Пьеса заканчивается в полном вакууме разрывом сердца Пери. Горе-фотограф ловит момент «удачи» и

«снимает перевёрнутые стулья, открытую наконец дверь лифта и надломленное тело одинокого старика, из телефона которого несётся ария бессмертного тореадора накануне схватки»<sup>18</sup>.

Конец потрясает без слов. В контексте столкновения человечности с пустотой, ума с глупостью, ответственности с эгоизмом, культуры с примитивизмом побеждает, несмотря на смерть, – вера героя в добро, в ответственность человека за любого ему подобного – этика Библии, превосходство иудаизма над антисемитизмом, Б-га души человеческой над Дьяволом разума, страха и равнодушия. «Занавес резко падает», но продолжает звучать в подсознании музыка оперы Бизе как призыв не сдаваться!

До сих пор А. Радовский слышит голоса своих персонажей, шепчущих ему что-то важное.

«Мне остается только записывать. Это моя жизнь»<sup>19</sup>.

Трагедии художника, теряющего себя ради достижения совершенства, наказанного за отождествление себя с Истиной, посвящена пьеса «Пигмалионова слава» – иносказательный автопортрет сочинителя. Миф об ожившей статуе как метафоре масштаба таланта её создателя драматург наполнил актуальными размышлениями о смысле своего творчества с точки зрения Афин и Иерусалима в пользу последнего. Смерть Пигмалиона от поцелуя мраморной Галатеи в эпилоге – утверждение Б-жественной природы искусства, превосходства его над слабым земным человеком, который лишь проводник его космической мощи, – и слава всех «пигмалионов» призрачна!

А. Радовский, прошедший в России через опыт политической несвободы, интеллектуальных поисков и прорыва к истине национального возрождения в 60 годы XX века, создал в Израиле за 50 лет (1973–2023) театральный феномен: единое эстетическое поле из микрокосма пьес – макрокосм, духовную вселенную современного израильянина, национальный экзистенциальный театр реалистического иносказания, мистической бытовой метафоры – художественный щит Израиля в современной информационной войне.

Да услышат о нём все просветлённые деятели культуры, для которых библейская правда зрелища о Земле Обетованной – вопрос собственной чести и совести! ■

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>15</sup> Архив.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же.

*Mum*

рецензия



## Николай ПОДОСОКОРСКИЙ

📍 Великий Новгород, Россия



Фото: из личного архива автора

Историк культуры, литературный критик, эссеист, книжный обозреватель. Окончил истфак Новгородского университета. Кандидат филологических наук.

Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», «Знамя», «Вестник Европы», «Дружба народов», «Волга»; сетевых изданиях «Горький», «Гефтер», «Континент», Colta.ru, «Литература», «Формаслов»; «Учительская газета» и др.

Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2011); независимой литературной премии «Дебют» (2015) в номинации «эссеистика»; премии «Блог-пост. Лучший книжный блог года» (2019) в номинации «Лучший книжный Stand-alone-блог»; премии Роспечати, Российского книжного союза и журнала «Книжная индустрия» «Ревизор» (2020) в номинации «Блогер года»; гуманитарной и книгоиздательской премии «Книжный червь» (2020) в номинации «Urbi et orbi» – «За верность просветительству, за старое вино книги в новых мехах современных медиа»; премии журнала «Знамя» (2023).

Автор многочисленных научных и литературно-критических трудов, специалист по творчеству Ф. М. Достоевского и русской литературе XIX–XXI веков.

В № 2 (6) за 2024 год «Тайных троп» опубликована рецензия «Власть Ботинок, или Диктатура Антониу Салазара».

## «Изменить мы этого не можем»?

Кельнер Фридрих. Одураченные : Из дневников 1939–1945. / Пер. с нем. А. Егоршева, Е. Смолоногой, пер. с англ. вступ. ст. А. Захаревич. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2024. 440 с.

Публикация на русском языке фрагментов дневника немецкого юриста Августа Фридриха Кельнера (1885–1970), который он тайно вёл в годы Второй мировой войны для фиксации разнообразных преступлений нацизма против человечности и немецких граждан, побуждает русскоязычного читателя к размышлению над тем, что может сделать один свободолюбивый человек в тоталитарном обществе, и как подобного рода записки, обращённые к будущим поколениям, могут выполнять психотерапевтические функции для автора, желающего сохранить здравый рассудок посреди социальных бедствий и всеобщего безумия, нагнетаемого и инициируемого деспотической властью.

«Это был глас вопиющего в пустыне, но я чувствовал, что обязан записывать мысли, владевшие мною в то роковое время и разрушавшие мою нервную систему, чтобы потом — будь это возможно — нарисовать моим потомкам подлинную картину событий»,

— написал автор дневника 30 августа 1939 года, в самый канун Второй мировой войны.

При чтении этого издания дневника важно учитывать, что, во-первых, сам Кельнер вносил в свои тексты некоторые правки спустя годы. Во-вторых, уцелевшие рукописи А. Ф. Кельнера были собраны целиком, расшифрованы и опубликованы лишь много лет спустя после его смерти его внуком, Робертом Скоттом Кельнером. В-третьих, русское издание представляет сильно усечённую версию оригинального текста и содержит, по словам составителей, только «наиболее репрезентативные записи». Тем не менее и в таком основательно адаптированном и урезанном виде этот памятник сопротивления нацизму производит сильное впечатление, демонстрируя, что в условиях всепоглощающего насилия, когда любое внешнее политическое сопротивление фанатизму толпы

заведомо обречено на неудачу, основополагающую роль начинает играть внутренняя борьба со злом, происходящая, главным образом, в душе отдельно взятого человека.

Фридрих Кельнер стал убежденным антинацистом задолго до Второй мировой войны и прихода Гитлера к власти. Ещё в 1925 году в его семье обсуждалась идея, что он должен написать ответную книгу на вышедшую «Мою борьбу» Гитлера. В итоге спустя годы такой книгой стал его дневник, который (в настоящем издании, вопреки выходным данным) начинается с сентября 1938 года. В годы пиковой внешней и внутренней агрессии Третьего рейха Кельнер и сам многократно находился на волосок от гибели: на него всячески оказывали давление, побуждая к проявлению большей лояльности фюреру и НСДАП, грозились его уволить, посадить и расстрелять; за ним постоянно следили, а его дом подвергался обыскам; жена Кельнера, чтобы не угодить в концлагерь, была вынуждена доказывать своё немецкое происхождение; а под конец войны к систематическим переработкам и полунищенскому прозябанию добавилась принудительная мобилизация в ополчение (фольксштурм) и бомбардировки Лаубаха, где он жил и работал, войсками союзников. Тот факт, что ему удалось уцелеть в обстановке стольких смертельных опасностей, сам Кельнер объяснял Божьим покровительством:

«Тот факт, что за истёкшее время, несмотря на ряд опасных моментов, нам не причинили большого зла, доказывает: Господь Бог на нашей стороне (на стороне семьи Фрица Кельнера)!».

Вообще в записях лаубахского чиновника-антифашиста нередко можно встретить рассуждения о роли Бога в истории и о том, как сторонники нацизма, в целом враждебно настроенные по отношению к христианству, пытаются в пропагандистских целях поставить Бога себе в услужение.

«Фрау Д., живущая в Гиссене на Креднерштрассе, сказала фрау М.: “Гитлер послан нам Богом”. У людей весьма странное представление о Боге. В каких только целях не используется слово “Бог” в этой войне! С “Богом” начинали войны, к “Богу” взывают, чтобы Он даровал немцам столь необходимую им победу. Из Майнца мы получили письмо от Кэте, в котором есть и такая строка: “Люди в Майнце глубоко верующие — как дети в канун Рождества”. И в кого же там верят? Прежде всего, разумеется, в Гитлера» (запись от 14 ноября 1942 года).

Собственно, и национал-социализм Кельнер определяет как «религию основной массы немецкого народа», а неизбежность поражения гитлеризма объясняет его богоборческим характером:

«Гитлер терпит фиаско, ибо дерзнул затеять спор с Богом и со всем миром».

Ещё одним источником творческого вдохновения и средством психологического самосохранения для Кельнера была великая мировая (и, в первую очередь, немецкая!) культура. В своём дневнике он, помимо Библии, обильно цитирует И. В. Гёте, Ф. Шиллера, С. Бранта, А. Мюллнера, В. Гауфа и др. Прочтя этот дневник, можно ответить тем, кто сетует, что великая культура не способна предотвратить нравственное падение общества: это так, но верно и то,



**что великая культура может спасти разум и укрепить сердца отдельных людей, оказавшихся заложниками и свидетелями всеобщего духовного растреления.**

Описывая атмосферу, царящую в годы войны в Германии, Кельнер отмечает:

- «говорить с коллегами и знакомыми о военных делах больше не имеет смысла»;
- «лучшие люди живут как отшельники, а всей полнотой власти наслаждаются подлые палачи»;
- «главный козырь — террор», «подавление инакомыслия возведено в ранг закона»;
- «деликатность, хорошие манеры, благородство исчезли как понятия»;
- «с десяти лет военизирован каждый немец»;
- «о реальном положении вещей люди знать ничего не хотят».

В записи от 7 октября 1939 года Фридрих Кельнер сформулировал 18 признаков нацизма (сродни позднейшим 14 признакам фашизма, выделенным итальянским писателем Умберто Эко):

- «1) Обязательное приветствие “Хайль Гитлер!”,
- 1а) Разделение народа на “партайгеноссе” и “фольксгеноссе”,
- 2) Подчинение общественного мнения властям предрержащим (единомыслие в прессе).
- 3) Подавление любого свободного высказывания.
- 4) Защита “старых борцов” и приверженцев партии, даже если за ними числятся преступления.
- 5) Преследование порядочных граждан лишь за то, что они придержи-

вались когда-то иного мнения и, возможно, указывали на тот или иной гнойник.

- 7) Преследование и уничтожение евреев.
- 8) Пренебрежительное отношение к религиозным убеждениям человека.
- 9) Беспрепятственное изменение законов, тысячи постановлений. Даже специалисты не могут больше толком разобраться во всех нововведениях.
- 10) Беспрецедентная заорганизованность в государстве и особенно в партии и массовых объединениях.
- 11) Свиная бюрократия и раздутый чиновничий аппарат.
- 12) Расходы без учёта доходов.
- 13) Защита разного рода подонков (снятие с них вины).
- 14) Налоговое бремя и его непрерывное увеличение.
- 15) Попрошайничество оптом (Нац.-соц. народная благотворительная организация, Организация по оказанию помощи в холодное время года), награды в виде значков.
- 16) Тёпленькие местечки для рг<sup>1</sup> (мелкие должности, постики, униформы, парады, факельные шествия, цирк, барабанная дробь, звон литавр, гром победы — Зиг хайль! Зиг хайль!).
- 17) Фюрер, приказывай, мы идём за тобой.
- 18) «Мы всем обязаны нашему фюреру»».

По признанию Кельнера, наиболее тяжёлые душевные страдания ему приносило введение тиранического приветствия «Хайль Гитлер!», которое как бы призывало одобрять политику фюрера даже тех, кто внутренне был с нею не согласен.

Большую душевную боль автору дневника доставляют мысли о том, что самостоятельно немецкий народ не способен не только сбросить тиранию нацистов, но и вообще осознать её разрушительные последствия для мира, страны и отдельных людей.

«Рабская натура немцев полностью утратила мысли о свободе. Как будто чем больше её подавляют, тем лучше она себя чувствует. Трусовость расцвела буйным цветом. Главное — не противиться. Не люди, а черви. Я теряю последнюю надежду на возможность перемен» (запись от 12 октября 1939 года).

«Бедный немецкий народ, что ты натворил, без борьбы, трусливо отказавшись от своей свободы? Народ обязан защищать свою конституцию с тем же упорством, что и лично нажитое добро» (запись от 17 марта 1940 года).

«Только вот мыслить мои современники отучились. Вбить им что-то в голову можно лишь дубинкой» (запись от 27 марта 1940 года).

«Переворот в сознании может произойти только в результате военного

поражения или краха в экономике. Но для этого нужна ещё и поддержка извне. “Что тут поделаешь” или “Изменить мы этого не можем” — так звучат возражения людей, вполне способных на самостоятельные действия» (запись от 15 июля 1941 года).

Кельнер — неисправимый идеалист, и он отчаянно ищет и в других хотя бы малейшие проявления идеализма, совестливости, стремления взять на себя ответственность за происходящее на твоих глазах и мыслить, говорить, действовать самостоятельно, а не повторяя навязываемые пропагандой клише и не выполняя одни только приказы, спускаемые от начальства. Главная единица измерения для него — конкретный человек, с его страданием, совестью и счастьем. Он в частности задаётся вопросом:

«стали ли мы счастливее, оккупировав ряд стран? Получил ли что-нибудь каждый конкретный немец от этих завоеваний?»

Вместе с тем идеализм Кельнера органично сочетается с жёстким прагматизмом:

«Правда, народ, до безумия верящий в своё всемогущество, не урезонить словами. Усмирить взбесившегося быка можно только ещё большей силой с применением боевых средств».

Кельнер документирует террор как внутри, так и вовне Германии.

«Говорят, что в Гиссене арестован лесничий Риттер — за высказывания о том, что война продлится ещё три года. Два года назад его бы расстреляли, если бы он стал утверждать, что война продлится два года. Говорить правду нельзя» (запись от 5 июля 1941 года).

«Искусство управления страной Гитлер и его присные свели к насилию. Нацисты властвуют, создав систему террора. Смертные приговоры сыплются как из рога изобилия. Думаю, Гитлера не тронула бы даже гибель всего немецкого народа» (запись от 23 ноября 1943 года).

«Вильгельм Цвиллинг, директор в одном из учреждений рейха, пытался, беседуя с коллегами, повлиять на их стойкие взгляды, ведя подлые, подстрекательские речи. Народный суд приговорил злопыхателя, не раз встречавшего возражения со стороны возмущённых слушателей, к смертной казни. Приговор приведён в исполнение» (выписка из немецкой прессы, 26 мая 1944 года).

Немало места в дневнике уделено преследованию и уничтожению евреев. Так, в записи от 28 октября 1941 года Кельнер рассказывает об украинских палачах, исполняющих смертные приговоры по приказу СС:

«[Находящийся в отпуске солдат рассказал, как на оккупированных территориях голых евреев и евреек выстроили на краю длинного глубокого рва. Затем, по приказу СС, украинцы стреляли им в затылок. Люди падали в ров, после чего ров закапывали. При этом из него зачастую ещё доносились крики!!!»

Под конец войны Кельнер всё чаще пишет не только о расправах по политическому и расовому признаку, но и о банальном мародёрстве солдат в отношении своих же граждан.

<sup>1</sup> Pг — сокращение от Parteigenosse (нем.) — товарищ по партии, партиец.

«Комментарий к заметке о том, как двое солдат вермахта обокрали пассажира поезда, следовавшего по маршруту Вюрцбург—Нюрнберг. Солдаты становятся преступниками. Инцидент в поезде — явление, увы, не единичное. Они уже не делают различия между границей и родиной. Совершив с одобрения своих начальников или без оно́го массу преступлений в оккупированных странах, они продолжают бесчинствовать на немецкой земле. Разбойные нападения, грабежи и кражи обозначаются на солдатском жаргоне глаголом “организовать”. В результате такие действия изымаются из зоны уголовной ответственности и превращаются в проступки, на которые власти закрывают глаза. Не нужно много фантазии, чтобы представить себе, что будет твориться здесь в ближайшем будущем» (запись от 12 ноября 1944 года).

Какие же выводы извлёк автор дневника из произошедшей трагедии?

Во-первых, что **необходимо кардинально изменить преподавание истории, отказавшись от героизации преступлений прошлого.**

«То, что проехало-прошло мимо нас, было, значит, частью той армии, которая отправилась в поход, чтобы грабить и убивать и — как следствие — опозорить немецкое имя на все имена. Надеюсь, найдутся люди с чистой совестью, они и расскажут нашим потомкам, как всё было. Я не просто надеюсь — я горячо желаю этого. Не “героев” надо показывать нашим детям и внукам, а зверей в человеческом облике» (запись от 28 марта 1945 года).

Во-вторых, что **поражение в войне стало гибелью для гитлеровского режима, но спасением для народа Германии:**

«Провидение, к коему любил обращаться Гитлер, не вняло его мольбам. Рухнула самая гнусная из всех политических систем, рухнуло единственное в своём роде государство — плоть от плоти фюрера. Но на вечные времена в истории останется тот факт, что немецкий народ не смог сбросить нац.-соц. ярмо по собственной инициативе. Потребовались американцы, англичане и русские, чтобы, разгромив вермахт, образумить народ, ослеплённый национал-социализмом, и сорвать гитлеровские планы завоевания мирового господства» (запись от 1 мая 1945 года).

Наконец, в-третьих, что **вину за преступления нацизма нельзя одинаково возлагать на всех немцев, ибо это означает размывание реальной ответственности:**

«Некоторые иностранцы утверждали в эфире, что вина за порядки в концлагерях ложится на весь немецкий народ. Такую оценку я нахожу несправедливой и протестую против неё. Каждого немца, оказывавшего нацизму активное или пассивное сопротивление, тогда тоже придётся признать виноватым. Не вижу логики в этих обвинениях. Линчевание негров цивилизованные люди считали отвратительнейшими актами судопроизводства. Но ни одному разумному человеку не пришло в голову винить в этих насильственных действиях всех граждан Соединённых Штатов Америки. Так и в случае с концлагерями к ответственности следует призвать только действительно виновных. А виновными являются те не люди, в головах

которых родилась идея концлагерей, а также все те выродки, которые помещали людей в такие лагеря, истязали их там и вели дело к их умерщвлению» (запись от 7 мая 1945 года).

Фридриха Кельнера по прочтении записей его дневника никак не назовёшь ни мудрецом, ни выдающимся интеллектуалом, но невозможно отнять у него звание честного, порядочного, совестливого, смелого и свободного человека, а сохранять себя таким все долгие годы мрачной диктатуры нацистов, отказываясь от соучастия в чудовищных преступлениях и рискуя по этой причине самому стать жертвой режима (добавим, что Кельнер и его жена не ограничивались одним только внутренним сопротивлением, но пытались по мере сил будить сознание одурманенных геббельсовской пропагандой сограждан) — это и есть настоящий героизм. ■

ММ

изобразительное искусство



## Саша ОКУНЬ

Иерусалим, Израиль



Фото: Дэниэл Бенис.  
С разрешения галереи «Альбертина», Вена.

Художник, писатель.

Родился в Ленинграде (1949). В Израиле с 1979-го.

## Елена ШИПИЦЫНА

Екатеринбург, Россия –  
Тель-Авив, Израиль



Фото: Лев Шипицын

Российско-израильский арт-критик, независимый куратор международных проектов современного искусства, арт-журналист, в прошлом галерист, арт-директор Екатеринбургской галереи «Синара-Арт» (2015–2019).

Родилась на Урале (1959), училась в Санкт-Петербурге, стажировалась в Финляндии. Почти 30 лет занималась музейными исследованиями, специализируясь на изучении новых методотов и идей художественной практики в постсоветской России. И в том числе более 20 лет посвятила практике международного арт-кураторства в России, Израиле, странах Северной Европы.

Член Союза художников РФ и Международной ассоциации искусствоведов и критиков (AIS). Автор 3 монографий и более 20 научных публикаций по проблемам искусства, более 70 выставочных проектов современного искусства в России, Финляндии, Эстонии, Израиле.

Участник международных ярмарок современного искусства *Cosmoscow* (Москва), *Fresh Paint* (Тель-Авив), *Art Fair Suomi* (Хельсинки). Член жюри Таллинской международной триеннале рисунка (2012), ярмарки *Fresh Paint* (Тель-Авив, 2016–2017). Представляла Россию на X Международной биеннале графики стран Балтики *Калининград-Кёнигсберг 2011*, награждена дипломом *The Best Curator's Work*.

С сентября 2019-го живу в Израиле, продолжая сотрудничать с русскоязычными издательствами и онлайн-журналами, освещающими проблемы искусства.

В № 3 (7) за 2024 год «Тайных троп» опубликована моя статья о творчестве художника Анатолия Шмуэля Шелеста



## Трагикомедия жизни – самый интересный жанр

Разговор Елены Шипицыной с Сашей Окунем о своей интонации в искусстве в эпоху «неопостизма»

*Та октябрьская неделя после поста Йом-Кипура началась с отрадного – поездки в Иерусалим и разговора с Сашей Окунем об искусстве как игре и боли, судьбе и ремесле, терапии и откровении. С Сашей можно говорить о многом – он человек ренессансного типа: философ и иронист, профессор рисунка и журналист, знаток семиотики текста и кухни, театра и библейской истории.*

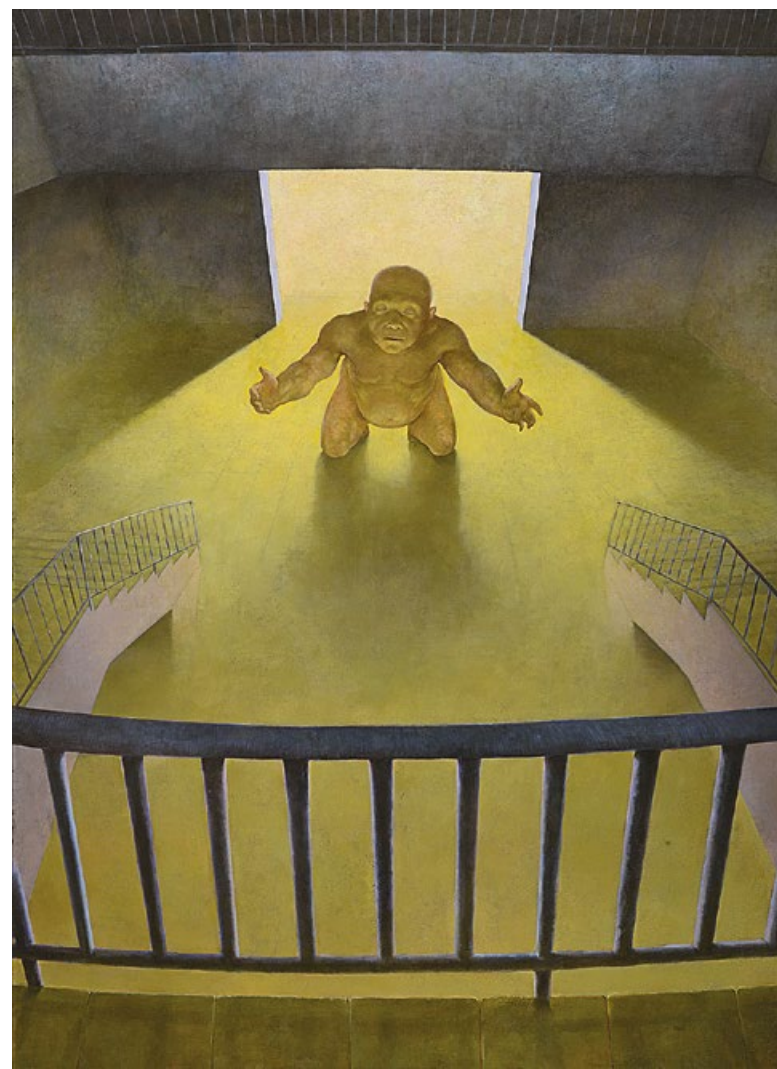
*Возможно потому, что жизнь его связана с двумя самыми мистическими, на мой взгляд, городами: Санкт-Петербургом и Иерусалимом. Впервые услышав о нём и о ленинградских нонконформистах «Газаневской группы» во время учёбы в Питере в середине 1990-х, я через десять лет, неожиданно для себя, очутилась в его иерусалимской мастерской, мы проговорили почти три часа об искусстве традиционном и не очень, этике творчества и эстетике современности. И долго потом не могла избавиться от ощущения, что он исчезает из реальности, отправляясь в другие времена, эпохи и измерения в поисках творческого приключения и интересного собеседника. Подтверждением реальности нашей встречи была его книга «Плацебо» с автографом, прочитанная мною «залпом» на обратном рейсе в Москву. Каждая новая встреча дарила мне новую книгу, лёгкость чтения которой не исключает глубины содержания, также как его живопись, гротескная по стилю и трагичная по смыслу. «Наша жизнь – трагикомедия, – говорит Саша, – и это самый интересный жанр». Именно этим вдумчивым подходом к жизни и приятии её во всем событийном абсурде, объясняется особый «жанр» творческого метода художника – привычка работать циклами.*

*По тонкому замечанию проф. Ариэля Хиришфельда, Саша Окунь – «художник единственный в своём роде. Любая попытка его классификации в рамках принятых сегодня критических концепций была бы грехом по отношению к его уникальности и глубокой поэтике». Сам же художник – «человек играющий» своими образами и медиумами, от ассамбляжей и скульптур, живописи и инсталляций до видео, аудио и рисунков в разных техниках. Как он сказал сам о себе: «Я родился в XX веке, живу в XXI, а умру всем назло в XVII».*

## Художник – человек, дающий имена

**С. О.** Вот кто был величайшим художником на земле?

Ответить на этот вопрос невозможно, потому что тех, кто «номер 1», – много. Когда Стерн приехал в Россию, кажется, в 1957 году, он говорил по-русски, и его кто-то спросил, что он думает о Давиде Ойстрахе. И Стерн с необычайным энтузиазмом сказал: «Додик – скрипач номер 2 в мире!» И тогда его спросили: «А кто же номер 1?» Стерн улыбнулся: «Первых – несколько». Так вот, первых, конечно, несколько, но самым Первым художником в мире был Адам. По одной простой причине – работа художника состоим в том, чтобы дать имя, назвать каждую вещь «по имени», неважно, писатель это, или музыкант, или живописец. Художник это тот, кто даёт вещи или явлению имя. Первым этим непростым делом занимался Адам, раздавая имена живым существам. И, легко себе представить, какой бы ужас был, если бы он назвал льва – мышкой, или наоборот!



Возвращение слепого сына. Из серии «Где Ты?». Масло, дер., 170x164, 2017. Собр. Русского музея, Санкт-Петербург.

Я работаю сериями. Ибо любой сюжет бесконечен, и чем больше ты им занимаешься, чем глубже разбираешься, тем богаче и значительнее осмысление одного. Беллини за свою жизнь написал 90 мадонн. Жил бы подольше, написал бы 180.

И не зря сказал Джакометти: «С сего дня и до конца жизни я могу рисовать только этот стул».



Молитва над Кинеретом. Из серии «Где Ты?». Масло, дер., 357x146, 2018.

Дать имя вещи — значит, рассказать её историю. Скажем, чайник Шардена рассказывает совсем другую историю, чем чайник Пикассо. И, кстати, тот же Пикассо, в разгар всеобщей борьбы авангардного искусства с сюжетом, очень точно сказал, что сюжет в искусстве есть всегда, «...даже когда холст просто покрашен зелёной краской, есть сюжет — зелёный цвет». Я полагаю, что, как есть эпохи, в которые художник навязывает зрителю нарратив сюжета, также есть и эпохи нарративов, открытых для зрительских сюжетов, в рамках предложенных художником пластических историй. Например, фиолетово-чёрная с красной полоской абстракция Ротко не позволит вам сказать, что это история о весёленькой свадьбе, и та-та-та...

Каждое хорошее произведение искусства подобно конверту. Скажем, вот есть конверт, необычный, с кучей экзотических марок, из великолепной бумаги. Но если в нём нет письма, то есть говоря современным языком послания, меседжа, то этот конверт годен лишь для коллекционеров. Я приведу в пример «Плот "Медузы"» Теодора Жерико. Крайне интересно смотреть эскизы Жерико, как он от чистой иллюстрации к этой драме гибели плота и людей — а вот обрубили канат, а вот отчаялись и поели друг друга, — то есть от журналистского описания ситуации шёл к метафоре, тому самому меседжу. В результате, найденный им приём привёл всё в движение и создал совсем другие смыслы. Интересна реакция короля, осматривавшего выставку перед открытием салона. Увидев картину Жерико, король ему сказал: «Месье, это всё что угодно, но только не катастрофа». Так что король в живописи разбирался. Потому что меседж этой работы не столько история плота «Медузы», сколько раздраз между надеждой и отчаянием, на пластическом языке осуществлённый композицией с двумя треугольниками, вершинами расходящимися в разные стороны. А это меседж универсальный, который касается души каждого человека. Каждый из нас проходил периоды жизни между надеждой и отчаянием, и тут уже конкретный сюжет не имеет никакого значения.

**Е. Ш.** Внесюжетная получилась история.

**С. О.** Да, то есть универсальная.

**Е. Ш.** У Пикассо есть любимое мною высказывание: «Живопись — занятие для слепцов. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует».

**С. О.** То, что чувствует, то что понимает... Мы помним слова Маленького Принца «самого главного глазами не увидишь». Но ведь самого главного и словами не выразишь. Потому что самое главное в жизни передаётся прикосновением, улыбкой, звуком, жестом... Но абсолютно не словами! Слова созданы для того, чтобы врать. А вот прикосновение не соврёт, и взгляд, и жест, и улыбка... И вот здесь как раз место для пластических искусств, для музыки, для танца, пантомимы.

Вот скажем, Энди Уорхол как современный тренд. Для того, чтобы понять его творчество необходимы объяснения. Нам нужны слова, много слов, чтобы объяснить, почему банка томатного супа Кэмпбелл — это предмет искусства. А для того, чтобы понять маленькую греческую терракоту, фигурку какой-нибудь античной танагрской нимфы, вам никаких слов не нужно, ибо это чудо, говорящее со зрителем непосредственно, без всяких слов. И, в отличие от Уорхола, объяснить его нельзя. Потому что как только вы находите объяснение чуду — оно перестаёт им быть. А, на мой взгляд, искусство всё-таки должно оставаться чудом.

**Е. Ш.** У Сьюзен Зонтаг на этот счёт есть точное высказывание: «Интерпретация — это месть интеллекта искусству».



Из серии «Срочные новости». Карандаш, бум., 70x100, 1998. Собр. галереи «Альбертина».

*Из записок художника*

«**Срочные новости**» – эта серия появилась как результат террора середины 1990-х, когда новости были неотъемлемой частью жизни, врываясь в неё даже в самые интимные моменты. Ощущение этого кошмара не через изображение конкретных ужасов, а через людей, наблюдавших за всем этим по ТВ.



Из серии «Срочные новости». Масло, дер., 122x250, 2001.

## От героизма до цинизма через оппортунизм

С. О. Давайте взглянем на то, что называется современным искусством. Его появление принято отсчитывать с выставки импрессионистов в ателье Надара в 1874 году. Нам рассказывают об их бунте против Академии художеств – да не было там никакого бунта! Все эти бунтари просто помирали от желания выставиться в салоне. Но их не брали. И не брали по одной простой причине: в Академии преподавалась идеология искусства – историческая живопись, мифологическая картина, репрезентативный портрет... А эти с какой-то самодеятельной мазнёй лезут. Вот тогда из их обид и несогласия и началась революция в искусстве.

И, как каждая революция, она пережила 3 этапа. Первый – герои, те, кто делают революцию. И я говорю здесь о Моне, Ван Гоге, Сезанне, о Пикассо, о Матиссе... Ну, а потом, после поколения героев, приходит поколение оппортунистов – по словам Николаса Гомеса Давила,

«художник, которому не хватает оригинальности, чтобы создать свой собственный, ни на что не похожий мир, присоединяется к авангарду».

А следом за ними приходит поколение циников. И вот это уже наше поколение... Пикассо, который был большой умник, сказал, что «самая большая проблема авангардного искусства в том, что нет мощной Академии напротив». Академия проиграла и по справедливости – ей нечего было дать.

Авангард победил, но, как известно, любая победа оборачивается поражением. Победители стали тем, что они победили. Я могу так говорить – я сорок лет отработал в израильской академии художеств «Бецалель». Сегодня академия «Бецалель» – такое же реакционное учебное заведение, как и академии конца XIX века в Европе. Только с другой идеологией – безграничного (по большей части словесного) самовыражения. Победившие циники забрались в кресло академистов, и их отличие от предшественников лишь в том, что они сидят там не в мантиях, а в драных джинсах. А в остальном это тот же академический диктат. Чему я сам неоднократно был свидетелем.

Е. Ш. Саша, от вас это неожиданно слышать, зная вашу андерграундную ленинградскую юность и участие в нонконформистских выставках.

С. О. У нас не было никакой общей эстетической платформы, никакой общей идеологии. Мы были движением протеста против диктата соцреализма, не более того.

Наверное, самым громким (что не значит лучшим) явлением советского андерграунда стал соц-арт и мы все с удовольствием ржали, глядя на их работы, блестяще пародирующие исторический феномен под названием СССР. Но вот Советский Союз рухнул и все их игры потеряли смысл. В музее Израиля несколько лет назад была выставка русского авангарда. На ней был двойной автопортрет-гондо Комара и Меламида. И никто из израильтян не в состоянии был понять в чём тут «чимес мит компот», ибо для того, чтобы оценить иронию авторов, надо знать двойные профильные портреты Ленина и Сталина, знать, что техника, в которой сделан этот портрет – это отсылка к портрету Ленина на фоне занавеса сцены Дворца Съездов. И совсем неплохо было бы 1 мая под маршевую

музыку пройтись в радостной колонне трудящихся мимо мавзолея, а после раздавить бутылку на троих в подворотне, короче немного пожить в Советском Союзе. Вот тогда и только тогда можно понять смысл этой работы. Но если вы всего этого не знаете, то она даже не фига в кармане, и не то, что через сотню лет что-то будет способна сказать людям, она уже сегодня нерелевантна.

А для того, чтобы человеку ахнуть от профиля Нефертити, которому больше трех тысяч лет, не обязательно знать ни про египетского бога Амнона, ни про Тота. Вообще ему можно ничего не знать про Древний Египет. Достаточно увидеть пластическую красоту изгиба этой шеи, движения головы – и всё, ты поплыл.

**Е. Ш.** Контекст здесь необязателен...

**С. О.** Абсолютно. Да, потом вам могут рассказать про Эхнатона и прочее. Это всё обогатит ваше впечатление. Но первый импульс переживания – самый ценный, и если его нет, то всё это искусство не стоит ломаного гроша. Искусство должно быть универсально. Кстати, из всего, что называется Вторым русским авангардом, по самому большому счёту, есть только пять имён: Арёфьев, Васми, Шварц и Рохлин в Ленинграде, ну и Рогинский в Москве. Потому что они универсальны. Потому что то, что передаёт в своей живописи Рогинский, выходит за пределы любых советских тем и контекстов. Это выходит за пределы конкретного времени.

*Из записок художника*

«**Где Ты?**» Такой вопрос задал Творец Адаму, когда тот пытался скрыться. Этот мир ужасен. То, что в нём происходило и происходит, за пределами понимания. Евреи, способные объяснить необъяснимое, придумали удобную формулировку «сокрытие Лица». Но это всего лишь отговорка, и человек, я так понимаю, вправе спросить и спрашивает Б-га: «Где Ты?». И не получает ответа...



Нахождение угорленника вблизи Бат-Яма. Из серии «Где Ты?»  
Масло, дер., 170x220, 2014.

Мясная лавка. Из серии «Мясники».  
Масло, дер., 125x90, 2005. Частная коллекция.



*Из записок художника*

«**Мясники**». Высокомерные жрецы культа Чревоугодия.

Мясная лавка.  
Фрагмент.



## Цунами модернизма и его последствия

**С. О.** Теперь смотрите. Я считаю, что мы сейчас живём в эпоху такого кризиса, какой прежде был в искусстве только один раз – при переходе от античности к средневековью. Когда искусство, начавшееся в древнем мире со знака, развилось в античности до форм невероятного подобия реальности – вспомним миф о Пигмалионе и его Галатее – а на переходе к средневековью снова вернулось к знаку. Я себе легко представляю, как сидят каких-нибудь два грека и один, глядя на христианских мастеров, с омерзением говорит другому: «Клянусь Аполлоном, они же ничего не могут...»

**Е. Ш.** Ну да, «рисовать не умеют, анатомии не знают»... Где-то я это уже слышала. Но искусство не развивается по прямой, скорее – по спирали.

**С. О.** Ну так и произошло. Но произошло как-то дико странно. Вот есть у Константина Бранкузи, великого румынского скульптора-модерниста, скульптура «Поцелуй». Это начало XX века. А я видел в церкви Сен-Пьер в Ольне (самое начало XII века) барельеф – ну просто один к одному Бранкузи. Естественно, что он, скорее всего, не знал ни этой церкви, ни скульптуры. Просто через какое-то время после средневековья, пройдя через Возрождение, барокко и та-та-та, искусство вернулось от парадигмы подобия снова к знаку.

Зонтаг, одна из умнейших женщин XX века, ещё лет 50 тому назад сказала: «Время новых коллективных озарений благополучно осталось в прошлом: на нынешний день все великие умы и конченные тупицы, глупейшие и мудрейшие так или иначе высказались». Волна модернизма (который, – простите мне высокопарность и квазинаучность слога – не более чем последняя стадия романтизма), поднятая героическим взрывом авангарда начала XX века как волна гигантского эстетического цунами, сметая всё на своём пути, докатилась до нашего времени и отхлынула, оставив после себя грязное болото постмодернизма в котором мы все барахтаемся... Потому что, по большому счёту, мы ничего значительного не создали.

Меня как-то пригласила одна галерея курировать некий проект под высосанным из пальца звонким названием «Неосентиментализм». Поглядел я на эти работы, ужаснулся и честно написал злобный, саркастический текст. О том, что мы, художники, стоим на панели и хотим одного – чтобы нас поскорее и подороже купили. Что ради этого мы готовы на что угодно, в частности нацепить на себя бессмысленное, но звонкое название. Но поскольку этот ярлык недостаточно радикален и поскольку NEO сегодня не такое уж и НЕО, а все NEW и POST тоже уже неоднократно были, то я предлагаю новое радикальное универсальное направление, – Neopostism. Оно открывает всё, что уже было и всё, чего не было и ещё только будет. Я думал, что после такого текста, меня спустят с лестницы. Но нет, его спокойно приняли и напечатали в каталоге.

**Е. Ш.** Организаторы высоко оценили иронию вашей радикальной кураторской концепции, такой востребованной в постсоветской России в начале 2000-х. И, полагаю, ещё и гордились своей продвинутостью...

**С. О.** Ну, да-да-да... Но всё это довольно грустно и ситуация выглядит как отчаяние, если люди охотно соглашаются с тем, что они стоят на панели, то есть

Неожиданный визит. Из серии «Вилла мистерий Зихрон-Батья». Масло, дер., 140x150, 2019.



*Из записок художника*

«Вилла мистерий Мазкерет Батья». «Вилла мистерий» – один из наиболее значительных шедевров античного мира, чей смысл толком не разгадан. Но в каждом месте, самом захудалом и занюханном, таится своя таинственная вилла мистерий. Это те фрески, которые скрыты на ещё не обнаруженной вилле..

Неожиданный визит. Фрагмент.





Удачный побег. Из серии «Observationes». Масло, дер., 124x250, 2012.

*Из записок художника*

«**O**bservationes – Наблюдения за маленьким человеком». Содержание этой серии лучше всего передает русская присказка «Ах, люди, люди... все вы, как \*\*\* на блюде».



Удачный побег. Фрагмент.

попросту б\*\*\*и. Теперь, давайте вернёмся, к слову, и его значению. В литературе, как выяснилось, существует не больше, чем 36 сюжетов. Это ещё в конце XIX века установил французский театровед Жорж Польти (правда то же самое, кажется, говорил Аристотель). Хемингуэй, был большим жмотом, он утверждал, что есть только 2 сюжета: отношения между мужчиной и женщиной и вопрос поиска смысла жизни человека. Борхес выделил чуть больше – у него получилось 4, на которых строится вся мировая литература: осада города, возвращение героя, поиск смысла и священное жертвоприношение. Как бы то ни было, но со времён «откровения» Польти прошло 130 лет, но тридцать седьмого сюже-

*Из записок художника*

Иnstалляции «Собор светского общества» и «Сто первые ворота», заполнившие целиком два музея, это пластическо-аудио-текстуальная метафора суеверий религиозного и светского обществ.



Собор светского общества. Смешанная техника, 900x510x40, 1994. Музей Янко Да-Да, Эйп-Год.

та никто не придумал. Что это значит? А это значит то, что количество сюжетов ограничено и каждый большой писатель и вообще художник рассказывает одну из этих всем известных историй, но рассказывает со своей интонацией. Потому что на протяжении, я думаю, многих тысяч лет одну и ту же фразу «Я тебя люблю» каждый человек говорил чуть по-другому.

**Е. Ш.** Так интонация меняет смысл сказанного. У Хэмингуэя всё только об этом – об интонационных оттенках любви.

## Сегодня Я важней, чем Мы

**С. О.** Разумеется, и меняя интонацию, мы можем полностью поменять смысл сказанного. Моей первой работой в Израиле была работа в театре «Хан». Там ставили мировую премьеру «Солдата Ивана Чонкина», я в спектакле играл на гармошке. После выездных спектаклей нас, актёров, развозил по домам красавец Янкеле, осветитель и по совместительству шофёр. Я жил на окраине Иерусалима и, соответственно, был последним в очереди. И вот едем мы вдвоём, и Янкеле начинает говорить со мной на идише. А я на идише знаю всего несколько фраз и среди них «Их вейс» – по-русски «Я знаю». Янкеле бурно со мной общался, а я, время от времени, в зависимости от его интонаций, то вопросительно, то восторженно, то утвердительно, то с недоверием, то с удивлением отвечал: «Их вейс». Выскочив из машины, я бодро прокричал: «Зай гезунт, Янкеле!» – «Будь здоров, Янкеле!» – и понёсся домой. На следующий день в театре Янкеле бросился ко мне и оживлённо затараторил на идише. «Янкеле, я не знаю идиша». – «То есть как? – оторопел Янкеле. – Мы же с тобой всю дорогу разговаривали...»

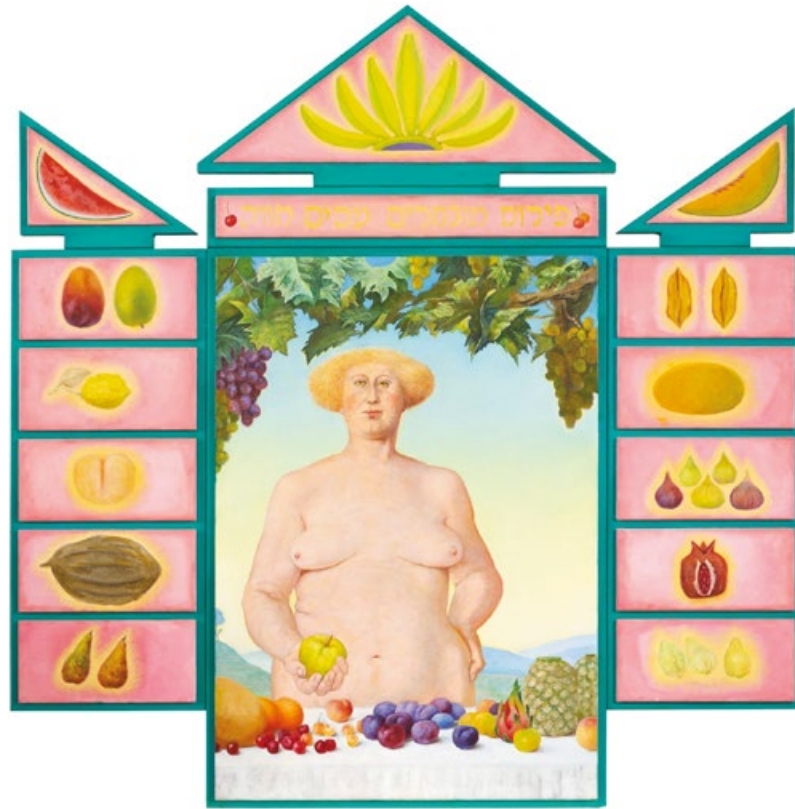
Люди чувствительнее к интонации больше, чем к словам. И в изобразительном искусстве тоже. И, думается мне, в наше время особенно.

У меня последнее время есть осознанное чувство что живём в эпоху конца Западной цивилизации. Серьёзно. Потому что всё, что с нами происходит, дико похоже на конец Римской империи. Нас осаждают варвары, сегодня Я гораздо важнее, чем Мы, и так далее – просто безумное количество параллелей.

**Е. Ш.** И всеобщая пресыщенность жизнью. Как и возгонка сексуальной чувственности.

**С. О.** Да-да-да, просто куда ни копни – сплошные аналогии и параллели. Такая вот цивилизационная осень. Ведь весна, например, это время очень простых и нежных цветов – подснежники, ландыши, вся их прелесть в их безыскусной простоте. Этой очаровательной простотой и непосредственностью дышат фрески Помпей, «Золотой осёл» и «Дафнис и Хлоя». А дальше приходит осень – время роскошных георгинов, астр, изысканнейших гладиолусов. И искусство, и литература сейчас далеки от простоты, они по-осеннему насыщены, усложнены. В этом изобилии можно быть услышанным только благодаря личной интонации. Потому что другого, на мой взгляд, нам ничего не остаётся в этом культурном шуме. И вот заметьте ещё одну вещь. Наши выставки. На последней выставке выпускников «Бецалея», если вы были, что вам показалось лучшим, какой факультет?

Сочные избранные плоды Евы. Из серии «Храм Жизни». Масло, дер., 208x200, 2021.



Изобилие рыбы мороженой и свежей. Из серии «Храм Жизни». Масло, дер., 210x200, 2020.



Серия «Храм жизни». Рынок «Махане Йегуде» в Иерусалиме – волгшеество и величие повседневности, завораживающая смесь обыденности и театра. Я иду от рыночных вывесок и прихожу к чему-то вроде рыцарских гербов иерусалимского дворянства.

*Евгения Шипицына*



Пекарня «Анжел». Из серии «Храм Жизни». Масло, дер., 208x200, 2021.

## Мнение

«Саша Окунь – художник единственный в своём роде. Любая попытка его классификации в рамках принятых сегодня критических концепций была бы грехом по отношению к его уникальности и глубокой поэтике.»

проф. Ариэль ГИРШФЕЛЬД



Пита. Эскиз к «Пекарня «Анжел»». Из серии «Храм Жизни». Карандаш, бум., 52x37, 2019.



Начинаем с кофе. Из серии «Храм Жизни». Масло, дер., 196x200, 2020.

Е. Ш. Дизайна, конечно.

С. О. О, и мне тоже – работы дизайнеров! Видите, мы, не стовариваясь с вами, сошлись во мнении... Там были прекрасные пластические решения. Я помню, например, там были удивительные коробочки для стихов Ионы Волох. Куда там факультету искусства до такого уточённого художественного мышления.

Е. Ш. Меня поразило, как они умеют образно мыслить в пластическом и эстетическом решении функциональной формы. А вот глядя на работы живописцев, я почувствовала невероятную психологическую усталость от отсутствия в них хоть какой-то образной целостности и живописной культуры.

С. О. Потому что мы живём в обществе потребления, в век потребительского бума, а дизайн и есть релевантное искусство создания потребительского продукта. Вот и всё. А на факультете искусства с его надуманными и пустыми концепциями нет совершенно ничего, кроме попыток, как сейчас принято говорить, «разорвать рамки». Смотрю на это и думаю: «Милый, ты сначала обзаведись этими рамками, а то без них тебе прорывать нечего!»

Конечно, сейчас появились в искусстве новые техники. Компьютер, видео. У меня, честно говоря, никогда не хватает терпения досмотреть до конца ни одно из них. Как сказал профессор Яков Кауфман – блестящий дизайнер, мой коллега,



«...израильское искусство — это скучное видео, потому что, если оно не скучное, то это уже кино».

Так что, да, появилось много разнообразия в техниках, но с этими новыми техниками ещё заметней стало, что людям нечего сказать, кроме индивидуального выкрика или, точнее писка. И здесь я снова сошлюсь на Давилу:

«Индивидуализм — это колыбель вульгарности».

А дизайн сегодня, напротив, всё больше наполнен и смыслом, и стилем, и мастерством. Дизайнеру есть кому и что сказать. А вот в изобразительном искусстве сегодня — болото. Все квакают, кто громче, кто тише, пытаясь продемонстрировать свой голос. Но получается шум. Вот знаете, то, что я вижу сегодня в искусстве я бы назвал «стадом индивидуалистов»: все выкрикивают своё «Я», но при этом бегут толпой в одну сторону, толкаясь в общем толпе.

**Е. Ш.** Парадокс нивелирования индивидуальности в банальность?

## Традиция – девушка живая!

**С. О.** Абсолютно. Теперь такая мысль, смотрите... Великое искусство, по-настоящему большое, всегда привязано к традиции. И великий художник, тот, кого мы называем *революционером*, на самом деле оказывается самым преданным традиционалистом. Начнём с того, что культура любая — это отражение, эхо. Как сказал всё тот же Давила — простите, все время его цитирую, больше не буду, просто я совсем недавно с ним познакомился,

«Настоящий поэт ищет не столько новые минералы, сколько заброшенные месторождения».



Эскиз к «Начинаем с кофе». Карандаш, бум., 30x45, 2019.

Эскиз к «Изобилие рыбы мороженой и свежей». Карандаш, бум., 70x35, 2020.



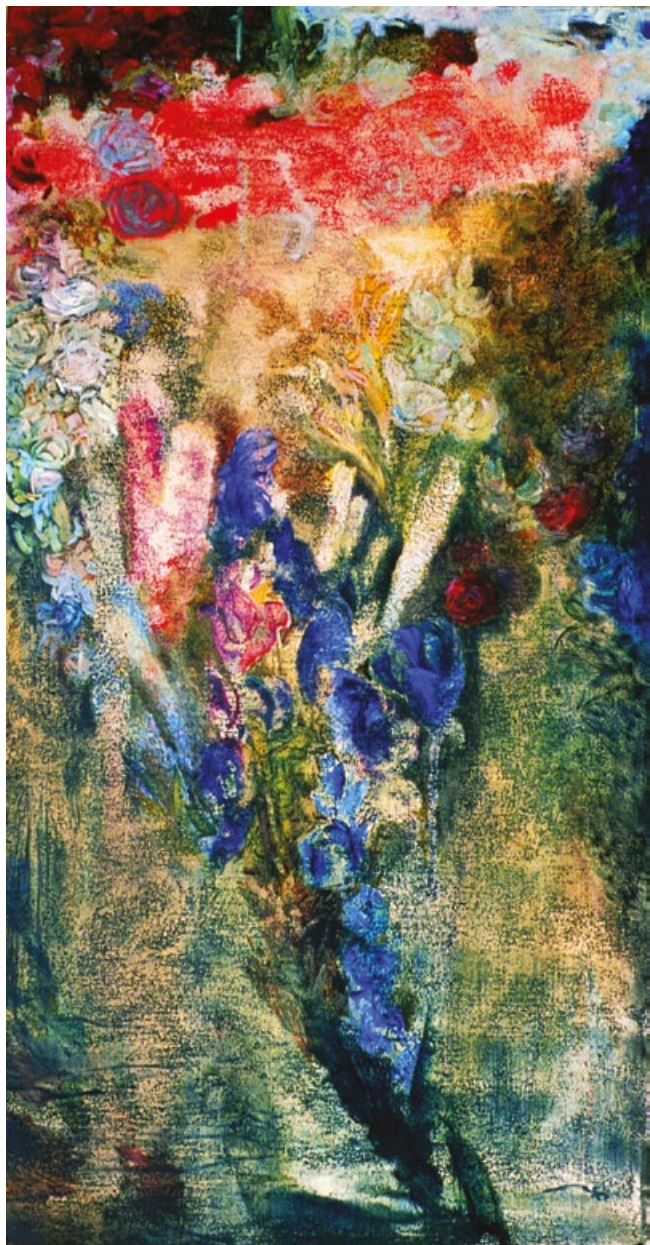
Вы всё время находитесь в диалоге с тем, что было раньше. И у меня есть для этого один простой и наглядный пример — Матисс. Когда была открыта первая выставка «фовистов», все сразу начали орать «эти *дикие* — *бунт*, настоящая революция!» Прошло несколько десятков лет, пыль ото всех этих бурь осела — и что мы видим? А то, что нет более французского художника, чем Матисс. Потому, что Традиция — это «девушка с тысячью лиц». Просто большой художник умудряется открыть нам то её лицо, которое от нас до этого момента было скрыто. Понимаете? И если вначале мы кричим «ой-ай, это разрушение традиции!», то потом смотрим: да вот же она, с новой улыбкой. Потому что те, кто старательно хранят традицию, охраняют на самом деле её надгробный памятник. А Традиция — девушка живая. Она тем временем уже в какой-то мансарде, с каким-то новым художником спит и уже «немножко беременна». Но это новое, если оно талантливое, просто ещё одно её лицо.

**Е. Ш.** Саша, слушая вас, я сейчас особенно остро осознала, что ведь Рембрандт предсказал поиски света в живописи у будущих импрессионистов, «подсказал» им вектор поиска, верно?

**С. О.** Возможно. Это отдельный разговор. Рембрандт, Матисс, Джакометти, Микеланджело — это всё мастера, как говорится, на все времена. Есть один чудесный анекдот о мастерах, про то, как умер Моцарт. Умер и заявился на небеса. Видит: его встречают сонмы ангелов. И среди них — сам Творец с распростёртыми руками: «Господин Моцарт, мы так счастливы, что вы к нам явились! К вашему распоряжению абсолютно всё — лучшие музыканты-виртуозы, лучшие оркестры, ангельские хоры, вы таких голосов раньше не слышали! Вы назначаетесь главным капельмейстером рая. Потому что таких музыкантов, как вы, господин Моцарт, не было и не будет». — «Большое спасибо! — благодарит Моцарт: — А как же Бах?». И отвечает ему Творец: «А-а, Бах, Бах... Не беспокойтесь, господин Моцарт, видите ли, Бах — это Я». А кто Бах в изобразительном искусстве? Рембрандт, Микеланджело, любимые мной Вермеер, Пьеро делла Франческа... Но есть ещё и Эль Греко, и Бальтюз, и Пинзель, и Петров-Водкин, и Гойя, и Арефьев и... первых много.

**Е. Ш.** Настоящий художник, возможно, и есть вечный диалог: с традицией, с миром, с собой...да и с материалом. Сезанн как-то признавался, что он вовсе не собирался изобретать свою систему пространства в живописи, а всегда восхищался Пуссеном. И копировал его.

**С. О.** Вот осознанное копирование и есть настоящий разговор с традицией. А разговор с такими мастерами, как Рембрандт, Тициан, Пьеро или Рогир даёт тебе понимание того, как они мыслили. Ты всё время с ними соотносишься, всё время находишься в диалоге. А в диалоге всегда возникает какое-то новое содержание. Посмотрите, как Рубенс копировал Тициана, а Бальтюз копировал Пьеро!



Цветы на шabat. Из инсталляции «Сто первые ворота». Масло, дер., 220 x 122, 1993.

*Из записок художника*

«**Ц**веты». Вот уж заезженный, опошленный сюжет. Тем интереснее им заниматься. Ведь не только пожилые дамы, красящие акварелькой бесконечные фиалки и маргаритки, но кватрочентисты, Матисс, Джакометти, Врубель! И, конечно Леонардо, и Боттичелли, и Филонов, и Дюрер. Я только прикоснулся к этому невероятно интересному и трудному сюжету.

Я считаю, что академия художеств сегодня, в наше время *postneopost*, когда всё абсолютно релевантно, должна учить ремеслу так сказать и показать студенту, как и что делается в искусстве: классицизм делается так, а барокко делается так, а вот импрессионизм эдак, кубизм вот так, а концептуализм делается вообще иначе... А теперь получи пинок под зад и думай своей головой, если она у тебя есть. Мы не должны давить будущего художника идеологией. Мы обязаны дать ему инструменты. И извини, но большого стиля сегодня уже нет и не будет. Давай думай сам.

Е. Ш. Так беда в том, что думать по-настоящему никто не учит!

## Мысль пластическая

С. О. Художник думать должен пластически. Вот академия и должна научить этому навыку – думать в материале. И тут как раз надо копировать. Не было в истории ещё ни одного большого художника, который бы не копировал. В пример Джакометти — вот уж новатор! – который никуда не ходил без блокнота:

! «Я был в Лувре пятьдесят тысяч раз, копируя всё, чтобы понять».

То есть ты копируешь мастера не для того, чтобы повторить, а чтобы понять, как и почему он это сделал, зачем именно так, в таком материале? Например, я даю своим студентам один рисунок Марино Марини и говорю: «Постарайтесь понять, как он это делал, с чего начал, как развивал, как закончил...» Там есть пятно одно, и я доказываю, что его он сделал последним. А почему? А потому что оно всё уравнивает – без этого пятна весь рисунок соскальзывает вправо. И он это увидел в самом конце. То есть мастерство – это способность научиться думать пластическим языком, а не просто осваивать набор каких-то навыков. Анатолий Франс, тоже большой умница, сказал, что

«в искусстве есть две беды: ремесленник без вдохновения и художник без ремесла».

Е. Ш. Другими словами, художник всё время находится в диалоге с материалом. А какой это диалог: конфликтный или любовный? С карандашом, я знаю, у вас роман.

С. О. Вообще-то я многолюб. У меня роман и с маслом, и с графитом, и даже с масляной пастелью. С материалом могут быть два способа общения – западный и восточный. Западный – борьба с материалом. Например, масляная техника, не случайно она изобретена на Западе, это борьба: ты борешься с её текстурой, накладываешь её густой, затем убираешь мастихином, протираешь, как Гойя, какими-то тряпочками... Ты борешься, подчиняешь материал своей воле.

Восточный способ иной – ты идёшь путём материала, вместе с ним, а не против него. Вот тушь, скажем, у тебя льётся – и пусть льётся, смотришь за ней, как льётся, подхватываешь этот потёк, используешь его естественность. И тот и другой подход легитимны и взаимодополняемы. Есть только одно условие: НЕ уважать материал нельзя. Потому что неуважение он вернёт тебе «с процентами». Ты должен к нему прислушаться, стараться его понять...



Лилии. Из серии «Цветы».  
Карандаш, графит, бум., 70x34, 2020.

Гладиолус. Из серии «Цветы».  
Графит, бум., 70x34, 2020.

*Мнение*

«Нельзя не поражаться его феноменальному рисунку и пониманию цвета, которым трудно найти сопоставимые примеры в наших краях»

Гидьон ОФРАТ, критик

Лилии. Из серии «Цветы».  
Карандаш, графит, бум., 70x50, 2020.



### Обрести свою интонацию голоса

**Е. Ш.** Саша, в ваших работах есть, для меня, оптический парадокс: они одновременно имперсональны и конкретны по сюжету, монументальны и детализованы по формам, мудры и ироничны по смыслу. Интонация вашей речи такая же, всегда серьёзна и иронична одновременно, со снижением градуса излишнего пафоса.

**С. О.** Так ведь нельзя серьёзные вещи говорить, надув щеки. В принципе я – жанрист. Но мне всегда хочется быть немного приподнять хотя бы на 2 см над землёй, а всякие возвышенные вещи хорошо бы хотя бы на 2 см опустить. Тогда получаются смыслы, с которыми можно жить. Я не хочу изобретать велосипед, давно изобретённый. Я просто, как умею, своим голосом и со своей интонацией рассказываю свой вариант историй, существующих вечно. Иногда что-то придумываю, что-то меняю.

Последние пять месяцев я живу в пентхаусе, с огромным балконом размером с квартиру и с видом на Масличную гору и весь старый Иерусалим. И вы знаете, я вот уже пять месяцев маюсь, потому что не могу соотнести себя с величием этого пейзажа. Там столько всего, в этом невероятном пейзаже, он так насыщен, что мне его трудно переварить! То ли дело небольшая горка с парой домишек... Поэтому я невольно пытаюсь любой возвышенный пафос слегка снизить, каким-то образом очеловечить его интонацию. Знаете, на эту тему, я много лет пользовался цитатой из Свифта, как бы где-то вычитанной мной –



Ассамбляж «Дамасские ворота». Смешанная техника, 320x360, 1985.



Купание в Мёртвом море. Из серии «Вилла мистерий Зихрон-Батья». Масло, дер., 124x250, 2018.

а Свифт был человек большого ума – так вот он сказал, что «для умного человека жизнь – комедия, а для дурака – трагедия». А я решил дополнить его мысль: поскольку все мы не бог весть какие умники, но и не полные идиоты, то жизнь наша – трагикомедия. А трагикомедия – это самый интересный жанр.

Правда, один англичанин, такой дотошный, после того как я цитировал ему это всё, решил проверить и в итоге сообщил, что нет такой фразы у Свифта. Но ведь могла бы быть!<sup>1</sup>

**Е. Ш.** А мне кажется Свифт бы с вами согласился... Гротескный смех его философских пьес созвучен по интонации гротескной пластике ваших картин. Ваши «старые» сердитые младенцы и младенчески беззащитные старики вполне вписываются в арсенал его персонажей. Есть какая-то метафизика вашего с ним диалога. Ваша последняя монументальная работа «Gates of Justice / Врата справедливости», демонстрируемая сейчас в Вене в Галерее Альбертина – наглядный пример такой метафизики. Я понимаю, что без личного опыта боли она бы не родилась. При этом она символична и архетипична почти как средневековая фреска: двенадцать полуобнажённых эксцентрично вопрошающих обращены к одной фигуре потенциального спасителя в центре.

**С. О.** Да, «Тайная вечеря» там, очевидно, прочитывается. Но это не было задумано, как-то само получилось. Сначала было одиннадцать фигур, потом шестнадцать, потом десять... Но окончательно устаканилось все на тринадцати, как говорится архетип взял своё. Вы знаете, насчёт архетипов: картина уже существует где-то объективно, и задача художника состоит только в том, чтобы помочь ей реализоваться в нашем мире. Меня очень часто обвиняют в том, что я в своих картинах высмеиваю людей, так сказать, издеваюсь над ними. Но я вам хочу показать всего один кадр с вернисажа в Альбертине. Там проходила пресс-конференция прямо в экспозиции на фоне моей работы. Так я хочу вам показать кадр с публикой, который кто-то из гостей сделал – вот посмотрите, что получилось.

**Е. Ш.** Потрясающе! Они все с той же мимикой, что и персонажи картины!

**С. О.** Да, вот видите. А если ещё их раздеть, так и вообще не отличишь. Так что пусть мне больше не говорят, что я искажаю людей, унижаю и та-та-та. Нет, мы все такие, когда естественны, испытываем чувства боли, радости, страсти... Меня часто спрашивают почему я так много рисую голых людей. Да потому что настоящий человек он голый. Одежда – это защита. Не зря, вообще говоря, когда людей убивали, их перед этим раздевали: голый человек беззащитен, он и сопротивляться-то не может.

**Е. Ш.** Сопротивление требует энергии. Вот младенцы у вас сопротивляются тесноте своего тела, пытаются расправить душу внутри своих кожаных одежд. А старики из «Врат справедливости» скорее стремятся выскочить из вечно болящего тела – оно у них полно гравитации, а глаза устремлены в небо. Ваши персонажи в конце жизни сбрасывают с себя одежды. Может показаться, что это бесстыдная демонстрация дряхлой телесности, а по сути – с них как будто бы сдуваются

<sup>1</sup> Мы соглашаемся с Сашей Окунем, но уточняем, что Свифт такую фразу на бумаге не зафиксировал, а вот его старший современник, французский моралист, психолог, писатель Жан де Лабрюйер сказал и записал нечто подобное: «Жизнь – трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит» (Ред.).



*Из записок художника*

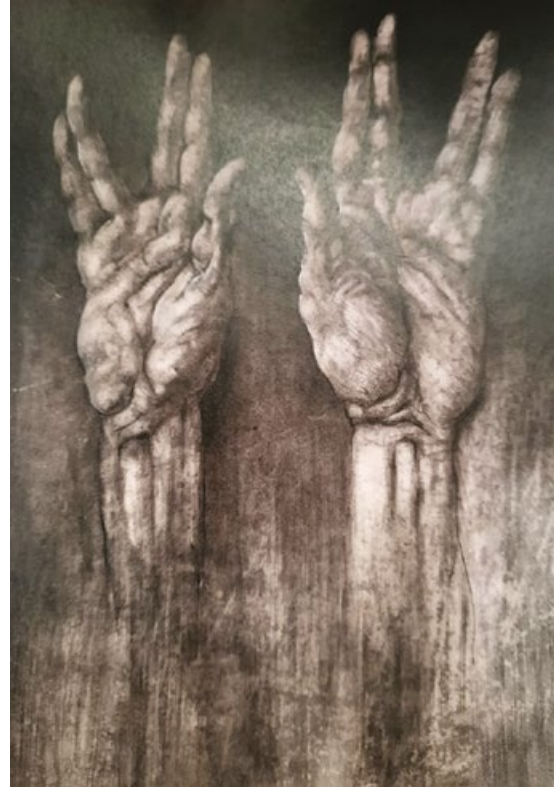
Серия «Новорождённые» – не сладенькие пухлячки, а осознание родов как трагической мистерии.



Из серии «Новорождённые».  
Масло, дер., 190x65, 1996.

Из серии «Новорождённые».  
Масло, дер., 190x65, 1996.

Эскиз к «Латкес. Кугель. Цимес. Сельдь». Из серии «Храм Жизни».  
Смешанная техника, бум., 70x50, 2020.



«Шаарей Цедек – Врата Справедливости».  
Эскиз. Графит, бум., 70x32, 2022.



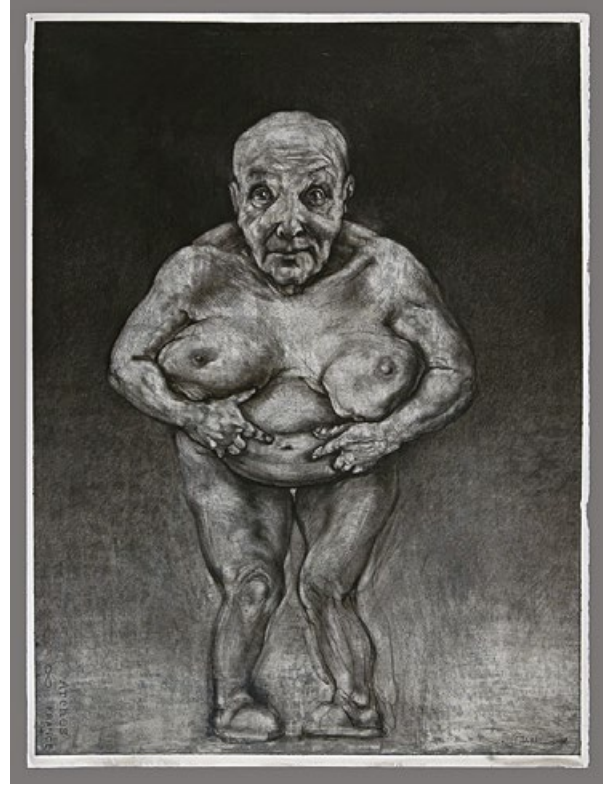


«Шаарей Цедек – Врата Справедливости».  
Эскиз. Графит, бум., 70x50, 2022.

«Шаарей Цедек – Врата Справедливости».  
Эскиз. Графит, бум., 70x50, 2022.

«Шаарей Цедек – Врата Справедливости».  
Эскиз. Графит, бум., 70x50, 2022.

«Шаарей Цедек – Врата Справедливости».  
Эскиз. Смешанная техника, бум., 70x50, 2022.





«Шаарей Цедек – Врата Справедливости». Эскиз. Масло, фанера. 28x60, 2022.

### Из записок художника

И наконец, «Шаарей Цедек», то есть «Врата Справедливости». Так называется старейшая иерусалимская больница. Может, не хватает вопросительного знака? Последний поклон перед тем, как навсегда потухнет свет. Боль. Отчаянье. И надежда.... Конечно же, переключка с античными фризами, мозаиками в Сан-Аполлинаре Нуово. А как иначе? Культура – это эхо, отражения, переключка.



Пресс-конференция на вернисаже в галерее «Альбертина» на фоне «Врат Справедливости», 2024. С разрешения галереи.

«Шаарей Цедек – Врата Справедливости». Масло, дер. 400x1500, 2024.



одежды брэнности ветром межпространственного перехода. В контраст к ним, страждущим помощи, безучастный врач-спаситель застѣнут на все пуговицы и завязан на все шнурочки. Он целиком связан с брэнным миром страданий. Кроме того, всё действие происходит как бы у края рампы, третий акт жизни подошёл к концу, грим смывается, костюмы сдаются в стирку. Телесная обнажѣнность здесь вполне себе архетипическая, можно вспомнить плач библейского Йова...

С. О. Лена, это вы так увидели и поняли. Я буду рад, если каждый в ней найдѣт своё. Я сам часто на открытии выставок чувствую себя голым – это странное чувство, когда твой интимный процесс общения с картиной вытащен на всеобщее обозрение. Но выставки важны и нужны художнику... Искусство – это язык, а язык предполагает собеседника. И именно поэтому ты выставляешь работы и, конечно, когда кто-то на это реагирует – это удивительный подарок. Нет такого художника, который не хотел бы зрительского успеха. Все эти разговоры о самовыражении пусты. Самовыразился – ну и успокойся, поставь работу в сторону и самовыражайся дальше. Но нет, ты хочешь её выставить, да ещё чтобы о ней написали. Ты хочешь какой-то реакции, ты хочешь диалога, хочешь, чтобы тебя заметили, поняли и т. д. И, разумеется, ты хочешь быть знаменитым. И в этом смысле я абсолютно уверен, что каждый человек достигает того, чего он действительно хочет. Вопрос в том, как сильно ты это хочешь?

Про себя могу сказать честно – я тоже хотел успеха, но хотел как-то вяло: не участвовал в нужных тусовках, не светился на вернисажах, не сидел в правильных кафе, не поздравлял кураторов с праздниками и не ставил лайки в фейсбуке – а это всё надо делать. Как и во всѣм, вопрос, какую цену ты готов за успех заплатить? Помните арию Томского в «Пиковой даме»: «...и молча поставив одну за другой, вернула своё..., но какую ценой?! Три карты, три карты, три карты...» Путь славы и успеха – дорожка очень скользкая, потому что очень много людей свернули себе на ней шею... В конце концов, по-настоящему важно лишь одно – ты прожил свою жизнь или чью-то чужую, ставил себе свои цели или плясал под чужую дудку, сделал свои картинки или был «чего изволите»?

Знаете, был такой хасидский мудрец раби Зуся из Аннополя, сказавший: «Когда я умру и предстану перед Небесным судом, никто не спросит меня: “Зуся, почему ты не был силѣн, как Самсон, не был мудр, как царь Соломон, и не пел красиво, как царь Давид?” Г-сподь посмотрит на меня и скажет: “Зуся, почему ты не был Зусей?”» А это не так просто. Как говорил Ван Гог, «иногда, чтобы найти свою дорогу, нужно поплутать». Так что, наверное, главное в этой жизни – обрести себя. И спокойно делать своё дело так хорошо, как только ты можешь.

Журнал ТТ (Тайные тропы)  
№ 4 (8), 2024  
Выход в Сеть – 04.12.2024

ISSN 2958-499X

**Учредитель и издатель**  
Барух-Александр Плохотенко

**Главный редактор**  
Барух-Александр Плохотенко

#### **Редакция**

Владимир Горбачёв  
Борис Борухов

#### **Контакты**

[www.secrettropes.com](http://www.secrettropes.com)  
[secrettropes@gmail.com](mailto:secrettropes@gmail.com)

Никакая часть данного издания  
не может быть воспроизведена  
без разрешения редакции

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов

#### **Вниманию уважаемых авторов!**

ТТ принимают к публикации  
только прежде не издававшиеся  
произведения, присланные,  
переданные самими авторами  
непосредственно в редакцию

Редакция не рецензирует  
присланные материалы  
и в переписку по их поводу  
не вступает

© ТТ. Все права защищены

Отпечатано в Clickbook, Йерушалаим  
[www.clickbook.co.il](http://www.clickbook.co.il)



В оформлении обложки использована  
центральная часть ассамбляжа «Дамасские ворота» Саши Окуня

